

В. Вересаев

НА
ВЫСОТЕ

В. Вересаев

**НА
ВЫСОТЕ**

Повести. Рассказы

Москва «Советская Россия» 1987

P1
B31

*Рецензент доктор филологических наук В. А. Келдыш
Составление, вступительная статья, примечания О. А. Клинга
Художники Б. В. Еремин, Е. В. Бекетов*

Вересаев В. В.
B31 На высоте: Повести. Рассказы/Сост., вступ. ст.,
примеч. О. А. Клинга.— М.: Сов. Россия, 1987.—
432 с.

В однотомник избранных произведений В. В. Вересаева (1867—1945) вошли повести «Без дороги», «На повороте», «К жизни», по словам автора, «отражающие душевную жизнь «хорошей» русской интеллигенции на рубеже XIX—XX веков, и рассказы.

В $\frac{4702010200-218}{M-105(03)87}$ 130—87

P1

© Издательство «Советская Россия», 1987 г.,
вступительная статья, примечания.

«РАНЕНАЯ СОВЕСТЬ»

(Несколько слов о В. В. Вересаеве)

В. В. Вересаева неизвестным или забытым писателем назвать нельзя. Появление в 1895 г. первой повести Вересаева «Без дороги» на страницах одного из самых читаемых журналов конца прошлого века — «Русское богатство» — стало заметным явлением литературной жизни. Вскоре (1898 г.) выходит первая книжка молодого писателя, которая «...исчезла с прилавков книжных магазинов с такой быстротой, как выходившие одновременно с нею серенькие томики Максима Горького. Имя г. Вересаева было у всех на устах, его читали, о нем говорили, спорили по поводу его героев, его идей»¹.

Надо отметить, что дебют Вересаева состоялся не только одновременно с Горьким, но и одновременно с появлением в России принципиально нового литературного направления — символизма. Как раз вышли выпуски «Русских символистов», первые сборники стихов В. Брюсова, К. Бальмонта, Ф. Сологуба и многих-многих других литераторов, которые шумно заявили о себе. В русской литературе начиналась литературная борьба, в которой резко столкнулись не только принципиально непримиримые мировоззрения (народников, ранних марксистов и идеалистов), но и очень разные, чисто художественные — стилевые искания (натуралистов, реалистов, модернистов). Социально обострившемуся времени соответствовала обновившаяся литература. Свежие литературные силы принесли это обновление. Как писал автор одной из первых книг о Вересаеве, «в то время как другие писатели или продолжали довольно равнодушно фотографировать жизнь (имеются в виду натуралисты типа П. Боборыкина.— О. К.), или же, подобно Чехову, рисовать безотрадные, проникнутые ужасным трагическим равнодушием картины современного общества (сегодня мы, конечно, не можем принять такое понимание Чехова.— О. К.), г. Вересаев попробовал расшевелить эту плесень, коснуться людей, которые так же, как и он, мучаются, но еще не махнули рукой окончательно на все и вся...»². Здесь следует добавить к словам критика, что самых болевых точек своего времени — вечных вопросов, что есть человек, как жить, каков мир и как его изменить, — по-своему касались и другие молодые писатели — М. Горький, Л. Андреев, В. Брюсов. В. Боцяновский, задумываясь о том, почему имена таких разных писателей, как Вересаев и Горький, волновали одинаково молодежь, объясняет это тем, что Вересаев был «...барабанщиком, забившим тревогу в такой момент, когда весьма многие утратили возможность что бы то ни было понимать в окружающей их жизни...»³.

Чем же конкретно так взволновала современников повесть «Без

¹ Боцяновский В. Ф. В. В. Вересаев.— Спб., 1904.— С. 2.

² Там же.— С. 7.

³ Там же.— С. 6.

дороги», которая открывает и настоящий сборник? В одном из своих более поздних рассказов — «На эстраде» (1900 г.) Вересаев устами одного из героев — писателя Осокина — обращался к читателям: «За что же вы благодарите меня? за «чудные звуки», за наслаждение, которое я даю вам своими «прелестными произведениями»? В таком случае, господа, вы ошиблись адресом: идите к тем, для кого эти «чудные звуки» составляют цель и высшую правду: для меня же они — высшая ложь, самое ужасное проклятие искусства...» Так обозначил Вересаев главный тезис своей литературной программы — честно видеть трагическое положение человека, темные тупики его исканий. Не случайно видный критик начала XX в. А. Измайлов завершил свою книгу статей о Д. Мережковском, К. Бальмонте, А. Блоке, И. Бунине, Вяч. Иванове, А. Ремизове как бы итоговой работой о Вересаеве, названной «Раненая совесть». Вересаев действительно обладал редким даром обнажения собственной боли, в которой отражалась боль других людей. Творчество Вересаева, на первый взгляд, несколько «монотемно»: судьба русской интеллигенции — вот главное его русло. Тот же А. Измайлов точно подметил: «...Вересаев силен тем, что говорит о вещах, глубоко его ранивших, уязвивших и взволновавших... Тысячи беллетристов облюбовали, например, область человеческой романтики. Любви как самодовлеющего чувства, влюблений, разочарований, измен, похождений — для Вересаева не существует. Конечно, он не мог пройти мимо этого чувства, но оно для него нигде не главное, всегда нечто побочное, осложняющее или разрешающее иные душевные коллизии». Для нас важен главный вывод критика: «...Вересаев типичнейший русский интеллигент высшего полета, с его беспокойством, порывами и теми как бы навязчивыми идеями, какими всегда болела лучшая часть нашего общества». И ранние и поздние произведения писателя являются «его душевной автобиографией»¹.

История собственных духовных исканий, совпавшая с исканиями тысяч других русских интеллигентов конца прошлого века, и обрела столь поразившую первых читателей художественную глубину в повести «Без дороги».

Но какова же была сама биография молодого писателя? Обратимся к ней... А точнее к тому, как осмыслил свой жизненный путь писатель, который многократно и в сухом жанре автобиографии, и в жанре воспоминаний («В юные годы», «В студенческие годы») возвращался в дальнейшем к своему прошлому...

Настоящая фамилия писателя — Смидович. Родился он 4 (16) января 1867 г. в Туле в семье известного в городе врача и общественного деятеля. В будущем писателе соединилось много кровей: русская, польская, немецкая, украинская и греческая. В семье царя поэта

¹ Измайлов А. Пестрые знамена.— М., 1913.— С. 219—221.

домашнего уюта, мира, любви. Но и было религиозное, в православном духе, воспитание. В гимназии, где Вересаев был «первым учеником», он зачитывался Майн Ридом, Гюставом Эмаром, позже — Добролюбовым, Писаревым, Миллем, Боклем (хорошо знакомый современному читателю круг чтения «новых людей» 1860-х годов). К середине гимназического курса, к 13—14 годам, относит он религиозный перелом, охлаждение к успехам в гимназии — и первые свои стихи. Любимые писатели теперь — Лермонтов, Ал. Толстой, Гоголь, Тургенев (к Пушкину он пришел позже, как и многие «восьмидесятники»).

В 1884 г. поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета (историческое отделение). Однако наукой занимался, по собственному признанию, без любви. Зато с увлечением участвовал в студенческих кружках, спорах по общественным, экономическим и этическим вопросам. Хотя и шедшее на убыль, но все же господствующее в его среде влияние народничества будущего писателя не задевало. Не было присущей народникам веры в крестьян, но было сознание вины перед народом за свое привилегированное положение. «...Путей не виделось. Борьба представлялась величественной, привлекательной, но трагически бесплодной...» — так впоследствии сформулировал Вересаев свое мироощущение студенческих лет, которое отразилось в его первой повести «Без дороги».

Но любопытно для понимания внутреннего мира писателя еще одно признание: в эти годы он увлекался запрещенной цензурой поэмой будущего символиста Н. Минского «Гефсиманская ночь». В ней главная фигура — Христос, которому Искуситель доказывает ненужность и бессмысленность его будущего страдания. «Не нужно раздумывать над тем, будет ли польза от жертвы, как таковой. Великое требовалось разуверение, чтобы прийти к культуре такой жертвы»¹, — комментирует свое мироощущение тех лет Вересаев в 1913 г. Как мы видим, в сознании будущего писателя прихотливо переплелись два чувства — с одной стороны, осознание трагической обреченности борьбы, с другой — понимание величия жертвы, необходимости борьбы. Эти два полюса обозначили и источник внутреннего драматизма Вересаева, и честность, с которой впоследствии он анализировал ситуацию «бездорожья» передовой русской интеллигенции в начале 1890-х годов...

После окончания университетского курса в Петербурге Вересаев в 1888 году поступает на медицинский факультет Дерптского университета. Свой выбор он объяснял впоследствии интересами своей будущей писательской деятельности, в предназначение которой уже тогда он твердо верил: «...для этого представлялось необходимым знание биологической стороны человека, его физиологии и патологии; кроме того, специальность врача давала возможность близко сходитья

¹ Автобиография. — В кн.: Русская литература XX века. 1890—1910. Под редакцией проф. С. А. Венгерова. — М., 1914. — Т. 1. — С. 141.

с людьми самых разнообразных слоев и укладов...»¹ В этом, между прочим, тоже сказалось своеобразие будущего творчества прозаика. В отличие от писателей нового толка, в частности символистов, которые жизненный материал брали лишь как сырье, а затем творчески преобразовали его, доводя порой до высшей степени условности, Вересаев и в своей художественной прозе оставался в хорошем смысле слова «публицистичным». Он внимательно приглядывался к реалиям жизни, многие произведения его напоминают моментальный снимок. Это давало основание некоторым читателям сравнивать Вересаева с Боборыкиным, который каждый год выдавал по одному или даже по два, слепленных по следам текущих событий, романа. Однако вдумчивые критики отмечали существенную разницу между двумя писателями: «Боборыкин интересуется эволюцией русского общества преимущественно как зритель, сторонний наблюдатель ее... Вересаев — сам участник этой эволюции»².

Поэтика Вересаева разительно отличалась от одного из основных русел прозы начала XX века — в том виде, как это отразилось, например, в творчестве Л. Андреева. Характерно в этом отношении оспаривание стиля Андреева в воспоминаниях Вересаева: «У Андреева не было интереса к живой, конкретной жизни, его не тянуло к ее изучению». Мы еще вернемся к этому важному сюжету, пока же отметим, что жажда изучения живой жизни привела Вересаева еще студентом (1892 г.) в Екатеринославскую губернию, где он боролся с холерой, в Барачную больницу памяти Боткина в Петербурге, наконец, позже, к марксистам... В 1894 г. Вересаев получил диплом врача.

Такова канва жизни Вересаева до того, как он вошел в литературу. Передает ли она напряженность духовных исканий писателя, отразившихся в его творчестве? На наш взгляд, крайне скупо... Что же определило тогда то неизбывное чувство трагизма, с каким пришел Вересаев в искусство, наконец, в жизнь? Какие-то мрачные бури, бурлившие вокруг мирного дома тульского врача, сложные процессы в душе будущего писателя и многое-многое другое, что называется «время», «судьба», «эпоха» предопределили длившееся всю жизнь писателя раздумье о том, победит ли сила жизни? Характерно принципиально несходное мироощущение молодого Вересаева и Льва Толстого. Во время их встречи в 1903 г. Толстой проповедовал свою излюбленную идею любви к человеку. «Но если нет у человека в душе этой любви? Он может сознавать умом, что в такой любви — высшее счастье, но нет у него ее... Это величайший трагизм, какой может знать чело-

¹ Автобиография.— С. 142.

² Крайнихфельд В. П. Викентий Викентьевич Смилович (В. Вересаев).— В кн.: История русской литературы XIX в. Под ред. Д. Н. Овсяннико-Куликовского.— М., 1911.— Т. 5.— С. 222.

век», — констатировал Вересаев чувство, вероятно, свое. Как описывал Вересаев, Толстой искренне хотел понять природу этого трагизма, но... не мог: «Само же слово «трагизм», видимо, резало ему ухо, как визг стекла под железом. По губам пронеслась едкая насмешка.

— Трагизм... Бывало, Тургенев приедет и тоже все: «трагизм, тра-гизм...» Диалог этот — а точнее непонимание друг друга — объясняет многое. И главное, почему даже на фоне литературы Толстого был замечен голос Вересаева? Конечно, Вересаев в своем творчестве и не приблизился к художественному уровню Толстого, но именно в конце 1890-х — начале 1900-х годов читатель ждал от писателя ответа на вопросы: почему трагично время, трагична судьба человека и даже, как казалось, будущее. И эти ответы читатели находили и у Толстого и у Вересаева.

В повести «Без дороги» резко и правдиво показан крах народнической легенды о революционности русского крестьянства. Как известно, В. И. Ленин видел в неспособности народников реально осознать забитость, отсталость крестьянства отступление их от наследия революционеров-демократов.

Главный герой повести доктор Дмитрий Чеканов потому был с таким вниманием встречен читающей публикой, что в нем лучшие люди узнавали себя — желающих принести в жертву свою жизнь и осознающих бессмысленность этой жертвы. Вересаевский герой, избитый пьяными мужиками, спасти которых от холеры он добровольно и приехал, перед смертью думает: «...да неужели же вправду это было?.. И, однако, это так: я лежу в больнице, изувеченный и умирающий: передо мною как живые стоят перекошенные злобой лица, мне слышится крик: «Бей его...» И они меня били, били. Били за то, что я пришел к ним на помощь, что я нес им свои силы, свои знания, — все... Господи, господа! Что же это, — сон ли тяжелый, невероятный, или голая правда?.. Не стыдно признаваться, — я и в эту минуту, когда пишу, плачу, как мальчик. Да, теперь только вижу я, как любил я народ и как мучительно горька обида от него.

Нужно умирать. Не смерть страшна мне: жизнь холодная и тусклая, полная бесплодных угрызений, — бог с нею! Я об ней не жалею. Но так умирать!.. За что ты боролся, во имя чего умер? Чего ты достиг своею смертью? Ты только жертва, жертва бессмысленная, никому не нужная... И напрасно все твое существо протестует против обидной ненужности этой жертвы: так и должно было быть...»

Можно добавить: так в первом крупном эпическом произведении Вересаева отразилось трагическое время конца 80-х — начала 90-х годов. Читатели сразу уловили трагический отблеск на лице доктора Чеканова, которого критика тех лет справедливо называла человеком с больной совестью и надорванным сердцем: он не хочет быть лишним, но должен быть человеком без дороги.

Удивительно, почему повесть дебютанта в «большой» литературе была опубликована Н. Михайловским в народническом «Русском богатстве». Может быть, Михайловского смирил с горькими словами молодого писателя о «глубокой пропасти» между крестьянами и Чекановым финал повести? В нем умирающий Чеканов, глядя на одну из любимых героинь Вересаева — Наташу, говорит «высокие» слова о любви к народу, необходимости поиска дороги. «...Как много в жизни хорошего, и... как хорошо умирать...» — такова последняя фраза Чеканова в повести.

Эффект достоверности изображаемых в повести событий усиливается формой дневника, в которую облек писатель свое произведение. Этот устаревший, казалось бы, прием, исчерпал свои возможности еще в эпоху Лермонтова, когда тот, создавая «Героя нашего времени», использовал в своем психологическом романе дневник лишь как один из приемов анализа внутреннего мира Печорина, подчинив форму дневника законам психологической прозы...

Исследователь В. Вересаева Ю. Фохт-Бабушкин указал на любопытный факт: собственный дневник Вересаева во время борьбы с холерой в Екатеринославе во многом совпадает с текстом «Без дороги». Но, конечно, от многочисленных бытописателей, которые правду отдельных реалий жизни считали истиной в последней инстанции, Вересаева отличало напряженное раздумье о смысле жизни, ее этических и философских корнях. Это обусловило то особое обаяние и повести и всей вересаевской прозы, — как бы незатейливой и простой, но достигающей своей «простотой» высокого уровня художественного осмысления мира.

Вышедшая в 1898 году книга «Очерки и рассказы» закрепила первый успех В. Вересаева. И, казалось, славе его предстояло расти. Но все шло не так гладко. В потоке новых литературных событий имя Вересаева как-то оставалось в тени. Такое неровное развитие отношений с читателями, когда на смену шумной славе приходит долгое затишье, и стало характерной чертой творческого пути писателя. Так дальше и протекал жизненный путь Вересаева: на смену приливам читательского интереса приходил отлив. О Вересаеве снова широко заговорили в связи с появлением рассказа «Поветрие» (1897 г.). Заговорили шумно и яростно — и особенно Н. Михайловский, который когда-то, как мы знаем, и открыл Вересаеву путь в большую литературу. Размолвку с Михайловским Вересаев воссоздал довольно полно, хотя и несколько однозначно, в своих воспоминаниях. В чем же суть расхождений между писателем и критиком? Она хорошо известна. Михайловский не мог принять поворота Наташи, любимой героини Вересаева, знакомой читателям еще по повести «Без дороги», от ее разочарования в народничестве к марксизму. В свете общей полемики Михайловского с марксизмом следует рассматривать и его резкий отзыв.

Уже в названии рассказа — «Поветрие» — отразилось точно подмеченное писателем увлечение русской интеллигенцией так называемым легальным марксизмом. Это увлечение пережил и сам Вересаев...

Далеко не каждое новое произведение писателя вызывало всеобщий или даже повышенный интерес. Исключением, конечно, было появление «Записок врача», по которым, собственно, знает Вересаева и поныне широкий круг читателей... На «Записки...» было столько печатных откликов, что в 1902 г. автор пишет свой многостраничный ответ критикам. Но за сенсационностью предельно честной исповеди героя «Записок...» было и нечто другое, что порой не могли или не хотели увидеть читатели: перед уже немолодым, опытным писателем все глубже открывался человек с его болями и страданиями. Вересаев не был гигантом литературы, который в своих произведениях от начала до конца создавал свой собственный, ни на кого не похожий художественный мир: потому он все больше, все чаще обращается к опыту Достоевского. Этот «диалог» Вересаева с Достоевским оказался неуслышанным в хоре других голосов — особенно Мережковского, молодых символистов, для которых имя Достоевского было самым упоминаемым.

«Десятилетие литературной деятельности г. Вересаева прошло как-то тихо, незаметно. Две-три газетных заметки — вот все, чем почтила родина десять лет нервной работы автора «Без дороги» и «Записок врача», — с грустью констатировала в 1904 г. «Самарская газета». Не находя причин этого «равнодушия публики», газета тем не менее подчеркивает непреходящее значение Вересаева в истории русской литературы как «поэта распутия». Неподписавшийся автор заметки так определяет художественный мир писателя: «...герои г. Вересаева никак не могут выбиться из-под власти удручающих настроений. Безверие, разочарование и порожденная ими апатия чередуются у них с жадной во что-нибудь верить и что-нибудь делать»¹. Но в конце концов в неумении Вересаева внять «новым словам», то есть новым веяниям в искусстве и жизни, видит критик причину невнимания читателей к творчеству писателя.

И действительно, десятилетний юбилей творческой работы Вересаева, отчет о котором перепечатал из «Самарской газеты» столичный журнал «Литературный вестник», совпал с выходом первого номера журнала московских символистов «Весы», чему рецензенты и «Литературного вестника» и многих других изданий уделили куда больше внимания. 1904 год принес триумф русским символистам старшего поколения (Брюсов, Бальмонт) и стал началом литературных судеб таких поэтов, как А. Блок, А. Белый, Вяч. Иванов. В их творчестве было дразнящее чувство новизны, что притягивало одних и отталкивало других читателей. Но и создавало славу... В творчестве же

¹ Цит. по: Литературный вестник, 1904. — Т. 7. — Кн. 2. — С. 101.

Вересаева все было на первый взгляд традиционно и спокойно. Даже расположенные к писателю критики не склонны были признавать художественный талант Вересаева, какую-либо его оригинальность, видя заслугу писателя лишь в связи его творчества с явлениями общественной жизни.

Безусловно, тесная связь писателя с явлениями общественной жизни — черта, присущая истинным писателям. Более того, мы по традиции с оговорками принимаем творчество художников, у которых ослаблена эта связь. Но тем не менее ставить в заслугу Вересаеву *лишь* его свойство быстро откликаться на явления текущей действительности — значит умалять силу таланта писателя. Тогда как художественная манера В. Вересаева привлекала внимание самых взыскательных читателей, например, А. Чехова, Л. Толстого. Известно, что Чехов, который вначале без особого одобрения отзывался о произведениях Вересаева, изменил отношение к писателю после выхода в свет рассказа «Лизар». В письме к А. Суворину он сообщал: «Вы читаете теперь беллетристику, так вот почитайте кстати рассказы В. В. Вересаева. Начните со второго тома, с небольшого рассказа «Лизар». Мне кажется, что Вы останетесь очень довольны. Вересаев врач, я познакомился с ним недавно; производит он очень хорошее впечатление»¹. Одобрительно отзывался о творчестве Вересаева и Л. Толстой. Издательница Толстого М. Водовозова писала Вересаеву: «Мне очень приятно сообщить Вам его отзыв о Ваших рассказах. Л. Н. недавно прочел их... Ваши рассказы ему очень понравились. Л. Н. говорил, что некоторые из них напоминают ему Тургенева, что в них столько чувства меры и красоты и видна искренняя и глубоко чувствующая душа»².

И все же какие процессы в жизни России, в эволюции интеллигенции осмыслял Вересаев?

Необычным было изображение Вересаевым деревни. Писатель сознательно рушил одну из самых трогательных идиллий русской литературы XIX века — гармонии, лада, поэзии деревни. Традиция эта, что шла от западноевропейской концепции естественного человека XVIII века, помноженная в России на идеи славянофилов, затем — народников, все больше и больше вступала в конце XIX — начале XX века в спор с жестокой реальностью... Еще не появились бунинские «Суходол» и «Деревня», в которых лирическая поэтика «Антоновских яблоч» была зачеркнута мрачными красками суровой правды, а Вересаев уже камня на камне не оставлял от этой призрачной утопии русских писателей. И в этом Вересаев, который, казалось бы, был вне влияния новых тенденций в литературе, соприкасался с урбанизмом

¹ Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма. — Т. 11. — М., 1982. — С. 231.

² Цит. по: Вересаев В. В. Собр. соч.: В 4 т. — Т. 2. — М., 1985. — С. 536—537.

русских символистов. Конечно, у Вересаева не было воспевания дисгармонической красоты города. Но не было и розовых тонов в изображении деревни.

В рассказах о деревне — «Лизар» (1899), «В степи» (1901), «В сухом тумане» (1899), «Исправилась» (1901), «Об одном доме» (1902) вставал перед читателями пугающий своей бессмысленной жестокостью, предрассудками, пороками и безысходностью мир крестьянской жизни. В центре этих рассказов стоит герой-интеллигент, который исполняет роль рассказчика. Почти сходный герой есть и в «Антоновских яблоках» Буннина, но некий разлад в его душе сопряжен с ностальгией по уходящему миру мелкопоместной жизни, где в едином опьянении от аромата антоновских яблок совмещаются мир мужика и мир дворянина-интеллигента. Вересаевский же рассказчик видит и непреодолимое разъединение между собой и крестьянами, и всеобщий разлад в мире.

«Жить, жить, — жить широкой, полной жизнью, не бояться ее, не ломать и не отрицать себя, — в этом была та великая тайна, которую так радостно и властно раскрывала природа» — как бы внушает себе восхищенный гармонией в природе рассказчик-интеллигент в конце рассказа «Лизар». Но затем его мысль возвращается к мужику Лизару, толковавшему о необходимости сокращения рождаемости: «И среди этого таинства неудержимо рвущейся вширь жизни — он, сжавшийся в себе с упорными думами о собственном сокращении!.. Царь жизни!». И это — не только о Лизаре, скорее — о человеке вообще, который как бы ломает жизнь. И фраза о «царе жизни» звучит у Вересаева не без горькой иронии.

Вересаев показывает трагическую обреченность дореволюционного крестьянского уклада. Особо это проявилось в своеобразной микроповести «Об одном доме», в которой рассказывается о нехитрой жизни и злой судьбе крестьянской семьи, которая идет по известному кругу: рождение — жизнь — смерть. Но не было у Вересаева примирения с этим водоворотом. Не было, потому что видел он: отнюдь не гармония природы, а дисгармония, противоречия земной жизни предопределили смерть, обобщенно названного Вересаевым *одного* дома. «Черные тучи клубились и вздымались над деревнею. И казалось мне — огромный темный дух наклонился над избою Афанасия. Тяжелою рукою он сдавил горло пришедшего за печкою «дворного» и душит его — медленно, спокойно и беспощадно», — таким видением заканчивается рассказ «Об одном доме».

Проста, но сурова, как мы видим, проза Вересаева о деревне. Но было ли это знаком нелюбви писателя к ней? Конечно, нет. Есть у Вересаева в рассказе «В степи» герой Никита, который встречает в пути странника. Странник добывал деньги и пропитание красивыми легендами о святых и угодниках, но когда этот врачеватель душ после

сеанса лжи стал подсчитывать свои доходы, Никита с несвойственной ему злобой избивает своего попутчика... Меньше всего Вересаев хотел походить на странника с его красивыми, но ложными словами, ему ближе была позиция Никиты, не прощающего обмана, даже возвышенного и вдохновенного, на который сознательно шли иные писатели, радеющие за народ.

Столь же суровым и трезвым было осмысление Вересаевым судьбы интеллигенции, как уже отмечалось, главной темы его творчества. Герой-интеллигент как бы цементирует все произведения писателя, так как все они построены как рассказ, как исповедь мыслящего человека... В поэзии устойчивым является понятие «лирический герой»: привычными стали словосочетания *лирический герой* Лермонтова, Некрасова, Блока и т. д. Но с полным правом можно говорить и о своеобразном лирическом герое прозы Вересаева. В нем отразились как личность писателя, так и общие черты интеллигенции конца XIX — начала XX века. Этот лирический герой, который повествует о себе и об окружающем его мире, соединяет всю прозу Вересаева в некую мозаичную панораму, которая довольно объемно отобразила определенные черты русской действительности.

Следует добавить, однако, что значительная часть прозы Вересаева написана от лица повествователя, но повествователя далеко не бесстрастного, а вовлеченного в споры, искания своих героев...

Литературоведы считают одним из главных лейтмотивов творчества А. Блока — тему пути. С таким же правом можно считать тему пути центральной и для Вересаева. Его герои-интеллигенты ищут свой путь в жизни. Это проявилось даже в названиях повестей и рассказов — «Без дороги», «На повороте», «Проездом», «Встреча», «В тупике». Даже сюжеты многих произведений начинаются с пути. Выход из пут жизни вересаевские герои видят в бегстве. Но часто путь героев Вересаева запутан и неясен. «Распоясанный, в развевающейся рубашке, Токарев шагал по колючему жнивью через межи и шел в темноту, не зная куда», — так заканчивается повесть «На повороте». Стремление к идеалу, поиск смысла жизни и реальное осознание сложности, противоречивости действительности — вот амплитуда колебаний вересаевских героев-интеллигентов.

Достоевский и Толстой — две полярных вершины русской литературы — постоянно притягивали Вересаева, еще задолго до появления его трактата «Живая жизнь». Сказалось влияние титанов литературы и на созданных Вересаевым героях. «Если в понимании человека прав Толстой, то дело, действительно, просто: нужно только вызвать на свет ту силу жизни, которая бесчисленными ключами бьет в недрах человечества. Но если прав Достоевский, — а самый факт существования его показывает, что, по крайней мере, до известной степени прав он, — то дело очень и очень не просто. В мертвых и бесплодных

недрах человечества только чуть сочатся алые струйки жизни, ничего из этих недр не вызовешь. Силу жизни человечеству предстоит еще добывать. А это — задача огромная и безмерно трудная» — такими размышлениями о человеке заканчивается первая часть «Живой жизни».

Сегодня не все можно принять в трактовке Вересаевым художественного мира Достоевского. Но когда мы читаем несколько жесткие выводы Вересаева о Достоевском («Не в этом живая жизнь, которую чувствует Достоевский. Но не от него мы узнаем, в чем же она. Он сам не знает»), то понимаем, что Вересаев «преодолевал» не столько Достоевского, сколько — себя. Поворот от Достоевского к Толстому проявился наиболее полно в итоговой для дореволюционного творчества Вересаева повести «К жизни» (1908) и в уже названном трактате «Живая жизнь». Но это не означало, что опыт Достоевского перечеркивался.

Через боль, через страдание, разочарование шел Вересаев к идее принятия жизни такой, какая она есть. Слово «жизнь» вообще звучит как лейтмотив в творчестве писателя, это слово не сходит с уст и Алеши из повести «К жизни»... После всех своих испытаний он, бредя однажды по дороге в усадьбу, встречает куст полыни, весь покрытый пылью, и этот куст как бы вступает в спор с вересаевским героем о смысле бытия: «— Да, такая жизнь бессмысленна... А вот что,— нужно жить для всех этих других полынных кустов. Прикрывать их от пыли, переманивая на себя вредных козявок...» Но когда Алеша вновь возвращается к вопросу о неминуемой смерти, тогда, как пишет Вересаев, повеяло смрадом...

В 1908 году Вересаев уже не мог довольствоваться разъяснением цельности мироздания вечным вопросом: «Зачем жизнь?» И его герой — не без некоего авторского нажима — заявляет: «...Жизнь! Жизнь! Не оскорблю я тебя, не вложу в тебя вопросов подгнивающей собственной души. Я далек от тебя, трудно различаю тебя сквозь мутный туман,— но я теперь знаю! Я знаю».

Повесть «К жизни» стала последним крупным художественным произведением Вересаева на долгие годы: он целиком ушел в работу над трактатом «Живая жизнь», где на материале Толстого, Достоевского, Ницше обратился к разработке проблем «философии жизни».

Это был в общем-то логичный путь писателя, сделавшего предметом своего исследования духовную эволюцию интеллигентного человека: от художественного метода осмысления действительности — к публицистике (записки «На японской войне») — и к литературно-философской мысли («Живая жизнь»). Следует отметить и другие произведения В. Вересаева того времени: повесть «Два конца», состоящую из двух частей («Конец Ивана Андреевича», 1899 г.; «Конец Александры Михайловны», 1903 г.), «Рассказы о японской войне» (1905 г.).

Но в каком бы ключе ни писал Вересаев, он чувствовал себя обязанным быть верным правде жизни. И эту правду он понимал по-своему, отлично, например, от Андреева. И тот и другой откликнулись на события русско-японской войны своими произведениями. Но Вересаев не мог принять знаменитый «Красный смех» Андреева.

Как вспоминал позже Вересаев, «Красный смех», который он и его товарищи читали под гром орудий, вызывал смех. «Красный смех» — произведение большого художника-неврастеника, больно и страстно пережившего войну через газетные корреспонденции о ней», — таков вывод Вересаева. Сам же он, мобилизованный на войну, хорошо знал ее. Конкретное знание жизни было необходимо писателю.

Вообще поэтика всего творчества Вересаева — поэтика конкретики, в ней органично сочетаются элементы публицистики и художественности. И в пестром хоре голосов писателей начала XX века голос Вересаева был, несомненно, необходим. Не случайно именно Вересаев в 1912 году — в центре литературной жизни: возглавляет созданное им книгоиздательство писателей в Москве, которое объединило писателей реалистического направления. После Октябрьской революции Вересаев принимает активное участие в культурной жизни страны, работает в Наркомпросе, редактирует художественный отдел одного из лучших журналов тех лет — «Красная новь», избирается председателем Всероссийского союза писателей.

В 20-е годы Вересаев возвращается к своему любимому жанру — рассказу: в «Состязании», «Собачьей улыбке» он снова обращается к излюбленной теме — судьбе художника, творца.

Писателю было суждено пережить еще один взлет своего художественного таланта. Речь идет о романе 1923 г. «В тупике», который, наряду с «Белой гвардией» М. Булгакова, «Сестрами» А. Н. Толстого, отразил сложные искания интеллигенции в революции.

Но это уже иная тема, которая требует специального разговора... Точно так, как особого внимания заслуживают литературоведческие работы Вересаева «Пушкин в жизни», «Гоголь в жизни». Отметим только, что Вересаев играл заметную роль в становлении советской литературы.

«Раненая совесть» — так, мы знаем, отозвался современник о писателе. И таким он остался, несмотря на срывы, которые его еще не раз ожидали на протяжении долгой творческой жизни.

О. А. Клинг

БЕЗ ДОРОГИ

Часть первая

20 июня 1892 года. С-цо Касаткино.

Теперь уже три часа ночи. В ушах звучат еще веселые девические голоса, сдерживаемый смех, шепот... Они ушли, в комнате тихо, но самый воздух, кажется, еще дышит этим молодым, разжигающим весельем, и невольная улыбка просится на лицо. Я долго стоял у окна. Начинало светать, в темной, росистой чаще сада была глубокая тишина; где-то далеко, около риги, лаяли собаки... Дунул ветер, на вершине липы обломился сухой сучок и, цепляясь за ветви, упал на дорожку аллеи; из-за сарая потянуло крепким запахом мокрого орешника. Как хорошо! Я стою и не могу насмотреться; душа через край переполнена тихим, безотчетным счастьем.

И грудь вздыхает радостней и шире,
И вновь кого-то хочется обнять...

Кругом все так близко знакомо,— и очертания деревьев, и соломенная крыша сарая, и отпряженная бочка с водой под липами. Неужели я целых три года не был здесь? Я как будто видел все это вчера. А между тем как долго шло время!..

Да, мало чего хорошего вспомнишь за эти прожитые три года. Сидеть в своей раковине, со страхом озираться вокруг, видеть опасность и сознавать, что единственное спасение для тебя — уничтожиться, уничтожиться телом, душою, всем, чтоб ничего от тебя не осталось... Можно ли с этим жить? Невесело сознаваться, но я именно в таком настроении прожил все эти три года.

«Зачем я от времени зависеть буду? Пускай же лучше оно зависит от меня». Мне часто вспоминаются эти гордые слова Базарова. Вот были люди! Как они верили в себя! А я, кажется, настоящим образом в одно только и верю,— это именно в неодолимую силу времени. «Зачем я от времени зависеть буду!» Зачем? Оно не отве-

чает: оно незаметно захватывает тебя и ведет куда хочет; хорошо, если твой путь лежит туда же, а если нет? Сознавай тогда, что ты идешь не по своей воле, протестуй всем своим существом,— оно все-таки делает по-своему. Я в таком положении и находился. Время тяжелое, глухое и сумрачное со всех сторон охватывало меня, и я со страхом видел, что оно посягает на самое для меня дорогое, посягает на мое миросозерцание, на всю мою душевную жизнь... Гартман говорит, что убеждения наши — плод «бессознательного», а ум мы к ним лишь подыскиваем более или менее подходящие основания; я чувствовал, что там где-то, в этом неуловимом «бессознательном», шла тайная, предательская, неведомая мне работа и что в один прекрасный день я вдруг окажусь во власти этого «бессознательного». Мысль эта наполняла меня ужасом: я слишком ясно видел, что правда, жизнь — все в *моем* миросозерцании, что если я его потеряю, я потеряю все.

То, что происходило кругом, лишь укрепляло меня в убеждении, что страх мой не напрасен, что сила времени — сила страшная и не по плечу человеку. Каким чудом могло случиться, что в такой короткий срок все так изменилось? Самые светлые имена вдруг потускнели, слова самые великие стали пошлыми и смешными; на смену вчерашнему поколению явилось новое, и не верилось, неужели *эти* — всего только младшие братья вчерашних? В литературе медленно, но непрерывно шло общее заворачивание фронта, и шло вовсе не во имя каких-либо новых начал,— о, нет! Дело было очень ясно: это было лишь ренегатство,— ренегатство общее, массовое и, что всего ужаснее, бессознательное. Литература тщательно оплевывала в прошлом все светлое и сильное, но оплевывала наивно, сама того не замечая, воображая, что поддерживает какие-то «заветы»; прежнее чистое знамя в ее руках давно уже обратилось в грязную тряпку, а она с гордостью несла эту опозоренную ею святыню и звала к ней читателя; с мертвым сердцем, без огня и без веры, говорила она что-то, чему никто не верил...

Я с пристальным вниманием следил за всеми этими переменами; обидно становилось за человека, так покорно и бессознательно идущего туда, куда его гонит время. Но при этом я не мог не видеть и всей чудовищной уродливости моего собственного положения: отчаянно

стараясь стать *выше времени* (как будто это возможно!), недоверчиво встречая всякое новое веяние, я обрекал себя на мертвую неподвижность; мне грозила опасность обратиться в совершенно «обессмысленную щепку» когда-то «победоносного корабля». Путаясь все больше в этом безвыходном противоречии, заглушая в душе горькое презрение к себе, я пришел наконец к результату, о котором говорил: уничтожиться, уничтожиться совершенно — единственное для меня спасение.

Я не бичую себя, потому что тогда непременно начнешь лгать и преувеличивать; но в этом-то нужно сознаться, — что такое настроение мало способствует уважению к себе. Заглянешь в душу, — так там холодно и темно, так гадко-жалок этот бессильный страх перед окружающим! И кажется тебе, что никто никогда не переживал ничего подобного, что ты — какой-то странный урод, выброшенный на свет теперешним странным, неопределенным временем... Тяжело жить так. Меня спасала только работа; а работы мне, как земскому врачу, было много, особенно в последний год, — работы тяжелой и ответственной. Этого мне и нужно было; всем существом отдаться делу, *наркотизироваться* им, совершенно забыть себя, — вот была моя цель.

Теперь служба моя кончилась. Кончилась она неожиданно и довольно характерно. Почти против воли я стал в земстве каким-то *enfant terrible*¹; председатель управы не мог равнодушно слышать моего имени. Подоспел голодный тиф; я проработал на эпидемии четыре месяца и в конце апреля свалился сам, а когда поправился... то оказалось, что во мне больше не нуждаются. Дело сложилось так, что я *должен* был уйти, если не хотел, чтоб мне плевали в лицо... Э, да что вспоминать! Я взял отставку и вот приехал сюда. Забыть все это!..

Большая зала старинного помещичьего дома; на столе кипит самовар; висячая лампа ярко освещает накрытый ужин, дальше, по углам комнаты, почти совсем темно; под потолком сонно гудят и жужжат стаи мух. Все окна раскрыты настежь, и теплая ночь смотрит в них из сада, залитого лунным светом; с реки слабо доносятся женский смех и крики, плеск воды.

Мы ходим с дядей по зале. За эти три года он сильно постарел и растолстел, покрякивает после каждой

¹ *Буквально: ужасный ребенок; здесь — человек, позволяющий себе то, на что другие не отваживаются (фр.).*

фразы, но радушен и говорлив по-прежнему; он рассказывает мне о видах на урожай, о начавшемся покосе. Сильная, румяная девка, с платочком на голове и босая, внесла шипящую на сковороде яичницу; по дороге она отстранила локтем полузакрытую дверь; стан мух под потолком всколыхнулись и загудели сильнее.

— А вот у нас одно есть, чего у вас нету, — сказал дядя, улыбаясь и смотря на меня своими выпуклыми близорукими глазками.

— Что это? — спросил я, сдерживая улыбку.

— Мухи!

Когда я еще студентом приезжал сюда на лето, дядя каждый раз слово в слово делал это же замечание.

Тетя Софья Алексеевна воротилась с купанья; еще за две комнаты слышен ее громкий голос, отдающий приказания.

— Палашка! возьми простыню, повесь на дверь в спальне! Да зовите мальчиков к ужину, где они?.. Котлеты подавайте, варенец, сливки с погребам... Скорей! Где Аринка? А, яичницу уже подали, — говорит она, торопливо входя и садясь к самовару. — Ну, господа, чего же вы ждете? Хотите, чтоб остыла яичница? Садитесь!

Софья Алексеевна одета в старую синюю блузу, ее лицо сильно загорело, и все-таки она всем своим обликом очень напоминает французскую маркизу прошлого столетия; ее поседевшие волосы, пушистою каймою окружающие круглое лицо, выглядят как напудренные.

— А как же? Разве без барышень можно? — спросил дядя.

— Можно, можно! Пускай не опаздывают!

— Нет, это нельзя. Как же ты нас заставляешь нарушить рыцарский кодекс?

— Да ну, будет тебе! Ведь Митя голоден с дороги. Тоже — рыцарь! — сказала Софья Алексеевна с чуть заметной усмешкой.

— Ну, нечего делать: приказано, так надо слушаться. Что ж, сядем, Дмитрий? Вот выпьем водочки — и за яичницу примемся.

Он поставил рядом две рюмки и стал наливать в них из графинчика полыновку.

— А как водка будет по-латыни — aqua vitae? — спросил он.

— Да.

— Гм! «Вода жизни»...— Дядя несколько времени в раздумье смотрел на наполненные рюмки.— А ведь остроумно придумано! — сказал он, вскидывая на меня глазами, и засмеялся дребезжащим смехом.— Ну, будь здоров!

Мы чокнулись, выпили и принялись за еду.

— Где же, однако, барышни наши? — спросил дядя, с аппетитом пережевывая яичницу.— Я беспокоюсь.

— Ешь яичницу и не беспокойся. Барышни наши уж выкупались,— отвечала тетя.

В саду под окнами раздались голоса, стеклянная дверь балкона звякнула и распахнулась.

— Ну, вот тебе и барышни наши: слава богу, за полверсты слышно.

Они шумно вошли в залу. Лица их после купанья свежи и оживленны, темные волосы Наташи влажны, и она длинным покрывалом распустила их по спине. Дядя увидел это и пришел якобы в негодование.

— Наташа, что это значит, что у тебя волосы распущены?

— Я ныряла,— быстро ответила она, садясь к столу.

— Так что ж такое?

— Соня, передай ветчину... Ну, так вот нужно, чтоб волосы просохли.

— Зачем это нужно? — изумленно спросил дядя и юмористически поднял брови.— Нет, взрослым девицам вовсе не подобает ходить с распущенными волосами! — сказал он, качая головой.

Но поучение его пропало даром; все были заняты едой и, удерживаясь от смеха, трунили почему-то над Лидой. Лида краснела и хмурилась, но когда Соня, проговорив: «Спасайся, кто может!» — вдруг прорвалась хохотом, то и Лида рассмеялась.

— Что это вы, Лида, в большой опасности находились? — вполголоса спросил я, невольно и сам улыбаясь.

Наташа быстро взглянула на меня и незаметно повела взглядом на отца: значит, здесь тайна, которую мне объяснят потом.

— А что же ты, Дмитрий, макарон к котлетам не взял? — спохватился дядя.— Дай я тебе положу.

Он наложил мне в тарелку макарон.

— У итальянцев макароны — самое любимое кушанье,— сообщил он мне.

Очень радушный хозяин дядя, но, признаться, скуч-

новато сидеть между «большими», и, право, я давно знаю, что итальянцы любят макароны.

Пришли и мальчики. Миша — пятнадцатилетний сильный парень с мрачным насупленным лицом — молча сел и сейчас же принялся за яичницу. Петька двумя годами моложе его и на класс старше; это крепыш невысокого роста, с большой головой; он пришел с книгой, сел к столу и, подперев скулы кулаками, стал читать.

— Ну, Митечка, рассказывай же, что ты это время подельвал, — сказала Софья Алексеевна, кладя мне руку на локоть.

Наташа подняла было голову и в ожидании устремила на меня глаза. Но мне так не хочется рассказывать...

— Ей-богу, тетя, ничего нет интересного; служил, лечил — вот и все... А скажите, — я сейчас через Шеметово ехал, — кто это там за околицей новую мельницу поставил?

— Да это же Устин наш, разве ты не знал? Как же, как же! Уже второй год работает мельница...

И начался длинный ряд деревенских новостей. В зале уютно, старинные, засиженные мухами часы мерно тикают, в окна светит месяц... Тихо и хорошо на душе. Все эти девчурки-подростки стали теперь взрослыми девушками; какие у них славные лица! Что-то представляет собою моя прежняя «девичья команда»? Так называла их всех Софья Алексеевна, когда я студентом приезжал сюда на лето...

С конца стола донесся ярый рев, от которого все вздрогнули.

— Что такое? — грозно крикнула тетя. — Кто это там?

— Это я! — торжественно объявил Петька.

— Ну, конечно, так и есть: кому же еще? Я тебе, дрянь мальчишка!

— Это я читать кончил, — объяснил Петька.

Дядя поднял голову и, словно только что проснулся, повел кругом глазами.

— Э... э... Что это? — спросил он, побрякивая. — Должно быть, Петька опять дикие звуки испускает, а?

Ему никто не ответил. Он крякнул и подложил себе в чай сахару. Петька сидел, развалясь на стуле, и широко ухмылялся.

— Крик могучий, крик пернатый... я в своем сердце ощутил... Крик ужасный, крик... неясный... я из себя испустил... Кхе-кхе-кхе! Как хорошо вышло!

И, совершенно довольный, Петька придвинул к себе тарелку и стал накладывать творогу. Кругом смеялись, а он старательно разминал ложкою творог с сахаром, как будто не о нем совсем шло дело.

Чай отпили.

— А что, Вера Николаевна, усладите вы сегодня наш слух своею музыкой? — спросил дядя.

Вера, племянница Софьи Алексеевны, — стройная, худощавая блондинка с матово-бледным лицом и добрыми глазами; она собирается осенью ехать в консерваторию, и говорят, у нее действительно есть талант.

— Да, да, Вера, — сказал я. — Сыграйте-ка что-нибудь после ужина; я в Пожарске столько слышал о вашем таланте.

Вера встрепелась.

— Ах, господи! Митя, я вам наперед говорю: если вы такие вещи говорить будете, я н-ни за что не стану играть!

— Да не беспокойтесь, пожалуйста, я вот сначала послушаю. Очень может быть, что после этого и не стану говорить.

Дядя засмеялся и встал из-за стола.

— Ну, кажется, все уже кончили. Докажите ему, Вера Николаевна, что и Пожарск может собственных Невтонов рождать!

Все перешли в гостиную. Вера села за рояль, быстро пробежала рукой по клавишам и с размаху сильно ударила пальцем в середине клавиатуры.

— Что же вам сыграть? — спросила она, повернув ко мне голову.

— Это всегда так знаменитые музыканты начинают! — почтительно произнес Петька и ткнул указательным пальцем в Верин палец, нажимавший клавишу.

— Да ну, Петя, будет! — рассмеялась она, стряхивая его руку.

Тетя отогнала Петьку от рояля.

Я попросил играть Бетховена. Наташа широко распахнула двери балкона. Из сада потянуло росой и запахом душистого тополя; в акации шелкал запоздалый соловей, и его песня покрылась громкими, дико оригинальными бетховенскими аккордами. В зале, при свете маленькой лампочки, убирали чай. Дядя сопел на диване и слушал, выкатив глаза.

Я мало понимаю в музыке; я даже не мог бы ска-

зять, горе или радость выражены в сонате, которую играла Вера; но что-то накипает на сердце от этих чудных, непонятных звуков, и хорошо становится. Вспоминается прошлое; многое в нем кажется теперь чуждым и странным, как будто это другой кто жил за тебя. Я мучился тем, что нет во мне живого огня, я работал, горько смеясь в душе над самим собою... Да полно, прав ли я был? Все жили спокойно и счастливо, а я ушел туда, где много горя, много нужды и так мало поддержки и помощи; знают ли они о тех лишениях, тех нравственных муках, которые мне приходилось там терпеть? А я для этого сознательно отказался от довольной и обеспеченной жизни... И принес я с собой оттуда лишь одно,— неизлечимую болезнь, которая сведет меня в могилу.

Вера играла. Ее бледное лицо смотрело сосредоточенно, только в углах губ дрожала лукавая улыбка; пальцы тонких, красивых рук быстро бегали по клавишам. О да! Теперь бы и я мог уверенно сказать: сколько задорного молодого счастья в этих звуках! Они знать не хотят никакого горя: чудно хороша жизнь, вся она дышит красотой и радостью; к чему же выдумывать себе какие-то муки?.. Вершины тополей, освещенные месяцем, каждым листиком вырисовывались в прозрачном воздухе; за рекою, на склоне горы, темнели дубовые кусты, дальше тянулись поля, окутанные серебристым сумраком. Хорошо там теперь. Дядя по-прежнему сопел, понурился голову. Дремлет ли он, или слушает?

Ко мне неслышно подошла Наташа.

— Митя, пойдем мы сегодня гулять? — шепотом спросила она, близко наклонившись и блестя глазами.

— Конечно! — тихо ответил я.— А что, вам еще и теперь не позволяют гулять по вечерам?

Наташа с улыбкой наклонила голову, указала взглядом на отца и отошла.

Пальцы Веры с невозможною быстротою бегали по клавишам; бешено-веселые звуки крутились, захватывали и шаловливо уносили куда-то. Хотелось смеяться, смеяться без конца, и дурачиться, и радоваться тому, что ты молод. Раздались громовые заключительные аккорды. Вера опустила крышку рояля и быстро встала.

— Славно, Вера, ей-богу, славно! — воскликнул я, обеими руками крепко пожимая ее руки и любуясь ее счастливо улыбающимся лицом.

Дядя поднялся с дивана и подошел к нам.

— Вера Николаевна своей музыкой, как Орфей в аду... укрощает камни...— любезно сказал он.

— Именно, именно, камни укрощает! — с мальчишеским чувством подхватил я.— За вашу музыку я вас сегодня гулять с собой возьму,— шутливо шепнул я ей.

— Благодарю! — ответила она улыбаясь.

Дядя зевнул и вынул часы.

— Ого! Уже скоро одиннадцать!.. Пора и на боковую. Как ты думаешь, Дмитрий? В деревне всегда надо рано ложиться и рано вставать. Покойной ночи!.. Как это? э... э... *Leben Sie wohl, essen Sie Kohl, trinken Sie Bier, lieben Sie mir!*¹ Ххе-хе-хе-хе!— Дядя засмеялся и протянул мне руку.— Немцы без *бира* никогда не обойдутся.

Он простился и ушел. Я стал перелистывать лежавшую на столе «Ниву»; остальные тоже делали вид, что чем-то заняты. Тетя окинула всех нас взглядом и засмеялась.

— Ну, Митя, вы, я вижу, гулять собираетесь! — сказала она, лукаво грозя пальцем.

Я расхохотался и захлопнул «Ниву».

— Тетя, посмотрите, какая ночь!

— Да, Митечка, ведь ты же больше суток в дороге был! Ну, где тебе еще гулять?

— Речь тут не обо мне, тетя...

— Стал ты доктором, а, право, все такой же, как прежде...

— Ну, значит, позволяете! — заключил я.— А мальчиков можно с собой взять?

— Э, да уж идите все! — махнула она рукой.— Только, господа, потише, чтоб папка не слышал, а то буря будет... Я велю вам в зале кринку молока оставить: может быть, проголодаетесь... Прощайте! Счастливого пути!

Мы спустились в сад.

— Ну что же, господа, на лодке поедем? — шепотом спросил я.

— Конечно, на лодке!.. В Грёково,— быстро сказала Наташа.— Ах, Митя, ночь какая! Прогуляем сегодня до утра?..

Все были как-то особенно оживлены — даже полная,

¹ Живите хорошо, ешьте капусту, пейте пиво, любите меня!.. (Немецкая поговорка.)

сонливая Соня, старшая сестра Наташи. Мы свернули в темную боковую аллею; в ней пахло сыростью, и свет месяца еле пробивался сквозь густую листву акаций.

— Вот, Митя, потеха была сегодня! — смеясь, заговорила Наташа. — Выкупались мы перед ужином и переехали в лодке на ту сторону; возвратились назад, — я весла выбросила на берег, выпрыгнула сама и нечаянно ногою оттолкнула лодку. Лида сидела на корме, — вдруг как вскочит: «Ах, господи-батюшки! Спасайся, кто может!» — и как была одетая, — в воду!

— Я испугалась: как бы мы без весел к берегу подъехали? — краснея, стала оправдываться Лида, сестра Веры.

Странная эта Лида: молчаливая и застенчивая, она краснеет при самом незначительном обращенном к ней слове.

— И вся, вся замочилась, выше пояса! — хохотала Наташа. — Пришлось сбегать домой, принести ей сухое платье.

— «Спасайся, кто может!» Ххо-ххо-ххо! — в восторге засмеялся Петя и обеими руками крепко обнял Лиду за талию.

— Да ну, Петька, пошел прочь! — с досадой сказала Лида. — Вешается ко всем.

— Ах, Лида, Лида! За что ты меня ожесточаешь? — меланхолически произнес Петька. — Если бы ты могла знать чувства мужского сердца!

— Ну, Петька! Шут! — лениво засмеялась Соня.

Аллея кончалась калиточкой. За нею по косоугору спускалась к реке узенькая тропинка. Наташа неожиданно положила руки на плечи Веры и вместе с нею быстро побежала под гору.

— Ай!.. Ната-а-аша!!! — закричала Вера, испуганно смеясь и стараясь остановиться. Петька помчался следом за ними.

Когда мы сошли к реке, Вера, обессиленная от смеха и усталости, сидела на лавочке под черемухой и, свесив голову, громко, протяжно охала. Петька сидел рядом и тоже старательно охал.

— Да ну, Петя... Ради бога!.. Ох! — стонала она, хватаясь за грудь. — Будет!.. Ох, не могу!.. О-о-ох!

— О-о-ох! — вторил Петька.

Вера морщилась и бессильно махала руками, и все-таки смеялась.

— Ну, Верка, размякла совсем! — презрительно сказала Наташа, стоя на корме лодки. — Настоящая рыба!

— Господа! Ведь нас не только в доме, а и в Санине слышно, — запротестовал я.

— Ну, садитесь скорей в лодку, а то мы одни уедем! — крикнула Наташа.

— О-ох, Наташа, Наташа! — вздохнула Вера, поднимаясь и еле бредя к лодке. — Что ты со мною делаешь!

— Да ну же, садитесь скорей! — повторила Наташа, нетерпеливо раскачивая лодку.

Мы с Мишей сели за весла; Вера, Соня, Лида и Петька разместились в середине, Наташа — у руля. Лодка, описав полукруг, выплыла на середину неподвижной реки; купальня медленно отошла назад и скрылась за выступом. На горе темнел сад, который теперь казался еще гуще, чем днем, а по ту сторону реки над лугом высоко в небе стоял месяц, окруженный нежно-синей каймою.

Лодка шла быстро; вода журчала под носом; не хотелось говорить, отдавшись здоровому ощущению мускульной работы и тишине ночи. Меж деревьев всем широким фасадом выглянул дом с белыми колоннами балкона; окна везде были темны: все уже спят. Слева выдвинулись липы и снова скрыли дом. Сад исчез назад; по обе стороны тянулись луга; берег черною полосой отражался в воде, а дальше по реке играл месяц.

— Ах, какая чудная луна! — томно вздохнула Вера. Соня засмеялась.

— Вот, смотри, Митя, она всегда такая: просто не может равнодушно видеть месяца. Раз мы с нею шли в Пожарске через мост; на небе луна — тусклая, ничего хорошего; а Вера смотрит: «Ах, великолепная луна!..» Такая сентиментальная!

— Сентиментальная! А вот Наташа только что говорила, что я — рыба. Разве рыбы бывают сентиментальные? — спросила Вера с своею медленною и доброю улыбною.

— Отчего же нет? Высунула рыба нос из воды, смотрит на луну: «Ах, ах! — великолепная луна!»

Соня сострила неожиданно для себя и залилась смехом. Я сложил весла и передохнул.

— Господа, давайте голоса ночи слушать, — предложила Наташа. — Миша, брось весла.

Лодка медленно проплыла несколько аршин, посте-

пенно заворачивая вбок, и наконец остановилась. Все притихли. Две волны ударились о берега, и поверхность реки замерла. С луга тянуло запахом влажного сена, в Санине лаяли собаки. Где-то далеко заржала лошадь в ночном. Месяц слабо дрожал в синей воде, по поверхности реки расходились круги. Лодка повернула боком и совсем приблизилась к берегу. Дунул ветер и слабо зашелестел в осоке, где-то в траве вдруг забились муха.

Я закурил папиросу и стал держать горящую спичку над водой. Из черной глубины быстро вынырнула рыба, оторопело уставилась на огонь выпученными, глупыми глазами и, вильнув хвостом, юркнула назад. Все рассмеялись.

— Как Вера на луну! — сказала Лида, лукаво дрогнув бровью.

Все засмеялись сильнее, а Лида покраснела.

— Ну, господа, дальше можно ехать, — сумрачно проговорил Миша, все время зевавший. Он снова взялся за весла.

Наташа перебралась с кормы на середину лодки.

— Митя, расскажи, за что тебя со службы выгнали, — сказала она, с детскою ласкою заглядывая мне в глаза.

— За что выгнали? О, голубушка, это история долгая...

— Ну, все-таки расскажи!..

Я стал рассказывать. Все теснее сдвинулись вокруг. Между прочим, рассказал я и о своей первой стычке с председателем, после которой я из «преданного своему делу врача» превратился в «наглого и неотесанного фрондера»; приехав в деревню, где был мой пункт, принципал прислал мне следующую *собственноручную* записку: «Председатель управы желает видеть земского врача Чеканова; обедает у князя Серпуховского». Ну я ему на обратной стороне его записки ответил: «Земский врач Чеканов не желает видеть председателя управы и обедает у себя дома».

Все рассмеялись.

— Что же он? — быстро спросила Наташа.

— Да ничего. Ответа моего он никому не мог показать, потому что тогда бы прочли и его письмо; ну, а так врачу не пишут.

— Я не понимаю, Митя, как можно было так ответить, — сказала Вера. — Ведь он же ваш начальник?

— Да ну, Вера! Всегда вот такая! — нетерпеливо повела Наташа плечами. — Так что ж такое?

— Как — что ж такое? Вот из-за этого Митя потерял место. Хорошо еще, что он неженатый человек.

— Голубушка, Вера, и женатые отказывались от мест, — сказал я. — Читали вы в газетах о саратовской истории? Все врачи, как один человек, отказались. А нужно знать, какие это горькие бедняки были, многие с семьями, — подумать жутко!

Мы несколько времени плыли молча.

— Свобода вероисповедания... — задумчиво произнес Петька.

— К чему ты это сказал? — с усмешкою спросила Соня.

Петька помолчал.

— К чему я это, правда, сказал? — проговорил он с недоумевающей улыбкой. — А все-таки есть смысл.

— Какой же?

— Го-го!.. Какой! Свобода вероисповедания, — из-за нее в средние века сколько войн происходило.

— Ну так что ж?

— Ну так вот.

Я снова сел за весла. Лодка пошла быстрее. Наташа лихорадочно оживилась; она вдруг охватила обеими руками Веру и, хохоча, стала душить ее поцелуями. Вера крикнула, лодка накренилась и чуть не зачерпнула воды. Все сердито напали на Наташу: она, смеясь, села на корму и взялась за руль.

— Господи, вот сумасшедшая девчонка! Я так испугалась! — говорила Вера, оправляя прическу.

— Скорей, господа, скорей гребите! — говорила Наташа, откидывая распущенные волосы за спину.

Лодка вдруг с шуршащим шумом врезалась в тростник; нас обдало острым запахом аира, его початки закачались и раздались в стороны.

— Сильней гребите, сильней! — смеялась Наташа, нетерпеливо топая ногами. Весла путались в упругих корнях аира, лодка медленно двигалась вперед, окруженная сплошной стеною мясистых, острых, как иглы, стеблей. — Ну вот приехали! Вылезайте!

— Спорить трудно: действительно приехали! — засмеялся я.

Вера переглянулась с Лидой.

— Одн-нако! Довольно-таки по-суворовски! — сказала она, поднимаясь.

— Ничего! Суворов был умный человек. Вылезай! Я вас в грёбовской роще ужином накормлю.

— Да, если так, то... Ай, Наташа, осторожнее! Не качай лодку!

Мы вышли на берег. Спуск весь зарос лозняком и тальником. Приходилось прокладывать дорогу сквозь чащу. Миша и Соня недовольно ворчали на Наташу; Вера шла покорно и только охала, когда оступалась о пенек или тянущуюся по земле ветку. Петька зато был совершенно доволен: он продирался сквозь кусты куда-то в сторону, вдоль реки, с величайшим удовольствием падал, опять поднимался и уходил все дальше.

— Не стоните, тут сейчас тропинка должна быть,— сказала Наташа.

Она остановилась и, подобравши волосы, широким узлом заколола их на затылке.

— Ах, Митя, если бы ты знал, как я рада, что ты приехал! — вдруг вполголоса сказала она и с быстрой, радостной улыбкой взглянула на меня из-под поднятой руки.

— Эй, вы... акафисты! — донесся из-за кустов голос Петьки.— Идите сюда: тропинка!

— Ну, слава богу! — облегченно вздохнула Соня, и все повернули на голос.

Мы поднялись по тропинке вверх. Над обрывом высились три молодых дубка, а дальше без конца тянулась во все стороны созревшая рожь. Так и пахло в лицо теплом и простором. Внизу слабо дымилась неподвижная река.

— Ох, устала! — проговорила Вера, опускаясь на траву.— Господа, я не могу дальше идти, нужно отдохнуть... Ох! Садитесь!..

— Фу ты, безобразие! Как старуха, охает! — сказала Наташа.— Сколько раз ты сегодня охнула?

— Старость приходит, о-ох!..— вздохнула Вера и засмеялась.

Опершись на локоть, она закинула голову кверху и стала смотреть в небо. Мы все тоже сели. Наташа стояла на самом краю обрыва и смотрела на реку.

Ветер слабо дул с запада; кругом медленно волновалась рожь. Наташа повернулась и подставила лицо навстречу ветру.

— Господи!.. Наташа, смотри, где ты стоишь! — испуганно вскрикнула Вера.

Край обрыва надтреснул, и Наташа стояла на земляной глыбе, нависшей над берегом. Наташа медленно посмотрела под ноги, потом на Веру; задорный бесенок глянул из ее глаз. Она качнулась, и глыба под нею дрогнула.

— Наташа, да сойди же сию минуту, — волновалась Вера.

— Ну, Верка, не сентиментальничай! — засмеялась Наташа, раскачиваясь на колыхавшейся глыбе.

— Ах, господи, бешеная девчонка!.. Наташа, ну ради бо-ога!..

— Наташа, да ты вправду с ума сошла! — воскликнул я, поднимаясь.

Но в это время глыба сорвалась, и Наташа вместе с нею рухнула вниз. Вера и Соня истерически вскрикнули. Внизу затрещали кусты. Я бросился туда.

Наташа, оправляя платье, быстро выходила из кустов на тропинку. Одна щека ее разгорелась, глаза ярко блестели.

— Ну, можно ли, Наташа, так?! Что, ты больно ушиблась?

— Да ничего же, Митя, что ты! — ответила она, вспыхнув.

— Не может быть ничего: с этакой высоты!.. Эх, Наташа! Если ушиблась, так скажи же.

— Ах, Митя, какой ты чудак! — рассмеялась она. — Ну что это — из-за каждого пустяка такую тревогу подымать.

Она быстро стала подниматься по тропинке вверх.

— Это бог знает что такое! — сердито встретила ее Соня. — Право, ведь всему есть мера. Этакая глупость!.. Недоставало, чтобы ты себе сломала ногу.

Наташа широко раскрыла глаза и медленно спросила:

— Кому до этого дело?

— Ах, господи! — всплеснула Вера руками. — Вот меня всегда в таких случаях возмущает Наташа!.. «Кому дело!» Папе и маме твоим дело, нам всем дело!.. Как это так всегда, постоянно и постоянно о себе одной думать!

— Всегда, постоянно и постоянно... — благоговейно повторил Петька и задумался, словно стараясь вникнуть в глубокий смысл этих слов.

— Ну, ну *просто* — постоянно! — улыбнулась Вера. Петька захихикал.

— Всегда, постоянно и постоянно! Как хорошо выходит: всегда, постоянно... и постоянно!

— Ну, господа, довольно сидеть! Идем дальше! — сказала Наташа. — Вот так, прямо через рожь, всего полверсты будет до рощи.

— О Петя, Петя! Всегда-то ты меня обижаешь! — вздохнула Вера, опираясь о его широкое плечо и поднимаясь.

Мы пошли через рожь по широкой меже, заросшей польнюю и полевой рябинкой.

— Вот и дома тоже: когда я рассержусь, я начинаю говорить очень неправильно, — сказала Вера. — И мальчики сейчас этим пользуются.

— Вера, неужели вы тоже умеете сердиться? — удивленно спросил я.

— О, да еще как! — улыбнулась она. — Только мальчики совсем не боятся. Я заговорю, скажу что-нибудь, — они сейчас подхватят, я и рассмеюсь. Особенно Саша, — он такой остроумный; и у него совсем какой-то особенный юмор.

Вера начала рассказывать о своих братьях. Знала она их удивительно: столько в ее рассказах сказалось наблюдательности, столько любви и тонкого психологического чутья, что я слушал с действительным интересом. Остальные довольно недвусмысленно выражали желание переменить разговор.

— Ну, ну, я сейчас кончу! — торопливо возражала Вера и продолжала рассказывать без конца.

Вдруг в темноте раздался звонкий подзатыльник, что-то охнуло, и Петька кубарем покатился в рожь.

— Дурак! — послышалось из ржи.

Миша гневно крикнул:

— Я тебе еще не так влеплю, дрянь!

Петька вышел на межу и стал счищать с себя пыль.

— Думает, что сильнее, старший братец, так может что хочет делать! — сердился он.

— Да в чем дело? Миша, за что ты его? — спросила Соня.

— Черт знает что такое! Иду, — вдруг он меня за нос хватает!.. Попробуй-ка еще раз!

— А я почем знал, что это твой нос? Ты бы сказал. А то я вижу, морква какая-то торчит — длинная, мокрая... Мне, конечно, интересно.

— Глупо-с, Петенька! — ядовито заметил Миша.

— Слизкая такая, холодная...

Кругом смеялись. Петька был отомщен. Миша презрительно процедил:

— Шут гороховый!

— О-о-о-хо-хо! — глубоко вздохнул Петька, подтянул брюки и огляделся по сторонам. — У Наташи в глазах две курсистки сидят, — объявил он. — В каждом глазу по курсистке: одна в очках, другая без очков.

— Ну, оставь, Петя! — недовольно остановила Наташа.

— А ты разве на курсы собираешься? — быстро спросил я.

— Н-нет... не знаю, — ответила она и взглянула вперед. — Вот она, грёковская роща!

Средь светлой ржи, отлого тянувшейся вниз, широкою, неправильною полоскою вилась грёковская лощина; на склоне ее, вся залитая лунным светом, темнела небольшая осиновая роща.

Лощинка была уже выкошена. Ручей, густо заросший тростником и резикой, сонно журчал в темноте; под обрывом близ омута что-то однообразно, чуть слышно пищало в воде. Из глубины лощины тянуло влажным, пахучим холодком.

Мы перебрались через ручей и вошли в рощу. В середине ее была сажалка, вся сплошь зацветшая. Наташа спустилась к самому ее берегу и из глубины развесистого липового куста достала небольшой холстинковый мешочек.

— Господа, костер нужно будет разводить! Вот вам ужин, — с торжеством заявила она.

В мешочке оказалось десятка три сырых картофелин, четыре ржаных лепешки и соль. Все расхохотались.

— Откуда это у тебя тут?

— Очень просто: я часто хожу сюда читать; проголодаюсь, — разведу костер, спеку картофелю и позавтракаю.

— Г-ге-ге! это нужно вперед знать, — сказал Петька, почесав за ухом.

Все рассыпались по роще, ломая для костра нижние сухие сучья осин. Роща огласилась треском, говором и смехом. Сучья стаскивались к берегу сажалки, где Вера и Соня разводили костер. Огонь запрыгал по трещавшим сучьям, освещая кусты и нижние ветви ближайших осин; между вершинами синело темное звездное небо;

с костра вместе с дымом срывались искры и гасли далеко вверх. Вера отгребла в сторону горячий уголь и положила в него картофелины.

Сначала все шутили и смеялись, потом примолкли. Костер догорал, все было съедено. Петька, положив вихрастую голову на колени Веры, задремал; она с материнскою заботливостью укутала его своим платком и сидела не шевелясь. И опять, как тогда за роялем, ее лицо стало красиво и одухотворенно.

Мы долго сидели у костра; под пеплом бегали огненные змейки, листья осин слабо шумели над головой. Я рассказывал о своей службе, о голоде и голодном тифе, о том, как жалко было при этом положение нас, врачей: требовалось только одно — кормить, получше кормить здоровых, чтоб сделать их более устойчивыми против заражения; но пособий едва хватало на то, чтоб не дать им умереть с голоду. И вот одного за другим валила страшная болезнь, а мы беспомощно стояли перед нею со своими ненужными лекарствами... Вера сидела, задумчиво глядя на лицо спящего Петьки; кажется, она мало слушала: мысли ее были далеко, в Пожарске, и она думала о своих братьях.

Наконец мы собрались домой. Месяц уже давно сел, на востоке появилась светлая полоска; лощина тонула в белом тумане, и становилось холодно. Было поздно, приходилось возвращаться домой по самой короткой дороге; Наташа взялась сходить завтра утром за лодкой и пригнать ее домой. Мы поднялись на гору, прошли через рожь, потом долго шли по пару и вышли наконец на торную дорогу; круто обогнув крестьянские овсы, она мимо березовой рощи спускалась вниз к Большому лугу. Весь луг был покрыт густым туманом, и перед нами как будто медленно колыхалось огромное озеро. Мы спустились в это туманное озеро. Грудь теснило сыростью, тяжело было дышать; на траве по бокам дороги белела роса. Мы шли, рассекая туман.

— Слушай! — сказала вдруг Наташа, схватив меня за локоть.

Мы остановились. Тишина кругом была мертвая: и вдруг, близ рощи, в овсах, робко, неуверенно зазвенел жаворонок... Его трель слабо оборвалась в сыром воздухе, и опять все смолкло, и стало еще тише.

Вдали начали вырисовываться в тумане темные силуэты деревьев и крыши изб; у околицы тявкнула соба-

ка. Мы поднялись по деревенской улице и вошли во двор. Здесь тумана уже не было; крыша сарая резко чернела на светлевшем небе; от скотного двора несло теплом и запахом навоза, там слышалось мычание и глухой топот. Собаки спали вокруг крыльца.

— Ну, господа, потише теперь, а то всех разбудим! — предупредил я.

В голове звенело, нервы были напряжены; у всех глаза странно блестели, и опять стало весело.

— Что ж, Митя, будем мы молоко пить? — спросила Наташа.

— Уж лучше не надо: разбудим мы всех.

— А мы вот как сделаем: мы к тебе наверх молоко принесем и там будем пить.

Мысль эту все одобрили. Мы пробрались наверх. За молоком откомандировали, конечно, Наташу. Она принесла огромную кринку молока и целый ситный хлеб.

— Господа, извольте только все молоко выпить! — объявила она.

— Почему это?

— А то мама увидит, что не все выпили, и вперед будет меньше оставлять.

— Эге! На том основании, значит, каждый раз придется все выпивать!

Однако через четверть часа кувшин был уже пуст. Теперь, когда шуметь было нельзя, всеми овладело веселье неудержимое; каждое замечание, каждое слово приобретало необыкновенно смешное значение; все крепилась, убеждали друг друга не смеяться, закусывали губы — и все-таки смеялись без конца... Мне с трудом удалось их выпроводить.

Однако засиделся же я! Солнце встало и косыми лучами скользит по кирпичной стене сарая, росистый сад полон стрекотаньем и чириканьем; старик Гаврила, с угрюмым, сонным лицом, запрягает в бочку лошадь, чтоб ехать за водою.

Спать!

21 июня

Проснулся я в начале двенадцатого и долго еще лежал в постели. В комнате полумрак, яркое полуденное солнце пробирается сквозь занавески и играет на стекле графина; тихо; снизу издали доносятся звуки рояля...

Чувствуешь себя здоровым и бодрым, на душе так хорошо, хочется улыбаться всему. Право, вовсе не трудно быть счастливым!

Миша и Петя пришли звать меня купаться. Я оделся, мы наперегонки сбежали к реке. Небо синее и горячее, солнце жжет; тенистый сад на горе, словно изнемоги от жары, неподвижно дремлет. Но вода еще свежа, она охватывает тело мягкой, нежною прохладою; плывешь, еле двигая руками и ногами, в этой прозрачно-зеленой, далеко вглубь освещенной солнцем воде. Мы купались около часа, пока не зазвонили к завтраку. Почти все уж были в сборе; на столе благодать: пирог, варенец, рубцы, редиска, ветчина, свежие огурцы. Я опять сидел возле дяди, и он любезно сообщил мне несколько очень новых и интересных сведений: что гречневая каша — национальное русское блюдо, что есть даже пословица: «Каша — мать наша», что немцы предпочитают пиво, а русские — водку, и т. п.

Вошла Наташа и села к столу.

— Что ж ты, Наташа, с Митею не здороваешься? — сказала Софья Алексеевна. — Ведь он с твоими «принципами» не знаком и может обидеться.

По губам Наташи скользнула быстрая усмешка; она протянула мне руку.

— У тебя какие же на этот счет «принципы»? — спросил я.

Наташа засмеялась.

— Я не знаю, о каких мама принципах говорит, — ответила она, садясь рядом со мною. — А только... Смотри: мы восемь часов назад виделись; если люди днем восемь часов не видятся, то ничего, а если они эти восемь часов спали, то нужно целоваться или руку пожимать. Ведь правда, смешно?

— Ничего смешного нет, — поучающе возразила Софья Алексеевна. — Это известное условие между людьми, которое...

— Нам все смешно, нам все решительно смешно! — вдруг вскипятился дядя, враждебно глядя на Наташу. — Здороваться и прощаться — это предрассудок; вести себя, как прилично взрослой девушке, — предрассудок... А вот начитаться разных книжонок и без критики, без рассуждения поступать по ним — это не предрассудок! Это идейно и благородно.

Наташа с усмешкой наклонилась над своею чашкою

и молчала. Видимо, между нею и отцом лежало что-то, — не раз уже вызывавшее их на столкновения.

После завтрака я узнал от Веры о положении дела. Последние два года Наташа усердно готовилась по древним языкам к аттестату зрелости, который, как передавали газеты, будет требоваться для поступления в проектируемый женский медицинский институт. Дядя был очень недоволен занятиями Наташи: двадцатитрехлетней Соне, по-видимому, уже нечего было рассчитывать на замужество; Наташа была живее и красивее сестры, и дядя надеялся хоть от нее дожидаться внучат. Между тем Наташа с головою ушла в своих классиков; она в Пожарске никуда не выезжала и даже не выходила к гостям, которые приглашались специально для нее. Чтобы совершенно избавиться от всех этих выездов и гостей, она прошлою осенью решила остаться на всю зиму в деревне. Произошла очень тяжелая сцена с дядей; под конец он объявил Наташе, что пусть она живет, где хочет, но пусть же и от него не ждет ни в чем уступки. Наташа всю зиму прожила в деревне; по утрам она набирала в залу деревенских ребят и девок, учила их грамоте, читала им; по вечерам зубрила греческую грамматику Григорьевского и переводила Гомера и Горация. Этою весною проект о женском медицинском институте был возвращен государственным советом; решение вопроса отодвинулось на неопределенное время. Наташа решила ехать хоть на Рождественские курсы лекарственных помощниц. Но для поступления туда требуется родительское разрешение. Когда Наташа заговорила с дядей о курсах, он желчно рассмеялся и сказал, что просьба Наташи его очень удивляет: как это она, «такая самостоятельная», снисходит до просьб! Наташа возразила, что просит она у него только разрешения, содержать же себя будет сама (у нее было накоплено с уроков около трехсот рублей). Дядя отказал наотрез. За Наташу вступился доктор Ликонский, отец Веры и Лиды, единственный человек, имеющий влияние на упрямого и ограниченного дядю; но и его убеждения ничего не могли поделать. Дядя решительно объявил, что боится отпустить Наташу с ее характером в Петербург.

Может быть, это — лишь следствие того подъема жизненных сил, который обыкновенно замечается после благополучно перенесенного тифа, — что до того? Я знаю только, что я глубоко счастлив, счастлив *так*, без всякой причины... Ясные дни, теплые, душистые ночи, музыка Веры — чего мне больше? Не замечаешь, идет ли время, или стоит. Никакие вопросы не мучают, на душе тихо и ясно. Я даже книг современных теперь не читаю: дед дяди был очень образованный человек и оставил после себя огромную библиотеку; теперь она свалена в верхней кладовой и служит пищею мышам. Я целые часы провожу там, разбираю и привожу в порядок книги и бумаги. Мне нравится с головою уходить в эту давно исчезнувшую жизнь, где Вольтер уживался с жителями святых, Руссо — с крепостным правом, «*Les liaisons dangereuses*»¹ — с Фомою Кемпийским, — жизнь жестокою, наивною, сладострастную и сентиментальную.

Наташа навела ко мне массу больных. Все в деревне ей знакомо, и все ей приятели. Она сопутствует мне в обходах, развешивает лекарства. Странное что-то в ее отношениях ко мне: Наташа словно все время изучает меня; она как будто не то ждет от меня чего-то, не то ищет, как самой подойти ко мне. Может быть, впрочем, я ошибаюсь. Но какие славные у нее глаза!

От разговоров ее веет чем-то старым-старым, но таким хорошим; она хочет знать, как я смотрю на общину, какое значение придаю сектантству, считаю ли возможным и желательным развитие в России капитализма. И в расспросах ее сказывается предположение, что я непременно должен интересоваться всем этим. Что же? Я ведь действительно интересуюсь; однако, правду говоря, разговоры эти мне крайне неприятны. Я с величайшим удовольствием прочту книгу, где дается что-нибудь новое по подобному вопросу, не прочь и поговорить о нем; но пусть для моего собеседника, как и для меня, вопрос этот будет холодным теоретическим вопросом, вроде вопроса о правильности теории фагоцитоза или о вероятности гипотезы Альтмана. Наташа же вносит в дело слишком много страстности, и мне становится неловко. Я неохотно отвечаю ей и перевожу разговор на другое.

¹ «Опасные связи» (фр.).

И еще в одном отношении я часто испытываю неловкость в разговоре с нею: Наташа знает, что я мог остаться при университете, имел возможность хорошо устроиться, — и вместо этого пошел в земские врачи. Она расспрашивает меня о моей деятельности, об отношениях к мужикам, усматривая во всем этом глубокую идейную подкладку, в разговоре ее проскальзывают слова «долг народу», «дело», «идея». Мне же эти слова режут ухо, как визг стекла под острым шилом.

27 июня

Со станции привезли газеты. В Баку — холера. Она медленно, но непрерывно поднимается вверх по Волге.

28 июня

Писать, так уж все писать, хоть гадко и противно вспоминать. После завтрака мы с Верой, Соней и Наташей играли на дворе в крокет. Разговор случайно зашел о тургеневской Елене; Соня, перечитывавшая недавно «Накануне», назвала Елену «самым светлым и сильным образом русской женщины». Я напал на такую незаслуженно высокую оценку Елены. Елена — это разновидность типа очень старого: неопределенные порывания вдаль, игнорирование окружающего, искание чего-то эффектного, яркого, необычного — в этом она вся. Инсарова она полюбила не за то, что он указал ей дело, а просто потому, что он окружен ореолом, что он — «замечательный человек»: для нее Инсаров совершенно заслоняет собою то дело, которому он служит. Конечно, выбор Елены делает ей честь, но... право полюбить, например, героя Гарибальди — «невелика штука», как выражается Шубин; невелика штука и умереть за *Италию* из любви к *Гарибальди*. Когда Инсаров опасно заболевает, Елена может найти утешение лишь в одной мысли: «если он умрет, — и меня не станет». Вне ее любви для нее ничего не существует, и понятно, что после смерти Инсарова она должна была поехать непременно в Болгарию... Нет, Елена вовсе не «самый светлый образ русской женщины». Неужели действительно все дело женщины заключается в том, чтобы отыскивать достойного ее любви мужчину-деятеля? Где же прямая потребность настоящего дела? Пусть это дело темно и невидно, пусть

оно несет с собою одни лишения без конца, пусть на служение ему уходят молодость, счастье, здоровье — что до того? Ведь не забава и не фон для поэтического романа; это — тяжелый труд, красный лишь сознанием, что живешь не напрасно. И у нас много было и есть женщин, для которых это сознание дороже самых блестящих героев...

Уж тогда, когда я говорил, во мне шевельнулось отвращение к моему приподнятому тону; но меня подчинило себе то жадное внимание, с каким слушала Наташа. Она не спускала с меня радостно-недоумевающего взгляда, и столько в этом взгляде было страха, что я оборву себя, по обыкновению замну разговор. Ну, вот — я не остановился, не свел разговора на другое... О мерзость!

И напрасно я стараюсь убедить себя, что говорил я искренне, что есть что-то болезненное в моей боязни к «высоким словам»: на душе скверно и стыдно, как будто я, из желания пустить пыль в глаза, нарядился в богатое чужое платье.

11 час. вечера

Весь вечер я просидел наверху в кладовой, разбирая книги. Солнце опустилось в багровые тучи, и несколько раз принимался накрапывать дождь. Дядя за ужином был угрюм и молчалив: он собирался начать назавтра возку сена, а барометр неожиданно сильно упал; на Выконке сено не успели скопнить, и оно осталось на ночь в кругах. Окна были раскрыты, в темном саду тихо шумел дождь. Наташа тоже была молчалива. Я несколько раз ловил на себе ее внимательный и нерешительный, словно выжидающий взгляд. После ужина, когда я прощался с нею, она, протягивая руку, вдруг взглянула на меня и тихо проговорила:

— Митя, мне так много хочется у тебя спросить.

И я — я не спросил, что именно; я только серьезно кивнул головою и, не глядя на Наташу, ответил, что я всегда к ее услугам. Как будто я в самом деле не знаю, что она хочет спросить...

30 июня

Все время я провожу в кладовой за книгами. Небо обложено тучами, дождь моросит без конца; в мутной

сырой дали тянутся черные пашни, мокрые галки кричат на крыше... Я напрасно стараюсь подавить в себе беспричинное, глухое раздражение, не оставляющее меня ни на минуту. Раздражает и надоедливый шум дождя по крыше, и эти ветхие окна, из щелей которых дует нестерпимо, и несущийся от книг противный запах мышей и прелой бумаги. Когда я вспоминаю о своем гаденьком вилянье перед Наташей, меня злость берет: уже два дня прошло; как мальчик, шалость которого открыта, я боюсь разговора с нею и стараюсь избегать ее. И Наташа сразу заметила это. Она держится в стороне, но глаза ее смотрят печально и недоумевающе. Бог весть как объясняет она мое поведение. Сегодня утром я случайно встретился с нею в коридоре: она пугливо оглядела меня и молча прошла мимо.

Голова тяжела, в груди тупая, ноющая боль, и опять появился кашель...

1 июля

Я лег вчера спать еще до ужина. Сегодня проснулся рано. Отдернул занавески, раскрыл окно. Небо чистое и синее, солнце горячим светом заливает еще мокрый от дождя сад; на липах распустились первые цветки, и в свежем ветерке слабо чувствуется их запах; все кругом весело поет и чирикает... На душе ни следа вчерашнего. Грудь глубоко дышит, хочется напряжения, мускульной работы, чувствуешь себя бодрым и крепким.

Я пошел в конюшню и оседлал Бесенка. Он застоялся, мне с трудом удалось сесть на него. Бесенок сердито ржал и, весь дрожа от нетерпения, рвался подо мною и вперед и в стороны. Я нарочно, чтоб побороться с ним, проехал тихим шагом деревенскую улицу и весь Большой луг. От седла пахло кожею, и этот запах мешался с запахом влажной луговой травы.

Проехав плотину, я свернул на Опасовскую дорогу и пустил Бесенка вскачь. Он словно сорвался и понесся вперед как бешеный. Безумное веселье овладевает при такой езде; трава по краям дороги сливалась в одноцветные полосы, захватывало дух, а я все подгонял Бесенка, и он мчался, словно убегая от смерти.

Слева над рожью затемнел Санинский лес, я придержал Бесенка и вскоре остановился совсем. Рожь без конца тянулась во все стороны, по ней медленно бежали

золотистые волны. Кругом была тишина; только в синем небе звенели жаворонки. Бесенок, подняв голову и насторожив уши, стоял и внимательно вглядывался в даль. Теплый ветер ровно дул мне в лицо, я не мог им надышаться...

Ясное небо, здоровье да воля,—
Здравствуй, раздолье широкого поля!..

Ласточка быстро пронеслась мимо ног лошади и вдруг, словно что вспомнив, взмахнула крылышками, издала мелодический звук и крутым полукругом вильнула обратно. Бесенок опустил голову и нетерпеливо переступил ногами. Я повернул на дорогу; вившуюся среди ржи по направлению к Саннинскому лесу.

«Здоровье»... Здоров я не был,— я чувствовал, что грудь моя больна; но мне доставляло даже удовольствие это совершенно безболезненное ощущение гнездящейся во мне болезни, и весело было заглядывать ей прямо в лицо: да, у меня легкие усеяны тысячами тех предательских желтеньких бугорков, к которым я так пригляделся на вскрытиях,— а я вот еду и дышу полною грудью, и все у меня в душе смеется, и я не боюсь думать, что болен я — чахоткою...

Вспомнился мне профессор N., у которого я два года работал,— хмурый старик с грозными бровями и добрейшей душой; вспомнились мне его предостережения, когда я сообщил ему, что поступаю в земство.

— Да вы, батенька, знаете ли, что такое земская служба? — говорил он, сердито сверкая на меня глазами.— Туда идти, так прежде всего здоровьем нужно заpastись бычачьим: промок под дождем, попал в полынью,— выбирайся да поезжай дальше: ничего! Ветром обдует и обсушит, на постоялом дворе выпьешь водочки,— и опять здоров. А вы посмотрите на себя, что у вас за грудь: выдуют ли вы хоть две-то тысячи в спирометр? Ваше дело — клиника, лаборатория. Поедете,— в первый же год чахотку наживете.

Я знал, что все это правда, и тем не менее поехал же; я и под дождем мокнул и в полыньи проваливался, спеша в весеннюю распутицу к роженице, корчащейся в экламптических судорогах. Когда ночные поты и утренний кашель навели меня на подозрение и я нашел в своей мокроте коховские палочки — именно сознание, что я добровольно шел на это, и не дало мне пасть ду-

хом. И вот теперь я стыжусь... чего? — стыжусь говорить, что нужно жить не для себя одного! Передо мною встало побледневшее личико Наташи с большими, печальными глазами... Да неужели же я не имею права хоть настолько-то уважать себя, чтоб не бояться разговора с нею, не бояться того вопроса, с которым она хочет ко мне обратиться? А как я ее мучил!

Рожь кончилась, дорога вилась среди ореховых и дубовых кустов опушки и терялась в тенистой чаще леса. Меня отовсюду охватило свежим запахом дуба и лесной травы; высоко вверх взбегали кругом серые стволы осин, сквозь их жидкую листву нежно синело небо. Дорога была заброшенная и наполовину заросшая, ветви липовых и кленовых кустов низко наклонялись над нею; в траве виднелись оранжевые шляпки подосинок, ярко зеленела костяника; запахло папоротником... Угмонившийся Бесенок шел шеголеватым шагом, изогнув красивую черную шею; вдруг он поднял голову и, взглянув вперед, громко заржал. На повороте дороги, в нескольких шагах от меня, показалась Наташа верхом на своем буланом Мальчике.

Увидев меня, она отшатнулась на седле и, нахмурившись, затянула поводья; лошадь прижала уши и, оседая на задние ноги, подалась назад.

— Наташа! ты каким образом здесь? — радостно крикнул я и поспешил ей навстречу. — Здравствуй, голубушка! — Я перегнулся с седла и крепко пожал ей руку.

Наташа слабо вспыхнула и оглядела меня быстрым, робким взглядом.

— Вот хорошо, что мы с тобою встретились! Если бы я знал, я бы нарочно именно сюда поехал. Посмотри, утро какое: едешь и не надышишься... Неужели ты уже домой? Поедем дальше, хочешь?..

Я говорил, а сам не отрывал глаз от ее милого, радостно-смущенного лица. Я видел, как она рада происшедшей во мне перемене и даже не старается скрыть этого, и мне неловко и стыдно было в душе, и хотелось яснее показать ей, как она мне дорога.

— Поедем, мне все равно, — в замешательстве ответила Наташа, поворачивая Мальчика.

— Ну вот спасибо!.. И как это мы с тобою именно здесь съехались? Как хорошо, — правда? Голубушка, поедем куда-нибудь... Хочешь в Заклятую Лошину?

Я с трудом удерживал Бесенка, он косился и грозно

ржал на шедшего бок о бок Мальчика. Дорога была узкая, мокрые ветви осинки то и дело обдавали нас брызгами, и мы ехали совсем близко друг от друга.

— Я там была сейчас,— сказала Наташа,— ручей разлился и весь обратился в трясину; пробовала проехать,— нельзя.

Я взглянул на Наташу: она была там!.. Заклятая Лощина — это глухая трущоба, которая, говорят, кишит волками; ее и днем стараются обходить подальше. А эта девчурка едет туда одна ранним утром, так себе, для прогулки!.. Не знаю, настроение ли было такое, но в эту минуту меня все привлекало в Наташе: и ее свободная красивая посадка на лошади, и сиявшее счастьем смущенное лицо, и вся, вся она, такая славная и простая.

— Ну, как хочешь, а я тебя сегодня не скоро пушу домой,— засмеялся я.— Попалась, так уж такая судьба твоя! Поедем хоть куда-нибудь.

Мы свернули на широкую дорогу, пересекавшую лес. Прямая, как стрела, она бежала в зеленой, залитой солнцем просеке.

— Вот дорога, как раз для скачек,— сказал я и с улыбкой взглянул на Наташу.

Наташа встрепелась.

— А ну, давай опять перегоняться!— предложила она, поправляясь на седле.— Теперь наши лошади одинаково устали.

Мы как-то уж перегонялись с Наташей, и обогнала она; но я перед тем проехал на Бесенке десять верст.

— Ну, ну, посмотрим!

Мы пустили лошадей вскачь. Но только что они расскакались и мой Бесенок начал наддавать, все больше опережая Мальчика, как явилось довольно неожиданное препятствие. На краю дороги бродили в кустах два больших поросенка, безмятежно взрывая рылами землю. Завидев нас, они испуганно шарахнулись из кустов, хрюкнули и пустились улепетывать по дороге. Мы ждали, конечно, что они сейчас свернут вбок, и скакали по-прежнему; но поросята неуклюже всё мчались перед нами, всхрюкивая и отчаянно махая коротенькими, тонкими хвостиками.

— Они теперь все время так бежать будут, ни за что не свернут!— крикнула Наташа, смеясь.

Мы стали задерживать разогнавшихся лошадей. Поросята побежали медленнее, взволнованно хрюкая и тряся боками друг о друга.

Мы попытались осторожно объехать их; поросята взвизгнули и опять как угорелые бросились вперед. Мы переглянулись и расхохотались.

— Вот так задача!— сказал я.

Наташа сдерживала, смеясь, рвавшегося вперед Мальчика. Теперь последняя неловкость между нами исчезла, Наташа оживилась, и было неудержимо весело.

— Ничего, все равно поедем!— сказала Наташа.— Это Дениса свиньи, лесника; их и без того следовало пригнать домой: вон куда они забрели, их еще волки съедят! Поедем к Денису, он нас молоком напоит. Его сторожка сейчас там, на полянке.

Мы поехали шагом, предшествуемые поросятами.

— Ты еще не видел этого Дениса, он всего два года здесь лесником. Такой потешный старичок,— маленький, худенький... Как-то, когда он только что поступил, мама случайно заехала сюда; увидала его: «Голубчик мой, да что же ты за сторож? Ведь тебя всякий обидит!» А он отвечает: «Ничего, барыня, меня не найдут...»

Никогда еще я не видел Наташу такую: ее лицо так и дышало детскою, беззаветною радостью... Я не мог оторвать от нее глаз.

Лесная сторожка стояла в глубине широкой, недавно выкошенной поляны. Денис, в белой холщовой рубаше и лаптях, вышел нам навстречу.

— Денис, голубчик, здравствуй! К тебе мы!— сказала Наташа, соскакивая с лошади.

— А-а, барышня касаткинская,— воскликнул Денис, щурясь.— Просим милости, пожалуйста.— Сунув шапку под мышку, он взял за повод наших лошадей.

— Голубчик, надень шапку!.. И привяжем мы сами... А уж если хочешь быть другом, напои нас молоком... Едем мы сюда,— вот он и говорит: «Не даст нам Денис молока!» Кто, я говорю, Денис-то не даст?

— Господи! Да неужто ж мы какие-нибудь? Слава богу, найдется молочко, будьте покойны. Пожалуйста в горницу. Девка-то моя на деревню побежала, так уж сам услужу вам.

Было в Денисе что-то чрезвычайно комичное: он то и дело самым степенным образом гладил свою жидкую бороденку, серьезно хмурил брови, и все-таки ни следа степенности не было в его сморщенном в кулачок личике и всей его миниатюрной фигурке; получалось впечатленье, будто маленький ребенок старается изобразить из себя почтенного, рассудительного старичка.

Мы вошли в избу. Денис поставил перед нами две чашки и кринку парного молока, нарезал ситнику. Наташа следила за ним радостно-смеющимися глазами и болтала без умолку.

— А чтой-то я вот барина этого раньше не видал никогда? — сказал Денис. — Смотрю, смотрю, — нет, чтой-то словно...

— Он недавно только приехал...

Денис поглядел на Наташу.⁵

— Они что же, барышня, — уж не обессудьте на вопросе, — не женишком ли вам приходится?

— Ну да же, конечно, женихом!

— То-то я все смотрю... Чтой-то думаю, — с чего такая радость?

— Да как же, Денис, не радоваться? Ведь сам знаешь, в нынешние времена жениха найти — дело нелегкое. Не найдешь их нигде, словно вымерли все.

Денис развел руками.

— Да ведь... О том и толк, барышня! Куда, мол, подевались все? Неизвестно!

— Вот-вот. Ну, а я вот нашла себе.

— Ну, дай вам бог счастливо!.. Они, что же, по акцизной части служат?

Наташа расхохоталась.

— Голубчик Денис, да почему же ты думаешь, что именно по акцизной?!

— Ну, ну, господь с тобой, матушка... Хе-хе-хе! — рассмеялся и Денис, глядя на нее.

Узнав, что я доктор, он придал своему лицу страдальческое выражение и стал сообщать мне о своих многочисленных болезнях.

Мы просидели у него с полчаса. Попытался я ему заплатить за молоко, но Денис обиделся и отказался наотрез.

От него мы поехали на Гремучие колодцы, оттуда в Богучаровскую рощу. В Богучарове, у земского врача Троицкого, пили чай... Домой воротились мы только к обеду.

2 июля, 10 час. утра

Перечитал я написанное вчера... Меня опьянили яркое утро, запах леса, это радостное, молодое лицо; я смотрел вчера на Наташу и думал: так будет выглядеть она, когда полюбит. Тут была теперь не любовь, тут было нечто

другое; но мне не хотелось об этом думать, мне только хотелось, чтоб подольше на меня смотрели так эти сиявшие счастьем глаза. Теперь мне досадно, и злость берет: к чему все это было? Я одного лишь хочу здесь,— отдохнуть, ни о чем не думать. А Наташа стоит передо мною — верящая, ожидающая...

11 час. вечера

Ну, произошел наконец разговор... После ужина Вера с Лидой играли в четыре руки какой-то испанский танец Сарасате. Я сидел в гостиной, потом вышел на балкон. Наташа стояла, прислонясь к решетке, и смотрела в сад. Ночь была безлунная и звездная, из темной чаши несло росу. Я остановился в дверях и закурил папиросу.

Наташа обернулась на свет спички.

— Ах, это ты, Митя!— тихо сказала она, выпрямляясь.— Хочешь, пойдем в сад?.. Посмотри, как... хорошо...

Голос ее обрывался, и она взволнованно теребила кружево на своем рукаве.

Мы спустились в цветник и пошли по аллее.

— Помнишь, Митя,— вдруг решительно заговорила Наташа,— помнишь, ты говорил недавно о сознании, что живешь не напрасно, что это самое главное в жизни... Я и прежде, до тебя много думала об этом... Ведь это ужасно — жить и ничего не видеть впереди: кому ты нужна? Ведь это сознание, о котором ты говорил,— ведь это самое большое счастье...

Я молча шел, кусая губы. В душе у меня поднималось злобное, враждебное чувство к Наташе; должна же бы она наконец понять, что для меня этот разговор тяжел и неприятен, что его бесполезно затевать; должна бы она хоть немного пожалеть меня. И меня еще больше настраивало против нее, что мне приходится ждать сожаления и пощады от этого почти ребенка.

Наташа замолчала.

— Я слышал, что ты прошлую зиму занималась здесь с деревенскими ребятами,— проговорил я.— ну, как, ты с охотой занималась, нравится тебе это дело?

— Д-да,— сказала Наташа, запнувшись.

— Ну вот и дело. Если хочешь совершенно отдаться ему, поступи в сельские учительницы. Тогда ты будешь близко стоять к народу, можешь сойтись с ним, влиять на него...

Я говорил, как плохой актер говорит заученный моно-

лог, и мерзко было на душе... Мне вдруг пришла в голову мысль: а что бы я сказал ей, если бы не было этой спасительной сельской учительницы, альфы и омеги «настоящего» дела?

Наташа шла, опустив голову.

— Голубушка, это дело мелко, что говорить,— сказал я, помолчав.— Но где теперь блестящие, великие дела? Да не по ним и узнается человек. Это дело мелко, но оно дает великие результаты.

Я почти физически страдал: как все фальшиво и фразисто! Мне казалось, теперь Наташа видит меня насквозь; и казалось мне еще, что и сам я только теперь увидел себя в настоящем свете, увидел, какая безнадежная пустота во мне...

— Вот это прелестно!— раздался в темноте голос Веры.— Мы с Лидой играем для них, стараемся, а они себе ушли и гуляют здесь! Стоит вам играть после этого! Никогда не стану больше!

Вера, Лида и Соня подошли к нам. Я был рад, что кончился разговор.

3 июля

Привезли газеты. На меня вдруг пахнуло совсем из другого мира. Холера расходится все шире, как степной пожар, и захватывает одну губернию за другою; люди в стихийном ужасе бегут от нее, в народе ходят зловещие слухи. А наши медики дружно и весело идут в самый огонь навстречу грозной гостье. Столько силы чувствуется, столько молодости и отваги. Хорошо становится на душе... Завтра я уезжаю в Пожарск.

4 июля

Я в Пожарске. Приехал я на лошадях вместе с Наташею, которой нужно сделать в городе какие-то покупки. Мы остановились у Николая Ивановича Ликонского, отца Веры и Лиды. Он врач и имеет в городе обширную практику. Теперь, летом, он живет совсем один в своем большом доме; жена его с младшими детьми гостит тоже где-то в деревне. Николай Иванович — славный старик с интеллигентным лицом и до сих пор интересуется наукой; каждую свободную минуту он проводит в своей лаборатории

Приехали мы вечером, к ужину. Я расспрашивал Николая Ивановича о холере. Она серпом окружила нашу губернию, и кое-где были уже единичные случаи заболевания. В самом Пожарске во врачах не нуждаются, но в уездах недостаток; в уездном городе Слесарске не могут найти врача для зареченской стороны, Чемеровки, заселенной мастеровщиной. Завтра пошлю туда заявление.

5 июля. Воскресенье

На заборах и фонарных столбах расклеены объявления, приглашающие жителей города Пожарска принять участие в имеющем произойти сегодня в соборе «молебствии об избавлении от болезни, называемой холерой, за коим последует торжественный крестный ход по всему городу». Я был на молебне. На улицах словно все вымерло; огромная соборная площадь была покрыта несметной толпой; пробраться в самый собор нечего было и думать. Ласточки со звоном кружили вокруг колоколен; солнце играло на золоте прислоненных к стенам хоругвей; из церкви чуть слышно доносилось пение. Я стоял и смотрел на толпу. Может быть, вот эта бледная красивая девушка, так благоговейно-гордо держащая образ тихвинской божьей матери, этот маленький человечек с курчавою головою и в пиджаке, этот нищий — всех их через неделю свалит холера.

Кругом говорили о недавней смерти местного архиерея, о том, по каким улицам пойдет ход; о самом предмете молебна — ни слова; разве только какой-нибудь веселый мастеровой подмигнет соседу на проходящую дряхлую старушонку с трясущею головою и сострит:

— Собрались холеру отмаливать, а холера вон она идет!

Слоняясь в толпе, я столкнулся с Виктором Сергеевичем Гастевым. Он служит акцизным в Слесарске и приехал в Пожарск на какой-то акцизный съезд. Разговорились. Я ему сообщил, что послал заявление к ним в Слесарск.

Он вытарашил на меня глаза.

— В Слесарск? Ну, батенька, посылайте телеграмму, что отказываетесь.

— С какой стати?

— Да не слыхали вы, что ли, что такое мастеровщина наша зареченская? Укокошат вас там через три дня, и оглядеться не дадут.

— Разве так народ возбужден?

Виктор Сергеевич вскинул плечами и молча стал закуривать сигару. Потом, таинственно подняв брови, наклонился ко мне и зашептал:

— Туда бы, батенька, теперь полк солдат впору поставить, да на руки им боевые патроны раздать, чтоб каждую минуту были готовы к делу. А у нас ведь знаете, как делается: пока гром не грянет, никто не перекрестится; а там и пойдут телеграммами губернатора бомбардировать: «Войска давайте!» И холеры-то пока, слава богу, у нас нет никакой, а посмотрите, какие уже слухи ходят: пьяных, говорят, таскают в больницы и там заливают известкой, колодцы в городе все отравлены, и доктора только один чистый оставили — для себя; многие уже своими глазами видели, как здоровых людей среди бела дня захватывали крючьями и увозили в больницу... Они и не скрывают ничего, прямо говорят: если у нас холера объявится, мы всех докторов перебьем. Шутки, батюшка мой, плохие! Да чего ж вам лучше? Из местных врачей в Чермеровку никто не хочет идти.

На паперти показались священники в золотых ризах; пение стало громче. Народ заволновался и закрестился, над головами заколыхались хоругви. Облезлая собачонка, отчаянно визжа, промчалась на трех ногах среди толпы; всякий, мимо которого она бежала, считал долгом пихнуть ее сапогом; собачонка катилась в сторону, поднималась и с визгом мчалась дальше. Ход потянулся к кремлевским воротам.

— Ну, пойдём и мы следом! — сказал Виктор Сергеевич. — А как у вас там все в деревне поживают? Через недельку поеду в отпуск в Смоленск, заеду к вам крестницу свою проведать. (Он крестный отец Сони.)

Прощаясь, Виктор Сергеевич еще раз настоятельно посоветовал мне заблаговременно взять свое заявление назад.

6 июля

Я воротился в Касаткино, так как, может быть, придется ждать больше недели.

Вчера вечером перед отъездом из Пожарска мы пили у Николая Ивановича чай. Наташа разливала. Николай Иванович рассказывал мне о своих исследованиях над вопросом об обмене веществ у подагриков. Вошла горничная и доложила ему, что его хочет видеть «один человек».

— Чего ему? Скажи, чтоб сюда вошел!— сказал Николай Иванович.

В дверях залы показался высокий человек в мешанском пиджачке и стоптанных сапогах. Он поклонился и смиренно остановился у порога.

— Чего тебе, братец?— спросил Николай Иванович.

— Вот карточка вам от Владимира Владимировича.

Николай Иванович пробежал несколько строк, написанных на оборотной стороне визитной карточки, слегка покраснел и нахмурился.

— Ах, виноват! Очень приятно познакомиться! — и он протянул вошедшему руку.— Пожалуйста, садитесь! Не хотите ли чаю? Господин Гаврилов!— отрекомендовал он его нам.

На тонких губах вошедшего мелькнула чуть заметная усмешка. Он поклонился и также смиренно сел к столу на кончик стула. Это был худощавый человек лет тридцати пяти, с жиденькой бородкой и остриженный в скобку; выглядел он мелким торгашом-краснорядцем или прасолом, но лоб у него был интеллигентный.

Николай Иванович еще раз прочел карточку и спросил:

— Вы чего же, собственно, хотите?

— В этом году, как вы изволите знать,— начал Гаврилов с тою же чуть заметною усмешкою,— Россию посетил голод, какого давно уже не бывало. Народ питается глиной и соломою, сотнями мрет от цинги и голодного тифа. Общество, живущее трудом этого народа, показало, как вам известно, свою полную нравственную несостоятельность. Даже при этом всенародном бедствии оно не сумело возвыситься до идеи, не сумело слиться с народом и прийти к нему на помощь, как брат к брату. Оно отделивалось пустяками, чтоб только усыпить свою совесть: танцевало в пользу умирающих, обедалось в пользу голодных, жертвовало каких-нибудь полпроцента с жалованья. Да и эти крохи оно давало народу, как подачку, и только развращало его, потому что всякая милостыня есть разврат. В настоящее время народ еще не оправился от беды, во многих губерниях вторичный неурожай, а идет новая, еще худшая беда — холера...

Николай Иванович слушал, забрав в горсть свою длинную седую бороду, и смотрел в окно.

— Общество, разумеется, по-прежнему остается достойным себя,— продолжал Гаврилов.— В этой новой

беде, которая грозит уж и ему самому, оно забыло обо всем и бежит спасаться, куда попало. В народе остались только медики, а этого слишком мало. Народ нуждается в материальной помощи, а еще больше в духовной. Ни того, ни другого нет.

Николай Иванович положил голову на руку и стал смотреть на кончик своего сапога.

— Общество должно наконец прийти в себя. Оно всем обязано народу и ничего не отдает ему. «Другие трудились, а вы вошли в труд их»,— говорит Иисус...

— Извините, пожалуйста,— прервал его Николай Иванович.— Я вот все слушаю вас... и мне все-таки неясно, чего вы, собственно, от меня желаете?

— Я обратился к вам потому, что мне Владимир Владимирович, сказал, что вы хороший человек. В настоящее время на таких только людей и надежда.

— Вы хотите, чтоб я... пожертвовал в пользу голодающих?— медленно спросил Николай Иванович, подняв брови.

— Нам нужны ваше сердце, ваш ум,— сказал Гаврилов, чуть улыбнувшись на небрежный вопрос Николая Ивановича.— Деньги — это последнее; *только* деньги нам не нужны. И во всяком случае я пришел просить у вас не денег.

— А чего же-с?

— Вашего нравственного содействия, активной работы в пользу несчастных.

— Вот как!.. Однако работа-то работой, а ведь, согласитесь,— прежде всего для этого все-таки нужны деньги.

— Миром управляют идеи, а не деньги. *Прежде всего* нужна любовь.

— Ну, а после нее — деньги? Ведь за хлеб купцу нужно платить деньгами, а не любовью.

— За деньгами дело не станет, их всегда легко собрать. То и горе у нас, что от всякого дела люди откупаются деньгами.

— Вы думаете? Ну, так я вам вот что скажу: у меня тут три четверти города знакомых, а я много собрать не возьмусь.

Гаврилов пожал плечами.

— Странно! Я здесь никого не знаю, всего только три дня назад приехал, а берусь вам собрать в месяц пятьсот рублей.

— Ну, исполать вам!..— засмеялся Николай Иванович. — Я расскажу вам один случай. Был у нас тут в городе студент-юрист; кончает курс, а средств никаких; выгоняют за невзнос платы. Ну, вот я и вздумал устроить сбор. Заезжаю, между прочим, в одну богатую купеческую семью, в которой состою врачом около пятнадцати лет. Барышни сидят — в брильянтах, в кружевах. Говорю им. Они поморщились. «Посмотрим, — говорят, — может быть, что-нибудь найдем». Я к брату их: «Там с ними не сговоришься; вы, Платон Степаныч, энергичный человек — возьмитесь за дело как следует, ведь сами понимаете, нужно помочь!» И знаете, какой из этого вышел результат?

— Какой же вышел результат?

— Ну, как вы думаете?

— Ну-с?

— С тех пор меня перестали приглашать в этот дом! — отрезал Николай Иванович и стал закуривать папиросу.

Гаврилов внимательно посмотрел на него.

— Зачем вы лечите таких? — спросил он, чуть дрогнув бровью.

Николай Иванович запнулся от неожиданности вопроса и пожал плечами.

— Странное дело! Врач обязан лечить всякого.

Гаврилов продолжал лукаво смотреть на него и беззвучно смеялся.

— Какого же рода «активной работы» желаете вы от меня? — спросил Николай Иванович, нахмурившись. — Прикажете идти в деревню, в народ?

— Народ не только в деревне, а и в городе, везде, — и везде он нуждается в помощи. Нужно только одно: чтоб не господа благодетельствовали мужичью, а братья помогали братьям. Когда погорелец приходит к мужику, мужик сажает его за стол, кормит обедом и дает копейку, — погорелец знает, что он — товарищ, потерпевший несчастье. Когда погорелец приходит к барину, барин высылает ему через горничную пятак, — погорелец — нищий и получает милостыню. А милостыня есть худший из всех развратов, потому что она одинаково деморализует и дающего и берущего. Господа съезжаются с разных концов города и с увлечением спорят о шансах Гладстона на избирательную победу или об исполнимости проектов Генри Джорджа; а тут же в подвале идет не менее ожесточенный спор о том, какая божья мать добрее — ахтырская или казанская, и на скольких китах стоит земля.

Это — два различных мира, не имеющих между собою ничего общего...

Николай Иванович нетерпеливо закачал ногою. Гаврилов со смиренной улыбкою спросил:

— Извините, может быть, я вам наскучил?

— Нет, что же-с? Сделайте одолжение. Но только... Я вот все время очень внимательно слушаю вас и все-таки никак не могу понять, что же я... обязан делать.

— Ближе стать к братьям, больше ничего; помогать им, а не благодетельствовать, не беречь для себя знаний, которые должны быть достоянием всех...

— Да-с? — выжидательно сказал Николай Иванович.

— Приближается холера. Народ голодает, — это лучшая почва для нее; народ невежествен — и это отнимает у него последние средства защиты. Пора. Пора же сознать, что, когда люди кругом умирают, стыдно роскошествовать. (Гаврилов беглым взглядом оглядел стол с стоявшими на нем закусками.) Я всего три дня здесь, но уж видел прямо ужасающие картины нищеты, — нищеты стыдливой и робкой, боящейся просить. Люди десятками ютятся в зловонных конурах, а мы занимаем по пяти-шести комнат; люди рады, если раздобудутся к обеду парюю картофелин, а мы наедаемся так, что не можем шевельнуться. И если такие люди приходят к нам, мы смотрим на них не со стыдом, а с пренебрежением и не пускаем их дальше передней. Выход только один: сознать, что *нечестный человек* тот, кто не хочет понять этого, братски разделить с обиженными свой дом, стол, все; доказать, что мы действительно хотим помочь, а не убаюкивать только свою совесть.

— Если я вас понял, — проговорил Николай Иванович, сдерживая под усами улыбку, — вы мне предлагаете пригласить к себе в дом три-четыре нищих семьи, поселить их здесь, кормить, поить и обучать... Так?

— Да-с! — ответил Гаврилов, и по губам его снова пробежала чуть заметная усмешка.

Николай Иванович с любопытством смотрел на своего гостя. Наташа, подперев рукою подбородок и нахмурившись, также не спускала глаз с Гаврилова.

— Ну, скажите, господин Гаврилов, — увещевающим тоном заговорил Николай Иванович, — неужели же вам не стыдно говорить такой вздор?

— Почему вы полагаете, что это вздор? — спросил

Гаврилов с своею быстрой усмешкою, нисколько не обидевшись.

— Мне бы еще было понятно ваше предложение, если бы дело шло просто о какой-нибудь определенной семье, которой нужна помощь. Но вы, насколько я вас понимаю, видите во всем этом прямо какое-то универсальное средство.

— Если вы один так поступите, то этого, разумеется, будет мало. Но важна идея, пример. Вы — один из наиболее уважаемых людей в городе; ваш почин сначала, может быть, вызовет недоумение, но затем найдет подражателей. Потому и не удастся у нас ничего, что все руководствуется лживою, но очень удобною пословицею: «Один в поле не воин».

— Д-да, картина, во всяком случае, довольно умирительная: мы работаем, выбиваясь из сил, втрое больше прежнего, а «братья»-постояльцы бьют себе баклуши на готовых хлебах... Воображаю, какую массу «братьев» мы расплодим по городу!

— Они вовсе не должны бить баклуши, они должны работать. Дайте им работу.

— Где мне ее прикажете взять?

— Работа всегда найдется. Пусть они чистят у вас сад, подметают двор, колют дрова. Они сами будут рады.

Николай Иванович с усмешкою махнул рукою.

— Ну хорошо! Допустим, что все это легко исполнимо, что им найдется работа, что они сами будут рады; допустим, что этим путем мы в состоянии обновить мир. Но что прикажете в таком случае делать всем с собственными семьями?— И он в комическом недоумении развел руками.

— Семьи можно бы в настоящее время и не иметь,— сказал Гаврилов, понизив голос.

Николай Иванович быстро поднял голову и пристально посмотрел на Гаврилова.

— А-а! — расхохотался он, вставая.— Теперь, батенька, я вас узнал.— Это — известная Zweikindersystem¹, или, еще лучше, «Крейцера соната»! Только, батюшка, вы немножко опоздали: уже и в Западной Европе давно доказана вздорность всего этого. Вы — толстовец!

Гаврилов чуть заметно улыбнулся.

¹ Теория, по которой в семье должно быть не более двух детей (нем.).

— Я не слышал, чтоб «все это» давно было опровергнуто в Западной Европе, а *Zweikindersystem* тут ни при чем. Это — старая истина, которая *не может быть опровергнутой*. «Я пришел разделить человека с отцом и дочь с матерью ее. *И враги человеку — домашние его*», — сказал Иисус...

Николай Иванович резко прервал его:

— Извините, пожалуйста! Я не знаю, что это за Иисус, я знаю только Иисуса Христа.

— Виноват! — почтительно ответил Гаврилов. — Я хочу сказать, что в настоящее время, когда все общество построено на крайне ненормальных отношениях, явления, сами по себе нормальные, становятся противоестественными и греховными. На человеке лежит слишком много обязанностей, чтоб он мог позволить себе иметь семью.

Гаврилов стал говорить о ненормальности строя теперешнего общества, о разделении труда и проистекающих отсюда бедствиях, об аристократизме науки и искусства, о церкви, о государстве. Говорил он, подняв голову и блестя глазами, голосом проповедника-фанатика. Николай Иванович слабо зевнул и вынул часы.

— Господа, однако, уж восьмой час! — обратился он к нам. — Нужно велеть подавать лошадей, а то вам придется ехать совсем в темноте.

Гаврилов поднялся с места.

— Я, кажется, слишком долго засиделся, — сказал он со смущенной улыбкой. — Извините меня. Честь имею кланяться. Так на вас, значит, мы рассчитывать не можем?

— Мы? — переспросил Николай Иванович и поднял брови. — У вас что же, партия целая есть?

— Да, «партия» людей, которые думают, что общее благо должно ставить выше личного.

Когда Гаврилов ушел, Николай Иванович облегченно вздохнул.

— Господи боже ты мой! — воскликнул он, оглядывая нас. — Сколько чуши можно наговорить в какие-нибудь короткие полчаса!

Наташа сумрачно взглянула на него и молча наклонилась над чашкой. Мне было неловко: правда, нелепостей было сказано достаточно, но... мне вдруг глубоко антипатичен стал Николай Иванович, и я не думал раньше, чтоб он был таким мещанином.

Подали лошадей. Мы простились и уехали. Город остался назади. Мы долго молчали.

— Да, этот человек по крайней мере знает, чего хочет, и верит в это,— сказал я наконец.

Наташа быстро подняла голову, взглянула на меня и снова начала смотреть на тянувшиеся по сторонам поля.

— И все-таки он лучше всех, которые там были,— процедила она сквозь зубы, с злым, угрюмым выражением на лице.

Всю остальную дорогу мы лишь изредка перекидывались незначущими замечаниями. Наташа упорно смотрела в сторону, и с ее нахмуренного лица не сходило это злое, жесткое выражение. Мне тоже не хотелось говорить. Солнце село, теплый вечер спускался на поля; на горизонте вспыхивали зарницы. Тоскливо было на сердце.

7 июля

Довольно было этой случайной встречи, чтобы все так долго созидаемое душевное спокойствие разлетелось прахом,— и вот я опять не знаю, куда деваться от тоски. Мне вспоминается страстная речь этого человека, вспоминается жадное внимание, с каким его слушала Наташа; я вижу, как карикатурно-убога, убога его программа, и все-таки чувствую себя перед ним таким маленьким и жалким. И передо мною опять встает вопрос: ну, а *я-то, чем же я живу?*

Время идет,— день за днем, год за годом... Что же, так всегда и жить,— жить, боясь заглянуть в себя, боясь прямого ответа на вопрос? Ведь у меня *ничего* нет. К чему мое честное и гордое мирозерцание, что оно мне дает? Оно уже давно мертво; это не любимая женщина, с которою я живу одной жизнью, это лишь ее труп; и я страстно обнимаю этот прекрасный труп и не могу, не хочу верить, что он нем и безжизненно-холоден; однако обмануть себя я не в состоянии. Но почему же, почему нет в нем жизни?

Не потому ли, что все мое внутреннее содержание — лишь красивые слова, в которые я сам не верю? Но разве же можно бояться слов больше, чем я боюсь, разве можно больше верить, чем я верю? И я не «лишний человек». Я ненависть чувствую ко всем этим тунеядцам, начиная с темного Чулкатурина¹ и кончая блестящим Плошовским², я не могу простить нашей чуткой славянской лите-

¹ «Дневник лишнего человека», Тургенева. (Примеч. В. Вересаева.)

² «Без догмата», Сенкевича. (Примеч. В. Вересаева.)

ратуре, что она благоуханными цветами поэзии увенчала людей, заслуживающих лишь сатирического бича. Меня не пугает нужда, не пугает труд; я с радостью пойду на жертву; я работаю упорно, не глядя по сторонам и живя душою только в этом труде. И все-таки... все-таки мне постоянно приходится повторять себе это, и я ношусь со своею чахоткою, как молодой чиновник с первым орденом. Пусто и мертво в сердце; кругом посмотришь,— жизнь молчит, как могила.

8 июля

Сегодня после ужина Вера с Лидой играли в четыре руки Пятую симфонию Бетховена. Страшная эта музыка: глубокотоскующие звуки растут, перебивают друг друга и обрываются, рыдая; столько тяжелого отчаяния в них. Я слушал и думал о себе.

Наташа стояла на балконе, облокотясь о решетку, и неподвижно смотрела в темный сад. Да, и ей нелегко... В речах этого Гаврилова на нее пахнуло из другого мира, далекого и светлого,— мира, в котором нет сомнений, в котором все живо и сильно. Но где путь туда? Я смотрел на Наташу, и у меня сжималось сердце: как грустно опущена ее голова, сколько затаенного страдания во всей ее фигуре... Почему так дорога стала мне эта девушка? Мне хотелось подойти к ней и крепко пожать ей руку. Но что я скажу ей, и на что ей мое сожаление? Она его отвергнет.

А звуки по-прежнему горько плакали. Чище и глубже становилось от них горе. И мне казалось: я найду, что сказать...

Я вышел на балкон. Недавно был дождь, во влажном саду стояла тишина, и крепко пахло душистым тополем; меж вершин елей светился заходящий месяц, над ним тянулись темные тучи с серебристыми краями; наверху сквозь белесоватые облака мигали редкие звезды.

— Хочешь, Наташа, на лодке ехать? — спросил я, помолчав.

Наташа очнулась и оглядела меня недоумевающим, отчужденным взглядом.

— Пойдем,— сказала она.

Мы спустились по влажной тропинке к реке.

— Как река прибыла! — тихо сказала Наташа, видимо, чтоб только сказать что-нибудь.

— Да. И посмотри, какая тишина кругом: голосов ночи совсем нет. Это так всегда после дождя.

— А ну!— Наташа остановилась и стала слушать. Потом пошла дальше.

Теперь я видел, что обманулся в себе: я не знал, как начать и о чем говорить.

Мы сели в лодку и отплыли. Месяц скрылся за тучами, стало темней; в лощинке за дубками болезненно и прерывисто закричала цапля, словно ее душили. Мы долго плыли молча. Наташа сидела, по-прежнему опустив голову. Из-за темных деревьев показался фасад дома; окна были ярко освещены, и торжествующая музыка разливалась над молчаливым садом; это была последняя, заключительная часть симфонии,— победа верящей в себя жизни над смертью, торжество правды и красоты и счастья бесконечного.

Наташа вдруг подняла голову.

— Митя! Помнишь, мы раз с тобой шли по саду, я тебя спрашивала, что мне делать? Ты говорил тогда про сельскую учительницу. Скажи мне правду: ты верил в то, что говорил?

Я несколько времени молчал; я не ожидал, что она так прямо, ребром, поставит вопрос.

— Что тебе сказать на это?— ответил я наконец.— Верил ли я? Да, Наташа, я верил. Но... Ты хочешь правды. Я видел, как ты смотрела на меня, когда я сюда приехал, видел, что ты чего-то ждала от меня. Меня это очень мучило, но что я мог сделать? Ты от *меня* ожидала разрешения своих вопросов! Голубушка, ты ошиблась. Рассказывать ли тебе, как я прожил эти три года? Я только обманывал себя «делом»; в душе все время какой-то настойчивый голос твердил, что это не то, что есть что-то гораздо более важное и необходимое; но где оно? Я потерял надежду найти. Боже мой, как это тяжело! Жить — и ничего не видеть впереди; блуждать в темноте, горько упрекать себя за то, что нет у тебя сильного ума, который бы вывел на дорогу,— как будто ты в этом виноват. А между тем идет время...

Есть силы,— боже, гибнут силы!

Есть пламень честный,— гаснет он!

Ты подозреваешь, что я сам не верю... Не верю? Наташа, голубушка, я верю, всею силою души верю,— это ты ошибаешься. Люби ближнего твоего, как самого се-

бя, — нет больше этой заповеди. Если бы ее не было, мне страшно, что бы было со мною. И ты согласишься, что я не фразы говорю. Но тебе нужно другое. Жить для других, работать для других... Все это слишком общо. Ты хочешь идеи, которая бы наполнила всю жизнь, которая бы захватила целиком и упорно вела к определенной цели; ты хочешь, чтоб я вручил тебе знамя и сказал: «Вот тебе знамя, — борись и умирай за него»... Я больше тебя читал, больше видел жизнь, но со мною то же, что с тобой: я *не знаю!* — в этом вся мука.

Наташа сидела, подперев подбородок рукою, и сумрачно слушала. Как не похожа была она теперь на ту Наташу, которая две недели назад, в этой же лодке с жадным вниманием слушала мои рассказы о службе в земстве! И чего бы я ни дал, чтобы эти глаза взглянули на меня с прежнею ласкою. Но тогда она ждала от меня того, что дает жизнь, а теперь я говорил о смерти, о смерти самой страшной, — смерти духа. И позор мне, что я не остановился, что я продолжал говорить...

Я говорил ей, что я не один такой: что все теперешнее поколение переживает то же, что я; у него *ничего* нет, — в этом его ужас и проклятие. Без дороги, без путеводной звезды, оно гибнет невидимо и бесповоротно... Пусть она посмотрит на теперешнюю литературу, — разве это не литература мертвецов, от которых ничего уже нельзя ждать? Безвременье придавило всех, и напрасны отчаянные попытки выбиться из-под его власти.

Наташа все время не выронила ни слова. Она взялась за руль и повернула лодку. Назад мы плыли молча. Месяц закатился, черные тучи ползли по небу; было темно и сыро; деревья сада глухо шумели. Мы подплыли к купальне. Я вышел на мостки и стал привязывать цепь лодки к столбу. Наташа неподвижно остановилась на носу.

— Я все-таки думаю, что ты ошибаешься, — тихо сказала она, глядя вдоль реки, тускло сверкавшей в темноте. — Неужели правда, необходимо быть таким рабом времени? Мне кажется, что ты перенес на всех то, что сам переживаешь.

Я с усмешкой пожал плечом.

— Дай бог!

Я вышел на берег. Наташа по-прежнему неподвижно стояла в лодке.

— Ты еще не пойдешь домой?

— Нет, — коротко ответила она.

Я стал подниматься по крутой, скользкой тропинке. Когда я был уже в саду, я услышал внизу, по реке, ровный стук весел: Наташа снова поехала на лодке.

И вот уже час прошел, а я все сижу у стола, — без мысли, без движения, в голове пустота. На дворе идет дождь, черный сад шумит от ветра, тоскливо и однообразно журчит вода в дождевом желобе... Наташа еще не возвращалась.

10 июля

Наташа все эти дни избегает меня. Мы сходимся только за обедом и ужином. Когда наши взгляды встречаются, в ее глазах мелькает жесткое презрение... Бог с нею! Она шла ко мне, страстно прося хлеба, а я — я положил в ее руку камень; что другое могла она ко мне почувствовать, видя, что сам я еще более нищий, чем она?.. И кругом все так тоскливо! Холодный ветер дует не переставая, небо хмуро и своими слезами орошает несчастных людей.

9 час. вечера

Сейчас нарочный привез мне со станции телеграмму из Слесарска: городская управа уведомляет, что я принят на службу, и просит приехать немедленно. Слава богу! Еду завтра вечером.

11 июля. 12 час. ночи

Я в Слесарске: приехал я всего полчаса назад. Ну и городишко! Гостиниц нет, пришлось остановиться на постоялом дворе. Мне отвели узенькую комнату с одним окном. Синие потрескавшиеся обои; под тусклым зеркальцем — стол, покрытый грязной скатертью с розовыми разводами; щели деревянной кровати усеяны очень подозрительными пятнышками. Кругом все глубоко спит, пальмовая свеча слабо освещает стены; потухающий самовар тянет тонкую-тонкую нотку; замолкнет на минутку, словно прислушиваясь, поворчит — и опять принимается тянуть свою нотку. Спать еще не хочется; буду вспоминать сегодняшний день.

К обеду приехал в Касаткино Виктор Сергеевич Гастев. Я укладывался у себя наверху и сошел вниз, когда все уже сидели за столом.

— А-а, доктор! Здравствуйте! — встретил меня Вик-

тор Сергеевич, высоко поднял руку и мягко опустил ее мне в ладонь. — Все ли в добром здоровье?

— Вот, Виктор Сергеевич, — сказал дядя с тем юмористическим выражением на лице, которое у него всегда является при гостях, — сей молодой человек, не желая спастись от холеры нас, уезжает на войну с холерными запятыми в ваш Слесарск.

Виктор Сергеевич поднял брови.

— Вы таки едете в Слесарск?! — недоверчиво спросил он.

— Разумеется, — ответил я, невольно улыбнувшись.

Он взял стоявшую перед ним рюмку с водкой и взглянул в нее на свет.

— А вы что же, Виктор Сергеевич, разве не сочувствуете сему геройскому подвигу? — спросил дядя тем же тоном.

Виктор Сергеевич опрокинул рюмку в рот и закусил селедкой.

— Отчего не сочувствовать? — равнодушно произнес он, вытирая салфеткой усы. — Убьют его там через неделю, — ну, так ведь это пустяки: он человек одинокий.

Тетя замахала руками.

— Да ну, Виктор Сергеевич! Типун вам на язык! Что это такое — «убьют»!

— Да очень просто! Вы не знаете, что такое наша слесарская мастеровщина, а я знаю хорошо. Вы вот раньше спросите-ка, что это на народ.

Он заткнул себе салфетку за жилет и принялся за борщ.

— Что же это за народ, Виктор Сергеевич? — спросила Соня.

Наташа, подняв голову, с ожиданием смотрела на него.

— Да вот, душенька, какой народ. Недели две назад позвали за реку доктора Чубарова к старухе одной; оказалась дизентерия. Он прописал ей лекарство, а кроме того — карболки, чтоб вылить в отхожее место. Старушка-то святая и рассуди: зачем «лекарствие» в такое место выливать? Да стаканчик раствору ихватила. Ну, к вечеру, разумеется, и лежала под образами. Назавтра приезжает доктор, собрался народ, окружил его и начал расправу; били его, били, — насилу полиция отняла. И теперь еще больной лежит. Розыски пошли, расследования... Четверых арестовали.

— О боже ты мой!— в ужасе воскликнула тетя.— Ну, слава богу еще, что этого так не оставили: все-таки на них теперь страх будет.

— Страх?— расхохотался Виктор Сергеевич.— Да, да-а... Через два дня после этого вдруг в чистом поле загорелся барак; весь сгорел, до последней щепочки. Теперь уже новый строят, кончают. Опять полиция нагрянула, опять аресты, розыски... Народ возбужден и озлоблен до крайности. И не скрывает никто, прямо говорят: пусть к нам доктора пришлют, мы с ним разделаемся. А слухи, слухи идут,— один другого нелепее. Недавно рассказывает мне горничная: доктора с полицией вломились к одному сапожнику, у которого болела голова; самого его уволокли в больницу, а инструменты его, товар — все пожгли; теперь сапожника выпустили, но он совершенно разорен и стал нищим... Торговки на базаре громко рассказывают: дескать, выписывают к нам трех докторов, чтоб народ травить. Вчера еще приходит ко мне моя прачка, плачет. «Горе, говорит, мне, барин, с сыновьями моими! Пришли они наемни с фабрики, рассказывают, ребята сговорились,— если докторов в Заречье пришлют, всех их разнести. Мы, говорят, тоже пойдем. Никаких моих уговоров не слушают, погубят свои головы...» Ведь это уж сознательный заговор! — закончил Виктор Сергеевич, значительно мигнув бровями, и снова принялся за борщ.— И ведь говорил я все это Дмитрию Васильевичу, предупреждал его в Пожарске,— нет! Пришла охота на нож лезть!

Наташа быстро и пристально взглянула на меня; встретившись с моим взглядом, она отвела глаза в сторону, но я успел в них прочесть что-то странное: Наташа словно была удивлена тем, что я, посылая заявление из Пожарска, уже знал обо всем этом.

— Не так это, Виктор Сергеевич, страшно, как издали кажется,— неохотно заметил я.

— Да?— рассмеялся он.— А читали вы, что в Астрахани и Саратове делается?

— Нет. А что такое? (Последние газеты были только что привезены со станции, и я их еще не просматривал.)

Виктор Сергеевич стал рассказывать о разразившихся на Поволжье беспорядках, где толпа, обезумев от горя и ужаса, разбивала больницы и в клочки терзала людей, шедших к ней на помощь.

— Ну вот видите!— закончил он.— Если там такие вещи происходят, то у нас и подавно произойдут, за это я вам ручаюсь. Помочь вы все равно ничего не поможете,— никто к вам и не обратится,— а погибнете совершенно напрасно. Пользы от этого никому ведь не будет, не так ли?.. Ну во-от.— И он добродушно захохотал.

— Да нет, Митечка, это ты, правда, в таком случае лучше не поезжай!— взволнованно сказала тетя.

Наташа встрепенулась.

— Ну, мама!..

— Да как же, душечка! Ведь они и в самом деле убьют его там: он даже и пользы никакой не принесет... А ну их совсем, не нужно и жалованья их в полтораста рублей!

— Да уж поздно теперь, тетя!— засмеялся я.— Не отказываться же, раз поступил!

Разговор перешел на другое.

После обеда подали кофе. На дворе уже запрягли тарантас. Мне было как-то особенно весело, и я с любовью приглядывался к окружающим лицам. Завязался общий разговор; шутили, смеялись. Я вступил с Верою в яростный спор о Шопене, в котором, как и вообще в музыке, ничего не понимаю, но который действительно возбуждает во мне безотчетную антипатию. Я любовался Верою, как она волновалась и в ужасе всплескивала руками, когда я называл классика Шопена «салонным композитором».

Наташа все время молчала; мы с нею не перемолвились ни словом. Но иногда, случайно обернувшись, я ловил на себе ее взгляд, быстрый и пристальный,— и у меня в душе все начинало смеяться.

Лошадей подали. Все вышли провожать меня на крыльцо. Пошло прощание. Тетя три раза перекрестила меня и, обнимая, тихо всхлинула.

После всех я подошел к Наташе. Она растерялась и робко подняла на меня глаза,— детски-восторженные, любящие... Я обнял ее. Наташа удруг охватила мою шею руками и крепко, горячо поцеловала меня. А всегда она целует неохотно и отрывисто, словно кусает.

Я ехал в вагоне, высунувшись из окна, смотрел, как по ночному небу тянулись тучи, как на горизонте вспыхивали зарницы, и улыбался в темноту.

Лег было спать, но заснуть не удалось. Тысячи голодных клопов так и облепили тело. Проворочался два часа. Все равно не заснешь. Светает, в окно видна широкая пустынная улица; маленькие домики спят беспробудно...

Я хочу искренно ответить себе на вопрос: боюсь ли я? Нет, и мне это очень странно. Раньше я не представлял себе, как можно жить окруженным всеобщей ненавистью; когда я видел раненых и изувеченных, мне порою приходила в голову мысль: неужели и со мною может когда-нибудь случиться подобное? Теперь же я представляю себе все это очень ясно — и только улыбаюсь. Как будто я теперь совсем другим стал. На душе светло и бодро, кругом все так необычно хорошо, хочется борьбы и дела.

Вот оно,— в холодном утреннем тумане тянется Заречье... Покорю ли я его, или оно меня раздавит?

Часть вторая

15 июля

Я уже три дня в Чемеровке. Вот оно, это грозное Заречье!.. Через горки и овраги бегут улицы, заросшие велоселой муравкой. Сады без конца. В тени кленов и лозин ютятся вросшие в землю трехкоконные домики, крытые почернелым тесом. Днем на улицах тишина мертвая, солнце жжет; из раскрытых окон доносится стук токарных станков и лязг стали; под заборами босые ребята играют в лодыжки. Изредка пробредет к реке, с простынею на плече, отставной чиновник или семинарист.

К вечеру улицы оживляются. Кустари заканчивают работы, с фабрик возвращается народ. Поужинав, все высыпает за ворота. Вдали, окутанный синим туманом, глухо шумит город; под лучами заходящего солнца белеют колокольни, блестят кресты церквей. Сумерки сгущаются. Я люблю в это время бродить по Чемеровке. У покосившихся ворот, под нависшею ивою, стоит девушка и, кутаясь в платок, слушает говорящего ей что-то мастерового; мне нравится ее открытая русая головка, нравится счастливый, смеющийся взгляд исподлобья, который она порою бросает на собеседника. Где-то мычит корова, из чаши сада несется заунывная песня... Гаснет

заря, яркие звезды зажигаются в небе; темно на улицах, но в темноте чувствуется жизнь, слышен говор, сдержанный женский смех... К одиннадцати часам все смолкает; ни огонька во всем Заречье, везде спят, и только собаки бесшумно спуют по пустынным улицам.

Я нанял квартиру на конце Заречья у мещанина, содержащего фруктовый сад; весь домик в три комнаты я занимаю один. Крыльцо и окна приемной выходят на улицу, из спальни виден сад с яблонями и длинными рядами кустов черной смородины, крыжовника, барбариса.

Барак стоит за городом, на лугу, рядом с обугленными развалинами прежнего барака. В нем уютно и весело, пахнет свежим деревом. При бараке — фельдшер хохол Харлампий Алексеевич Прищепенко. Говорит он медленно и почтительно, высоко поднимая брови и припечатывая каждую фразу словом «Да!». Расспрашивал я фельдшера о настроении зареченцев, о пожаре барака: он рассказывал обо всем обстоятельно и спокойно, как о чем-то вполне обычном; потом перешел к тому, что нужно бы сделать кое-какие закупки для барака... Признаться, совестно мне стало за мое повышенное настроение духа.

Все бы хорошо в бараке, но низший персонал!.. Интересно, откуда к нам набрали таких. Один служитель, Павел, — маленький человек с мутными, блудливыми глазами, которыми никогда не смотрит в лицо; одет он в пиджак и штаны навыпуск; по всему видно, — прощелыга, прельстившийся высокой платой. Сегодня под моим руководством он приготавливал сернокарболовый раствор. Когда я сказал ему, чтоб он поосторожнее обращался с серной кислотой, — на руку попадет, так всю руку разъест, — в глазах Павла мелькнуло что-то, что трудно описать; но я голову даю на отсечение, что поступил он к нам в барак, как поступил бы... в шайку разбойников. Другой служитель, Федор, — неповоротливый деревенский парень с сонным и глуповатым лицом. И вот весь наш, с позволения сказать, «санитарный отряд».

17 июля

Я уже несколько дней назад вывесил на дверях объявление о бесплатном приеме больных; до сих пор, однако, у меня был только один старик эмфизематик да две женщины приносили своих грудных детей с летним поносом. Но все в Чемеровке уже знают меня в лицо и знают, что

я доктор. Когда я иду по улице, зареченцы провожают меня угрюмыми, сумрачными взглядами. Мне теперь каждый раз стоит борьбы выйти из дому; как сквозь строй, идешь под этими взглядами, не поднимая глаз.

18 июля

Все вокруг как будто спокойно, но что-то зловещее носится в воздухе, нервы напряжены. Через фельдшера, через кухарку, отовсюду до меня доходят странные слухи: меня будто видели ночью у молчановского колодца, видели, что я сыпал в него какой-то порошок; молотобойцы из кузницы погнались за мною, но я перепрыгнул через забор в баташовский сад и скрылся. Другие видели, как ночью провезли в барак целый обоз гробов и крючьев. Собираются будто вторично поджечь барак, перебить полицию и медицинский персонал. Я стараюсь уверить себя, что не боюсь, но при каждой пьяной песне на улице, при каждом стуке сердце неприятно вздрагивает.

19 июля. Воскресенье

Сегодня вечером я получил по почте безграмотное письмо. Анонимный доброжелатель предвещал мне, что этою ночью «ребята» собираются разгромить мою квартиру. Когда я читал письмо, за мною прислали от покровского священника, с дочерью которого случился припадок. Возвращался я домой по Ключарной улице. Было темно; тучи низко нависли над городом: накрапывал дождь. Дверь кабака раскрылась, тусклая полоска света легла на дорогу и отразилась в луже. Две тени неслышно перешли улицу и скрылись около пустыря. Мне приходилось идти мимо. Оборванный, босой мужчина в широких штанах прятался в углублении калитки, молча и внимательно следя за мною взглядом; я невольно выпрямился и, проходя, сжал в руке палку. Сзади опять появились две тени; до меня донеслось слово «доктор». Я свернул на Мотякинскую улицу, потом на Серебрянку. Тени следовали за мною по ту сторону улицы, прячась у заборов.

Воротился я домой. Перепуганная кухарка сообщила, что сейчас приходила кучка пьяных чемеровцев и спрашивали меня. Ее уверениям, что меня нет дома, они не поверили и начали ломиться в дверь. Прохожий сказал

им, что только что видел меня у церкви Николы-на-Ржавцах. Они все двинулись туда по Ямской улице.

— Вы бы, барин, до завтраго уехали бы в город,— посоветовала кухарка.— Долго ли до греха? Народ пьяный, в голове бог знает что...

— Эх, Авдотьюшка, не так все это страшно!— засмеялся я, потрепав ее по плечу.— Что они мне сделают? И здесь переночуем, не велика беда.

Уехать в город... Не захватить ли мне с собою кстати и фельдшера с служителями, чтобы в случае заболевания никого из нас не могли найти?

Авдотья улеглась спать. Мне не спится, и я сижу за письменным столом.

Что скрывать перед собою? Мне тяжело и страшно. Страшно этой темноты, страшно того, что нельзя защищаться. Когда я подумаю: вот сейчас ворвутся сюда эти люди,— безумный ужас овладевает мною, и я не могу примириться с мыслью: да как это возможно?! За что?

Дождь тихо капает по листьям, в темном саду слышатся смутные шорохи. И я тут один...

21 июля

Я лег вчера спать в первом часу ночи. Только что задремал, как в комнату раздался стук. Авдотья просунула голову в дверь и доложила, что пришел фельдшер. У меня в предчувствии екнуло сердце; я велел позвать его и зажег свечу.

В комнату медленно и неслышно вошел Харлампий Алексеевич, бледный, с широко раскрытыми глазами. Гробовым голосом он объявил:

— Дмитрий Васильевич, у нас в Заречье холера!

— Да ну?

— Настоящая: с рвотой, с судорогами... На Ключарной улице. Слесарь Черкасов.

— Что, вы сами видели? Были вы уж там?

— Был-с. За мною в барак присылали. Я велел воду греть и вот к вам пришел.

Я стал торопливо одеваться. По груди и спине бегала мелкая, частая дрожь, во рту было сухо; я выпил воды. «Нужно бы поесть чего-нибудь,— мелькнула у меня мысль.— На тощий желудок нельзя выходить... Впрочем, нет: я всего полтора часа назад ужинал». Я оделся и суетливо стал пристегивать к жилетке цепочку часов. Харлам-

пий Алексеевич стоял, подняв брови и неподвижно уставясь глазами в одну точку. Взглянул я на его растерянное лицо, — мне стало смешно, и я сразу овладел собою.

— Ну, вот и практика у нас с вами появилась! — сказал я с улыбкой. — Вы все захватили, что нужно?

Мы вышли на улицу. Передо мною, отлого спускаясь к реке, широко раскинулось Заречье; в двух-трех местах мерцали огоньки, вдали лаяли собаки. Все спало тихо и безмятежно, а в темноте вставал над городом призрак грозной гостыи...

На Ключарной улице мы вошли в убогий, покосившийся домик. В комнате тускло горела керосинка. Молодая женщина с красивым, испуганным лицом, держа на руках ребенка, подкладывала у печки щепки под таганок, на котором кипел большой жестяной чайник. В углу, за печкой, лежал на дощатой кровати крепкий мужчина лет тридцати, — бледный, с полузакрытыми глазами; закинув руки под голову, он слабо стонал.

— Добрый вечер! — сказал я, снимая пальто.

— Здравствуйте! — ответила молодая женщина, взглянув на меня, и сейчас же снова повернулась к печке.

Я подошел к больному и пощупал пульс. Рука была холодная, но пульс прекрасный и полный.

— Давно его схватило? — спросил я молодую женщину.

— После обеда сегодня, — ответила она, не глядя на меня. — Пришел с работы, пообедал, через час и схватило.

Говорила она неохотно, словно старалась отвязаться от тех пустяков, с которыми я к ней приставал. И вообще держалась она со мною так, как будто я был случайно зашедший с улицы человек, только мешавший ей в ее важном деле.

— Ну что, Черкасов, как себя чувствуете? — спросил я больного.

— Нутро жжет, ваше благородие, мочи нет; тошно на сердце.

— Хотите воды со льдом?

Фельдшер подал ему ковш. Он припал губами к краю, жадно глотая воду.

— С чего это случилось с вами? — спросил я. — Не поели ли вы сегодня тяжелого?

Черкасов снова лег на спину.

— С молока это, ваше благородие: пришел я с работы уставши, поел шей, а потом сейчас две чашки молока выпил.

Он замолчал и закрыл глаза. Фельдшер готовил горчичник. Я вынул из кармана порошок каломеля.

— Ну, Черкасов, примите порошок!— сказал я.

Его жена быстро подошла ко мне и остановилась, следя за каждым моим движением. Черкасов решительно ответил:

— Нет, ваше благородие, это вы оставьте: не стану я порошков принимать!

Я сдерживал улыбку.

— Вы думаете, я вас отравить хочу? Ну, вот вам два порошка, выбирайте один; другой я сам приму.

Черкасов поколебался, однако взял порошок; другой я высыпал себе в рот. Жена Черкасова, нахмутив брови, продолжала пристально следить за мною. Вдруг Черкасов дернулся, быстро поднялся на постели, и рвота широкою струею хлынула на земляной пол. Я еле успел отскочить. Черкасов, свесив голову с кровати, тяжело стонал в рвотных потугах. Я подал ему воды. Он выпил и снова лег.

— Ну, Черкасов, примите же порошок!

— А ну, выпейте-ка допрежь того воды вашей,— проговорила жена Черкасова, враждебно глядя на меня.

— Ты, матушка, слишком-то не дури!— строго прикрикнул фельдшер.— С чего это доктор вашу воду пить станет?

— Вода наша, я знаю, а лед-то ваш!

Я улыбнулся и взглянул на фельдшера.

— Ну, что ты с нею станешь делать? Давайте вашу воду.

У меня смутно шевелилась надежда, что воду она мне даст в чистой посуде. Жена Черкасова взяла ковш, стоявший у постели мужа, и протянула его мне. У меня упало сердце.

«Да ведь отсюда только сейчас холерный пил!» — со страхом подумал я, поднося ковш к губам. Мне ясно помнится этот железный, погнутый край ковша и слабый металлический запах от него. Я сделал несколько глотков и поставил ковш на стол.

Черкасов принял порошок. Фельдшер положил ему на живот горчичник. Стало тихо. Больной лежал, неподвижно вытянувшись. Керосинка, коптя и мигая, слабо освещала комнату. Молодая женщина укачивала плакавшего ребенка.

— Вы скажите, Черкасов, когда горчичник станет жечь,— сказал я.

— Ничего, ваше благородие, оно жжет, только при ятно,— тихо ответил он.

Я сидел на табуретке, свесив голову. Теперь у меня в желудке тысячи холерных бактерий; есть там еще соляная кислота или нет? В животе слабо бурчало и переливалось.

— Опять ревматизм появился в ногах!— быстро проговорил Черкасов, начиная ежиться и двигаться на постели.— Аксинья! Три, ради бога!.. Три скорей!

Я пощупал под одеялом его ноги: мускулы икр судорожно сокращались и были тверды, как камень.

— О-ооо!.. О-ооо!..— протяжно стонал больной, дрожа и вытягиваясь во весь рост. Мы стали оттирать его горячими бутылками и камфарным спиртом.

Судороги постепенно слабели. Черкасов закинул за голову мускулистые руки и лежал с полуоткрытыми глазами, изредка тяжело вздыхая. Павел подавал ему воду, и он жадно пил ее целыми ковшами.

В комнату вошла толстая, немолодая женщина с бойким лицом и черными бровями.

— Здравствуйте, господин доктор!.. Ну что, соседка, как муженек?

— Да лежит вот!

— Говорите-ка вот с ними, господин доктор!.. Ни за что за вами не хотели посылать: пройдет, говорят, и так. А я смотрю, уж кончается человек, на ладан дышит. Что ты, я говорю, Аксиньюшка, али ты своему мужу не жена? Тут только один доктор и может понимать.

— Чем раньше будете за мною посылать, тем лучше,— сказал я.— Ведь это такая болезнь:хватишь в начале,—пустышками отделаешься. А у вас как? «Пройдет» да «пройдет», а как уж плохо дело, так за доктором. После обеда схватило, сейчас бы и послали. Давно бы здоров был.

— Да ведь... миленький! Ну, как же иначе? Вон, говорят, кругом болезнь ходит. Доктора учатся, они понимают. А что пустышки-то разные болтают в народе, так нешто все переслушаешь?

Больной пошевелился на постели.

— Уж больно жжет горчичник, прикажите снять, ваше благородие!

Вскоре опять началась рвота. Больной слабел, глаза его тускнели, судороги чаще сводили ноги и руки, но пульс все время был прекрасный. Мы втроем растирали Черкасова. Соседка ушла. Аксинья сидела в углу и с тупым вниманием глядела на нас.

Светало. Я сполоснул руки сулемою и вышел наружу покурить. На улице было безлюдно; в березах соседнего сада чирикали воробьи. Аксинья тоже вышла.

— Вот что, голубушка,— сказал я,— вы всю эту посуду, из которой пил больной, оставьте в сторонку и не пейте из нее сами, а то заразитесь. И одеяло, и пальто, которым он покрыт, отложите. Нужно будет все это в горячей воде прокипятить.

— Нам что ж? Кипятите.

Аксинья помолчала.

— Ему весть была дана,— проговорила она, глядя вдаль.

— Какая весть?

— Утром вчера шел через мост, его ласточка крылом задела. Пришел к обеду, сказывал.

— Ну, пустяки! Какая там весть! Бог даст, выздоровеет.

Я воротился в комнату. Больной затих и лежал спокойно, закрыв глаза и держа в руках горячую бутылку; иногда только судороги схватывали его ноги, и лицо болезненно перекашивалось.

Бледное утро смотрело в окна. Фельдшер, понуриив голову, дремал на табуретке; больной, укутанный тремя одеялами, также задремал. Стало тихо. В низкой комнате было темно и душно, несмотря на открытые окна; керосинка тускло освещала грязную, промасленную поверхность стола и выступ печи; пахло тараканами и керосином. Я сидел на постели Черкасова и под одеялом водил горячею бутылкою по его ногам. В люльке лежал под кучею красных тряпок грязный, бледный ребенок с огромными ушами. Он не спал; подняв безволосые брови, он молча и пристально смотрел на меня, изредка двигая по одеялу худыми, как спички, ручонками. Я тоже смотрел на него... Для чего любовь этих двух сильных, красивых людей, дающая в результате таких жалких, рахитических уродцев? И для чего вообще они трудятся, что поддерживает их в их тяжелой работе? Неужели забота об этом смрадном угле?

Черкасов начал тихонько всхрапывать. Я велел фельдшеру полить сулемою пол, а сам с Аксиньей и Павлом вышел из комнаты, чтобы дезинфицировать отхожее место. Увы! Его не оказалось, и пришлось полить чуть не весь дворик.

Когда мы воротились, больной по-прежнему тихо спал. Фельдшер, сидя на табуретке, в сонливой задумчивости

смотрел в одну точку и клевал носом. Я отпустил его с Павлом домой и остался один. Аксинья прикорнула на сундуке и тоже задремала. Я еще с час просидел на завалинке, куря и любуясь восходом солнца. Черкасов крепко спал. Он был вне опасности. Дезинфекцию приходилось отложить, чтобы дать больному выспаться. Я разбудил Аксинью, еще раз повторил ей, чтоб посуду, белье, одежду она не трогала до нашего прихода, и отправился домой.

В десять часов утра мы явились произвести дезинфекцию. Черкасов, в чистой топорщившейся ситцевой рубахе и блестящих сапогах, стоял у ворот, держа на руках ребенка.

— Вот уж как! — с радостным удивлением воскликнул я. — Вы ли это, Черкасов? Ну, молодец!.. Здравствуйте.

— Здравствуйте, ваше благородие!

— Как вы себя чувствуете?

— Да как есть здоров. Спасибо, ваше благородие, что отходили. А наемни так уж и думал, что помирать пора пришла.

— Ну, так вот же что, Черкасов, вы теперь будьте поосторожнее с едою, не ешьте зелени и ничего тяжелого. Лучше всего съешьте сегодня яичко всмятку да чаю выпейте с коньяком, я вам дам.

— Слушаю-с! Да вы пожалуйста в горницу.

Я вошел в комнату — и остановился. Боже мой, что я увидел! Земляной пол был подтерт чисто-начисто, посуда, вся перемытая, стояла на полке, а Аксинья, засучив рукава, месила тесто на скамейке, стоявшей вчера у изголовья больного. У меня опустились руки.

— Ну, скажите, пожалуйста, Аксинья, что вы такое сделали? — спросил я, через силу сдерживаясь.

— Что я такое сделала?

— Ведь я же вам сегодня утром несколько раз говорил: не подтирайте пола, оставьте всю посуду в сторону...

— Да что же ей грязной стоять?

— А то вот, что вы теперь по всему дому заразу разнесли! Понимаете вы это?.. Эх!..

Я махнул рукою и обратился к Черкасову:

— Ну, вот что, Черкасов: все-таки нужно будет комнату от заразы очистить. Все подушки, одеяло, которым вы вчера покрывались, дайте нам; мы их вам завтра отдадим. И комнату нужно будет хорошенько полить и обрызгать.

Фельдшер взял в руки бутылку с сулемой. Глаза Черкасова враждебно засветились, и он быстро сказал:

— Ну, нет, ваше благородие, это вы велите оставить!

— Вот те раз!.. Да вы знаете ли, Черкасов, что у вас было? Ведь у вас *холера* была, заразительная болезнь; если не полить комнату, так зараза во все стороны поползет, по всему Заречью пойдет.

— Да окончательно сказать, у меня одни пустяки были: поел вчера щей с молоком, только и всего. Нешто это холера?

— Скажите, Черкасов, а вы видали когда-нибудь холеру?

— Н-нет, не видал.

— А я видал, и говорю вам, что это холера. Ведь нельзя же так об одном себе думать! Не убьешь заразы, она пойдет дальше; и соседей всех заразите и жену. Подумайте сами,— ну разве же можно так?

В комнату вошла приходившая ночью соседка Черкасовых и остановилась у дверей.

— Да ни за что не дам поливать!— сказала Аксинья.— Польете карбовкой, вонь пойдет...

— Какая карболка? Сулема это, а не карболка! Понюхайте,— разве есть вонь?

Я протянул ей бутылку. Аксинья понюхала.

— Конечно, есть!

— Ну, да понюхайте же хорошенько! Ведь ничем не пахнет, как вода. Мы же ночью этим самым поливали.

— У меня вон дети и так еле дышат,— сказал Черкасов.— Польете карболкой, все перемерут.

— Да, Иван Андренч, от карбовки вреда нету,— вмешалась соседка.— Вот у меня на всех святых дите умерло от горла; все карбовкой полили,— отлично! Это заразу убивает.

— Э, все это от бога!— сказала Аксинья.— Бог не захочет, ничего не будет.

— От бога?.. Скажите, Аксинья, зачем же вы меня ночью позвали?— спросил я.— Бог-то богом, а я вам говорю: если бы не позвали меня, ваш муж теперь в гробу лежал бы, знаете вы это? Ведь он уж кончался, когда я пришел.

— Кончался, как есть кончался!— подтвердила соседка.— Прихожу я,— уж холодать начал, и глаза закатил...

— За это я вам по гроб своей жизни благодарен,— сказал Черкасов и поклонился.

— Да что мне от вашей благодарности! Как самому плохо, так доктора поскорее звать, а как дело до других, так сейчас: «Все от бога»... И вам не стыдно, Черкасов? Ведь вы же не в поле живете, кругом люди! Если теперь кто поблизости заболевает, вы знаете, кто будет виноват? Вы один, и больше никто!.. О себе позаботился, а соседи пускай заражаются?

— Да ведь я все только насчет детей,— сказал Черкасов, понизив голос.

— Ну послушайте, Черкасов,— подумайте немножко, хоть что-нибудь-то можете вы сообразить? Я над вами всю ночь сидел, отходил вас, — хочу я вам зла или нет? Что мне за прибыль ваших детей морить? А заразу нужно же убить, ведь вы больны были заразительною болезнью. Я не говорю уж о соседях,— и жена ваша и дети могут заразиться. Сами тогда ко мне прибежите.

— Ну, ну, Иван, чего ты, в самом деле?— сказал фельдшер.— Словно баба какая, ничего не понимаешь! Он взял бутылку и стал поливать пол.

— Да не дам я поливать!— крикнула Аксинья и бросилась к нему.

Черкасов стоял, угрюмо и злобно закусив губу.

— Ну, матушка, ты здесь не слишком-то бунтуй!— сказал фельдшер.— А то мы полицию позовем.

— Дело не в полиции,— прервал я его, нахмурившись.— Полиции я звать не стану. Но скажите же, Черкасов, объясните мне, отчего вы не хотите дать полить?

— Так, ваше благородие, нет моего согласу на это.

— Да отчего же?

— Да окончательно сказать, не нужно это. Бог даст, и так все живы будем.

— Вот на пасху у машиниста то же самое было,— сказала Аксинья.— Никакой карбовкой не поливали, все живы остались. А то карбовкой все обрызгаете... Ведь мы как живем? И сами у соседей то-другое занимаем, и им даем. А тогда нешто кто нам даст?

— Эк вам эта карболка далась! Да понюхайте же, господа, разве это пахнет карболкой?

Черкасов махнул рукою.

— Нет, ваше благородие, что разговаривать? не дам я поливать!

— Ну, как хотите. Заставлять я вас не стану. Но

помните, Черкасов: если теперь кто поблизости заболит, вы будете виноваты! Прощайте!

Фельдшер удивленно вскинул на меня глазами и покорно последовал за мною.

И вот мой первый дебют. Скверно и тяжело на душе, мучит совесть: произвести дезинфекцию было необходимо, но что же я мог сделать? Оставалось только прибегнуть к полиции; дезинфекцию мы бы произвели, а дальше? Если из *ничего* создалась легенда о сапожнике, разоренном врачами и полицией, то какие слухи пошли бы теперь? Холерные скрывались бы до последней возможности, зараженные ими вещи прятались бы подальше и разносили заразу все шире... И все-таки я знаю, что на Ключарной улице, в том маленьком домике, гнездится очаг заразы, она, может быть, расползется по всему городу; я врач, знаю это и ничего не предпринимаю... Боже мой, как все скверно!

23 июля

Амбулатория у меня полна больными. Выздоровление Черкасова, по-видимому, произвело эффект. Зареченцы, как передавала нам кухарка, довольны, что им прислали «настоящего» доктора. С каждым больным я завожу длинный разговор и свожу его к холере, настоятельно советую быть поосторожнее с едою и при малейшем расстройстве желудка обращаться ко мне за помощью.

Холера, по-видимому, водворилась в Заречье: было еще три случая заболевания (подтверждено бактериоскопически). Но начинается она мягко и слабо, не справляясь с книжками, по которым именно вначале она должна быть наиболее жестокой, все трое заболевших уже поправляются. Один из них, сторож грызловского огорода, когда мы явились к нему, сам попросился в барак; это — деревенский парень лет двадцати пяти, звать его Степан Бондарев. Мы ухаживали за ним всю ночь, и теперь он поправляется, хотя еще очень слаб. Разумеется, всем, желавшим проведать его, я давал свободный доступ в барак, что опять-таки сильно смутило фельдшера. Но благодаря этому зареченцы увидели, что барак ничуть не страшнее обыкновенной больницы. Когда на следующий день «схватило» жестянщика Андрея Снеткова, то мне не стоило большого труда уговорить его лечь в барак. Острый приступ у него прошел, но поносы продолжают, он сильно исхудал и глядит апатично и вяло.

Оба они лежат рядом. Степан, стройный парень с низким лбом и светлыми усиками, старается разговорами расшевелить неподвижно-задумчивого Андрея. Когда им приносят обедать, Степан, уплетая сам свой бульон или яйцо всмятку, увещевает соседа:

— Чего не ешь? И так вон как отощал,— гляди, померешь! Не хочется есть,— ешь поверх своей силы-мочи... Чудак человек!

Каждый день к Андрею приходит его брат, низенький человек с редкою бороденкою, с огромным багрово-синим рубцом на щеке. Всхлипывая и утирая рукавом глаза, он сует в руку Андрея гривенник.

— Небось, кисленького хочется тебе; купи огурчиков или чего такого... Эх, Андрюша, Андрюша!

— Чего же ты плачешь? — спрашивает Степан Бондарев, с любопытством и как-то недоверчиво глядя на него.

— Да ведь один у меня брат-то, как же не плакать? Кабы много было... Уж вылечите его, господин доктор! Вы люди ученые! — обращается он ко мне и низко кланяется.

Андрей лежит, подперев голову рукою, и с безучастною улыбкою следит за братом...

Вчера я получил письмо от Наташи. Вот оно:

«Митя! Ты знал, какие ужасы происходят в Заречье, и все-таки отправился туда. Как хорошо, что ты так поступил! Я этому очень рада. Я знаю, что ты поехал туда не шутки шутить, я очень хорошо знаю, чему ты себя подвергаешь, и все-таки я рада. Какая это жизнь, если постоянно заботиться только о своей безопасности! Пусть будет что будет, но там ты делаешь дело, настоящее дело. В каком настроении ты поехал туда? Что тебя там встретило? Какие твои первые сношения с зареченцами? Как ты себя чувствуешь между ними? Пиши мне, пожалуйста, Митя! Зареченцы эти грубы и дики, как звери, но разве они в этом виноваты? Пиши, пожалуйста; пожалуйста; пиши мне! Ведь нетрудно же тебе написать несколько строк. Буду ждать».

27 июля

Вчера после обеда в барак привезли нового больного. Фельдшер отправился произвести дезинфекцию в его квартире и взял с собой Федора. Я остался при больном.

Это был старик громадного роста и плотный, медник-литух Иван Рыков. Его неудержимо рвало и слабило, судороги то и дело схватывали его ноги. Он стонал и метался по постели. Я послал Павла готовить ванну.

— Дайте мне походить!— слабым голосом сказал больной.— Сводит ноги, мочи нет.

Я хотел помочь ему встать. Рыков своим тяжелым телом оперся на меня и, не устояв, снова сел на постель. Он вздохнул и покачал головою.

— Нет, барин, не сдержишь меня один!

Я это и сам видел... Уж и теперь, когда больных было мало, то и дело приходилось ощущать недостаток в людях; а прибудь сейчас в барак хоть двое новых больных,— и мы остались бы совершенно без рук. Я отправился в отделение для выздоравливающих и предложил Степану Бондареву поступить к нам в служители,— он уже поправился и собирался выписываться из больницы. Степан согласился.

Ванна была готова. Я велел посадить в нее стонавшего Рыкова. Судороги прекратились, больной замолк и опустил голову на грудь. Через четверть часа он попросился в постель; его уложили и укутали одеялами.

— О-о, господи батюшка!— тяжело вздохнул Рыков и прижался головою к краю подушки.

— Ай томно тебе?— с любопытством спросил Степан, словно поверяя на нем пережитые им самим ощущения.

— То-омно!..

— Под сердцем горит?

— Горит, парень, сил нету... Смерть пришла.

Степан уверенно сказал:

— С чего помереть? Не помрешь!

Рыков закрыл глаза и вытянулся. Вскоре его опять стало рвать, потом начались судороги... Степан пощупал под одеялом сведенные икры Рыкова.

— Ишь, словно яблоки!— сказал он про себя.

— Ох, и где же это ветерок?! Душно мне!— с тоскою проговорил Рыков.— Дайте мне походить. Помогите, Степа!

Степан и Павел взяли его под руки и стали водить по комнате. Походив, он снова сел в ванну.

— Воды погорячей!— отрывисто сказал он.

Я велел подлить кипятку.

— Хорошо так?

— Лейте, ради бога!— нетерпеливо произнес Рыков.

Сначала покорный и за все благодарный, он становился все капризнее и требовательнее.

— Нельзя ли ванну подлиннее?— сердито ворчал он, ворочаясь и поджимая ноги.

Вечерело. Рыкову становилось хуже. Приехал священник и исповедал его. Рвота и понос не прекращались; больной на глазах спадая и худел; из-под полузакрытых век тускло светились зрачки, лоб был клейкий и холодный; пульс трудно было нащупать. Меня удивило, как часто Рыков просился в ванну: сидит в ней с полчаса, затем походит по комнате, полежит — и опять в ванну; и все просит воды погорячей. Степан не отходил от него; он изредка переговаривался с Рыковым сиплым, грубоватым голосом, и что-то такое братски-заботливое сквозило в его коротких замечаниях, во всем его обращении.

В час ночи меня сменил выпавшийся тем временем фельдшер. Я сделал нужные распоряжения, сказал, чтоб ванн больному давали, сколько бы он их ни просил, а сам отправился домой.

В пятом часу утра я проснулся, словно меня что толкнуло. Шел мелкий дождь; сквозь окладные тучи слабо брезжил утренний свет. Я оделся и пошел к барaku. Он глянул на меня из сырой дали — намоченный, молчаливый. В окнах еще горел свет; у лозинки под большим котлом мигал и дымился потухавший огонь. Я вошел в барак; в нем было тихо и сумрачно; Рыков неподвижно сидел в ванне, низко и бессильно свесив голову; Степан, согнувшись, поддерживал его сзади под мышки.

— Ну как больной?— спросил я.

Степан поднял на меня бледное, усталое лицо, медленно выпрямился и повел плечами.

— Ничего,— коротко ответил он.— Блует все да воды погорячей просит.

За эти несколько часов Рыков изменился неузнаваемо: лицо осунулось и стало синеватым, глаза глубоко ввалились; орбиты зияли в полумраке большими, черными ямами, как в пустом черепе.

— Ну, что, Иван, как?— спросил я.

Рыков чуть повел головой, не поднимая век.

— Говори дюжей, не слышу!— сказал он сиплым, еле слышным голосом.

— Как дела?— громче повторил я.

Больной помолчал.

— Воды погорячей!— пробормотал он и тяжело пере-

воротился в ванне на другой бок. Пульса у него не было.

Я спросил Степана:

— Где же фельдшер?

— Он ушел: его к больному позвали.

— Давно?

— Часа три будет.

— Отчего же он за мною не послал?

— Пожалел: говорит, вы и так мало спали.

Оказывается, вскоре после моего ухода фельдшера позвали к холерному больному; он взял с собою Федора, а при Рыкове оставил Степана и только что было улегшегося спать Павла. Как я мог догадаться из неохотных ответов Степана, Павел сейчас же по уходе фельдшера снова лег спать, а с больным остался один Степан. Сам еле оправившийся, он *три часа* на весу продержал в ванне обессиленного Рыкова! Уложит больного в постель, подольет в ванну горячей воды, поправит огонь под котлом и опять сажает Рыкова в ванну.

Я пошел и разбудил Павла. Он вскочил, поспешно оправляясь и откашливаясь.

— Кто это вас, Павел, отпустил спать?

— Я сейчас только... гм... гм... на минуту прилег.— Он продолжал откашливаться и избегал моего взгляда.

— Послушайте, не врите вы!— повысил я голос.

— Не сутки же целые мне не спать!— проворчал он, скользнув взглядом в угол.

— Человек умирает, а вы его без помощи бросаете! Вы и двое суток должны не спать, если понадобится.

— Это я не согласен.

— Ну, так вы сегодня же получите расчет.

Лицо Павла сразу приняло независимое и холодное выражение. Он поднял голову и, прищурившись, взглянул мне в глаза.

Я прикусил губу.

— А если вы сейчас не пойдете в барак, вы ни копейки не получите из жалованья.

Павел закашлял и снова забегал взглядом по сторонам.

— С чего же не идти-то?— пробормотал он, обдергивая рукава на пиджаке.— Сейчас иду.

Я воротился в барак. Рыков по-прежнему сидел в ванне. Степан пошел подлить воды в котел и передал больного Павлу. Павел, виновато улыбаясь, почтительно взял громадного Рыкова под мышки и стал его поддерживать.

Тяжело и неприятно было на душе: как все неустроено, неорганизовано! Нужно еще отыскать надежных людей, воспитать их, внушить им правильное понимание своих обязанностей; а дело тем временем идет через пень колоду, положиться не на кого...

Часы шли... Рыков почти не выходил из ванны. Я опасался, чтобы такое продолжительное пребывание в горячей воде не отозвалось на больном неблагоприятно, и несколько раз укладывал его в постель. Но Рыков тотчас же начинал беспокойно метаться и требовал, чтобы его посадили обратно в ванну. Пульс снова появился и постепенно становился все лучше. В одиннадцатом часу больной попросился в постель и заснул; пульс был полный и твердый...

Около четырнадцати часов Рыков, почти не выходя, просидел в ванне, — и я вынес впечатление, что спасла его именно ванна.

29 июля

Не знаю, испытывают ли это другие: все, что мы делаем, все это бесполезно и ненужно, всем этим мы лишь обманываем себя. Какая, например, польза от нашей дезинфекции? Разве не ясно, что она лишь тогда имеет смысл, когда само население глубоко верит в ее пользу? Если же этого нет, то единственный выход — введение какого-то прямо осадного положения: пусть всюду рыскают всевидящие сыщики, пусть царствует донос, пусть дезинфекция вламывается в подозрительные жилища и ставит все вверх дном, пусть грозный ропот недовольства смолкает при виде штыков и казацких нагаек... Да и таким-то путем много ли достигнешь?

И вот приходится играть комедию, в которую сам не веришь. Обрызгивать сулемою место, где лежал больной, отбирать пару кафтанов и одеял, которыми он покрывался. Я знаю, нужно бы всех выселить из зараженного дома, забрать все вещи, основательно продезинфицировать отхожее место и все жилище... Да, но куда выселить, во что одеть выселенных? Главное, как заставить их убедиться в пользе того, что для них делаешь? Как дезинфицировать отхожее место, если его нет и зараза беспрепятственно сеялась по всему двору и под всеми заборами улицы? А между тем видишь, что будь только со стороны жителей желанье, — и дело бы шло на лад, и можно бы

принести существенную пользу... Тонешь и задыхаешься в массе мелочей, с которыми ты не в состоянии ничего поделаться; жаль, что не чувствуешь себя способным сказать: «Э, моя ли в том вина? Я сделал, что мог!» — и спокойно делать «что можешь». Медленно, медленно подвигается вперед все — сознание собственной пользы, доверие ко мне; медленно составляется надежный санитарный отряд, на который можно бы положиться.

1 августа

Эпидемия разгорается. Уж не один заболевший умер. Вчера после обеда меня позвали на дом к слесарю-замочнику Жигалеву. За ним ухаживала вместе с нами его сестра — молодая девушка с большими, прекрасными глазами. К ночи заболела и она сама, а утром оба они уже лежали в гробу. Передо мною, как живое, стоит убитое лицо их старухи матери. Я сказал ей, что нужно произвести дезинфекцию. Она махнула рукою.

— Да что? Вы вот известку льете, льете, а мы все мрем... Лейте, что ж!

3 августа

Весело жить! Работа кипит, все идет гладко, нигде ни зацепки. Мне удалось наконец подобрать отряд желаемого состава, и на этот десяток полуграмотных мастеров и мужиков я могу положиться, как на самого себя; лучших помощников трудно и желать.

Не говорю уже о Степане Бондареве: глядя на него, я часто дивлюсь, откуда в этом ординарнейшем на вид парне столько мягкой, чисто женской заботливости и нежности к больным. Но вот, например, Василий Горлов; это мускулистый молодец с светло-голубыми, разбойничьими глазами: говорят, он бьет свою мать, побоями вогнал в гроб жену. И этот самый Горлов держится со мною, как кроткая овечка, и работает как вол. Он дезинфектор. С каким апломбом является он в жилище холерного, с каким авторитетным и снисходительным видом объясняет родственникам заболевшего суть заразы и дезинфекции! И его презрение к их невежеству действует на них сильнее, чем все мои убеждения.

Андрей Снетков выздоровел и также служит у нас в санитарях. Для женского отделения у меня есть две

служительницы; одна из них — соседка Черкасовых, которая в ту ночь заходила к ним проведать больного.

Всем своим санитарам я говорю «вы» и держусь с ними совершенно как с равными. Мы нередко сидим вместе на пороге барака, курим и разговариваем; входя в комнату, я здороваюсь с ними первый. И дисциплина от этого нисколько не колеблется, а нравственная связь становится крепче.

Однажды, в минуту откровенности, Василий Горлов заявил мне:

— Ей-богу, Дмитрий Васильевич, я вас так полюбил! Для вас все равно, что благородный, что простой,— вы со всеми равны. С вами говорить неопасно, не то, что другие,— серьезные такие... Конечно, по учению вы... и опять же таки, например, по дворянству... А все-таки я к вам, как к брату родному... Имейте в виду.

Я чувствую, что с каждым днем становлюсь в их глазах все выше. Работать я заставляю всех много и в требованиях своих беспощаден. И все-таки я убежден, что никто из них не откажется из-за этого от службы, как Павел; чем я горжусь всего более, это тем, что их дело стало для них высоким и благородным, им стыдно было бы взглянуть на него с коммерческой точки зрения.

— Дмитрий Васильевич!— говорит мне Горлов.— А позвольте вас спросить: ведь вот начальство за вами не смотрит,— зачем вы так уж себя утомляете?

— Голубчик мой, да разве это для начальства делается? Ну, судите по самому себе: вы вот пришли к заболевшему, все обрызгали, дезинфицировали; без этого, может быть, и другие бы заболели, а теперь благодаря вам останутся живы. Разве вам это не приятно?

И Горлову начинает казаться, что ему это действительно чрезвычайно приятно.

В Заречье обо мне говорят с любовью и благодарностью. Когда я вспоминаю чувство, с каким в первое по приезде утро смотрел на расстилавшееся передо мною Заречье, мне смешно становится: я скорее двадцать раз умру от холеры, чем хоть волос на моей голове тронет кто-нибудь из чемеровцев.

Да, весело жить! Весело видеть, как вокруг тебя кипит живое дело, как самого тебя это дело захватывает целиком, весело видеть, что недаром тратятся силы, и сознавать,— я не хочу стесняться,— сознавать, что ты не лишний человек и умеешь работать.

Все это так: обо мне говорят в Заречье с любовью и благодарностью, меня слушаются... Но могу ли я сказать, что мне доверяют? Если мои советы и исполняются, то все-таки исполняющий глубоко убежден в их полной бесполезности. Он делает одолжение мне лично, потому что я «хороший человек», мои же советы и всю мою «господскую» науку он не ставит ни в грош. Я указываю ему на факты, значения которых он не может не понимать,— факты, ясные десятилетнему ребенку; он принужден согласиться со мною; но согласие остается внешним, оно не в силах ни на волос пошатнуть того глубокого слепого недоверия к нам, которое насквозь проникает душу зареченца.

А скажи ему то же самое проходящая богомолка или отставной солдат,— и он с полною верою станет исполнять все ими сказанное, он не станет притворяться фаталистом и говорить: «Бог не захочет, ничего не будет». Вот про бараки ему давно уже наговорили всевозможных ужасов идущие с Волги рабочие,— и он старательно обходит наш барак за сотню сажен.

6 августа

Вчера вечером я воротился домой очень усталый. Предыдущую ночь всю напролет пришлось провести в бараке, днем тоже не удалось отдохнуть: после приема больных нужно было посетить кое-кого на дому, затем наведаться в барак. После обеда позвали на роды. Освободился я только к девяти часам вечера. Поужинал и напился чаю, раздеваюсь, с наслаждением поглядывая на посланную постель,— вдруг звонок: в барак привезли нового, очень трудного больного. Нечего делать, пошел...

Фельдшер с санитарями суетился вокруг койки; на койке лежал плотный мужик лет сорока, с русой бородой и наивным детским лицом. Это был ломовой извозчик, по имени Игнат Ракитский. «Схватило» его на базаре всего три часа назад, но производил он очень плохое впечатление, и пульс уже трудно было нащупать. Работы предстояло много. Не менее меня-утомленного фельдшера я послал спать и сказал, что разбуду его на смену в два часа ночи, а сам остался при больном.

Покорный и робкий, Игнат беспрекословно подчинял-

ся всему. Он принял лекарство, дал поставить высокую клизму; не пошевельнулся, когда я впрыскивал ему под кожу камфару; впрочем, он все время был в полубессознательном состоянии.

Я сел на табуретку. В ушах звенело, голова была словно налита свинцом. Игнат лежал на спине, полузакрыв глаза, и быстро, тяжело дышал. Вдруг он вздрогнул и поспешно приподнял голову с подушки. Степан, сидевший у его изголовья, подставил ему горшок для рвоты. Но голова Игната снова бессильно упала на подушку.

— Что же не блюешь? Аль не хочешь блевать? Гм...— Степан вздохнул и опустил горшок.

Игнат зашевелился на постели, стал подниматься на карачки.

— Что же это живот не унимается? Дюже болит живот!— выкрикнул он и снова свалился на бок.

Я подошел к нему.

— Дайте помочи!.. Печет под сердцем...— пробормотал он в промежутке между вздохами, вдруг задрожал, стиснув зубы, и стал подтягивать сводимые судорогами ноги. Степан и Андрей схватились за горячие бутылки. Игнат смотрел в потолок мутящимися от боли глазами. Его посадили в ванну.

Степан шепнул мне:

— Сегодня утром шесть арбузов съел натошак, товарищи его сказывали; к обеду еще совсем здоров был, над докторами смеялся.

— Напиться!..— с трудом выкрикнул больной, не поднимая понуренной головы.

Степан осторожно приподнял его голову и стал подносить кружку с ледяной водой. Игнат дернулся всем телом, и рвота широкою струею хлынула в ванну. Его снова перенесли на постель и окутали несколькими одеялами.

Час шел за часом,— медленно, медленно... У меня слипались глаза. Стоило страшного напряжения воли, чтоб держать голову прямо и идти, не волоча ног. Начинало тошнить... Минутами сознание как будто совсем исчезало, все в глазах заволакивалось туманом; только тускло светился огонь лампы, и слышались тяжелые отхаркивания Игната. Я поднимался и начинал ходить по комнате.

Игнат выкрикивал хриплым, неестественным голосом:

— Пузо болит!

«Пузо»... так только в псевдонародных рассказах мужики говорят,— подумал я с накипавшим враждебным чувством к Игнату.— Половина второго... Скоро можно будет разбудить фельдшера».

Я снова поставил больному клизму и вышел наружу. В темной дали спало Заречье, нигде не видно было огонька. Тишина была полная, только собаки лаяли, да где-то стучала трещотка ночного сторожа. А над головою бесчисленными звездами сияло чистое, синее небо; Большая Медведица ярко выделялась на западе... В темноте показалась черная фигура.

— Эй, почтенный, где тут доктора найти? Нельзя ли помочи поскорей? Девку схватило, помирает.

«Господи, еще!» — с отчаянием подумал я.

Разбудили фельдшера. Он вышел бледный, широко пяля заспанные глаза.

— Пойдите, пожалуйста, посмотрите, что там такое,— сказал я ему.— Если что серьезное, пришлите за мною...

Фельдшер почтительно возразил:

— Дмитрий Васильевич, да вы идите спать. Я один управлюсь; ведь вы и всю прошлую ночь не спали...

— Э, да идите уж!— нетерпеливо оборвал я его и пошел в барак.

Игнат сидел в ванне. Степан поддерживал его под мышки и грубовато-нежно переговаривался с ним, прикладывая ему лед к голове, давал пить. Игнат беспокойно ворочался в ванне и принимал самые неудобные позы, то и дело грозя захлебнуться.

Через минуту он снова попросился в постель. Степан и Андрей взяли его под мышки и приподняли. Он хотел перешагнуть через край ванны, занес было ногу,— она упала назад, и Игнат, с вывернувшимися плечами, мешком повис на руках санитаров. Я взял его за ноги, мы понесли больного на постель. Все время его продолжало произвольно слабеть; теперь это была какая-то красноватая каша с отвратительным кислым запахом.

— Ишь арбузы пошли!— кивнул Степан.

Это действительно были арбузы; Игнат ел их с зернышками, с зеленью... И сколько он их съел! Лилось, лилось без конца, почти ведрами. Мы уложили его в постель.

Я ходил по комнате и давил в себе неистовую ненависть к Игнату; ведь он знал, что не должно есть арбузов, а все-таки ел, смеясь над докторами... Сам теперь вино-

ват! И как все кругом отвратительно и мерзко, и как тяжело в голове...

Игнату становилось хуже. С серо-синим лицом, с тусклыми, как у мертвеца, глазами, он лежал, ежеминутно делая короткие рвотные движения. Степан подставлял ему горшок, больной отворачивал голову и выплевывал красную рвоту на одеяло. Время от времени Игнат приподнимался, с силою опирался о постель и, шатаясь, становился на карачки.

Степан осторожно поддерживал его.

— Дядя Игнат! Ляжь, как следует!

— Пузо дюже болит!— быстрым, шелестящим шепотом произносил больной, и следовал глубокий вздох, подводящий живот далеко под ребра.

Ведь вот на постели может же он подниматься, как хочет; а из ванны вынимать,— висит мешком, ноги поднять не хочет. И зачем он плюет на одеяло, когда ему подставляют горшок?

Светало. В бараке было тихо, и только слышно было, как порывисто дышал Игнат. Лицо его стало серо-свинцового цвета, сухие губы чернели под редкими усами. Иногда он быстро приподнимал голову с подушки и вдруг устремлял на меня блеснувшие глаза,— большие, грозные и испуганные... Пульса у него давно уже не было.

Мне вдруг показалось, что кровать с Игнатом взвилась под потолок, окно комнаты завертелось. Я схватился за стол, чтоб не упасть. Еще раз сделав над собою усилие, я впрыснул больному камфору и вышел наружу.

Туман клубами поднимался с соседнего болота, было сыро и холодно. Я присел на лавку и закурил папиросу. На сердце было одно чувство,— тупое, бесконечное отвращение и к этому больному, и ко всей окружающей мерзости, рвоте, грязи. Все вздор,— вся эта деятельность для других, все... Одно хорошо: прийти домой, выпить стакан горячего чаю с коньяком, лечь в чистую, уютную постель и сладко заснуть... «И почему я не делаю этого?— со злостью подумал я.— Ведь я врач, а исполняю роль сестры милосердия. Моя ли вина, что я не могу добиться от управы помощника врача или студента, что я все один и один? Буду утром и вечером посещать барак,— чего еще можно от меня требовать? Так все и делают. У врача голова должна быть свежа, а у меня...» Я стал высчитывать, сколько времени я не спал: сорок четыре часа, почти двое суток.

У околицы залаяли собаки. Я с надеждою стал вглядываться в туман: может быть, фельдшер идет. Нет, прошла баба какая-то... Вдали поют петухи, из барака доносятся глухие отхаркивания Игната. Я заметил, что сижу как-то особенно грузно и что голова совсем уже лежит на плече. Я встал и снова вошел в барак.

Игнат неподвижно лежал на спине, закинув голову. Между черными, запекшимися губами белели зубы. Тусклые глаза, не моргая, смотрели из глубоких впадин. Иногда рвотные движения дергали его грудь, но Игнат уже не выплевывал... Он начинал дышать все слабее и короче. Вдруг зашевелил ногами, горло несколько раз поднялось под самый подбородок, Игнат вытянулся и замер; по его лицу быстро пробежала неуловимая тень... Он умер.

Я стоял, прикусив губу, и неподвижно смотрел на Игната. Лицо его с светло-русою бородою стало еще наивнее. Как будто маленький ребенок увидел неслыханное диво, ахнул, да так и застыл с разинутым ртом и широко раскрытыми глазами. Я велел дезинфицировать труп и перенести в мертвецкую, а сам побрел домой.

И вот прошло всего каких-нибудь полсуток. Я выпался и встал бодрый, свежий. Меня позвали на дом к новому больному. Какую я чувствовал любовь к нему, как мне хотелось его отстоять! Ничего не было противного. Я ухаживал за ним, и мягкое, любовное чувство овладевало мною. И я думал об этой возмутительной и смешной зависимости «нетленного духа» от тела: тело бодро, — и дух твой совсем изменился; ты любишь, готов всего себя отдать...

14 августа

Я уже давно не писал здесь ничего. Не до того теперь. Чуть свободная минута, думаешь об одном: лечь спать, чтоб хоть немного отдохнуть. Холера гуляет по Чемеровке и валит по десяти человек в день. Боже мой, как я устал! Голова болит, желудок расстроен, все члены словно деревянные. Ходишь и работасшь, как машина. Спать приходится часа по три в сутки, и сон какой-то беспокойный, болезненный; встаешь таким же разбитым, как лег.

Кругом десятками умирают люди, смерть самому тебе заглядывает в лицо, — и ко всему относишься совершенно равнодушно: чего они боятся умирать? Ведь это такие пустяки и вовсе не страшно.

Буду рассказывать по порядку.

Это произошло на усение. Пообедав, я отпустил Авдотью со двора, а сам лег спать. Спал я крепко и долго. В передней вдруг раздался сильный звонок; я слышал его, но мне не хотелось просыпаться: в постели было тепло и уютно, мне вспоминалось далекое детство, когда мы с братом спали рядом в маленьких кроватках... Сердце сладко сжималось, к глазам подступали слезы. И вот нужно просыпаться, нужно опять идти туда, где кругом тебя только муки и стоны...

Колокольчик зазвенел сильнее и окончательно разбудил меня. Я встал и пошел отпереть. В окно прихожей видно было, что звонится Степан Бондарев. Он был без шапки, и лицо его глядело странно.

Я отпер дверь. Степан медленно шагнул в прихожую, слабо пошатнувшись на пороге.

— Дмитрий Васильевич, к вам!

Он коротко и глухо всхлипнул. Лицо его было в кровоподтеках, глаза красны, рубаха разодрана и залита кровью.

— Степан, что с вами?!

— К вам вот пришел. Ребята убить грозятся; ты, говорят, холерный... Мол, товарищей своих продал... с докторами связался...

Он опять глухо всхлипнул и отер рукавом кровь с губы.

— Да в чем дело? Какие ребята? Войдите, Степан, успокойтесь!

Я ввел его в комнату, усадил, дал напиток. Степан машинально сел, машинально выпил воду. Он ничего не замечал вокруг, весь замерши в горьком, недоумевающем испуге.

— Ну, рассказывайте, что такое случилось с вами.

Неподвижно глядя, Степан медленно заговорил:

— Говорят: холерный, мол, ты!.. Это зашел я сейчас в харчевню к Расторгуеву, спросил стаканчик. Народу много, пьяные все... «А, говорят, вон он, холерный, пришел!» Я молчу, выпил стаканчик свой, закусьваю... Подходит Ванька Ермолаев, токарь по металлу: «А что, почтенный, нельзя ли, говорит, ваших докторей-фершалов пообеспокоить?» — «На что они, говорю, тебе?» — «А на то, чтоб их не было. Нельзя ли?» «Что ж, говорю, пускай доктор рассудит, это не мое дело». — «Мы, говорит, твоего

доктора сейчас бить идем, вот для куражу выпиваем». «За что?» «А такая уж теперь мода вышла,— докторей-фершалов бить». «Что ж, говорю, в чем сила? Сила большая ваша... Как знаете...»

Я дрожал крупною, частою дрожью. Мне досадно было на эту дрожь, но подавить ее я не мог. И сам не знал, от волнения ли она, или от холода: я был в одной рубашке, без пиджака и жилета.

— Как холодно!— сказал я и накинул пальто.

Степан, не понимая, взглянул на меня.

— «Ишь, говорят, тоже фершал вынсался!— продолжал он.— Иди, иди, говорят, а то мы тебя замуздаем по рылу!» «Что ж, говорю, я пойду!» — Повернулся,— вдруг меня кто-то сзади по шее. Бросились на меня, начали бить... Я вырвался, ударился бежать. Добежал до Серебрянки; остановился: куда идти? Никого у меня нету... Я пошел и заплакал. Думаю: пойду к доктору. Скучно мне стало, скучно: за что?..

Он замолчал, глухо и прерывисто всхлипывая. У меня самого рыдания подступили к горлу. Да, *за что?*

Ясный августовский вечер смотрел в окно, солнце красными лучами скользило по обоям. Степан сидел, понурив голову, с вздрагивавшею от рыданий грудью. Узор его закапанной кровью рубашки был мне так знаком! Серая истасканная штанина поднялась, из-под нее выглядывала голая нога в стоптанном штиблете... Я вспомнил, как две недели назад этот самый Степан, весь забрызганный холерною рвотою, три часа подряд на весу продержал в ванне умиравшего больного. А *те* боялись даже пройти мимо барака...

И вот теперь, отвергнутый, избитый ими, он шел за защитою ко мне: я сделал его нашим «сообщником», из-за меня он стал чужд своим.

Степан заговорил снова:

— «Завелись, говорят, доктора у нас, так и холера пошла». Я говорю: «Вы подумайте в своей башке, дайте развитие,— за что? Ведь у нас вон сколько народу выздоравливает; иной уж в гроб глядит, и то мы его отходим. Разве мы что делали, разве с нами какой вышел конфуз?..»

В комнату неслышно вошел высокий парень в пиджаке и красной рубашке, в новых, блестящих сапогах. Он остановился у порога и медленно оглядел Степана. Я побледнел.

— Что вам нужно?

Он еще раз окинул взглядом Степана, не отвечая, повернулся и вышел. Я тогда забыл запереть дверь, и он вошел незамеченным.

Я закинул крючок на наружную дверь и воротился в комнату. Сердце билось медленно и так сильно, что я слышал его стук в груди. Задыхаясь, я спросил:

— Что это, из тех кто-нибудь?

— Ванька Ермолаев и есть. Сейчас все здесь будут.

Что было делать? Бежать? Но одна мысль о таком унижении бросила меня в краску: выскочить в окно, подобно вору, пробираться задками... Да и куда было бежать?

Я молча ходил по комнате. Ноги ступали нетвердо, по спине непрерывно бегала мелкая, быстрая дрожь. Мне вдруг во всех подробностях вспомнилась смерть доктора Молчанова, недавно убитого толпою в Хвалынске... Беспричинность и неожиданность случившегося не удивляли меня теперь: мне казалось, в глубине души я давно уже ждал чего-то подобного... На сердце было страшно тоскливо. Но рядом с этим гордо-уверенное, радостное чувство поднималось во мне: я не знал еще, что буду делать, но я знал, что заслоню и защищу Степана.

Случайно я увидел в зеркале свое отражение: бледное, искаженное страхом лицо глянуло на меня холодно и странно, как чужое. Мне стало стыдно Степана и досадно, что он видит меня в таком состоянии... Ну, да теперь уж все равно...

Я остановился у окна. Над садом в дымчато-голубой дали блестели кресты городских церквей; солнце садилось, небо было синее, глубокое... Как там спокойно и тихо!.. И опять эта неприятная дрожь побежала по спине. Я повел плечами, засунул руки в карманы и снова начал ходить.

В наружную дверь раздался сильный удар, в то же время оглушительно зазвенел звонок,— раз, другой,— и звонок оборвался.

— Они!— апатично сказал Степан.

В дверь посыпались удары.

Со мною произошло то, что всегда бывало, когда я шел на что-нибудь страшное: во мне вдруг все словно замерло, и я сделался спокоен. Но что-то странное в этом спокойствии: как будто другой кто уверенно и находчиво действует во мне, а сам я со страхом слежу со стороны за этим другим.

— Оставайтесь здесь,— сказал я Степану, вышел в прихожую и запер комнату на ключ. Ключ я положил себе в карман.

Наружная дверь трещала от ударов, за нею слышен был гул большой толпы. Я скинул крючок и вышел на крыльцо.

Как взрыв, раздался злобно-радостный рев. Я быстро спустился с крыльца и вошел в середину толпы.

— Что это, господа, чего вы?

— Фершала давай своего!

Серьезно и озабоченно я спросил:

— Фельдшера? Зачем он вам?

Маленький худощавый старик с красными глазами, торопливо засучивая рукава, протискивался ко мне сквозь толпу.

— Зачем?.. Зачем?..— бессмысленно повторял он и рвался ко мне, наталкиваясь на плечи и спины.

Я шагнул навстречу.

— Ну, вот он мне объяснит, погодите кричать... Пропустите же его, дайте дорогу!.. Вот... Ну, в чем дело?— коротко и решительно обратился я к старику.

Мы очутились друг против друга. Старик опешил и неподвижно смотрел на меня.

— Что такое случилось?

Он быстро и оторопело пробормотал:

— Вы чего народ морите?

Я удивленно поднял голову.

— Что такое? Мы — народ морим?! Откуда это ты, старик, выдумал? Народу у меня в больнице лежало много,— что же, из них кто-нибудь это сказал тебе?.. Не может быть! Спросить многих можно,— мало ли у нас выздоровело! Рыков Иван, Артюшин, Кепанов, Филиппов... Все у меня в больнице лежали. Ты от них это слышал, это они говорили тебе? — настойчиво спросил я.

Старик странно морщился и дергал голову.

— Мы, господин, знаем... Мы все-е знаем!..

— Ну, нет, брат, погоди! Дело тут серьезное. Если знаешь, то толком и говори. Где мы народ морили, когда?.. Господа, может быть, из вас кто-нибудь это скажет?— обратился я к окружающим.

Никто не ответил. Отовсюду смотрели чуждые, враждебно выжидающие глаза. Сзади вытягивались головы с нетерпеливо хмурившимися лицами. Ванька Ермолаев,

закусив губу, с насмешливым любопытством следил за мною.

— Ну, хорошо, вот что!— решительно произнес я.— Пойдемте сейчас все вместе в барак, спросим тех, кто там лежит, что они скажут: делаем мы им какое худо или нет. Если что скажут против меня,— я в ответе.

— Да, пойдем, чего там! Думаешь, боимся байрака твоего?— быстро сказал Ванька Ермолаев и двинулся с места.

— Пойдемте!

Толпа колыхнулась, и мы направились к бараку. Я закурил папиросу и заговорил:

— Ведь вот, господа, пришли вы сюда, шумите... А из-за чего? Вы говорите, народ помирает. Ну, а рассудите сами, кто в этом виноват. Говорил я вам сколько раз: поосторожнее будьте с зеленью, не пейте сырой воды. Ведь кругом ходит зараза. Разорение вам какое, что ли, воду прокипятить? А поди ты вот, не хотите. А как схватит человека,— доктора виноваты. Вот у меня недавно один умер: шесть арбузов натощак съел! Ну скажите, кто тут виноват? Или вот с водкой: говорил я вам, не пейте водки, от нее слабеет желудок...

— Нет, господин, вино не вредит!— вмешался шедший рядом мастеровой.— Она эту самую заразу убивает, она в пользу.

— В пользу? А вот приходите-ка в больницу после праздника: как настанет праздник, выпьет народ, так на другой день сразу вдвое больше больных; и эти всего легче помирают: вечером принесут его, а утром он уж богу душу отдает.

— И похмелиться не поспевши, го-го!— засмеялись в толпе.

— Чего смеетесь? Дурье!— строго остановил Ванька Ермолаев.

Вдали виднелся барак. Чтоб не беспокоить больных, я решил взять с собою только двух-трех человек, а остальных оставить ждать у барака.

Вдруг из-за угла мелочной лавки показался приземистый фабричный в длинной синей чуйке. Он, видимо, искал нас и, увидев толпу, побежал навстречу. Я живо помню его бледное лицо с низким лбом и огромною нижнею челюстью... Все произошло так быстро, как будто сверкнула молния. Толпа раздалась. Человек в чуйке молча скользнул по мне взглядом и вдруг, коротко и страшно сильно

размахнувшись, ударил меня кулаком в лицо. У меня замутилось в глазах, я отшатнулся и схватился за голову. В ту же минуту второй удар обрушился мне на шею.

— Го-о... Бе-ей!! — неистово завопил говоривший со мною старик и ринулся на меня, и все кругом всколыхнулось.

От толчка в спину я пробежал несколько шагов; падая, ударился лицом о чье-то колено; это колено с силою отшвырнуло меня в сторону. Помню, как, вскочив на ноги и в безумном ужасе цепляясь за чей-то рвавшийся от меня рукав, я кричал: «Братцы!.. голубчики!..» Помню пьяный рев толпы, помню мелькавшие передо мною красные, потные лица, сжатые кулаки... Вдруг тупой, тяжелый удар в грудь захватил мне дыхание, и, давясь хлынувшей из груди кровью, я без сознания упал на землю.

19 августа

Я уж третий день лежу в больнице. У меня открылось сильное кровохарканье, которое еле остановили; дело плохо. Меня два раза навестил губернатор, навестили еще какие-то важные лица. Все они говорят мне что-то очень любезное, крепко жмут руку. Я смотрю на них, но мало понимаю из того, что они говорят. Гвоздем сидит у меня в голове воспоминание о случившемся, и сердце ноет нестерпимо. И я все спрашиваю себя: да неужели же вправду это было?.. И, однако, это так: я лежу в больнице, изувеченный и умирающий; передо мною как живые стоят перекошенные злобой лица, мне слышится крик: «Бей его!..» И они меня *били, били*. Били за то, что я пришел к ним на помощь, что я нес им свои силы, свои знания, — все... Господи, господа! Что же это, — сон ли тяжелый, невероятный, или голая правда?.. Не стыдно признаться, — я и в эту минуту, когда пишу, плачу, как мальчик. Да, теперь только вижу я, как любил я народ и как мучительно горька обида от него.

Нужно умирать. Не смерть страшна мне: жизнь холодная и тусклая, полная бесплодных угрызений, — бог с нею! Я об ней не жалею. Но *так* умирать!.. За что ты боролся, во имя чего умер? Чего ты достиг своею смертью? Ты только *жертва*, жертва бессмысленная, никому не нужная... И напрасно все твое существо протестует против обидной ненужности этой жертвы: так и должно было быть...

Мне не спится по ночам. Вытягивающая повязка на ноге мешает шевельнуться, воспоминание опять и опять рисует недавнюю картину. За стеною, в общей палате, слышен чей-то глухой кашель, из рукомойника звонко и мерно капает вода в таз. Я лежу на спине, смотрю, как по потолку ходят тени от мерцающего ночника, — и хочется горько плакать. Были силы, была любовь. А жизнь прошла даром, и смерть приближается, — такая же бессмысленная и бесплодная... Да, но какое я *право* имел ждать лучшей и более славной смерти?

Они били меня, как забежавшую бешеную собаку, — меня, против которого ничего не могли иметь. Пять недель работая среди них, каждым шагом доказывая свою готовность помогать и служить им, я не смог добиться с их стороны простого доверия; я *принуждал* их верить себе, но довольно было рюмки водки, чтоб все исчезло и проснулось обычное стихийное чувство. Пять недель! Я в пять недель думал уничтожить то, что создавалось долгими годами. С каких это пор привыкли они встречать в нас друзей, когда видели они себе пользу от наших знаний, от всего, что ставило нас выше их? Мы всегда были им чужды и далеки, их *ничто* не связывало с нами. Для них мы были людьми другого мира, брезгливо сторонящимися от них и не хотящими их знать. И разве это неправда? Разве иначе была бы возможна та до ужаса глубокая пропасть, которая отделяет нас от них?

Я знаю: то, что я здесь пишу, избито и старо; мне бы самому в другое время показалось это фальшивым и фразистым. Но почему теперь в этих избитых фразах чувствуется мне столько тяжелой правды, почему так жалко-ничтожною кажется мне моя прошлая жизнь, моя деятельность и любовь? Я перечитывал дневник: жалобы на себя, на время, на все... этим жалобам не было бы места, если бы я тогда видел и чувствовал то, что так ярко и так больно бьет мне теперь в глаза.

Трудно писать, рука плохо слушается. Процесс в легких идет быстро, и жить остается немного. Я не знаю, почему теперь, когда все кончено, у меня так светло и радостно на душе. Часто слезы безграничного счастья под-

ступают к горлу, и мне хочется сладко, вольно плакать.

Я часто впадаю в забытие. И когда я открываю глаза, я вижу сидящую у моих ног молчаливую, понурюю фигуру Степана. Как он сюда попал? Я вскоре узнал: он пришел к главному врачу больницы, поклонился ему в ноги и не вставал с колен, пока тот не позволил ему оставаться при мне безотлучно. Я не знаю, когда он спит: днем ли проснешься, ночью, — Степан все сидит на своей табуретке — молчаливый, неподвижный... Я смотрю на этого дважды спасенного мною человека, и мне хочется крепко пожать его руку. Я пошевелил, — он встает и поправляет сбившуюся подо мною подушку, дает мне пить. И я опять забываюсь...

Передо мною стоит Наташа. Она горько плачет, закрыв глаза рукою. Мне странно, — неужели Наташа тоже умеет плакать? Я тихо глажу ее трепещущую от рыданий руку и не могу оторвать от нее глаз. И я говорю ей, чтоб она любила людей, любила народ; что не нужно отчаиваться, нужно много и упорно работать, нужно искать дорогу, потому что работы страшно много... И теперь мне не стыдно говорить эти «высокие» слова. Она жадно слушает и не замечает, как слезы льются по ее лицу. А я смотрю на нее, и тихая радость овладевает мною; и я думаю о том, какая она славная девушка, и как много в жизни хорошего, и... и как хорошо умирать...

ЛИЗАР

Солнце садилось за бор. Тележка, звякая бубенчиками, медленно двигалась по глинистому гребню. Я сидел и сомнительно поглядывал на моего возницу. Направо, прямо из-под колес тележки, бежал вниз обрыв, а под ним весело струилась темноводная Шелонь; налево, также от самых колес, шел овраг, на дне его тянулась размытая весенними дождями глинистая дорога. Тележка переваливалась с боку на бок, наклонялась то над рекою, то над оврагом. В какую сторону предстояло нам свалиться?..

Мой возница Лизар — молчаливый, низенький старик — втягивал голову в плечи, дергал локтями и осторожно повторял: «Тпру!.. тпру!..»

— Как ты, дедка, не боишься? Ведь мы свалимся! — не выдержал я.

Я готовился услышать в ответ классическое «небось!». Но Лизар неожиданно ответил:

— Свалимся, барин, — Христос-правда, свалимся!.. Как же не бояться? Уж то-то боюсь!

— Так ты бы на дорогу съехал.

— На дорогу! Увязнешь на дороге, гораздо топко. Дожди-то какие лили! Погляди на Шелонь, — видишь, вздулась. Вода в ней свежая, чистая, что серебрина, а нынче вон как потемнела, — всю воду с болот взяла... «Не боюсь!» — повторил он, помолчав. — Уж так-то боюсь, ажно вспотел!

Он снял облезлую шапку и утер рукою лоб.

— А ты вот что, барин любимый! Слезай с тележки да вон до того яру через кустики и дойди. А я на дорогу спущусь, кругом объеду.

Я сошел с тележки. Лизар оживился, задергал вожжами и покатил по откосу в овраг. Бубенчики закатились испуганным прерывистым звоном; тележка прыгала по промоянам. Лизар прыгал на облучке и натягивал вожжи.

— Н-но, гамыры! — донеслось со дна оврага, словно

из преисподней. Тележка, увязая в глине, потащилась в гору.

Я перебрался через овраг и пошел перелеском. По ту сторону Шелони, над бором, тянулись ярко-золотые тучки, и сам бор под ними казался мрачным и молчаливым. А кругом стоял тот смутный, непрерывный и веселый шум, которым днем и ночью полон воздух в начале лета.

Среди ореховых и ольховых кустов все пело, стреко-тало, жужжало. В теплом воздухе стояли веселые рои комаров-толкачиков, майские жуки с серьезным видом кружились вокруг берез, птички проносились через поляны волнистым, порывистым летом. Вдали повсюду звучали девические песни,— была троица, по деревням водили хороводы.

Я остановился на опушке, около межи. Когда стоишь так один, не шевелясь, лицом к лицу с природой, то овладевает странное чувство: кажется, что она не замечает тебя, и ты, пользуясь этим, вот-вот сейчас увидишь и узнаешь какую-то самую ее сокровенную тайну. И тогда все окружающее кажется необычным и полным этой тайны. Под зеленевшими дубами земля была усыпана темно-бурыми прошлогодними листьями; каждый лист шуршал и шевелился, какая-то скрытая жизнь таилась под ними; что это там — лесные муравьи, прорастающая трава?.. И все кругом слабо шумело и шуршало, словно живое,— трава, цветы, кусты. Не замечая человека, все как будто ожило и зажило свободно, не скрываясь... Ветер мягко пронесся по матово-зеленой ржи и перебежал в осины. Осины зашептались, заволновались, с коротким шумом вздрагивая листьями; облако белых пушинок сорвалось с их сережек и, словно сговорившись с ветром, весело понеслось в темнеющую чашу.

Мне показалось, что справа кто-то смотрит. Я оглянулся. В десяти шагах сидели в траве два выскочившие из ржи зайца. Они сидели спокойно и с юмористическим любопытством глядели на меня. Как будто им было смешно, что и я надеюсь проникнуть в ту тайну, которую сами они и все кругом прекрасно знают. При моем движении зайцы переглянулись и не спеша, несколькими большими, мягкими прыжками, бесшумно отбежали к кустам раkitника; там они снова сели и, шевеля ушами, продолжали поглядывать на меня.

— О-го-го-го-го-ооо! — глухо донесся из-за ржи крик Лизара.

Я откликнулся. Зайцы снялись и стали удаляться неуклюже-легкими прыжками. Меж кустов долго еще мелькали их рыжие горбатые спины и длинные уши. Я вышел на дорогу.

Мы поехали дальше. Солнце село, из лощин потянуло влажным холодком.

— Хорошо бы теперь чайку попить,— сказал я.

— Ну что ж! Вот приедем в Якоревку, и попьешь чайку,— ответил Лизар.— Ты, значит, чайку попьешь, отдохнешь, я походом коней покормлю, а там с холодочком и поедем дальше.

— А далёко до Якоревки?

Лизар удивился.

— До Якоревки-то? Да вон она!

Над рожью серели соломенные крыши деревни. Лизар встрепенулся и сильнее задергал вожжами. Мы въехали в узкую, уже потемневшую улицу, заросшую ветлами. Избы, как вообще в этих краях, были очень высокие, с окнами венцов на пятнадцать — двадцать от земли.

Лизар подъехал к избе. Около нее на суке ивы висели веревочные качели. На высоком крылечке никого не было, в окнах было темно. Лизар остановил лошадей, задумчиво поглядел на качели и крикнул:

— Эй, кума Агафья! Нельзя ли на качелях позыбаться у тебя? Горазд качели хороши!

На крыльцо вышла баба, прямая и худая, с сухим, строгим лицом.

— Кого говоришь?— спросила она.

— Самоварчик барину надобен, проезжающему... Будь здорова!

Баба внимательно оглядела меня с ног до головы.

— Здравствуйте... Сейчас сами отпили, можно наставить,— медленно ответила она.— Дунька!— позвала она так, как будто Дунька стояла рядом с нею.— Подложи шишек в самовар!.. Сейчас готов будет тебе.

Из сеней выглянула девушка с широким лицом и бойкими глазами под черными бровями. Она с любопытством оглядела меня и исчезла.

Через десять минут на высоком крылечке кипел самовар. Я заварил чай.

Заря догорала. Легкие тучки освещались сверху странным полусветом надвигавшейся белой ночи. На улице, окутанной бледным сумраком, были жизнь и движение,

с конца ее лилась хороводная песня. Громкие голоса, скрашенные расстоянием, звучали задумчиво и нежно:

Не на много времени жизнь давалась,
За единый час миновалась...

В барском саду заливался соловей, оттуда тянуло запахом сирени и росистой свежестью сада. Ночь томила, в душе поднимались смутные желания. Становилось хорошо и грустно.

Под крыльцом слышался шепот. Мужской голос спрашивал:

— Ты что ж гулять не приходишь?

— А тебе что? — лукаво ответил голос Дуньки, тоже вполголоса.

— Что, что! Все девки в хороводе, а тебя нету. На кой они мне?.. Кто это у вас?

— Барин проезжающий чай пьет. Самовар ему наставляла я.

— Самовар?— Мужской голос вдруг перервался.— Само...вар?

— Пошел ты, дьявол!

— Нишкни! Идут!

Голоса смолкли. Лизар, засыпавший лошадям овес, поднялся на крылечко. Я достал бутылку, налил водкою рюмку и чашку. Предложил чашку Лизару. Лизар задвигал плечами, маленькие глаза под нависшими бровями блеснули.

— Ну, почеремонился!— стыдливо усмехнулся он, быстро стащил с головы шапку и принял чашку.— Здравствуй!

Мы выпили, закусили. Стали пить чай. Лизар держал в корявых руках блюдечко и, хмурясь, дул в него. Хозяйка снова появилась на пороге, прямая и неподвижная. За ее юбку держались два мальчугана. Засунув пальцы в рот, они исподлобья внимательно смотрели на нас. Из оконца подызбицы тянуло запахом прелого картофеля.

Хозяйка тихо спросила:

— Разродилась сноха твоя?

— Разродилась, матушка, разродилась,— поспешно ответил Лизар.

— Мертвого выкинула?

— Зачем мертвого? Живого.

— Живого?.. А у нас тут баяли, мертвого выбросит.

Старуха Пафнутова гомонила, — горазд тяжко рожает, не разродится.

— С чего не разродиться? За дохтуром спосылали! — Лизар улыбнулся длинной, насмешливой улыбкой. — Приехал, клещами ребеночка вытащил, — живого, вот и гляди.

Хозяйка покачала головой.

— Клещами!

— Делают не знамо что! — вздохнул Лизар.

— Как не знамо что? — возразил я. — Живого ведь вытащили, чего же тебе? А не помог бы доктор, ребенок бы умер.

— «Живого», «живого», — повторил Лизар и замолчал. — Так они нам ни к чему, ребята-то, ни к чему!.. Довольно, значит! Будет! И так полна изба. Чего ж балуются, дохтура беспокоят? Сами хлеб жевали-жевали, а дохтор приезжай к ним — глота-ать!.. Избаловался ныне народ, вот что! С негой стали жить, с заботой, о боге не мыслят. Вон бобушки¹ по деревням ходят, ребят клюют; сейчас приедет фершалиха, начнет ребят колотить; всех переколет, ни одного не оставит. Заболел кто, — сейчас к дохтору едет... Прежде не так было...

Лизар вздохнул.

— Прежде, барин мой жадобный, лучше было. Жили смирно, бога помнили, а господь-батюшка заботился о людях, назначал всему меру. Мера была, порядок! Война объявится, а либо голод, — и почистит народ, глядишь — жить слободнее стало; бобушки придут, — что народу поклюют! Знай домовины готовь! Сокращал господь человека, жалел народ. А таперичка нсту этого. Ни войны не слышать, везде тихо, фершалих наставили. Вот и тужит народ землю. Что случилось-то, и не гляди! Выедешь с сохою на нивку, а что орать, не знаешь! Сосед кричит: «Эй, дядя Лизар, мою полоску зацепил!» Повернулся — с другого боку: «Мою-то зачем трогаешь?» Во-от какое стеснение!.. Скажем, куму взять. — Лизар кивнул на хозяйку. — Пять сынов у них, видишь! Ребята всё малые, что паучки, а вырастут, — всех нужно произвести к делу... К делу нужно произвести! А земли на одну душу. Вот и считай тым разом, — много ли на каждого придется?

— Да так сказать, ничего и не придется, — поучающе сказала хозяйка.

¹ Бобушками в Псковской губернии называют оспу. (Примеч. В. Вересаева.)

Лизар развел руками.

— Ничего! На кой же они нужны! На сторону нам ходить некуда, заработки плохие!.. Ложись да помирай... По нашему делу, барин мой любимый, столько ребят не надобно. Если чей бог хороший, то прибирает к себе,— значит, сокращает семейство. Слыхал, как говорится? Дай, господи, скотинку с приплодом, а деток с приморцем. Вот как говорится у нас!

Хозяйка сочувственно слушала Лизара и ласково гладила по волосам жавшихся к ней ребят.

— Губят нас, можно сказать, пустячные дела,— продолжал захмелевший Лизар.— Бессмертная сила народу набилась, а сунуться некуда, концов-выходов нету. А каждый на то не смотрит, старается со своей бабой... Э-э! Не глядели бы мои глаза, что делается!.. Уж наказываешь сынам своим: будьте, ребяташки, помирнее,— сами видите, дело наше маленькое, пустячное. И понимают, а глядишь,— то одна сноха неладивши породит, то другая...

— И то сказать: не из соломы сплетены,— вздохнула хозяйка.

— Тяжкое дело, тяжкое дело!— в раздумье произнес Лизар.— А только я так домекаюсь, что бабам бы тут порадеть нужно, вот кому. Сходи к дохтору, поклонись в ножки,— они учены, знают дело. Поклонись — дадут тебе капель. Ведь за это не то что яичек,— гуся не пожалеешь. Как скажешь, есть такие капли?— спросил Лизар, значительно и испытующе поглядев на меня.

Он говорил долго. А вдали звучали песни, и природа изнывала от избытка жизни. И казалось,— вот стоят два разлагающихся трупа и говорят холодные, дышащие могильной плесенью речи. Я встал.

— Пора ехать!

— И то пора!

Лизар суетливо поднялся и пошел к лошади.

Заря совсем погасла, когда мы двинулись. Была белая ночь, облачная и тихая. У околицы еще шел хоровод, но он уж сильно поредел и с каждой минутой таял все больше. А в бледном полумраке,— на гумнах, за плетнями, под ракитами,— везде слышался мужской шепот, сдержанный девичий смех.

Из проулка навстречу нам вышла парочка. Молодцеватый парень с русой бородкой и девушка в красном платочке медленно переходили дорогу, тесно прижавшись

друг к другу. С широкого, миловидного лица девушки без испуга глянули на меня глаза из-под черных бровей. Кажется, это была Дунька.

За околицей нас снова охватил стоявший повсюду смутный, непрерывный шум весенней жизни. Была уж поздняя ночь, а все кругом жило, пело и любило. Пахло зацветающей рожью. В прозрачно-сумрачном воздухе, колыхаясь и обгоняя друг друга, неслись вдали белые пушинки ив и осин,— неслись, неслись без конца, словно желая заполнить своими семенами весь мир.

Отдохнувшие лошади бойко бежали по дороге. Светло-желтый песок весело шуршал под колесами. Водка испарилась из головы Лизара, он снова примолк. Я со странным чувством, как на что-то чужое тут и непонятное, смотрел на него... Мы спустились в лощину.

— Тпру!.. Тпру!..— вдруг испуганно произнес Лизар. Он остановил у мостика лошадей, соскочил и стал торопливо привязывать сорвавшуюся постромку. Шум тележки смолк.

Тогда меня еще сильнее охватила эта через край бившая кругом жизнь. Отовсюду плыла такая масса звуков, что, казалось, им было тесно в воздухе. В лесу гулко, перебывая друг друга, заливались соловьи, вверху лощины задумчиво трещал коростель; кругом во влажной осоке обрывисто и загадочно стонали жабы, квакали лягушки, из-под земли бойко неслоь слабое и мелодическое «турrrrrrrr»... Все жило вольно и без удержу, с непоколебимым сознанием законности и правоты своего существования. Хороша жизнь! Жить, жить,— жить широкой, полной жизнью, не бояться ее, не ломать и не отрицать себя,— в этом была та великая тайна, которую так радостно и властно раскрывала природа.

И среди этого таинства неудержимо рвущейся вширь жизни — он, сжавшийся в себе, с упорными думами о собственном сокращении!.. Царь жизни!

К СПЕХУ

Однажды вечером я сидел на крылечке избы моего приятеля Гаврилы и беседовал с его старухой матерью Дарьей. Шел покос, народ был на лугах. Из соседнего проулка выехал на деревянную улицу незнакомый лохматый мужик. Он огляделся, увидев нас, повернул лошадь к крылечку и торопливо спрыгнул с телеги.

Мужик был бос, порты болтались на его ногах; из расстегнутого ворота грязной холщовой рубахи глядела коричневая грудь, густые волосы на голове были спутаны и пересыпаны сеном трухой.

— Эй, тетка! Где тут у вас самая рябая девка живет?— с тою же торопливостью обратился он к Дарье. Вообще во всех его движениях было что-то торопливое и как будто очумелое.

— Чтой-то, господи помилуй!— медленно произнесла Дарья и широко раскрыла глаза...— На что тебе?

— Самая что ни на есть рябая! Сказывали, есть у вас такие...

В смеющихся глазах Дарьи промелькнуло что-то: она поняла. Но я не понимал и удивленно смотрел на мужика, припоминая в то же время, что я где-то видел его раньше.

Дарья протяжно ответила:

— Есть, милый, есть рябенки!.. А ты сам откуда?

— Из Малахова сам я... Сорок ден, как жена померла, дома трое ребят, а пора, сама знаешь, горячая. Никак не управиться одному!

— Ты вот что: иди ты к Мотьке десятковой. Вот она, десятская изба, рядом.

— А как, скажешь, пойдет она за меня?

— Ты сам ее и спроси... Да вон она от колодца с ведрами идет. Как подойдет, ты и спроси.

— Илья! Или не признал?— обратился я к мужику.

Он быстро уставился на меня своими бегающими глазами.

— А-а, Викентьич!— радостно проговорил он, и в углах его глаз запрыгали морщинки.— Будь здоров, с приездом!

Он протянул мне корявую руку.

— Татьяна твоя померла?— спросил я, пораженный.

— Померла, померла!— пробормотал он.— Вчера сороковины справил. Заложило бок,— в неделю свернулась, царствие ей небесное!.. Померла, померла Татьяна!

В прошлом году, поздней осенью, я ночевал в Малаховке у Ильи, и мне хорошо помнилась его жена Татьяна. Рядом с очумело-суетливым Ильею странно было видеть ее, неторопливую и спокойную, с ясными, ласковыми глазами; видно было по всему, что она стояла поверх мужа и что он признавал ее опеку, уверенную и любовную... И вот она умерла. То-то он теперь такой грязный и лохматый!

К соседнему двору подошла коренастая, приземистая Мотька с двумя ведрами на коромысле. Илья поспешно бросил вожжи в кузов телеги и рысцою, в болтающихся портах, подбежал к Мотьке.

— Девочка, а девочка! Ты самая рябая на деревне?

Мотька поставила ведра на землю, удивленно оглядела Илью, вдруг густа покраснела и потупилась.

Илья деловито заговорил:

— Слушай, девочка! Холостой тебя не возьмет,— на что ты ему такая? А я вдовый, трое ребят у меня, хозяйство, как следует быть,— лошадь, корова, ну и все такое... Пойдешь замуж за меня?

Мотька стояла, потупившись, и молчала.

— Что ж ты, девонька, молчишь? Ай, обиделась? — недоумевающе спросил Илья.

Дарья слушала и покатывалась со смеху.

— Ступай к батю!— тихо ответила Мотька.

— Ну его, батю! Ты-то пойдешь ли?

— А вот батя тебе и скажет.

Илья ударил себя по бедрам.

— Заладила одно: батя да батя... Я тебя спрашиваю.

— А ну те к черту, паралик лохматый!— вдруг сердито крикнула Мотька, схватила ведра и стремительно ушла в ворота.

Илья поднял брови, поглядел ей вслед и, почесывая в спутанных волосах, побрел к нам.

— «Батя» да «батя», больше ничего!— разочарованно произнес он.— Сама ряба так, что лучше и не надо, а

тоже — «батя»! А того не понимает, что бате ее бутылку водки поставь, да еще приезжай, да еще... а времени где же возьмешь! Пора горячая, мне бы поскорее!

Он высморкался пальцами, задумчиво отер руку о подол и вдруг встрепенулся.

— Нет ли у вас здесь еще кого? Нету?.. Ну, коли нету, то, значит, до Тайдакова надо доехать; там тоже, сказывают, рябенские есть... Оставайтесь здоровы!

Илья взвалился на телегу, захватил в руки вожжи и повернул на дорогу в Тайдаково. Я с недобрим чувством смотрел ему вслед, и мне вспоминались ласковые, ясные глаза Татьяны, умершей всего шесть недель назад.

Мотья появилась в воротах. С злым, нахмуренным лицом она стояла и глядела на золотистое облако пыли, в котором дребезжала телега удалявшегося Ильи.

— Ты что же это, девка, жениху-то отказала?— невинно спросила Дарья.

— «Отказала»! Сам страшный какой, а меня с первого же слова срамить зачал: ты, говорит... самая рябая на всей деревне!..

Голос Мотьи задрожал,— от обиды или от сожаления?.. Она повернулась и снова ушла во двор.

В середине июля я возвращался домой на беговых дрожках из Тулы. Был самый разгар страды. Солнце садилось, вся даль к западу была затянута нежно-золотистой пылью, как туманом; пахло спелую рожью. По безбрежной шире полей всюду виднелись рассеянные в одиночку рубахи косцов и согнутые спины жниц; пыльные, облитые потом, все работали молча и сосредоточенно. Что-то тягучее и тупо-властное стояло в знойном воздухе, и копошившиеся среди ржи молчаливые люди казались пригнетенными рабами какой-то огромной, беспощадной силы.

Солнце село, на востоке появилась серо-лиловая полоса с слабо-пурпуровым краем — первая тень надвигающейся ночи. Золотистый запад бледнел, полоса на востоке темнела и росла; а вместе с этим вокруг становилось все тише и людей на полях попадалось все меньше. Дойдя до четверти неба, надвигающаяся с востока тень слилась с вдруг потемневшим небом, и на нем замигали звезды.

Дрожки быстро катились по накатанной дороге в серой мгле вечера. С низин потянуло влажной прохладой.

Во встречных деревнях гасли огни. Истомленное зноем и трудом, все вокруг сладко засыпало.

Была поздняя ночь, когда я проезжал через Малахово. Деревня спала мертвым сном. Вдруг у крайней избы, около плетня, я заметил черную фигуру. Она медленно ходила под лозинами взад и вперед, медленно и однообразно раскачивалась... Неужели это Илья? Изба была его, а неделю назад поздно вечером проезжая через Малахово, я видел Илью, сидевшего на завалинке и баюкавшего ребенка. Я остановил лошадь.

— Илья, это ты? — окликнул я человека.

— Я, — коротко ответил он из темноты.

Я слез с дрожек и подошел к Илье. На руках, под накинутым на плечи зипуном, он держал закутанного в свивальник ребенка. Я спросил:

— Что, или и до сих пор не нашел ты себе невесты?

— Невесты-то?.. Нет, слава богу, тогда же дело сладил в Тайдакове. Есть теперь баба; хорошая баба, лихая на работу, — дай бог всякому.

— Что же это ты сам с ребенком носишься?

— Не привык он к ней, — неохотно ответил Илья.

Я взгляделся в ребенка.

— Да он же спит! — воскликнул я.

— Пушай спит! — пробормотал Илья.

— Вот чудак! Пошел бы и сам спать, — устал ведь с работы! Да и для ребенка лучше, если положишь его.

Илья помолчал.

— А может, я это не для него делаю; а для себя?

Я удивленно оглядел его. Лицо Ильи было грустно и необычно сосредоточенно. И вдруг я понял...

Страдные дни властно отбирали себе у Ильи все его помыслы и всю душу. И вот короткие ночи он вместо отдыха одиноко ходил с ребенком под лозинами, отдаваясь на свободе воспоминаниям и тоске.

В СТЕПИ

I

Пассажирский поезд остановился у маленькой степной станции. Солнце жгло, было жарко и душно. Немногочисленные пассажиры вяло переговаривались или дремали, закутав головы от мух.

Дали второй звонок.

Под окнами вагонов, на стороне, противоположной станции, медленно прошли по шпалам два загорелых мужика. Один из них, с большою, лохматою головою, имел за спиною холщовый узел, а на плече держал косье с привязанной к нему косой; другой мужик, громадного роста и широкоплечий, хромал на левую ногу; у него не было ни узла, ни косы, и через плечо был перекинут только дырявый зипун.

Мужики шли вороватою походкою, исподлобья поглядывали на поезд и словно хоронились от кого-то. Вдруг хромой мужик остановился, быстро огляделся по сторонам и полез по ступенькам на площадку вагона. Следом за ним хотел лезть и его спутник. Он уже ухватился за столб перил, но в это время из окна вагона выглянул кондуктор. Лохматый мужик крикнул, поправил узел за плечами и пошел вдоль поезда. Кондуктор следил за ним пристальным взглядом. Мужик шел по шпалам все дальше и уже оставил за собою последний вагон. Раздался третий звонок, поезд тронулся. Вдруг мужик быстро повернулся, встряхнул узлом и бросился догонять поезд.

— Я-а тебе! Я-а тебе!— угрожающе крикнул кондуктор, высунувшись из окна и грозя пальцем.

Поезд все прибавлял ходу. Мужик, ожесточенно нахмурившись и не глядя на кондуктора, продолжал бежать, вскидывая в стороны худые, стянутые в онучи ноги. Из окон выглядывали пассажиры.

— Ну, ну, землячок!.. Эх, не догонит!— волновался парень в серой блузе.

— Не догонит!

— Куда уж догнать! Не догонит теперь!

— Догонит, ей-богу, догонит!— крикнул парень.— Ну, ну, земляк! А-а, те-те-те!..

Мужик добежал до заднего вагона и, цепляясь за перила, вскочил на ступеньку; узел потянул его назад,— мужик взмахнул рукою и чуть не сорвался, но устоял.

Кондуктор бросился на площадку. Пассажирам не было его видно. Они видели только, как мужик, стоя на нижней ступеньке, что-то говорил, угрюмо глядя вниз, потом махнул рукою и прыгнул обратно с быстро шедшего поезда.

В вагон вошел хромой мужик, ускользнувший от глаз кондуктора. Он высунулся из окна и долго смотрел назад, где в пыли, поднятой поездом, исчезал его товарищ.

— Земляк, что ли, будет тебе?— сочувственно спросил парень с блузе.

— Земляк,— пробурчал мужик, не глядя на парня, и сел.

В дыры его грязной холщовой рубахи глядело бронзовое тело, лицо было почти черное от загара. Огромный и оборванный, с обмотанною тряпками ногою, он блестел белками злых глаз и исподлобья поглядывал вокруг. Парень подсел к нему с разговором. Мужик порывисто встал и, не отвечая, высунулся из окна.

Вошел молодой кондуктор в белом кителе.

— Господа, кто с Мандрыковки садился, билеты позовольте!.. Билет твой!— вдруг быстро обратился он к хромому мужику.

— Нету билета.

Кондуктор молча развел руками.

— Ну вот, что ты с ними будешь делать?.. Господа! Да ведь невозможно!— усталым, усовещивающим голосом заговорил он.— Ведь мы подначальные люди, мы не можем даром народ возить! С нас за это взыскивают... Как остановка будет, пожалуйста, слезай! Честью тебя прошу!

Для поездной прислуги стояло тяжелое время. Из «России» нахлынули в степь бесчисленные массы косарей. Между тем солнце выжгло траву, сенокос на всем протяжении степи не состоялся. Отощавшие и обносившиеся, косари скитались по выжженной степи, плелись по бесконечным тропинкам вдоль полотна дороги. Одни возвращались назад, другие шли дальше, на Черноморье и Кубань. Они потеряли всякий страх: стоило кондукторам

зазеваться, и в поезде немедленно оказывалось несколько десятков безбилетных «зайцев». Практика давно уже выработала такой образ действий: кондукторы зорко следят на станциях за приближающимся косарем и энергично отражают его попытки проникнуть в поезд; но раз он уж очутился в вагоне, не него машут рукою и, без всяких тасканий к начальству, просто высаживают на следующей станции: все равно взятки с него гладки.

Поезд дал свисток и начал замедлять ход. Хромой косарь поспешно встал, захватил свой зипун и перешел в соседний вагон; там он сел на лавочку за дверью. Поезд остановился.

Через вагон прошел кондуктор и увидел косаря.

— Ты не сошел?— изумился кондуктор.

Косарь поднялся.

— Да куда же я пойду? У меня ноги больные!— ожесточенно воскликнул он, глядя на кондуктора как затравленный волк.

— Ах-х ты господи!..— Кондуктор замолчал и оглядывал его с ног до головы.— Я тебе говорил, как человеку, а теперь что же? Я должен бить тебя по шее!

— Смилуйтесь, господин кондуктор!

— Ступай ты, ради бога! Пойми, мы не можем даром возить народ... Ведь вот человек!

Он взял косаря за рукав, вывел на площадку и заставил слезть.

Залихватски закатился кондукторский свисток, ему в ответ рывкнул паровоз, далеко впереди пискнул рожок стрелочника, поезд дрогнул и двинулся.

II

На станции стихло.

Косарь напился из кадушки теплой воды и пошел в степь: около линии нечего было рассчитывать ни на работу, ни на милостыню. Дорога вилась вдаль слабыми, ленивыми извилинами. Кругом до самого горизонта тянулась степь и степь,— ровная, неподвижная, залитая горячим солнцем. Трава была мелкая и редкая, повсюду серели большие плешины голой, выжженной солнцем земли. Ветер слабо дул с запада, шелестя травой; с ветром несли издалека тонкий, нежный запах свежего сена, но запах шел не от рядов и копен, а от травы, на корню сохшей под жгучим солнцем.

Косарь шел, хромя, и тяжело опирался на палку. Солнце било в лицо, во рту пересохло, на зубах скрипела пыль; в груди злобно запеклось что-то тяжелое и горячее. Шел час, другой, третий... Дороге не было конца, в стороны тянулась та же серая, безлюдная степь. А на горизонте слабо зеленели густые леса, блестела вода; дунет ветер — призрачные леса колеблются и тают в воздухе, вода исчезает.

Около дороги, на рубеже, стояла каменная баба. Косарь сел к ее подножию. В ушах звенело и со звоном проходило по голове, в глазах мутилось от жары и голода. Больная ступня ныла, и тупая боль ползла от нее через колено в пах.

Вокруг было просторно и пусто. Только далеко на дороге чернела фигура идущего человека. В блещущей синеве неба парил коршун, потревоженные овражки перекликались между собою из-под земли отрывочным, звенящим свистом. Каменная баба в колпаке, — серая, поросшая зеленоватым мохом, — сгорбившись, смотрела в степь с злым, как будто живым лицом; нижняя часть лица была пухлая и обрюзгшая, руками она держалась за живот, и казалось, что она кисло морщится от боли в пустом желудке. Косарь схватил руками колени и застыл, глядя вдаль воспаленными, красными глазами.

— Цс-сык! Цс-сык! Цс-сык! — явственно звучало вокруг, как будто десятки кос дружно резали густую, сочную траву. По небу молнией проносились невиданно громадные черные птицы, и путник с трудом соображал, что это — увивающиеся вокруг его головы мухи. Над горизонтом по небу стали протягиваться густо переплетающиеся, движущиеся ветви, вдали потянулись гуськом косари в красных рубахах; они шли один за другим, с закинутыми на плечи косами, и им не было конца. Все это был обман, и путник знал это: за время скитания по степи ему не раз уже, особенно по вечерам, мерещились странные вещи. И ему казалось: ему стало бы легче, если бы не шли вдали косари, если бы не мелькали по небу черные птицы и не звучали невидимые косы, режущие невидимую траву...

Косарь вздрогнул и поднял голову. На дороге стоял невысокий человек в нанковом подряснике и смотрел на него. Добродушное лицо было потно и одутловато, за плечами висела на ремнях объемистая котомка.

Человек свернул с дороги к бабе. Он молча спустил

с плеч котомку, сел, вздохнул и, сняв скуфейку, провел рукою по длинным волосам.

Косарь мрачно смотрел и молчал. Человек в подряснике не торопясь раскрыл котомку. Достал краюху пшеничного хлеба, воблу, бутылку водки.

— И много же тут нынче вашего брата полтавца набилось!— говорил он, раздавливая сургуч о подножье бабы.— Никогда еще столько не бывало. Что грачей в поле, так всюду вашего брата.

Он ударил ладонью в донышко бутылки, пробка вылетела, и водка в горлышке запенилась. Косарь молчал и злыми глазами косился на соседа.

— Шли траву прибирать, а травку-то сам господь прибрал, для себя!— продолжал человек в подряснике.— Вот и гуляй теперь по степи без дела.

Он отпил из горлышка водки и, как будто это само собою разумелось, протянул бутылку косарю. Косарь дрогнул, нерешительно оглядел длинноволосого человека. Потом вдруг на черном лице закривилась улыбка, он поспешно протянул руку и бережно принял бутылку.

Человек в подряснике прожевал воблу. Он подвинул закуску к косарю и спросил:

— Отколе сам будешь?

— Из Тамбовской губернии.

Косарь отпил водки, утер усы и осторожно, словно боясь потревожить рыбину, отколупнул кусок. На лице его была теперь напряженно-предупредительная улыбка.

— Давно ходишь?

— С Пасхи.

Косарь молчал.

— Шли, шли, милый человек мой,— заговорил он, стараясь не глядеть на закуску,— все думали, дойдем до настоящего места. Обносились, обтрепались, хуже нищих сделались,— нету работы!.. А народ все знай валит. И куда идут-то? Сами не ведают. Друг у дружки так и рвут кусок из рта!

— Косу-то проел уж?

— Проел... Все проел... Да вот ногу еще испортил.

— Не родилось ничего, вот причина. Засуха! Да ты ешь, что ж ты? Отхлебни еще разок!

— Не обидно будет тебе?— спросил косарь с закривившеюся снова улыбкою и исподлобья взглянул на собеседника.

— Ну, что ты! Господи помилуй!.. Знай ешь!

Косарь с наслаждением отхлебнул еще водки и принялся за рыбу.

— Я тебе все это дело обскажу повнимательнее,— заговорил он, жуя.— Говоришь, не родилось ничего. Не в этом штука. Тут штука вот такая: время наше прошло. Был тут год один,— после холеры который, этот!.. Трава во какая была, жито — не прожнешь. А народу мало подошло. И пошли по экономиям косилки, жнейки всякие. С той поры, можно сказать, хорошо и не было. Раньше за лето пять-шесть красненьких домой принесешь,— ну, теперь этого уж нету!

— Ты куда ж сейчас идешь?

— Домой бы добраться, да вот нога шибко идти не пушает.

Человек в подряснике помолчал.

— А то пойдем со мною,— сказал он, глядя в степь.— Мое дело легкое.

— А ваше какое же дело будет?— осторожно спросил косарь, переходя на «вы».

— Со святым припасом хожу.

— Гм! Странник, значит, будешь?

— Вроде как бы странника.

— В Ерусалиме был?

Странник загадочно ответил:

— Я где и не был, а все знаю.

Косарь покосился на него.

— Из стрелков, значит, будешь?

— «Из стрелко-ов»... Поучить бы тебя, дурака!..

Ну, да жалко мне тебя. Куда ты пойдешь, такой-то? Бог уж с тобой, пойдем вместе. И мне веселее будет, а то скучно одному... Тебя как звать-то?

— Никитой.

— Ну, Никита, вставай! Будет, отдохнули. Вон уж где солнышко. Скоро деревня будет.

Странник приладил к плечам котомку, они встали и пошли.

Странник, маленький и пухлый, шел мелкими шажками, опираясь о камышовую палку, а рядом с ним ковылял огромный оборванный косарь.

— Ты издалека ли сейчас идешь?— спросил взбодрившийся от водки Никита.

— Да со станции.

— Долго что-то шел!

— Там еще дела кой-какие надо было справить — поторговать, чайку попить...

Никита громко расхохотался.

— «Дела»! Нешто это дело? Сказал бы — поработать, а то — «чайку попить»! Это не дело! Это значит — в мамон свой закладывать, а не дело!..

— Буде грохотать, расстегнул пасты!— сурово обре- зал его странник.— Вон она, деревня, видишь?.. Я что ни буду рассказывать, ты все знай — молчи; все равно как будто немой будешь. На ночевку оставлять станут — не оставайся: переночуем в степи.

Вдали, в неглубокой балке, серели крыши деревни и зеленели вербы. На пригорке маленькне восьмикрылые мельницы лениво махали кургузыми крыльями.

III

Солнце садилось. Красные лучи били по пыльной деревенской улице, ярко-белые стены хат казались розовыми, а окна в них горели кровавым огнем. Странник и Никита сидели на крылечке хаты, окруженные толпою хохлов — мужиков и особенно баб. На столе странник разложил весь свой святой припас. Тут были раковины с «Мертвого моря», собранные на морском берегу в Одессе, были пузырьки с ижехерувимскими каплями, восковые огарки из-под святого огня, картины и фотографии.

Он держал в руках ярко раскрашенную картину, изображавшую новоафонский Симоно-кананитский монастырь; на горах, усеянных деревьями, похожими на зеленые бородавки, белели златоглавые церкви, а в небе стояла богородица, простирая ризы над монастырем.

Странник рассказывал о святой и тихой жизни в благочестивом монастыре; он рассказывал певучим, высоким голосом, каким читают в церквах апостола степенные и толковые дьячки, желающие читать «с чувством». Никита, наевшийся вкусного борща с помидорами, чувствовал блаженное отяжеление в теле. Он слушал странника и медленно моргал глазами.

— Отстояли мы обедню, вышли на волю,— рассказывал странник.— Глянули на кумпол — и что же, братцы вы мои? Стоит на облачке сама матушка богородица! Все равно как вот на картине тут... Сияние от нее — глазам больно смотреть, солнцу подобно... С ним вместе были!— прибавил он своим обычным голосом, кивнул на Никиту и оглядел его ясными, умиленными глазами.

Никита пошевелился и стал густо краснеть, косясь на окружающих.

— Немой он, говорить не может сыздетства, — объяснил странник. — Ну, хорошо, ладно! — продолжал он прежним голосом. — Увидали мы с ним — смутились в сердце своем, пали наземь. И взмолился я к владычице небесной: «Мать пресвятая богородица, утешение всех скорбящих! Будет ли товарищу моему спасение, отверзятся ли ему уста?» И случилось тут знамение... Глянула на нас матушка, за уголышек ризу взяла свою и три раза его вот благословила, раз! два! и три! — больше ничего.

Он вопросительно оглядел слушателей. Бабы скорбно вздыхали и качали головами. Старик хохол, с трубкою в зубах, слушал с чуть заметною усмешкою, засунув руки в карманы шаровар.

— Это что значит?.. Значит: молись и веруй, три года тебе терпеть, а там будет по вере твоей...

Странник замолчал. Никита сидел красный и волком глядел вокруг.

— Веруй в матушку, и все приложится тебе, — снова заговорил странник. — Помни бога, для него живи в мире, для него трудися! — Странник значительно погрозил пухлым пальцем. — А мы как? Всё о себе печалуемся, как бы помягче пожить да послаще... Ну вот потом сам и платись!.. В киевских пещурах мощи лежат братов-плотников. Построили они храм успению пресвятой девы Марии. Явилась она им, спрашивает: «Чего хотите, — *сиречь* злата, *сиречь* царствия божия?» Двенадцать братьев запросили царствия божия, а тринадцатый на злато прельстился, добра запросил. Ну, стал он жить — хорошо жить стал, мягко, жирно... Прожил год и стал думать в своей голове: «Что я такое исделал?» И ужаснулся он. Пришел к матушке, пал в ноги: «Прости, говорит, за глупость, не отринь раба твоего!» А она и говорит: «Ничего теперь не могу сделать тебе. Видишь, мощи братьев твоих лежат: если раздвинутся, дадут место, — твое счастье». Взмолился он к мощам: «Братья мои милые, единокровные! Пожалейте грешника, дайте промеж себя местечко!» Сдвинулись братья, только не хватило для него целого места, втиснулся он промеж них плечом. Так по сие время и лежат, — двенадцать к небу ликом, а этот промеж них боком...

— А це кто? — прервал его старик хохол, рассматривавший фотографию образа из киевского собора св. Владимира.

— Никита-столпник, святой угодник переславский, —

скороговоркой ответил странник.— Видишь, на столбе стоит? Тридцать лет и три года простоял...

Он передохнул, быстро высморкался пальцами и тем же певучим голосом стал рассказывать. Рассказывал, как в молодости Никита был «суров и мятежник», как обижал он людей и как явилось ему знамение: жена его варила мясо и увидела в кастрюле кипящую кровь; в крови мелькали человеческие головы, руки и ноги. Позвала она Никиту, он посмотрел и ужаснулся: «Увы мне, много согреших!.. Пошел к монастырю, влез в болото и три дня просидел в трясине, отдав себя на пищу комарам и жабам. Потом явился к игумену, пал в ноги и стал молить указать ему труд,— «токмо, отче, спаси душу погибающую!..» И построил он себе столб и стал служить богу. Зиму и лето, день и ночь стоял он на столбе и все молился. Дождь его мочил, снег засыпал, клевали вороны,— он все молился; в каждой руке он держал на весу по тяжелому камню, вериги на теле от многого труда сделались блестящими, как золото...

Хорошо рассказывал странник. Лицо у него было светлое и вдохновенное, голос проникал в душу. Кругом молчали. Солнце село. Никита смотрел на лежавшую перед ним фотографию и не мог оторвать глаз: высокий, худой и изможденный, стоял угодник на бревенчатом срубе; всклокоченная седая борода спускалась ниже пояса, щеки осунулись, лицо было бледное и мертвенное; потухшие, белесые, как у трупа, глаза смотрели в небо.

И странное что-то творилось с Никитой. Он слушал вдохновенного рассказчика и забыл, что перед ним не больше как «стрелок». И все смотрел на фотографию, и она оживала под его взглядом: в старческом, трупном лице угодника, в невидящих, устремленных в небо глазах горела глубокая, страшная жизнь; казалось, ко всему заемному он стал совсем чужд и нечувствителен, и дух его в безмерном покаянном ужасе рвался и не смел подняться вверх, к далекому небу.

Никита поднял голову, подпер щеку кулаком и задумчиво смотрел на затихавшую степь. По этой степи он скитался два месяца, злобный от голода и униженный, полный одним собою. Все пережитое, вся злоба и страдания казались ему теперь мелкими, и он стыдился их. Стыдился, что муки эти он переносил для самого себя, и что они так малы и ничтожны, и что в них нет ничего, что уносило бы его вверх, прочь от земли, как этого угодника.

Темнело. Странник и Никита оставили за собою деревню и шли по степи. Никита ковылял на больных ногах и молча, с пристальным вниманием косился на спутника: лицо странника казалось ему чуждым, чуждым и страшным в своей чуждости. А странник шел рядом, беззаботно посвистывал и дышал прохладой.

Далеко на юге чернели неподвижные тучи, оттуда шло непрерывное, глухое ворчание. Кругом еще сильнее пахло некошеным сеном. Ветер слабо дул, шурша сухою травой.

— Ну, поглядим, сколько нынче бог послал!— заговорил странник.— Э-эх, коробушка-матушка, вались на травушку!

Он скинул котомку наземь, опустился на траву. Никита стоял и молча глядел.

Странник вытащил из кармана деньги, стал считать; оказалось семьдесят три копейки; было тут и от продажи «святого припасу», были и деньги, данные бабами на свечи угодникам в Соловках, куда будто бы направлялся странник. Потом он вытащил из котомки холсты, яйца, бутылку с водкой.

— Что ж, Никитушка, давай делиться! — ласково сказал странник.

Никите что-то сдавило горло. Он стоял, расставив ноги, и в упор смотрел на странника.

— Знаешь что?— проговорил он срывающимся голосом.— Тебе одна дорога, мне — другая. Прощай, брат!— И он махнул рукою.

Странник изумленно вытаращил глаза и вскочил на ноги.

— Что ты? Господи помилуй, чего ты? — Он оторопело вглядывался в Никиту.— Ду-ура ты, дура деревенская!— неожиданно расхохотался он и весело всплеснул руками.

Никита исподлобья оглядел странника — и вдруг, закусив губу, с размаху ударил его тяжелым кулаком в лицо, — ударил больно, крепко, с дикою радостью ощущая, как хрястнул под кулаком нос его спутника...

Странник, с залитым кровью лицом, сидел на земле и испуганно, плачущим голосом ругался. А Никита, не оглядываясь, шел вперед в темневшую степь.

НА ПОВОРОТЕ

I

Токарева встретили на вокзале его сестра Таня и фельдшерница земской больницы Варвара Васильевна Изворова. Токарев оглядывал Таню и в десятый раз повторял:

— Вот уж не ждал-то, что увижу тебя здесь.

Варвара Васильевна сказала:

— А какая досадная вещь вышла... Я вам писала, — директор банка обещал мне немедленно дать вам место в банке, как только приедете. Вчера захожу к нему, — оказывается, он совсем неожиданно уехал за границу. В Карлсбаде у него опасно заболела дочь. Спрашивала я помощника директора, ему он ничего не говорил о вас. Такая досада. Придется вам ждать, пока воротится директор.

Варвара Васильевна говорила извиняющимся голосом, как будто была виновата в неожиданном отъезде директора. Токарев улыбнулся ее тону.

— Так ведь не на год же уехал директор?

— Нет, конечно. На месяц, самое большее — на два. А покамест, знаете что? Поедьте к нам в деревню. Я с завтрашнего числа получаю в больнице отпуск, нынче или завтра приедут из деревни лошади.

Токарев радостно воскликнул:

— Варвара Васильевна, да ведь это превосходно. Чего ж вы за меня огорчаетесь? Пожить в деревне, — лучшего я бы и сам для себя не придумал...

Подошел носильщик с вещами.

— Куда прикажете извозчика брать?

Токарев, веселый и оживленный, взял ремни с пледом.

— Какая у вас тут есть гостиница недорогая?

— Ну, вот еще, зачем гостиница? — встрепенулась Таня. — Остановишься у нас в колонии.

Токарев поднял брови.

— В колонии?.. Посмотрим, что за колония.

Они вышли из вокзала. Варвара Васильевна сказала:

— Поезжайте, господа. А мне нужно еще забежать в больницу, сделать две перевязки. Я сейчас буду у вас.

Токарев и Таня сели на извозчика и поехали к городу. Солнце садилось, над шоссе стояла золотистая пыль, и сам воздух казался от нее золотым. Токарев, улыбаясь, смотрел на Таню.

— Расскажи ты мне толком, как ты сюда попала. В феврале последний раз написала из Петербурга и после этого, как в воду канула.

— Я тебе говорила: всю весну мы пробыли тут на голоде, в Артемьевском уезде. Ну, я тебе скажу,— и посмотрелись. Жутко вспомнить. До июня пробыли там и все просадили, у кого какие были деньги; то есть, понимаешь, ни гроша ни у кого не осталось. Ну вот и пошли в Томилиnsk.

— Пошли?

— Где шли, где на товарном поезде ехали... Очень было весело. Здесь раздобыли работы,— кто по статистике, кто уроков. Живем все вместе,— целый, брат, дом нанимаем. За три рубля в месяц. Вот увидишь, славные подобрались ребята.

— Я кое-что слышал о твоей деятельности на голоде. В вагоне я разговорился с одним земским врачом,— Рассудин, кажется, фамилия. Он мне много рассказывал про тебя.

— Рассудин? Что, что он говорил?— быстро спросила Таня и с любопытством подняла голову. Ее большие глаза самолюбиво заблестели.

Токарев лукаво улыбнулся.

— Одним словом, одобрял. А передавать не стану,— загордился... А скажи ты мне лучше вот что: когда ты уехала на голод?

— В марте месяце.

— Как же ты с экзаменами устроилась? Перешла на следующий курс?

— Я уж зимою вышла с курсов.

— Вы-ышла?— протянул Токарев и замолчал.— Почему?— коротко спросил он.

— На что они мне. Курсы важны только вначале, чтоб приобрести знакомства, попасть в известную среду. А раз это уж есть, то что в них?

Токарев потемнел.

— Странно... Курсы, во всяком случае, дают систематическое знание.

Таня рассмеялась.

— Систематическое знание... Диплом они дают, а не систематическое знание. Мне не шестнадцать лет, я и без профессорской указки сумею приобрести знания.

— Я не понимаю, ведь всего один год оставался до окончания,— раздраженно сказал Токарев.— Что, помешал бы тебе диплом? Кто знает, что может случиться в будущем,— почему его не иметь на всякий случай?

— Господи, как это скучно,— о будущем думать. Не боюсь я никакого будущего, всегда сумею прожить и без диплома. Ведь тебе вот тоже оставался всего год до диплома,— не получил, и что же? Большая от этого беда?

Токарев нахмурился и молчал.

Пролетка переваливалась из ямы в яму по немощной, изрытой промоинами улице. Под заборами, в бурьяне, валялись дохлые кошки и арбузные корки. Пролетка остановилась у покосившихся ворот небольшого дома. На скамеечке сидел подслеповатый, бритый старик в жилетке и железных очках. Таня крикнула:

— Иван Финогеныч, пожалуйста, откройте нам ворота.

Старик оглядел пролетку и молча пошел отпирать. Они въехали на заросший муравкою двор. В его углу, около садовой калитки, стоял крохотный флигелек. На крыльцо вышли два студента.

Токарев и Таня сошли наземь. Таня сказала:

— Знакомьтесь, господа. Это мой брат, я вам о нем говорила.

Студенты, немного стесняясь, назвали себя и пожали Токареву руку.

— Шеметов.

— Борисоглебский.

Шеметов, стройный парень в синей рубашке, исподлобья взглянул на Токарева.

— Давайте-ка я вам снесу.— Взял из его рук чемодан и удивился.— У-ух, тяжелый какой.

Огромный Борисоглебский крутил на подбородке жесткие черные волосики. Заикаясь, он спросил:

— Чай будете пить? Сейчас запалим самоварчик.

Вошли через сенцы в тесную комнату с грязными,

полуоборванными обоями. Везде валялись книги. К стене были пришпилены булавками портреты Маркса, Чернышевского и Горького.

Шеметов ушел за булками и закусками. Борисоглебский возился в сенцах с самоваром.

Таня села на кровать.

— Ну, вот тебе наша колония... Третьего, Вегнера, еще нету,— ушел куда-то...

Она помолчала.

— Ну, расскажи же, что ты подельвал в Пожарске?

У Токарева еще не совсем прошло враждебное чувство к Тане. Он неохотно ответил:

— Да нечего рассказывать. Приехал туда из ссылки, служил в управлении железной дороги, ты знаешь. Прослужил год, штаты сократили, я и остался на мели.

— Ну, а что за народ там?

— Никакого «народу» нет, одни лишь обыватели. Скука, тишь, только книгами и спасался. Совершенно мертвый городишко.

Воротился из булочной Шеметов. В сенцах раздался его ворчливый голос:

— Несчастное дитя природы, он все тут с самоваром киснет... Пусти.

— Погоди, углей надо подкинуть,— возразил Борисоглебский.

— Уйди, постылый. «Углей!»! Углей довольно, нужно сапогом раздуть... Вот так. Видал? Э, как пошла... «Угле-ей»...

Таня слушала, улыбаясь.

— Милый парень этот Шеметов. Смотрит исподлобья, голос свирепый, а такая мягкая, деликатная душа. На голоде Вегнер заболел у нас сыпным тифом. Посмотрел бы ты, как он за ним ухаживал: словно мать.

Самовар подали. Сели пить чай.

Пришла Варвара Васильевна вместе с Вегнером. Невысокий и сутулый с впалой грудью, Вегнер с застенчиво улыбкою пожал руку Токареву и молча сел за чай.

Варвара Васильевна с торжеством объявила:

— Сейчас спасла Вегнера от расторгнуевских собак. Подхожу к углу, вижу,— собаки его окружили, заливаются, а он стоит и собирается применить свой способ. Еле успела ему помешать.

Все засмеялись. Токарев спросил:

— А что это за способ?

— У него свой особенный способ есть отпугивать собак, самый верный. Если бросится собака, нужно только присесть на корточки и грозно взглянуть ей в глаза,— она сейчас же подожмет хвост и убежит.

— Только никак он себе грозного взгляда не может выработать,— заметил Шеметов.

— В этом-то его и горе... Недавно, на голоде, пошел он к лавочнику покупать соли для своей столовой. Выскочила громадная собака; он присел на корточки и грозно взглянул ей в глаза, а она как цапнет его за нос.

Вегнер с улыбкой качал головою.

— Как все точно! Я только говорил вам, что слышал на голоде от одного пономаря о таком способе. А вы каждый день рассказываете, как будто все это и вправду было,— даже знаете, что именно я шел покупать к какому-то лавочнику.

— И завтра будет рассказано так же,— неумолимо сказала Варвара Васильевна.

Темнело. Сменили второй самовар. В маленькие окна тянуло из сада росистой свежестью и запахом спелых вишен. Токарев взял со стола продолговатую серенькую книжку и стал просматривать. Это были протоколы недавнего ганноверского съезда немецкой социал-демократической партии.

Таня заглянула, какую он взял книжку.

— Вот. Правда, характерно? Весь съезд целиком был посвящен книжонке Бернштейна... Нечего было больше делать.

Токарев перевертывал страницы книжки и сдержанно возразил:

— По-моему, Бернштейн над очень многим заставляет задуматься.

Таня изумилась.

— Господи, Володя! Ну над чем он может заставить задуматься? Ведь это просто банкрот,— успокоившийся, присмиривший и трусливый. И ведь до чего он гаденько-труслив: у него даже не хватает мужества прямо отречься от прежних «мечтаний»...

— Не вижу у него трусости. Напротив, нужно было большое мужество, чтобы выступить с такою книгою. И ни от каких мечтаний он не отказывается, он восстает только против трескучих фраз.

Вегнер слегка покраснел и, пощипывая бородку, спросил:

— Но этого-то вы не будете отрицать, что он — филистер до мозга костей?

— Я этого не отрицаю,— поспешно сказал Токарев.— Но это несколько не мешает быть его книге по существу глубоко верною. Филистерство остается при авторе, а в книге его все-таки больше настоящего, реалистического марксизма, чем в правоверном марксизме.

Таня насмешливо улыбнулась.

— Удивительное дело. Ты согласен, что он насквозь пропитан филистерством; как же это филистерство может не отражаться на самой сути его построений? Как будто филистерство — это так себе, маленький придаток, который не стоит ни в какой связи с остальным.

Спор разгорелся жестокий. Вмешались другие, и было столько мнений, сколько спорящих. Таня спорила резко, насмешливо, не брезгала софизмами и переначиванием слов противника. Ее большие глаза с суровою враждою смотрели на Токарева и на всех, кто хоть сколько-нибудь высказывался за ненавистного ей Бернштейна. Было уже за полночь, в комнате стоял душный табачный дым, а в окна тянуло свежее и глубокою тишиною спавшей ночи.

Варвара Васильевна взглянула на часы и всполошилась.

— Господи, мне уже давно пора в больницу. С двенадцати часов начинается мое дежурство, а теперь уж двадцать минут первого. Прощайте, господа!

Она поспешно надела шляпу, протянула руку Токареву.

— Приходите завтра, я с двенадцати часов буду свободна. — И быстро ушла.

— Ну, пора бы уж и спать,— сказал Токарев.— Правду говоря, голова трещит с дороги.

Он беспомощно огляделся: где его могут тут подождать?

— Мы вам сейчас устроим постель,— сказал Шеметов и встал.

Таня опять стала милою и радушною. Она воскликнула:

— Нет, нет, не надо. У вас тут клопов много. Он у меня наверху будет спать, а я пойду ночевать к Варе. Пойдем, Володя.

По крутой лесенке из сенец они поднялись наверх. В крохотной комнатке было жарко от железной крыши и душно, как в бане. Книги и статистические листки валялись по полу, на стульях, на кровати. На столе лежала черная юбка. Таня поспешно повесила ее на гвоздь.

— Ну, вот тебе комната... Тебе не будет жестко спать?— спросила Таня и пощупала рукою свою кровать.

Токарев был приятно возбужден спором и общей атмосферой, от которой уж стал отвыкать. Он рассеянно ответил:

— Нет, ничего.

— Ну спи... Прощай.

Таня пошла к двери. Вспомнила что-то и остановилась.

— Да, вот что. Не возьмешься ли ты обделать тут одно дельце?

Токарев насторожился.

— Что такое?

— Видишь ли... Какое впечатление произвела на тебя Варвара Васильевна?

— Право, не могу сказать,— я ее слишком мало видел.

— Она очень живой человек и дельный. Между тем вот уже третий год киснет тут в Томилинске, в больнице,— отслуживает земскую стипендию. Ей положительно невозможно здесь оставаться, необходимо перетащить ее в Петербург.

— Ну, да... Но что же я тут могу сделать?

— Видишь ли, мне говорила Варя, ты знал в Петербурге ее двоюродную сестру Засецкую; она кончила на фельдшерских курсах двумя годами раньше Вари. Так вот, эта Засецкая теперь замужем здесь за членом управы Будиновским,— либеральный земец, влиятельный человек. Познакомься с ними, они как раз третьего дня приехали на неделю из деревни. Ты человек солидный. Подействуй на Будиновского, уговори его, чтоб Варе сократили срок службы в земстве.

— Она что же — сама хочет этого?

— Ей ничего об этом и говорить не нужно. Она такая щепетильная, ни за что не согласится.

— Вот странно. Какое же мы имеем право без ее разрешения хлопотать за нее?

— Ах ты господи!— Таня досадливо передернула плечами и быстро прошла по комнате.— Ну, я не знаю,— как хочешь, а здесь ей невозможно оставаться. Я прямо не могу с этим примириться.

— Проведать Засецкую я не прочь, мне интересно повидать ее. Но хлопотать за Варвару Васильевну без ее разрешения,— это, по-моему, бесцеремонно прежде

всего по отношению к ней же самой... А скажи, пожалуйста, я и не знал, что Варвара Васильевна получала стипендию; ведь ее родители — богатые люди, имеют имение под Томилином.

— Да, только оно все в долгах, усадьба разваливается, отец сильно в карты играет. Они только наружно богаты... Ну, однако, прощай. Спи... Так завтра мы все-таки пойдем к Будиновским.

Таня ушла. Токарев сел на окно, закурил папироску. Росистый сад, облитый лунным светом, словно замер. Было очень тихо. Только изредка полно и увесисто шлепалось о землю упавшее с дерева яблоко. Вдали кричали петухи.

Варвара Васильевна произвела на Токарева довольно бледное и расхолаживающее впечатление. А между тем в Пожарске и раньше — в Вятской губернии — он думал о ней с сладким и захватывающим чувством. В Петербурге они были хорошо знакомы. Время стояло горячее, волна общественного настроения начинала подниматься все выше; они не заметили, как сближение их стало чем-то большим, чем дружба. Однажды вечером, вдруг, в неожиданном порыве, Токарев высказал Варваре Васильевне то, что он к ней чувствовал; Варвара Васильевна резко и испуганно отшатнулась и с этого времени стала все больше замыкаться и отдаляться от Токарева. А между тем он чувствовал, что и она любит его... Вскоре Токарева арестовали, потом сослали в Вятскую губернию. Они все время переписывались, и в этой переписке образ Варвары Васильевны делался для него все светлее, чище и дороже. Теперь, увидев ее, он почувствовал разочарование. Идеальный образ, увеличенный расстоянием, оделся плотью и превратился в обыкновенную девушку, — к тому же бледную, похудевшую и постаревшую; только лицо ее, строгое и красивое, немножко подходило к прежней мечте.

Токарев начал раздеваться. Сел на кровать, чтоб снять ботинки, уперся в нее руками — и остановился.

— Одна-ако!.. — Он поднял одеяло и простыни. На сосновых подставках лежали три неоструганных доски, покрытые тонким солдатским сукном, — и больше ничего, это была вся постель.

Токарев расхохотался. Он вспомнил, как Таня спрашивала: «Не жестко будет тебе?»

— Да, «не жестко», — громко сказал он, щупая ладонью твердые доски. Охватило горячее умиление к Тане;

видимо, ей самой это действительно не жестко; она заботилась, чтоб ему было поудобнее; он сказал: «Не будет жестко», — и она успокоилась.

Токарев развязал свои ремни, уложил на доски пальто, подушки, плед, все, что было в комнате из Таниной одежды, и кое-как устроил сносную постель. Все улыбаясь, он потушил свечу и лег.

Прошел час, другой, — Токарев не мог заснуть. Было душно, кусали комары и мошки, жесткие Танины простыни терли тело. Наложённые вместо тюфяка вещи образовали в постели бугры, и никак нельзя было удобно улечься. Хотелось пить, а воды не было. Токарев лежал потный, угрюмый и злой и вспоминал свою уютную квартиру в Пожарске. Опять он бездомен. Будущее темно и неверно, и что хорошего может он ждать от этого будущего?

II

В широком коридоре больницы пахло валерьянкой и мятой. Таня постучала в небольшую белую дверь. Ответа не было. Она отворила дверь. Комната была пуста.

— Ну, так я и думала. Вари еще нет. А уж второй час. Наверно, помогает кому-нибудь управляться. Я положительно не видывала, чтоб человек когда-нибудь так работал. С утра до ночи возится с больными, все служащие выезжают на ней и сваливают на нее всю работу, а она и в ус себе не дует.

Комната была большая и чистая, два окна выходили в больничный сад.

Токарев сел в кресло и закурил папиросу. Таня прошла по комнате, остановилась перед этажеркою и стала пересматривать книги. За дверью тонкий женский голос спросил:

— Варенька, вы у себя?

Таня поморщилась.

— Ее нет здесь.

В комнату, с книжкою в руках, вошла молодая девушка в сером платье, — бледная, с круглыми, странно-светлыми голубыми глазами. Токарев поднялся с кресла.

— Здравствуйте, Татьяна Николаевна. Варенька скоро придет?

— Не знаю я, — хмуро ответила Таня.

Девушка растерянно поглядывала на Токарева. Таня пробурчала:

— Мой брат. Ольга Петровна Темпераментова.

Темпераментова почтительно пожала руку Токареву.

— Я очень рада, мне Варенька столько рассказывала про вас. Она ужасно рада, что вы перебираетесь из Пожарска в Томлинск... Я эти дни как раз вспоминала об вас: я вот читаю Варенькину книжку, Энгельса, «О происхождении семьи», с вашей надписью ей... Какая книжка, просто замечательно! Так глубоко, так ясно все изложено... Как неопровержимо доказывается правильность материализма...

Слова сыпались, как мелкие горошины, — ровные, круглые и сухие. На душе сразу стало сухо и пусто. Токарев слушал, стараясь изобразить на лице внимание. Таня села к окну и стала читать. А Ольга Петровна со своими растерянными, странно-голубыми глазами продолжала высыпать свое восхищение от книжки.

Пришла наконец Варвара Васильевна. Она сняла больничный халат, поспешно вышла и воротилась с горячим кофейником. Сиделка внесла поднос с чашками.

— Ну, слава богу. Свободна, — облегченно вздохнула Варвара Васильевна и села на кровать.

— Долгонько вы «освобождались», — с улыбкой заметил Токарев.

Темпераментова влюбленными глазами следила за Варварой Васильевной.

— Ведь вы не знаете, Варенька такая добросовестная. Всем ей нужно помочь, за всем присмотреть. Главный доктор прямо говорит, что ею держится вся больница...

— Варя, пойдемте сейчас к Будиновским, — прервала Таня. — Володя хотел бы повидать Марью Михайловну.

— Отлично. Сейчас после кофе и пойдем.

Сели пить кофе. Ольга Петровна сыпала своим пустым разговором, время шло томительно и угнетающе. Все поспешили кончить.

Вышли на улицу. Таня шла, нахмуренная и злая.

— По-моему, это профанация Энгельса — давать его читать таким господам. Не понимаю, чего вы возитесь с нею. Ведь пять минут побыть с нею — это каторга.

— Скучновата она, верно, — согласилась Варвара Васильевна. — Да и навязчива немножко. А все-таки она очень хороший человек... и несчастный. С утра до ночи бегаёт по урокам, на ее руках больной отец и це-

лая куча сестренки; из-за этого не пошла на курсы...

На тихой Старо-Дворянской улице серел широкий дом с большими окнами. Густые ясени через забор сада раскинули над тротуаром темный навес. Варвара Васильевна позвонила. Вошли в прихожую. В дверях залы появилась молодая дама в светлой блузе, — белая и полная, с красивыми синими глазами.

— А-а, Варенька! Редкий гость.— Она радостно поцеловалась с Варварой Васильевной. Потом с недоумевающей улыбкой прищурила близорукие глаза на Токарева.

— Не узнаете, Марья Михайловна?— улыбнулся Токарев.

— Ах, господи, да это Владимир Николаевич! Я слышала от Вареньки, что вы перебираетесь в Томилино... Как же вы изменились! Ну, здравствуйте, здравствуйте!— Она крепко, несколько раз, пожала руку Токарева.— Пойдемте, господа, в кабинет... Боря, иди сюда! К нам гости!

Мягко ступая летними башмаками, из кабинета медленно вышел высокий, плотный господин с русою бородою, остриженною клинышком. Марья Михайловна перезнакомила всех. Вошли в просторный, прохладный кабинет.

— Это Токарев, Владимир Николаевич... Я тебе часто рассказывала про него. Приятелями были в Петербурге.

На дубовом письменном столе в порядке лежали книги и бумаги. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь жалюзи, весело играли на зеленом сукне стола и на яркой бронзе письменных принадлежностей. У окон величественные латании, нежные арки и кенции переплетали узоры своих листьев. В кабинете было комфортно и уютно.

— Я слышал, вы переселяетесь к нам в Томилино?— медленно спросил Будиновский, глядя на Токарева спокойными, серьезными глазами.

Он стал спрашивать Токарева о его прежней жизни, слушал и сочувственно кивал головою. Токарев рассказывал, а сам приглядывался к Марье Михайловне. В Петербурге, курсисткой, она была тоненькая и худенькая, с большими, чудесными глазами, полными беспокойства и вопроса. Теперь глаза смотрели мягко и удовлетворенно. Красивое полное тело под легкую блузу дышало тихим покоем.

— Да, Варвара Васильевна, я вам хотел сообщить,—

вспомнил Будиновский.— Вы простите меня, но я вашего заявления до сведения управы не довел.

Варвара Васильевна нахмурилась и холодно сказала:

— Очень жаль. В таком случае я сама напишу председателю.

— Вот, Владимир Николаевич, подействуйте хоть вы на Варвару Васильевну,— с улыбкой обратился Будиновский к Токареву.— Весною на земском собрании мы единогласно постановили выразить Варваре Васильевне благодарность за ее сердечное и добросовестное отношение к больным в нашей больнице. Послали ей соответственную бумагу, а она в ответ подала мне заявление, что не нуждается в нашей благодарности... Ну, как можно это делать?

— А как можно благодарить человека за то, что он исполняет взятые на себя обязанности?— резко возразила Варвара Васильевна.— Благодарят за самое обыкновенное исполнение своих обязанностей! Да ведь это дико! Этак скоро дождешься еще благодарности за то, что не обворовываешь больных и не берешь с них взятки!

Будиновский улыбнулся, забавляясь ее негодованием.

— Мы благодарили вас именно за особенное отношение к самим обязанностям, а не за обычное, формальное: отзвонил, и с колокольни долой!

— Ну, не стоит об этом говорить! Дело само по себе слишком ясно. Я работаю вовсе не для вашего земского собрания, и мне решительно все равно, одобряет оно меня или порицает.

В ее голосе зазвенели слезы обиды. Она быстро прошла по кабинету и, закусив губу, остановилась у окна. Будиновский посмеивался. Токареву тоже было немножко смешно. Таня слушала, внимательно насторожившись, глаза ее блеснули: у нее создавался новый план.

Вошла горничная и доложила, что подано кушать. Марья Михайловна встала.

— Господа, пойдемте обедать!

Направились в столовую. Таня отстала от других и остановила Будиновского.

— Борис Александрович, мне нужно с вами поговорить.

Будиновский с удивлением посмотрел на Таню и любезно сказал:

— Пожалуйста! В чем дело?

— Видите ли... Вы сейчас рассказывали, как довольна

управа службою Варвары Васильевны. Ей еще год нужно отслуживать стипендию... Нельзя ли, во внимание к ее выдающейся деятельности, устроить так, чтоб простить ей этот год?

Будиновский, наклонив голову, внимательно слушал.

— Я не совсем вас понимаю... Зачем ей это нужно?

— Затем, что тогда она может уехать отсюда, — в Петербург, например. Ее только отслуживание стипендии и удерживает здесь.

— Я этого не знал.

Будиновский в замешательстве погладил бородку и медленно прошелся по кабинету.

— Откровенно говоря, мне сделать это чрезвычайно неудобно. Вы знаете, Варвара Васильевна — двоюродная сестра моей жены. На меня и так все косятся за мой последний доклад о недостатках постановки народного образования в нашей губернии; если же я предложу сделать, что вы желаете, то все скажут, что я «радею родному человечку».

— Господи, стоит на это обращать внимание!

— Очень даже стоит, — серьезно возразил Будиновский.

— Что же теперь делать? — Таня задумалась. — Вот что: тогда познакомьте меня с каким-нибудь другим влиятельным членом управы.

«Вот неугомонная!» — подумал Будиновский и неохотно ответил:

— Сейчас все разъехались из города. Раньше осени все равно ничего нельзя сделать.

— Господа! Идите же обедать! — крикнула из столовой Марья Михайловна.

Таня быстро сказала:

— Только, пожалуйста, не говорите Варе о нашем разговоре.

Они пошли в столовую. По тарелкам уж была разлита ботвинья с розовыми ломтиками лососины и прозрачными кусочками льда. На конце стола сидел рядом с бонной шестилетний сын Будиновских, в матроске, с мягкими, длинными и кудрявыми волосами. Он с любопытством глядел на Токарева и вдруг спросил:

— Зачем у тебя синие очки?

— Ах, Кока, ну что тебе за дело? — рассмеялась Марья Михайловна. — У дяди глазки болят.

— Глазки болят... Тогда нужно компрессы,— уверенно сказал Кока.

— Какой опытный окулист!— улыбнулся Будиновский Токареву.

Марья Михайловна вздохнула.

— Да, тут станешь опытным!.. Всю эту зиму он у нас прохворал глазами; должно быть, простудился прошлым летом, когда мы ездили по Волге. Пришлось к профессорам возить его в Москву. Такой комичный мальчугашка!— Она засмеялась.— Представьте себе: едем мы по Волге на пароходе, стоим на палубе. Я говорю: «Ну, Кока, я сейчас возьму папу за ноги и брошу в Волгу!..» А он отвечает: «Ах, мама, пожалуйста, не делай этого! Я ужасно не люблю, когда папу берут за ноги и бросают в Волгу!..»

Все рассмеялись. Кока, ухмыляясь, оглядывал смеющихся.

В передней раздался звонок. Вошел красивый студент в серой тужурке, с ним молодая девушка,— розовая, с длинною косою. Это приехали за Варварой Васильевной из деревни ее брат Сергей и сестра Катя.

Сергей, только что вошел, быстро спросил:

— Получила отпуск?

— Получила!

— Чудесно! Значит, едем!

— Сережа, Катя! Садитесь скорей, ешьте ботвинью!— сказала Марья Михайловна.

Пришедшие поздоровались. Сергей крепко и радостно пожал руку Токареву,— видимо, он уж слышал о нем от сестры.

— А мы с Катей приехали, сунулись к тебе,— обратился Сергей к Варваре Васильевне.— Тебя нету, сидит только девица эта... Как ее? С психологической такой фамилией. Сказала, что вы сюда пошли... Ну, а ты, шиш, как поживаешь? — спросил он Коку.— Дифтеритом не заразился еще? Пора бы, брат, пора бы тебе схватить хороший дифтеритик.

— Ах, Сережа, ну что это такое?!— воскликнула Марья Михайловна.

— Нет, ей-богу, следовало бы ему заразиться! Живут в деревне, мать — по образованию фельдшерица, и не позволяет бабам приносить к себе больных ребят,— заразят ее Коку!

Марья Михайловна заволновалась.

— Ну, Сережа, мы лучше об этом не будем говорить!

Я не могу заниматься общественными делами. Женщина, имея детей, должна жить для них,— это мое глубокое убеждение.

Сергей изумленно вытаращил глаза.

— Какое же это общественное дело — каломелю или хинину дать ребенку?

— Мы делаем для народа все, что можем. Благодаря Борису в нашем уезде прибавлено восемь новых фельдшерских пунктов, увеличена сумма, отпускаемая на лекарства... Мы за это имеем право не подвергать опасности Коку. Я могу жертвовать собою, а не ребенком... Владимир Николаевич, что ж вы себе лафиту не наливаете? Боря, налей Владимиру Николаевичу... Нет, право, эта молодежь — такая всегда прямолинейная,— обратилась она к Токареву.— Недавно продали мы наше мценское имение,— только одни расходы с ним. Сережа смеется: будете, говорит, теперь стричь купоны?.. Я решительно не понимаю,— что ж дурного в том, чтоб купоны стричь? Почему это хуже, чем хозяйничать в имении?

— Я ничего против купонов не имею,— возразил Сергей с легкой улыбкой.— Но Борису Александровичу не восемьдесят лет, чтобы сидеть на ворохе бумаг, и резать купоны.

— Это все равно. Мы не имеем права рисковать капиталом.

— Почему так?

Марья Михайловна поправила кольца на белых, мягких пальцах.

— Деньги от мценского имения целиком должны остаться для Коки.

После цыплят подали мороженое, потом кофе. Сергей перешептывался с Таней. Будиновский курил сигару и своим медленным, слегка меланхолическим голосом рассказывал Токареву об учрежденном им в Томилинке обществе трезвости.

— А какую прекрасную публичную лекцию в пользу этого общества прочел у нас недавно Осьмериков, Алексей Кузьмич,— обратилась Марья Михайловна к Токареву.— О рентгеновских лучах... Это учитель гимназии нашей,— такой талантливый человек, удивительно! И как его дети любят! Вот если бы у нас все такие учителя были, я бы не боялась отдать Коку в гимназию.

— Действительно, удивительно дети его любят,— сказала Варвара Васильевна.— Весною встретила я с

ним на улице, идет в целой толпе гимназистиков. Разговариваю с ним, а мальчуган сзади стоит и тихо, любовно гладит его рукою по рукаву... Так жалко его, беднягу,— в злейшей чахотке человек.

— Только ужасно долго он лекцию эту читал,— улыбнулась Марья Михайловна.— Два часа без перерыву. Хоть и демонстрации были, а все-таки утомительно слушать два часа подряд.

— Да, у нас вообще не привыкли долго слушать,— сказал Токарев.— Вот в Германии, там простой рабочий слушает речь или лекцию три-четыре часа подряд, и ничего, не устает.

— Так это почему? Они сидят себе, пьют пиво и слушают; женщины вяжут чулки... Когда чем-нибудь занимаешься, всегда легче слушать. Да вот, например, мы иногда с Борисом читаем по вечерам «Русское богатство». Я читаю, а он слушает и рисует лошадиные головки. Это очень помогает слушать.

Сергей расхохотался.

— Ч-черт знает что такое... Лошадиные головки... А ведь остроумно вы это придумали!

Он смеялся самым искренним, веселым смехом. Будиновский сконфузился и нахмурился.

— Ну, Маша, что ты такое рассказываешь? Просто, я вожу машинально карандашом по листу, а по твоему рассказу выходит так, что без лошадиных головок я и слушать не могу.

Марья Михайловна стала оправдываться.

— Нет, я только говорю, что это все-таки помогает сосредоточиваться. Ведь, правда, как-то легче слушать.

Сергей несколько раз замолкал и опять прорывался смехом. Таня скучала. Варвара Васильевна перевела разговор на другое.

Опять раздался звонок. Вошел господин невысокого роста и худой, с большою, стриженной под гребешок головою и оттопыренными ушами; лицо у него было коричневого, нездорового цвета, летний пиджак болтался на костлявых плечах, как на вешалке.

— А-а, Алексей Кузьмич!— приветливо протянула Марья Михайловна.— Вот легок на помине. А мы только что говорили о вашей лекции. Все от нее положительно в восторге.

— Угу!— пробурчал Осьмериков и подошел поздороваться,— подошел, втянув наклоненную голову в под-

нятые плечи, как будто ждал, что Марья Михайловна сейчас ударит его по голове палкою.

— Ну, здравствуйте,— сказал он сиплым голосом, сел и нервно провел рукой по стриженной голове.— А я слышал от Викентия Францевича, что вы приехали, вот забежал к вам... Да, вот что! Кстати!— Осьмериков тусклыми глазами уставился на Сергея.— Скажите, вы не знаете, Коломенцев Александр кончает в этом году?

— Уж кончил, кажется,— небрежно ответил Сергей.— Даже при университете оставлен.

— А-а!— хрипло произнес Осьмериков.— Дай бог, дай бог!

— Ну, не знаю, чего тут «дай бог». Ведь это полнейшая бездарность!

Осьмериков своим сиплым, срывающимся голосом возразил:

— Зато работник! Это гораздо важнее! Для жизни нужны работники, а не одаренные люди... Ох, уж эти мне одаренные люди! Вы мне, пожалуйста, не говорите про них, я им ничего не доверю, никакого дела,— вашим «одаренным людям».

— Одн-нако!— удивился Сергей.— Уж что-что другое, а бездарность профессор — это нечто прямо невозможное.

— Да ведь светочей-то среди них — всего два-три процента, не больше! — воскликнул Осьмериков.— А остальные... Вот я недавно был в Москве на физико-математическом съезде. Ужас, ужас!.. У-ужас! — Он поднялся с места и быстро огляделся по сторонам.— Где люди? Нету их. Профессор математики, ученый человек, европейская величина, а заставь его поговорить с ребенком, — он не может! Слишком сам он большая величина. Ребенок для него — логарифм! Вот этакая коробочка, в которую нужно запихивать знания, — пихай! Извольте видеть? Во-от-с!.. А я вам скажу: умный человек не тот, кто умеет логически мыслить, а тот, кто понимает чужую логику и умеет в нее войти. Вот иной раз у меня же в классе. Толкуешь, толкуешь мальчишке, — никак не возьмет в толк. Кто виноват? Я! Я не поймал его логики!.. Вызовешь другого мальчика: ты понял? — Понял! — Ну, ступай с ним за доску, объясни ему там... И объяснит. А я вот, старый дурак, не сумел!

Он снова быстро сел на стул и придвинулся с ним к столу. Сергей неохотно возразил:

— Так вот, ведь вы именно и доказываете, что педагогом может быть только одаренный человек.

— Нет-с, нет-с, я этого не доказываю! Нужно быть только добросовестным работником, не смотреть на жизнь свысока, не презирать ее! Не презирать чужой души, не презирать чужой логики!

Осьмериков говорил быстро, нервно и глядел на Сергея тусклыми, как будто бесцветными и в то же время пронизательными глазами.

— Бездарный работник именно на это-то и не способен,— сказал Сергей.

— Почему нет? Почему нет?

— Потому что он слишком преклоняется перед...

— Почему нет?

— ...перед собственной логикой. Она для него все.

— Нам нужны «большие дела», на малые мы плюем. Почему нет?

Осьмериков снова порывисто встал и начал оглядываться, как будто собирался немедленно уйти, потом опять сел.

— «Одаренные люди»!.. О господи! Избави нашу жизнь от одаренных людей! Они-то все и баламутят, они-то и мешают нормальному течению жизни... Вот я вам прямо скажу: вы — одаренный человек. Я все время видел это, когда вы были моим учеником. И тогда же я сказал себе: для жизни от вас проку не будет... Вас вот в прошлом году исключили из Московского университета, через год исключат и из Юрьевского. И кончите вы жизнь мелким чинушей в акцизе или сопьетесь с кругу. Почему? Потому что нам нужно «большое дело», обыденный, будничнейший труд для нас скучен и пошл, к «пай-мальчикам» мы питаем органическое отвращение!

— Верно! Прямо органическое отвращение питаю!

Осьмериков обрадовался.

— Ну, во-от! Не правда, что?.. Серые, обыденные люди для вас не существуют, они для вас — вот тут, под диваном... Милый мой, дорогой! Жизнь жива серыми, тусклыми людьми, ее большое тело творится из малого, скудного и ничтожного!

Таня встала.

— Мне пора идти!— сказала она.— Нужно еще поспеть в статистический комитет.

— Господа! Пойдемте, нам ведь тоже уж давно пора!— обратился Сергей к остальным.

Они вышли. Вечерело. Вдали еще шумел город, но уже чувствовалась наступающая тишина. По бокам широкой и пустынной Старо-Дворянской улицы тянулись домики, тонувшие в садах. От широкой улицы они казались странно-маленькими и низенькими.

— Кто этот гриб?— спросила Таня.

Сергей усмехнулся.

— Осьмериков-то?.. Чистая душа!.. Ведь действительно вся душа светится. Но сколько он народу среди учеников перепортил своею чистою душою!

— Как душно с ними!— Таня быстро повела плечами.—И какое все кругом маленькое, низенькое, смиренное! Совсем вот как эти домики... И арифметика, и чувства — все какое-то особенное: малое больше большого, серое ярче красного.

— А как вы нашли Марью Михайловну?— обратилась Варвара Васильевна к Токареву.

— Какая она стала... мягкая и белая!— улыбнулся Токарев.

— Страшно! Страшно, как человек меняется!— задумчиво сказала Варвара Васильевна.— Ведь одно лишь имя осталось от прежнего. Что значит семья и дети...

— Да,— вздохнул Сергей,— много я видал семейных счастья и нахожу, что на свете ничего нет тухлее семейного счастья.

— И это положительно что-то роковое лежит в женщине,— продолжала Варвара Васильевна,— ребенок заслоняет от нее весь большой мир... Нет, страшно, страшно!.. Никогда бы не пошла замуж!

Таня с неопределенною улыбкою возразила:

— Я не знаю,— отчего? Все зависит от самого человека. Я бы вышла, если бы захотела.

— Совершенно с вами согласен,— решительно сказал Сергей.— Люди устраивают себе тухлятину. Виноваты в этом только они сами. Почему отсюда следует, что нужно давить себя, связывать, взваливать на себя какие-то аскетические ограничения? Раз это — потребность, то она свята, и бежать от нее стыдно и смешно... Эх, ночь какая будет! Господа, чуеете? Давайте выедем сегодня же. Лошадь отдохнули, а ночи теперь лунные, светлые... Заберем всю колонию с собою и поедем.

У Тани разгорелись глаза.

— Вот это славно!.. Им всем полезно будет отдохнуть: в Питере жили черт знает как, на голоде сами голодали, а тут уж совсем пооблезли... Превосходно! Все и поедем!

Когда они пришли в колонию, там все сидели за работой. Сергей объявил:

— Ну, ребята, одевайтесь! Едем в деревню!

— Да ну-у?— просиял Борисоглебский.— Вот так здорово! Серьезно?

Таня оживленно говорила:

— Статистику заберем с собою, и там можно будет работать! А деревня, говорят, чудесная. Славно недельку проживем!

Митрыч слабо свистнул и с торжествующим видом запрыгал по комнате, неуклюже поднимая ножищи в больших сапогах.

— Чай, и простокваша есть у вас там?.. Собирайся, ребята!

— Ишь зачужал простоквашу, взыграл!.. Ну, забирайте вашу статистику, одевайтесь. А я пойду на постоянный, велью закладывать лошадей.— Сергей ушел.

Варвара Васильевна сказала:

— Только, господа, еще одно: нужно будет и Ольгу Петровну взять с собою, Темпераментову.

Таня скорбно уронила руки и застонала.

— Ну, Таня, ну что же делать? Пускай и она немного отдохнет. Ведь совсем, бедная, заработалась за зиму.

— Отрава!— вздохнул Митрыч.— Аппетита к жизни лишает человека! А что оно, конечно, того... Нужно же и девчонке отдохнуть, это верно.

В девятом часу вечера из города выехал запряженный тройкою тарантас, битком набитый народом. Сидели на козлах, на приступочках, везде. Сергей правил.

— Селедки, селедки моченые!— тонким голосом кричал Шеметов, когда навстречу попадались проезжие мужики.

Тарантас выкатил на мягкую дорогу. Заря догорела, взошла луна. Лошади бежали бойко. Сергей ухал и свистал, в тарантасе спорили, пели, смеялись.

Была глухая ночь, когда гости приехали в Изворовку. Их не ждали. Встала хозяйка Конкордия Сергеевна Изворова, суетливая, радушная старушка. Подали молока, простокваши, холодной баранины. Сонные девки натаскали в гостиную свежего сена и постелили гостям

постели. Уж светало, когда все,— оживленные, веселые и смертельно усталые,— залегли спать и заснули мертвецки.

IV

Изворовка была старинная барская усадьба,— большая и когда-то роскошная, но теперь все в ней разрушалось. На огромном доме крыша проржавела, штукатурка облупилась, службы разваливались. Великопепен был только сад,— тенистый и заросший, с кирпичными развалинами оранжерей и бань. Сам Изворов, Василий Васильевич, с утра до вечера пропадал в поле. Он был работник, хозяйничал усердно, но все, что выработывал с имения, проигрывал в карты.

Жизнь для гостей текла привольная. Вставали поздно, купались. Потом пили чай и расходились по саду заниматься. На скамейках аллей, в беседках, на земле под кустами, везде сидели и читали,— в одиночку или вместе. После завтрака играли в крокет или в городки, слушали Катину игру на рояле. Вечером уходили гулять и возвращались поздно ночью. Токарев чувствовал себя очень хорошо в молодой компании и наслаждался жизнью.

Прошла неделя. Завтра «колония» должна была уезжать. На прощание решили идти куда-нибудь подальше и прогулять всю ночь. Был шестой час вечера. Токарев и студенты сидели с простынями под ближайшими елками и ждали, когда выкупаются барышни. День был очень жаркий и тихий, в воздухе парило.

Сергей крикнул:

— Эй, девицы! Скорей! Прохлаждаются себе уж два часа, а тут кисни... Эй, барышни! Потопли вы там, что ли?

От террасы быстро прошла по дорожке Таня с простынею на плече и книгою под мышкой.

— Тэ-тэ-тэ!.. Татьяна Николаевна! Это что же, вы только еще идете купаться?

Таня быстро ответила:

— Я в одну минутку буду готова, только один раз окупнусь.

— Слушай, Таня, ведь это невозможно,— раздражаясь, сказал Токарев.— Ведь кричали тебе купаться,— нет, сидела и читала, а знаешь, что люди ждут. А когда кончают, теперь идешь. Еще полчаса ждать!

— Ну, вот увидишь, я с ними в одно время ворочусь.— И Таня прошла.

Токарев прикусил губу, стараясь не показать своего раздражения. Как раз вчера утром он проспал и шел купаться, когда там уже купались, а Таня сидела под елками и ждала. Она энергично воспротивилась и не пустила его,— поодиночке будете ходить, так целый день придется тут ждать... А сегодня сама делает то же самое...

Шеметов сидел на столе и лениво раскачивал ногами.

— Черт возьми, голова трещит! Облом этот Митрыч в восемь часов сегодня поднял... Слушай, Сережка, убери ты его, пожалуйста, от нас в другую комнату, я с ним, с подлецом, не могу спать.

Митрыч, ослабив лицо, посмеивался.

— Ты же сам вчера просил разбудить тебя.

— А сегодня утром я тебя просил не будить... Черт знает, как восемь часов,— хватает и стаскивает с постели. Этакая свинья!

— А уж Сашка-то тут извивается! — засмеялся Вегнер.— Осторожнее, ты меня запутал!.. Ой, Митрыч, оставь, я очень похудел!.. Бог знает, что говорит, и самым серьезным, озабоченным тоном.

— Потеха у нас... того... бывает с ними по утрам! — обратился Митрыч к Токареву.— Вечером просят будить: это, говорят, разврат,— спать до полудня. Ну, я и стараюсь. Значит, стащишь Сашку с постели, он ругается, а потом вдруг вскочит и бросится немца стаскивать.

Шеметов сердито говорил:

— Нет, я, главное, не понимаю, для чего будить! Невыспавшийся человек не в состоянии работать; что же он? Будет только сидеть над книгой и клевать носом. Это все равно, что пустым ведром воду черпать!

— Гм...— Сергей задумался.— А ты полагаешь, что обыкновенно воду черпают полным ведром?

— Полным, пустым — мне все равно. Я ваших глупых пословиц вовсе не желаю знать.

Он вообще насчет пословиц и цитат любитель,— заметил Вегнер.— Вчера вдруг провозглашает:

На свете много есть, мой друг Горацио,
Чего нехитрому не выдумать и ввек!

Уверяет, что это Шекспир сказал...

Сергей заорал:

— Эй, вы, девицы! Скоро вы?

От пруда донесся голос Тани:

— Сейча-ас.

Но там все слышались плеск воды и смех.

Токарев кипел. Что за бесцеремонность! Она даже и не считает нужным поторопиться!.. Вообще за эту неделю у Токарева много накопилось против Тани. Приехавшая с ними из Томилинска Темпераментова была действительно невыносимо скучна, но так третировать человека, как третировала ее Таня, было положительно невозможно. Больше же всего Токарева возмущало в Тани ее невыносимое разгильдяйство, — она приехала сюда, не взяв с собою из одежды решительно ничего, — не стоит возиться, а тут без церемонии носила белье и платья Варвары Васильевны и Кати. Также она относилась и к чужим деньгам: Токарев из своего скудного заработка в Пожарске высылал ей в Петербург денег, чтоб дать возможность кончить курсы; ни разу она не отказалась от денег, хотя могли же быть у нее хоть иногда кой-какие заработки; этою весною она вышла с курсов, ничего ему даже не написала, а деньги от него продолжала получать.

Наконец, со стороны пруда раздалось:

— Идите!.. Можно!

Барышни поднимались по тропинке. Таня сказала Токареву:

— Ну, видишь, в одно время кончила со всеми!

Он ничего не ответил и прошел мимо.

Горячее солнце играло на глади большого пруда, старые ивы на плотине свешивали ветви к воде. От берега шли мостки к купальне, обтянутой ветхою, посеревшею парусиною, но все раздевались на берегу, на лавочках под большою березою.

Шеметов и Сергей лениво разделись и остались сидеть на скамейке. Вегнер уж давно был в воде. Маленький и юркий, он, как рыба, нырял и плескался посредине пруда. Шеметов спросил:

— Слушай, немец, вода теплая?

— Приятная! — значительно крикнул Вегнер.

— Гм... — Шеметов взошел на мостки и попробовал ногою воду. — Да-а, «приятная»!..

Борисоглебский стоял на берегу, — огромный, голый, мускулистый, обросший жесткими черными волосами, с

странно шутившимися без очков глазами. Протянув руку вперед, он пел своею глубокою, рычащею октавою:

Проклятый мир!
Презренный мир!
Несчастный,
Ненавистный мне...

Ой, черт!..

Шеметов с мостков брызнул в него водою. Борисоглебский серьезно сказал:

— Ну, что за свинья! Ведь холодная она, вода-то! — потер себе бок и продолжал:

Несчастный,
Ненавистный мне мир!..

Сергей перемигнулся с Шеметовым и Вегнером, с невинным видом вошел в воду, — и на Митрыча полился целый дождь брызг.

— Чер-рти!! — зарычал Митрыч и ринулся на них. Вегнер и Сергей, как лягушки, бросились в воду. Шеметов перед носом Митрыча захлопнул дверь купальни и заперся на крючок. Митрыч, сильный, как медведь, плавал плохо и в воде чувствовал себя неуверенно.

— Погодите вы, черти! Выйдете на берег, я вас каждого заставлю «Проклятый мир» спеть!

Шеметов из купальни крикнул:

— Ребята! Заключим против него общий морской союз!

— Идет! — отозвался с середины пруда Сергей. — Лезь в воду, Сашка!

— Да вода, брат, холодная!

Борисоглебский на берегу пел:

Сражался я, искал я смерти,
Но остался жив...

Сергей и Вегнер тихо, стараясь не шуметь, подплыли к купальне.

— Ой, подлецы!.. Карау-ул!! — завопил вдруг в запертой купальне Шеметов под хохот других голосов. Сергей и Вегнер нырнули в купальню и обрызгали Шеметова.

— Ой!.. Погодите, мне вам что-то нужно сказать! — кричал Шеметов, а вода бурлила в купальне, и брызги взлетали высоко вверх.

Дверь хлопнула, и Шеметов бомбою вылетел на берег.

И будешь ты царицей ми-и-ира,
Подруга первая моя...—

рявкнул Борисоглебский и, широко расставив руки, облапил Шеметова.

Шеметов серьезным, озабоченным тоном говорил:

— Ой, Митрыч, погоди! Что мне тебе нужно сказать!.. Поосторожнее, пожалуйста, я запутался!

— Он запутался! — смеялись в купальне.

— Пой «Проклятый мир»!

— Убирайся к черту!.. Ах ты кутья несчастная!

Шеметов ловко дернулся и охватил Борисоглебского. Началась борьба. Шеметов, ловкий и стройный, искусно увертывался от попыток Митрыча сломить ему спину. Тела переплелись, напрягшиеся крепкие мышцы оставляли на коже красные следы. Митрыч с силою налег на Шеметова, тот увернулся и брякнул Митрыча наземь, но Митрыч уж на земле подмял его под себя.

Задыхаясь, он навалился на Шеметова.

— А-а, брат!.. Ну пой: «Проклятый мир!»

И запустил ему толстый большой палец под ребра.

— Бо-ольно, Митрошка!

— Пой: «Проклятый мир!»

— Ой-ой! Кишки выдавишь, свинья!

— Пой,— сейчас пушу!.. «Проклятый мир!..»

Шеметов неистово завопил:

— «Проклятый мир!»

— «Презренный мир!.. Несчастный!..» — подсказывал Борисоглебский и ворочал пальцем под ребрами Шеметова.

— «Презренный мир!..» Ой, Митрофан проклятый, саврас без узды!..

Митрыч мрачно и сосредоточенно подсказывал:

— «Несча-астный!..»

— «Несча-астный!..»

— Морской союз идет на континент! — крикнул Сергей.

Он и Вегнер выскочили из воды и вцепились в Митрыча.

Четыре тела слились в общую кучу. Они возились и барахтались на траве. Мелькало красное, напряженное лицо Митрыча и его огромные мускулистые руки, охва-

тывавшие сразу двоих, а то и всех троих. Токарев сидел на скамейке, смеялся и смотрел на борьбу. Ему бросилось в глаза злобно-нахмуренное лицо Сергея, придавленного к земле локтем Митрыча. Наконец Борисоглебского подмяли под низ, и все трое навалились на него.

Все еще со злым лицом, Сергей запустил ему палец в живот и крикнул:

— Пой: «Проклятый мир!»

— «Прокля-атый мир!» — покорно заорал Митрыч, — так дико, что галки на ивах всполохнулись и с криком полетели прочь.

— Дальше.

— «Презре-енный мир!.. Несчастный!.. Ненавистный мне мир!..»

Его выпустили. Все поднялись, — красные, взлохмаченные, задыхающиеся. Шеметов поглаживал ладонью бока и возмущался.

— Этакая гнусная привычка! Чуть что, сейчас палец под девятое ребро, — рад, что анатомию знает, — и пой ему: «Проклятый мир...» Да, может быть, я в этот момент совсем не расположен петь!

— Скоты такие! Самому мне все брюхо разворочали! — сказал Митрыч.

— Ну, ребята, довольно возиться! — объявил Шеметов. — Нужно купаться. Чур, не брызгаться... — Он вздохнул. — Только у меня что-то уж и охота прошла в воду лезть.

— А раньше большая охота была! — засмеялся Вегнер.

— Молчи ты, плюгаш паршивый! Предатель! Я с тобою и разговаривать не хочу... Владимир Николаевич, — обратился он к Токареву, — пойдете в купальню, как полагается приличным людям.

Он взял Токарева под руку и важно прошел с ним в купальню.

— Ишь, всю купальню замочили! Порядочному человеку и выкупаться нельзя!

— Ну, вправду, ребята, чур не брызгаться! Будет! — сказал Борисоглебский.

Вегнер и Сергей поплыли на ту сторону пруда. Митрыч три раза окунулся в купальне и вылез в пруд.

— У-у, пес твою голову отверти! Хорошо!

Он в восторге гоготал, подпрыгивал и окунался до

плеч. Токарев тоже влез в воду. Только Шеметов стоял, опираясь о перекладину купальни, и болтал ногою в воде. Он ворчливо говорил:

— Ключи у вас здесь какие-то бьют на дне, что ли? Вода какая холодная!

— Лезь, Сашка, а то опять обрызгаю! — крикнул с того берега Сергей.

— Я тебе «обрызгаю»! — погрозился Шеметов и вздохнул. — Нет, ей-богу, я нахожу это прямо безнравственным: зачем я буду насиловать свое тело? Я и без того прозяб, инстинкт тянет меня согреться, а какой-то нелепый долг повелевает лезть в холодную воду.

Митрыч стоял по грудь в воде и мылил голову. Шеметов встрепенулся, тихонько соскользнул в купальню и исчез под водою.

— У-у-уй!!! — завопил Митрыч и шарахнулся к берегу.

Из воды вынырнуло смеющееся лицо Шеметова.

— Ну, брат, напугал ты меня! Я думал — рак!

— «Ра-ак...» Будешь ты вперед «Проклятый мир» заставлять меня петь?

Сергей крикнул:

— Ну, ребята, одевайся! Скорей! А то поздно будет!

Они оделись и пошли к дому.

На широкой каменной террасе, заросшей диким плющом, кипел самовар. Все уж пили чай. Конкордия Сергеевна растирала деревянною ложкою горчицу в глиняной миске.

Катя выставила из-за самовара свое розовое молодое лицо и лукаво спросила:

— Какую это вы, Шеметов, песню пели на берегу?

Шеметов вздохнул.

— Это мы с Митрычем спевались. Дуэт из «Демона». Он Демона пел, а я Тамару, — томно сказал он. — А что, хорошо? Производит эстетическое впечатление?

— Прелестно! Производит...

— То-то! — проворчал Шеметов. — А вы думали, что только вы способны доставлять эстетическое наслаждение, разыгрывая своих Шопенгауэров?

— Катя расхохоталась и в восторге забила в ладоши. Варвара Васильевна невинно спросила:

— А это хороший композитор — Шопенгауэр?

— Он Шопена хотел сказать! — засмеялась Катя. И все засмеялись. Шеметов презрительно оглядывал их.

— Смеются!.. Как будто композиторы бывают только в области музыки!

— А где ж они еще бывают? — спросил Вегнер.

— Где! Да хоть в философии. Среди твоих немцев есть целый ряд философов-композиторов, — например, тот же Шопенгауэр, Ницше... Платон...

— Да Платон вовсе не немец.

— Поэтому я об нем и не говорю. Вот еще — Фихте...

— Ну, ну, припомни, каких ты еще философов слышал, — засмеялся Сергей. — Вали: Гегель, Лейбниц, Шеллинг, Кант...

Шеметов сердито ответил:

— Нет, они были сухими рационалистами. В них не было этого... порыва, экстаза, что ли...

— Какой нахал! — вздохнул Вегнер.

— А каким голосом говорит свирепым, как будто хочет смертоубийство совершить! — воскликнула Варвара Васильевна.

— Я самым обыкновенным голосом говорю.

— Да, обыкновенным! — сказала Катя. — Мама, смотри, он тебе голову скусит! Налей ему поскорее чаю, умиловись его!

— А, чтоб вас бог любил! — смеялась Конкордия Сергеевна, разливая в стаканы чай.

Все усердно ели и пили. Пришел Василий Васильевич, загорелый старик в больших сапогах и парусиновом пиджаке. Конкордия Сергеевна налила ему чай в большую фарфоровую кружку с золотыми инициалами. Василий Васильевич стал пить, не выпуская из рук черешневого мундштука с дымящеюся папиросою. Он молча слушал разговоры, и под его седыми усами пробежала легкая скрытая усмешка.

Таня встала.

— Ну, господа, напились? Пойдемте!

— Идем!

Быстрым шагом они шли по дороге среди ржи. Солнце садилось в багровые тучи. Небо было покрыто тяжелыми лохматыми облаками, на юге стояла синеватая муть. Безветренный, неподвижный воздух как будто замер в могильной тишине.

Сергей, с странным, нервным блеском в глазах, радостно потер руки.

— Гроза будет! Чуется в воздухе!

— Господа, пойдете подальше! — оживленно сказала Таня. — Ведите, Сергей Васильевич!.. Да поскорее, господа, что так медленно?

Катя засмеялась.

— Медленно! И так почти бежим.

— Правда, гроза будет? — встрепелась Темпераментова. — Так тогда лучше воротиться, захватить калоши; а то все утонем.

Шеметов проворчал:

— От утопления калоши не могут спасти.

Ольга Петровна радостно засмеялась и поправилась:

— Не от утопления, а чтоб ноги не промочить.

Митрыч неуклюже шагал по пыли своими большими сапогами. Слегка заикаясь, он заговорил:

— Не только не спасут калоши, а в них и топиться ходят. У нас в селе, где мой батька псаломщиком служил, был поп, у него сын, в семинарии учился со мною. Смирный был мальчишка, того... Скромный. Ну, ладно. Вот раз попал он в компании на ярмарку, — то, другое, и напился вдрызг, до риз положения; не знает, как домой попал. Утром проснулся, — голова трещит, лохматый; лежит и стонет: «Олёна, а Олёна! Поддай мои колоши!..» У нас там, в Олонецкой губернии, на ó говорят. Вышел на двор, вцепился в волосы... «О, позор, позор!.. Где мои колоши? Пойду утоплюся!..»

Катя вдруг воскликнула:

— Господа, посмотрите, что наверху делается!

Тучи — низкие, причудливо-лохматые — горели по всему небу яркими красками. Над головою тянулось большое, расплывающееся по краям облако ярко-красного цвета, далеко на востоке нежно розовели круглые облачка, а их перерезывала черно-лиловая гряда туч. Облако над головою все краснело, как будто наливалось кроваво-красным светом. Небо, покрытое странными,

клубящимися тучами, выглядело необычно и грозно.

— Смотрите, господа, смотрите, какое у Митрыча красное лицо,— засмеялась Катя.

— Да у вас еще краснее,— возразил Шеметов.

— У всех, у всех! Господа, посмотрите друг на друга. И дорога! и все!

Лица были алы, дорога и рожь казались облитыми кровью, а зелень пырея на межах выглядела еще зеленее и ярче. На юге темнело, по ржи изредка проносилась быстрая нервная рябь. Потянуло прохладой, груди бодро дышали.

— Вперед, господа, вперед! — торопила Таня.— Эх, славно!

Они шли как раз навстречу надвигавшимся с юга тучам. Там поблескивала молния, и слышалось глухое ворчание грома. Облако над головою сузилось, вытянулось и стало лиловым. Все облака наверху стали темнеть.

Варвара Васильевна сказала:

— А там-то какая идиллия, посмотрите!

На севере, на бирюзово-синем небе, белели легкие облачка, все там было так тихо, мирно и спокойно...

— Туда посмотреть и потом сразу обернуться сюда,— совсем два различных мира.

Далеко на дороге взвилось большое облако пыли и окутало серевшие над рожью крыши деревни. Видно было, как на горе вдруг забились старая лозина. Ветер рванул, по ржи побежали большие, раскатистые волны. И опять все стихло. Только слышалось мирное чириканье птичек. Вдали протяжно свистнула иволга.

— Господа, не присядем ли мы здесь на минутку? — сказала Ольга Петровна.

У перекрестка дороги шел углом невысокий вал, отгораживавший мужицкие конопляники. По ту сторону дороги высился запущенный сад, сквозь плетень виднелись заросшие дорожки и куртины.

Таня враждебно оглядела Темпераментову.

— Ну вот еще!.. Дальше, господа, дальше пойдем! Токарев решительно сказал:

— Нет, я тоже устал; присядем.

— Ну, что ж, присядем,— согласилась Варвара Васильевна.

Ольга Петровна, Катя и Вегнер устало опустились на вал.

— Погодите, давайте тогда большинством голосов решим,— предложила Таня.

Токарев возмутился.

— Я решительно не понимаю, как такие вещи можно решать большинством голосов! Я удивляюсь, у тебя нет самого элементарного чувства товарищества. Многие устали, не могут идти, а ты хочешь большинством голосов заставить их тащиться за собою.

— Да о чем тут говорить? Отдохнем немного, того... покурим и пойдем дальше,— примирительно произнес Митрыч и сел.

И все сели. Таня презрительно повела головою.

— Эх вы, ползучие люди!

Она продолжала стоять и жадно глядела в надвигавшиеся тучи.

Черно-синие, тяжелые, они медленно нарастали, поблескивая молниями. Гром доносился уже совсем явственно; за полверсты, на склоне горы, вдруг бешено забила и зашумела роща, и этот шум было странно слышать рядом с неподвижным, молчащим садом. Вскоре заревел и он; деревья заметались, сверкая изнанкою листьев.

Сергей продекламировал:

Ночь будет страшная, и буря будет злая,
Сольются в мрак и гул и небо и земля...

Токарев удивился.

— Сергей Васильевич, вы знаете Фета?

Удивился и Сергей.

— А почему бы мне его не знать? Очень даже его люблю.

— Сережа, прочти все стихотворение! — коротко сказала Варвара Васильевна, подперев подбородок и глядя вдаль.

Таня стояла и жадно дышала бодрым, прохладным ветром.

— Господи, я положительно этого не могу понять!.. Тут настоящая, живая гроза идет, а они сидят и стихи читают про грозу!.. А ну вас! Шеметов, пойдете вперед! Мы воротимся.

— Идем! — Шеметов вскочил.

— А, черт! Я тоже с вами! Чего тут киснуть? — Сергей тоже вскочил.

Они втроем пошли по дороге навстречу ветру. На юге сверкали яркие зигзаги молний, гром доносился громко, но довольно долго спустя после молний. Далеко

на дороге, на свинцовом фоне неба бился под ветром легкий светло-желтый шарф на голове Тани и ярко пестрели красная и синяя рубашки Сергея и Шеметова.

Митрыч лежал на животе и жевал сухую былинку.

— А гроза-то замешкается! — лениво сказал он.

Тучи действительно как будто остановились, ветер упал. Наверху вяло двигались клочковатые облака — серые, бессильные. Наступила тишина — природа словно подозрительно прислушивалась. Потом вдруг все ожиилось. Птицы беззаботно зачирикали.

Варвара Васильевна глядела на неподвижные тучи.

— Господи, да ведь они вправду остановились!

— А те-то, несчастные! — засмеялась Катя. — Смотрите, стоят и ждут!

Митрыч зычно крикнул:

— Эй-эй, ребята! Спектакль отложен, ворочайтесь!

Прошло пять минут, десять. Воздух и небо были неподвижны. Таня, Сергей и Шеметов повернули назад.

— А что, хорошая гроза? — спросила Катя.

Шеметов повалился на траву.

— О, позор, позор! Где мои колоши? Пойду утоплюсь!

— Ну, свалился! — возмутилась Таня. — Вставайте же, господа, пойдемте наконец! Неужели еще не отдохнули?

Встали и пошли дальше. Темнело. Тучи на юге висели неподвижно, помигивая молниями. Дорога, обогнув овсы, шла в густой давыдовский лес.

Варвара Васильевна заговорила:

— Эх, славная вещь, гроза! Люблю ее! Странное она производит впечатление; она так поднимает, в ней есть что-то такое уверенное, несомненное и творческое... Кажется, — здесь, под грозой, не может быть никаких раздумий и колебаний; все, что будешь делать, будет хорошо, нужно и будет как раз то, что и следовало делать. А как это хорошо — действовать, не раздумывая, когда тебя подхватит и понесет вперед большая, могучая сила!..

— Оно так теперь и есть, — сказала Таня.

Варвара Васильевна помолчала.

— Где же оно есть? Так, на минуту, нам показалось было, что что-то есть. Но это оказалось миражем. Опять все замутилось, опять темно; все по-обычному мелко, вяло и слабо. И нет, нет того революционного прилива,

который бы подхватил людей целиком, нет бодрящего воздуха, в котором бы и слабые крепили, и падали бы сомнения, и рос бы дух. Дорога была найдена, но она оказалась книжною.

Таня воскликнула:

— Господи, «книжною»!.. Варя, вы, значит, совсем слепы, вы ничего не видите кругом!

— Я все, мне кажется, вижу. Робкие, слабые намеки на что-то... Помнится, Достоевский говорит о вечном русском «скитальце»-интеллигенте и его драме. Недавно казалось, что вопрос наконец решен, скиталец перестает быть скитальцем, с низов навстречу ему поднимается огромная стихия. Но разве это так? Конечно, сравнительно с прежним есть разница, но разница очень небольшая: мы по-прежнему остаемся царями в области идеалов и бесприютными скитальцами в жизни.

Сергей раздраженно пожал плечами.

— Что ты такое городишь? Я решительно ничего не понимаю! — Лицо его, с тех пор как они с Таней и Шеметовым воротились к перекрестку, было злое и серое.

— Я говорю, что у нас все хорошо и стройно только в теории. Вот мы идем вместе и разговариваем — люди все благомыслящие и единомыслящие. Наши идеалы велики и светлы, мы горды собою и своим мирозерцанием. Но столкнешься с жизнью — и все это тускнеет, и все становится таким маленьким и жалким по своей беспочвенности... И жизнь говорит: ты горда собою, и горда по праву, и как ты можешь поступаться всею полнотою и правдою твоих идеалов? Но вместе с этим — а может быть, как раз вследствие этого — ты слепа и неумела, и жизнь тебя отмечает... Иногда мне почти кажется, что я слышу прежнее страшное: не суйся!..

Таня хотела возразить, но Варвара Васильевна продолжала:

— И вот возникают вопросы: идти на два или на десять шагов впереди стихийного движения? В какой степени созрело революционное сознание рабочего класса? Сами эти вопросы подлы, подлы по самой сути, они оскорбительны для меня и ставят меня в фальшивое положение; я не могу отречься от самой себя. Но то — могучее, стихийное, оно меня не признает, а во мне нет силы, я — ничто, если не захочу признать этого стихийного и его стихийности.

— Черт знает что такое! — возмутилась Таня. — Вот

так вопросы! На два, на десять шагов вперед! Что мне за дело до этого? Я хочу идти полным шагом, и плевать мне на все и на всех. Кто отстанет, догоняй, а этак, как начнут все один к другому принаравливаться, то все и будут топтаться на месте!

Сергей в восторге воскликнул:

— Bravo, Татьяна Николаевна! Вот! Вот это самое и есть! Все стихийность, стихийность... еще новый бог какой-то, перед которым извольте преклоняться! На себя нужно рассчитывать, а не на стихийность! Стану я себя отрицать, как же! Черта с два!.. Смелее нужно быть, нужно идти на свой собственный риск и полагаться на собственные силы,— только! Будь она проклята, эта стихийность!

— Верно, верно! — согласился и Борисоглебский.— Что она мне за указ, стихийность эта? Злость у меня тут есть здоровенная,— он ударил себя кулаком в грудь,— ну и ладно. Больше мне ничего не нужно!

Шеметов ворчливо возразил:

— Ну и тешьтесь в таком случае бирюльками, гарцуйте со своею злостью в безвоздушном пространстве! А я не понимаю и не признаю, что подлого в тех вопросах, о которых говорит Варвара Васильевна. Да, весь вопрос именно в том, на два или на десять шагов вперед? Для меня стихийность только и дорога, самый важный, самый главный вопрос — как к ней примкнуть. А вы — кучка гарцующих, и будете себе гарцевать, пока совершенно независимо от вас к вам подойдут низы... Вы сколько уж времени — тридцать, сорок лет — гарцуете с вашей полнотою революционных идеалов?

Они шли теперь по лесной поляне, среди леса. Вокруг поляны теснились темные, кудрявые дубы, от них поляна имела спокойный и серьезный вид. Тучи на юге все росли и темнели, но ветру не было, и стояла глухая тишина.

Токарев молча шел и задумчиво слушал. На душе было тяжело: все спорили горячо и страстно, вопросы спора, видимо, имели для них жизненный, кровный интерес. Он старался и себя настроить на такой лад, но мысль оставалась холодной, и он чувствовал себя чуждым и посторонним.

Подошел Сергей и сказал:

— Люблю я эти споры! Мысль жива — работает и ищет... А как несколько-то лет назад: все вопросы реше-

ны, все распределено по ящичкам, на ящики наклеены марксистские ярлыки. Сиди да любуйся. Ведь это — гибель для учения, смерть!.. Только и оставалось, что спорить с народниками; друг с другом не о чем было и говорить...

— А что, господа, кобылка тут не пробежала?

— Фу, черт!..— Сергей нервно отскочил в сторону.

В сумерках стоял сгорбленный мужик с растерянным лицом, в накинутом на плечи зипуне.

— Вот испугал-то! — Сергей улыбнулся, стыдясь за свой испуг.— Какая кобылка?

— Пегая кобылка, сбегла с ночного,— что с нею подеялось!.. Не иначе, как по этой дороге побегла... Горе какое!

— Нет, тут не видно было,— сказала Варвара Васильевна.

— Э-эх! — старик почесал в волосах.— Главное дело, конь-то молодой, дороги домой не знает, только на Казанскую куплен...

Шеметов сердито говорил:

— Возмутительнее всего эти инсинуации, на которых вы выезжаете! Спор тут вовсе не о принципе, а только о факте. Как обстоит дело? По-вашему? Наш рабочий класс действительно уже горит ярким, сознательным революционным огнем? Действительно он сознал, кто его классовые и политические враги? Ну и слава богу, это — самое лучшее, чего и мы хотим. Но только суть-то в том, что вы ошибаетесь.

Они пошли дальше. Варвара Васильевна осталась стоять с мужиком. Таня возражала:

— Тут весь вопрос именно в принципе. Вопрос в этом оппортунизме, «практичности», довольстве малым...

— Кто проповедует ваше довольство? — грубо спросил Шеметов и вдруг остановился. Он поднял брови и, словно что вспомнив, оглянулся назад.— Что это он про кобылу-то говорил?.. Черт знает что такое! Идут девять здоровенных молодцов, судьбы революции решают... Пойдемте, поможем ему!

— Пойдемте, господа! — убеждающе сказала Варвара Васильевна.

Сергей встряхнулся.

— Идем! Эй, дядя! Какая, говоришь, кобылка твоя? Пегая?

— Пегая, батюшка, пегая. Я чего боюсь-то? Ночь

подходит, непогода, а в лесу у нас тут волки,— задерут лошадь.

— Говоришь, в эту сторону побежала?

— В эту, в эту!

— Ну, ладно. Ты сам откуда,— дернопольский? Так ступай, мы тебе приведем кобылку твою.

— Самоуверенно! — засмеялась Варвара Васильевна. Мужик обрадовался.

— Подсобить хотите? Ну, дай вам бог. Пойдемте! Уж больно трудно одному-то!

— Пойдем, ребята, большим кругом в эту сторону,— сказал Сергей.— Чур, переключаться! Сходиться у мостика в лошинке, перед сторожкой.

Все разбрелись по лесу. Лес зазвенел смехом и криками. На западе было еще светло, но кругом становилось все темнее. Срежь полной тишины тучи на юге росли медленно и уверенно.

Токарев продирался сквозь чащу орешника, оступаясь о пеньки и бурелом. Слева раздались крики и смех Шеметова и Митрыча.

— Нашли-и-и!..— донесся справа голос Сергея.

— Нашли? — крикнул слева Шеметов.

— Нашли вы?

— Мы-то не нашли, а ты нашел?

— Нет, не нашел.

— Чего же ты кричишь «нашли»?

— Я вас спрашивал!

— Дурак!..

Лес вдали глухо зашумел. По вершинам деревьев бурным порывом пронесся ветер. Токарев шел впереди и старался не сбиться с направления. Сначала он усердно глядел по сторонам, потом перестал и шел лениво, постукивая тросточкою по стволам. Крики и ауканья становились все отдаленнее.

Токарев подумал: еще заблудишься тут!.. Лес выл и шумел под налетевшим вихрем. Желтые листья и сучки падали на землю. Вдали глухо рокотал гром.

Чаща стала светлеть. Токарев вышел на край какой-то лошинки. Внизу вился болотистый ручей, заросший осокою. Квакали лягушки. По косогору шла дорога и виднелся мостик. Этот, что ли?..

По дороге усталою походкою спускались Варвара Васильевна и Ольга Петровна. Токарев направился к ним.

— Не нашли?

— Нет. Нужно будет дальше идти. Только подождем, чтоб все собрались... Ау-уу!!.

Вдали откликнулись. Ветер буйно выл по лесу, глухой шум деревьев то рос, то ослабевал, и по глухому шуму струями пронеслось резкое шипение ближних деревьев. Подошли еще Вегнер и Катя, потом Борисоглебский.

Вдруг ярко блеснула молния, небо как будто растрескалось и с оглушительным грохотом посыпалось на землю. Из кустов неслышно вышел Шеметов. Он кивнул на небо и сказал:

— «Отец, слышишь, рубит, а я отвожу!»

— Не нашли лошадь?

— Черт ее найдет! — проворчал Шеметов и сел на мостик.

Молнии ярко-белыми стрелами сыпались на лес, гром яростно катился по небу из конца в конец, лес ревел и бился. На юге было жутко-темно. Ольга Петровна стояла с бледною улыбкою и старалась побороть страх.

На косогоре, среди дубовых кустов, появился Сергей. Молния ярко осветила его кумачовую рубашку. В бешеном восторге он кричал:

— Го-го-го-го!.. Слышите, ребята? Вон как гремит! Варька, слышишь?!

Ветер рвал на нем рубашку, лицо было безумное и восторженное.

— Позор всем слабым и малодушным! Позор тем, кто перед лицом грозы отрицает идущую грозу!.. Идет она, идет! Видите вы ее теперь, — вы, робкие, сомневающиеся?.. Пришла жизнь, пришла борьба и простор! Слава буре!..

— Го-го-го-го! — раздался из чащи голос Тани.

— Татьяна Николаевна, сюда! Наша взяла! Пришла гроза!.. Слава борцам, слава всем друзьям грозы!

Таня, в развевающейся юбке, быстро спустилась к мостику. Она упоенно дышала ветром, глаза блестели. Поспешно она спросила:

— Ну что, не нашли?

— Нет.

— Так чего ж вы сидите? Пойдемте дальше!.. Правда, как хорошо? — с счастливою улыбкою обратилась она к Токареву.

Токарев молча кивнул головою, хотя находил, что кругом становится довольно-таки неуютно.

— Ну, идем, господа! Вставайте! — торопила Таня. Шеметов проворчал:

— Экая неугомонная! Куда вставать-то? Очевидно, лошадь украли и увели. Станет вас конокрад ждать!

— Ну все-таки поищем еще! — сказала Варвара Васильевна. — Очень уж мужика жалко.

— Наверное, кобылка сама уж домой пришла, — заметил Борисоглебский.

— А что найти-то, конечно уж, не найдем теперь, — согласился Сергей.

— «Позор всем сомневающимся и малодушным!» — иронически повторила его слова Варвара Васильевна.

— Э, черт! Верно, пойдем дальше!.. Что за позор! Бабы нас ведут вперед.

По дороге забили первые крупные капли дождя. Варвара Васильевна украдкой внимательно посмотрела на Токарева и сказала:

— Только вот что: зачем всем идти? Многие устали. Тут сейчас за бугром сторожка, можно зайти отдохнуть; тем более — дождь начинается.

— Господа, да зайдемте все! — заговорил Токарев. — Ну что за охота мокнуть под дождем! Пройдет дождь, тогда и пойдем опять искать.

Таня ядовито возразила:

— А тогда ты скажешь, что мокро, ноги промочишь. Токарев нахмурился и замолчал.

— Пойдемте, я вас проведу в сторожку, — предложила Варвара Васильевна.

— Ну, господа, а мы пойдем дальше, — сказала Таня.

— Го-го-го! На вынос возьмем гору! — крикнул Сергей. Он, Шеметов и Митрыч вместе с Танею быстро взбежали на косогор.

Вегнер с завистью глядел вслед убежавшим.

— Нет, я отдохну, устал.

Варвара Васильевна провела Токарева, Катю, Вегнера и Ольгу Петровну к лесной сторожке. К ним на встречу вышел лесник — худощавый, с красным носом, в пиджаке, Варвара Васильевна сказала:

— Ну, прощайте пока!

— Варвара Васильевна, да передохните же и вы! — возмутился Токарев. — Вы бледны, как полотно, — видимо, вы страшно устали!

— Э, пустяки! Это так кажется!

Она исчезла в темноте. Токарев обратился к леснику:

— А что, любезный, хорошо бы самоварчик поставить; найдется у вас?

— Найдется, помилуйте!.. Сейчас поставим. А мы зато винца потом выпьем за ваше здоровье.

Резко блеснула молния. Как пушечный залп, прокатился гром. Дождь хлынул. Он шуршал по соломенной крыше, журчащими ручьями сбегал на землю. Из черного леса широко потянуло свежую, сырою прохладой.

В сторожку постучались. Вошел мужик, у которого убежала лошадь. Вода струилась по его шапке, лицу и зипуну. Катя спросила:

— Не нашли?

— Нет, барышня! Уж и в деревню сбегал, не воротилась ли... Нету!

Он устало опустил на лавку. Подали самовар, стали пить чай. Тараканы бегали по стенам, в щели трещал сверчок, на печи ровно дышали спящие ребята. Гром гремел теперь глуше, молнии вспыхивали синим светом, дождь продолжал лить.

Пришли Сергей и Шеметов. С обеих вода лила ручьями, на сапогах налипли кучи грязи, оба были злы. Сергей сказал:

— Нет, Татьяна Николаевна — это положительно ненормальный человек. Уж Варя и та созналась, что невозможно найти, а она: «А я все-таки найду!»

Шеметов сердито засмеялся.

— Нет, ведь правда, нелепо! В двух шагах ничего не видно,— по этакому лесу ищи лошадь ощупью!.. И Митрыча несчастного запрягла, кряхтит, а прет за нею следом.

Пришла и Варвара Васильевна. Было уже двенадцать часов. Молча пили чай, разговор не вязался. Все были вялы и думали о том, что по грязи, мокроте и холоду придется тащиться домой верст восемь. Варвара Васильевна, бледная, бодрилась и старалась скрыть прохватывавшую ее дрожь. Сергей и Шеметов сидели в облипших рубашках, взлохмаченные и хмурые, как мокрые петухи.

За темными окнами могуче загудел бас Митрыча:

— Эй, ребята! Вы здесь?.. Выходите встречать, нашли!

Все бросились к выходу. В темноте белела лошадь. Митрыч держал ее за оброть. Таня, бодрая, оживленная, вбежала в сени.

— А что? Нашла? — торжествующе обратилась она к Сергею и Шеметову. — Я говорила, что найду!

Сергей развел руками и низко склонил голову.

— Преклоняюсь!

Таня сияла детской, смешною гордостью.

— Ну и молодец же вы, Таня! — радостно воскликнула Варвара Васильевна.

Мужик кланялся.

— Уж вот, барышня, спасибо вам! Век за вас буду бога молить! Пошли вам господь доброго здоровья!

— И ведь как все вышло! — рассказывала Таня. — Идем, — что-то в стороне белест. Митрыч говорит: река!.. Все-таки свернули. А это она! Стоит на полянке и щиплет траву.

Мужик взял из рук Митрыча оброть и радостно повторял:

— Нашли, нашли!

Таня и Митрыч выпили остывшего чая. Токарев расплатился с лесником. Двинулись в обратный путь.

Усталые и продрогшие, все вяло тащились по расклизшей, грязной дороге. На севере громоздились уходившие тучи и глухо грохотал гром. Над лесом, среди прозрачно-белых тучек, плыл убывавший месяц. Было сыро и холодно, восток светлел.

Лес остался назади. Митрыч и Шеметов стали напевать «Отречемся от старого мира!..». Пошли ровным шагом, в ногу. Так идти оказалось легче. От ходьбы постепенно размялись, опять раздались шутки, смех.

Когда пришли в Изворовку, солнце уже встало. Сергей и Катя обыскали буфет, нашли холодные яйца всмятку и полкувшина молока. Все жадно принялись есть. В свете солнечного утра лица выглядели серыми и помятыми, глаза странно блестели.

Варвара Васильевна, уходившая к себе в комнату, воротилась радостная и оживленная, с распечатанным письмом в руке.

— Владимир Николаевич, вы помните по Петербургу Тимофея Балуева?

— Как же! — ответил Токарев.

— Он пишет, что из ссылки едет в Екатеринослав и по дороге от поезда до поезда заедет ко мне в Томи-

линск. Шестого августа, на Преображение. Хотите его видеть?

— Конечно!

Таня спросила:

— Кто это?

— Рабочий, слесарь. Замечательно хороший человек,— сказала Варвара Васильевна.

У Тани загорелись глаза.

— Я тоже хочу его увидеть.

— Да всем, всем нужно его повидать,— решил Сергей.— Хоть у Вари все люди — замечательно хорошие люди, а все-таки интересно.

— Ну, а теперь спать! — объявила Варвара Васильевна.— Еле на ногах стою.

VI

Назавтра Шеметов, Борисоглебский, Вегнер и Ольга Петровна уехали в Томилинск. Таня осталась погостить еще.

Жизнь теперь потекла более спокойная. Токарев по-прежнему наслаждался погодой и деревенским привольем. Отношения его с Варварой Васильевной были как будто очень дружественные. Но когда они разговаривали наедине, им было неловко смотреть друг другу в глаза. То, давнишнее, петербургское, что разделило их, стеною стояло между ними, они не могли перешагнуть через эту стену и сделать отношения простыми. А между тем Варвара Васильевна становилась Токареву опять все милее.

Дни шли. Варвара Васильевна с утра до вечера пропадала в окрестных деревнях, лечила мужиков, принимала их на дому с черного хода. Сергей ушел в книги. Таня тоже много читала, но начинала скучать.

Токареву она нравилась все меньше. Его поражало, до чего она узка и одностороння. С нею можно было говорить только о революции, все остальное ей было скучно, чуждо и представлялось пустяками. Поведение Тани, ее манера держаться также возмущали Токарева. Она совершенно не считалась с окружающими; Конкордия Сергеевна, например, с трудом могла скрывать свою антипатию к ней, а Таня на это не обращала никакого внимания. Вообще, как заметил Токарев, Таня возбуждала к себе в людях либо резко враждебное, либо уж

горячо сочувственное, почти восторженное отношение; и он сравнивал ее с Варварой Васильевной, которая всем, даже самым чуждым ей по складу людям, умела внушать к себе мягкую любовь и уважение.

Пятого августа Варвара Васильевна, Токарев, Таня, Сергей и Катя отправились в Томилинск, чтоб повидать проезжего гостя Варвары Васильевны.

Они сели в поезд. Дали третий звонок. Поезд свистнул и стал двигаться. Начальник станции, с толстым бородатым лицом, что-то сердито кричал сторожу и указывал пальцем на конец платформы. Там сидели и лежали среди узлов человек десять мужиков, в лаптях и пыльных зипунах. Сторож, с злым лицом, подбежал к ним, что-то крикнул и вдруг, размахнув ногою, сильно ударил сапогом лежавшего на узле старика. Мужики испуганно вскочили и стали поспешно собирать узлы.

— Господи, да что же это такое?! — воскликнула Таня.

Поезд уходил. Таня и Токарев высунулись из окна. Мужики сбегали с платформы. Сторож, размахнувшись, ударил одного из них кулаком по шее. Мужик втянул голову в плечи и побежал быстрее. Изогнувшийся дугою поезд закрыл станцию.

Подошла Варвара Васильевна, бледная, с трясущимися губами.

— За что это? Что там случилось?

Токарев, тоже бледный и возмущенный, ответил:

— Не знаю.

Сидевший рядом мастеровой объяснил:

— Что случилось!.. Значит, улеглись мужички на неуказанное место. Ну, их покорнейше и попросили поосторониться.

Варвара Васильевна, прикусив губу, ушла на свое место. Таня стояла, злобно нахмурившись, и молча смотрела в окно. Токарев вздохнул:

— Да, легко все это у нас делается!

— И поделом им, сами виноваты! Господи, их бьют, а они только подставляют шеи и бегут... О, эти мужики!

В глазах Тани была такая ненависть, такое беспощадное презрение к этим избитым людям, что она стала противна Токареву. Он отвернулся; в душе шевельнулась глухая вражда, почти страх к чему-то дико-стихийному и чуждому, что насквозь проникало все существо Тани.

— Ну, черт с ними, стóбит еще об них говорить! — Таня передернула плечами и снова стала смотреть в окно.

Заря догорала. Поезд гремел и колыхался. В душном, накуренном вагоне было темно, стоял громкий говор, смех и песни.

Таня сказала:

— Да, Володя, вот что! Как хочешь, а нужно будет в Томилинке предпринять еще что-нибудь, чтоб Варя уехала отсюда.

Токарев махнул рукою.

— Ну, пошлó!.. Я не понимаю, чего ты берешь на себя какую-то опеку над Варварой Васильевной.

— Да неужели же ты не видишь, что с нею делается? Ведь положительно живьем разрушается человек: какое-то колебание, сомнение во всем, полное неверие в себя... Очевидно ее деятельность ее не удовлетворяет.

Токарев пожал плечами.

— Откуда это очевидно? Я не говорю про Варвару Васильевну, я ее слишком мало знаю,— но, вообще говоря, человек может не верить в себя совсем по другим причинам. Он может признавать данную деятельность самую высокую и нужную и все-таки не верить в себя... Ну, хотя бы просто потому, что чувствует себя не в силах отдаться этой деятельности,— произнес он с усилием.

Таня удивилась.

— Как это так? Деятельность самая высокая и нужная,— и не можешь ей отдаться! Очевидно, значит, есть другая деятельность, более высокая и более нужная.

— Таня, меня прямо поражает, до чего ты узко смотришь! Возьмем какую угодно деятельность. Пусть она будет самая высокая, самая нужная,— все, что хочешь. Да только нет у меня сил отдаться ей.

— Очевидно, значит, ты не совсем веришь в нее.

— Ну, слушай, Таня! Поставим вопрос грубо, карикатурно. Скажем, я страстно люблю шампанское, устрицы. Умом я вполне понимаю, что есть дела несравненно выше уничтожения устриц и шампанского, да меня-то больше тянет к устрицам и шампанскому.

— Тогда нечего и ломать себя: пей шампанское и ешь устрицы.

Подошел Сергей и молча сел около них на ручку скамейки. Токарев спросил:

— Так что, если бы тебя больше всего тянуло к такой «деятельности», то ты со спокойною душою и отдалась бы ей?

— По-моему, это ужасно скучно; но если бы тянуло,— конечно, отдалась бы.

— Господи, до чего все это эгоистично! — возмутился Токарев.— Ну где же, где же у тебя хоть какой-нибудь нравственный регулятор, хоть какой-нибудь критерий? Сегодня скучно жить для себя, завтра станет скучно жить для других. Неужели ты не понимаешь, сколько в этом эгоизма? Чтó хочется, то и делай!.. Тебе даже совершенно непонятно, что могут быть люди, которые считают своим долгом делать не то, что хочется, а чтó признают полезным, нужным для жизни.

Вмешался Сергей.

— Но вопрос в том,— насколько им это удастся? Я не понимаю, почему вы так возмущаетесь эгоизмом. Дай нам бог только одного — побольше именно эгоизма — здорового, сильного, жадного до жизни. Это гораздо важнее, чем всякого рода «долг», который человек взваливает себе на плечи; взвалит — и идет, кряхтя и шатаясь. Пускай бы люди начали действовать *из себя*, свободно и без надсады, не ломая и не насилуя своих склонностей. Тогда настала бы настоящая жизнь.

— Воображаю, какая бы настала жизнь! — сдержанно усмехнулся Токарев.

— Хорошая бы жизнь настала! И погиб бы безвозвратно ее главный враг — скука. Потому что вот с чем эгоизм никогда не захочет примириться — со скукою!

Токарев с улыбкою поднял брови.

— Скука... Вы серьезно думаете, что главный враг жизни — это действительно скука?

— Безусловно! Скука стоит всяких лишений, унижений, длинных рабочих дней и тому подобного... Скучно! Ведь от этого «скучно» люди сходят с ума и кончают с собою, это «скучно» накладывает свою иссушающую печать на целые исторические эпохи. Вырваться из жизненной скуки — вот самая главная задача современности. И суть не в том, чтоб человек вырвался из этой скуки, а чтоб люди вырывались из нее. А для этого что нужно? Нужно, чтоб вокруг ключом била живая общечеловечность, чтоб жизнь целиком захватывала душу, чтоб эта жизнь была велика и сильна, полна борьбы и света... Вот что нужно, чтобы ощущал человек, а не не-

обходимость какого-то «долга»... Долг! В соседстве с долгом сам воздух начинает скисаться и пахнуть плесенью.

Таня слушала с разгоревшимися глазами.

— Все это очень легко говорить...— начал Токарев, но в это время в вагоне поднялся шум и крик.

Толстый господин, в грязном парусиновом пиджаке и сером картузике с блестящим козырьком, орал:

— Сволочь ты, негодяй!! Я отставной поручик Пыльского гренадерского полка, а ты мне смеешь «ты» говорить?.. Подлец!

Мастеровой в чуйке, с бледным, зеленоватым лицом, мирно было заговоривший с сердитым господином, в первую минуту опешил.

— Я тебя, мерзавца, сейчас велю высадить из поезда!.. Подлец, пьяница!..

Мастеровой медленно и громко протянул:

— Я думал, это пушки, а это — лягушки!

Кругом засмеялись.

— Молчать!!! — гаркнул толстый господин.— Дурак!

— Не бывал, брат, ты умным человеком, коли я дурак. Ишь ты какой! Ясный козырек нацепил себе и думает,— хозяин! Мне на твой ясный козырек наплевать!

— Ах-х ты мерзавец! — возмутился про себя господин и высунулся из окна, как бы высматривая, скоро ли остановится поезд, чтоб позвать жандарма.

— Плюю я на твой ясный козырек, вот так: тьфу! — Мастеровой плюнул на пол.— Плюю и попираю ногами.

Рядом сидел подгородный мужик. Он с усмешкою сказал:

— Буде вам! Чем все ругаться, лучше прямо подраться!

— Верно! Мне нравится ваше слово! Я вас уважаю! А сказать что-нибудь против меня ясному козырьку энтому,— не позволю! Не желаю молчать!.. Извините меня, пожалуйста! Прошу извинения!

Мужик зевнул.

— Тут колокольцов нету, звенеть не на чем.

Толстый господин подергивал головою и продолжал выглядывать в окно.

— Не желаю молчать! — волновался мастеровой.— Он меня растревожил, а я его не беспокоил!.. Слышь ты, козырек! Я сознаюсь, что ты — дурак! Понял ты это слово?

Поезд остановился у полустанка. Толстый господин поспешно вышел, через минуту воротился с жандармом. Указал на мастерового и коротко сказал:

— Вот! Убери его!

Жандарм подошел к мастеровому и решительно взял его за рукав.

— Вставай!

Мастеровой оторопело глядел:

— Что такое? В чем дело?

— Но, но, вставай! Нечего!

— Да что вы? За что вы меня?

Таня вскипела.

— Послушайте, жандарм, за что вы его высаживаете? Он ничего не делал!

— Мы все можем быть свидетелями,— прибавил Токарев.— Этот господин сам же первый и начал. На весь вагон стал кричать и ругать его.

Грозно и выразительно толстый господин сказал жандарму:

— Я тебе заявляю, что он мне нанес оскорбление!

Токарев спокойно возразил:

— Все в вагоне слышали, что вы первый стали наносить ему оскорбления.

Токарев был одет чисто и прилично, гораздо приличнее толстого господина. Жандарм в нерешительности остановился.

— Жандарм! Я тебе повторяю: возьми его!.. Он пьян!

— Нет, я не пьян! Вы меня оскорбили, а я вас не тревожил!

Жандарм шепнул Токареву:

— Вы не извольте беспокоиться. Я его только в другой вагон переведу.

В приятном и спокойном ощущении силы, которую давал ему его приличный костюм, Токарев громко возразил:

— Да с какой стати? Мы вам все заявляем, что этот господин сам начал первый скандалить. Почему вы его не переводите?

— А то может, ваше благородие, вы сами перейдете? — почтительно-увещающим голосом обратился жандарм к толстому господину.

Господин грозно крикнул:

— Я тебе в последний раз повторяю: убери его!

Жандарм растерянно пожал плечами:

— Да ведь вот... Все свидетельствуют, что вы же сами начали.

— Ах та-ак!..— зловеще протянул господин.— Ну, хорошо, ступай!.. Хорошо, хорошо! Можешь идти! Мы это еще увидим! Ступай, нечего!

Жандарм с извиняющимся лицом мялся на месте. Вагоны двинулись. Он соскочил на платформу.

— Тут еще скоро, пожалуй, избыют тебя! — возмущенно сказал толстый господин, взял свой чемодан и пошел в другой вагон.

Торжествующий мастеровой стоял, пошатываясь, и смотрел ему вслед.

— Фью-у! — слабо свистнул он и махнул рукою вдогонку.— Нет, ей-богу, чудачок! — обратился он к Тане и лихо покрутил головою.— Молчи, говорит, дурак!.. А? Почему такое? Не желаю молчать!.. Благородного человека я уважаю всегда! А коли со мною поступают сурьезно, не могу терпеть! Такой уж характер у меня... строгий! Намедни мастер говорит нам: вот что, ребята! После Спаса за каждый прибор на две копейки меньше будем платить... Как так? Нет, я говорю, я не желаю!.. Мне не копейка нужна. Чтó копейка? Я на нее плюю! — Он достал затасканный кошелек, вынул пятиалтынный и бросил его наземь.— Вот! Не нужно мне, пускай тут лежит! А зачем он неправильно поступает? Не желаю, говорю, уйду от вас, больше ничего!

— А вы где работаете?

— Мы-то? А вон за бугром здание пыхтит... Мы — токари по металлу. Медь, свинец, железо — это у нас называется металл... По-нашему, по-мастеровому!

Поезд гремел и колыхался. В вагонах зажгли фонари. Таня сидела в уголке с мастеровым и оживленно беседовала. Мастеровой конфиденциально говорил:

— Я, милая моя барышня, желаю жить, чтоб было по-справедливому, чтоб обиды мне не было! Я этого не желаю терпеть — никогда! А за деньгами я не гонюсь... Я вот выпил — и больше ничего!

Паровоз оглушительно и протяжно засвистел. В темноте замелькали огни томилинских пригородов. Все поднялись и стали собираться.

Поезд остановился. Затиснутые в сплошной толпе Токарев, Сергей, Варвара Васильевна и Катя вышли на подъезд.

— А где же Таня? — спохватилась Варвара Васильевна.

Сергей посмеивался:

— Она с мастеровым пошла.

— Да не может быть! — воскликнул Токарев.

— Верно! Я видел: он себе взвалил узелок на плечи, она рядом с ним. Прямо с платформы сошли, мимо вокзала.

У Токарева опустились руки.

— Черт знает что такое!

Он в колебании остановился посреди улицы. В стороны тянулись боковые улицы, заселенные мастеровщиною — черные, зловещие, без единого огонька.

— Нужно ее отыскать! Это положительно ненормальный человек: девушка, ночью, одна идет с пьяным, незнакомым человеком, сама не знает куда!

Сергей засмеялся:

— Ищи ветра в поле! Ей-богу, молодчина Татьяна Николаевна!

Они пришли к Варваре Васильевне. Подали самовар, сели пить чай. Сергей говорил:

— Нет, ей-богу, люблю Татьяну Николаевну! Это пролетарий до мозга костей! Никакие условности для нее не писаны, ничем она не связана, ничего ей не нужно...

Токарев угрюмо возразил:

— По-моему, это не пролетарий, а психически больной человек, и ей необходимо лечиться.

Таня пришла к двенадцати часам ночи, — оживленная, радостная, с блестящими глазами. Токарев был так возмущен, что даже не стал ей ничего говорить, и сидел молча, насупившийся и грустный. Таня не обращала на него внимания.

VII

Назавтра, к трем часам, Токарев и студенты пришли к Варваре Васильевне. Тимофей Балуев уже сидел у нее. Тани не было: она в одиннадцать часов ушла к своему вчерашнему знакомцу и еще не возвращалась.

Балуев, в черной блузе, с застегнутыми у кистей рукавами, сидел за столом, держал на расставленных пальцах блюдечко и пил чай вприкуску. Токарев радостно подошел.

— Ну, Тимофей Степаныч, здравствуйте! — Они обнялись и крепко поцеловались три раза накрест.

— Не думал я, что и вас тут увижу! — сказал Балувев и в замешательстве провел большою рукою по густым волосам.

Сергей, Шеметов, Борисоглебский и Вегнер назвали себя и почтительно пожали его руку. Токарев глядел на загорелое, обросшее лицо Балувева.

— Как вы изменились! Встретил бы вас на улице — не узнал бы.

— Да... Да и я бы вас не признал.

— Что же, постарел?

— Пооблиняли как-то... На вид.

Варвара Васильевна сказала:

— Ну, садитесь, господа! Пейте, чай, закусывайте!

Сели к столу, Токарев спросил:

— Вы куда же теперь направляетесь?

— В Екатеринослав еду. Там товарищи посулились на завод пристроить. Тут, значит, нужно было Варвару Васильевну повидать. А между прочим, вот и вас встретил... Ну, а вы как?

Он говорил не спеша, подняв брови, и внимательно глядел на Токарева своими маленькими глазами. Студенты и Катя украдкой приглядывались к Балувеву.

Разговор, как обыкновенно, вначале вязался плохо. Понемногу стал оживляться. Речь зашла об одном из вопросов, горячо обсуждавшихся в последнее время в кружках и деливших единомысленных недавно людей на два резко враждебных лагеря. Токарев спросил Балувева, слышал ли он об этом вопросе и как к нему относится.

— Как же, слышал. Книжки тоже кой-какие читал об этом... — Балувев помолчал. — Думается мне, не с того конца вы подходите к делу. Оно гладко пишется в книжках, логически, а только книжка, знаете, она больше по верхам крутится, больно много сразу захватить хочет. Оно то, да не то выходит. Смотришь в книжку — вот какие вопросы. И в волосы из-за них вцепиться рад всякому. А кругом поглядишь — что такое? И вопросы другие, и совсем из-за другого ссориться надо.

Необычно тихим и смирным голосом Сергей возразил:

— Но, позвольте, ведь книжки основываются на той же жизни, на тех же жизненных фактах.

— Верно! «Факты»... Что такое факты? Я вот гляжу в окошко, вижу — лошадь упала, и говорю: тут дорога склизкая, — пожалуйста, не спорьте со мною, — сам видал, как лошадь упала. А на дороге этой, может, пыли по шиколку, а лошадь потому упала, что нога подвернулась. Оно, видите ли, коли на факты в окошко смотреть, то и факты-то оказываются фальшивыми. А из этих фактов здоровеннейший гвоздь сделают да в голову его тебе и вгоняют... Намедни был я нелегально в Питере, встретился с одним приятелем старым. «Ты, спрашивает, кто?» — «Я! (Под густыми усами Балуюева мелькнула улыбка.) Али не узнал? Слесарь Тимофей!» — «Не-ет, я не о том. Ты человек каких взглядов?» — «Я, говорю... рабочий!»

Все поспешили громко и дружно рассмеяться.

— Вот и ходит человек с гвоздем в голове. И ведь не в окошко сам глядит, все кругом видит глазами, — а нет! Гвоздь в голове сидит крепко.

Поднялся общий спор. Приводились «факты», сообщения. Балуюев, положив на стол руку ладонью вниз, медленно и спокойно возражал. И шестеро споривших были слабы перед ним, как будто они стояли в колеблющемся и уходящем из-под ног болоте, а он среди них — на твердой кочке.

— А о книжке я только что говорю? Слов нет, она вещь полезная, необходимая, — кто же станет спорить? А только ведь нужно и ее с толком читать, — одно взял, другое бросил. А у нас как? Сшил себе человек кафтан из взглядов и надевает. А кафтан-то ему, может, совсем и не впору. Вот намедни один товарищ мой пишет из Москвы брату своему, мальчонке: Вася, говорит, учись думай, читай книжки, чтоб ты мог стать «борцом за страдающих и угнетенных»... Во-от! Я думаю, больно уж много книжек сам он начитался, мозги обмозолил себе

Сергей в восторге воскликнул:

— Великолепно!

Вскочил и быстро заходил по комнате. Митрыч до вольно ухмылялся. Остальные недоумевали. Токарев осторожно спросил:

— Что же вы тут находите смешного? По-моему письмо это, напротив, чрезвычайно трогательно.

— Нет, что ж смешного... Очень даже благородно. А только... За себя будь борцом, и то ладно. А то: мне самому, дескать, ничего не надо, я вот только насчет

«страдающих»... Недавно мне тоже один человек совсем это самое говорит...

Токарев пожал плечами.

— Я все-таки вас не понимаю!

— ...один человек, — образованный, интеллигентный. И притом состоятельный: чай пьет с булками. Говорит: мне ничего не нужно, мне самому хорошо, я, говорит, если готов работать, то готов работать для других... По моим взглядам, это уж не интеллигентный человек.

— Но почему же, почему? — настойчиво спросил Токарев. — Деятельность эгоистическая, то есть только для себя, по необходимости, будет всегда узкою и темною. Высшая нравственность, напротив, заключается именно в самопожертвовании, когда человек не видит от этого выгоды для самого. Самопожертвование! Как я могу жертвовать собою для самого себя? Напротив, чем меньше мои собственные интересы направляют мою деятельность, тем она будет чище, выше, светлее. Ведь это совершенно ясно.

Балуев, подняв брови, слушал. В глазах его появилось что-то напряженное и растерянное. Он начал возражать. Спор становился все отвлеченнее. И чем отвлеченнее он становился, тем все более книжными и шаблонными становились выражения Балуева. Повеяло серую скукою и теоретическою «неинтересностью». Токарев и Варвара Васильевна возражали все бережнее и осторожнее, стараясь не припирять его к стенке. Балуев встал. Быстро теребя бороду, он заходил по комнате и запинаящимся, неуверенным голосом приводил свои, бившие мимо цели, возражения.

Сергей своим твердым, самоуверенным голосом вмешался в спор и стал защищать высказанный Балуевым взгляд. Спор сразу оживился, сделался глубже, ярче и интереснее; и по мере того как он отрывался от осязательной действительности, он становился все ярче и жизненнее. Балуев же, столь сильный своею неотрывностью от жизни, был теперь тускл и сер. Он почти перестал возражать. Горячо и внимательно слушая Сергея, он только сочувственно кивал головою на его возражения.

Спор начал падать. Всем еще милее и симпатичнее стал Балуев с его серьезным напряженно-вдумывающимся лицом, какое у него было во время спора. Варвара Васильевна сказала:

— Тимофей Степаныч, ваш чай совсем остыл. Дайте я вам налью свежего.

— А вот сейчас! Я этот допью! — Балуев поспешно допил чай и протянул стакан Варваре Васильевне. Сергей предупредительно взял стакан и передал сестре.

— Скажите, Тимофей Степаныч,— спросил он,— как вы стали вот таким? Вы учились в какой-нибудь школе?

— До двадцати лет я и грамоте не знал. Приехал в Питер облом обломом. Потом уж самоучкой выучился.

— А что вас заставило научиться?

Балуев улыбнулся.

— Захотел сам французские романы читать. Очень уж они меня заинтересовали. На квартире у нас, как воротимся с работы, один парнишка громко нам «Молодость Генриха Четвертого» читал,— всю бы ночь слушал. Выучился я, значит, стал читать. Много прочел французских романов, тоже вот фельетонами зачитывался в «Петербургской газете» и «Петербургском листке». Даже нарочно для них в Публичную библиотеку ходил. Ну, а потом поступил я в вечернюю трехклассную школу, кончил там,— после этого, конечно, получил довольно широкий умственный горизонт.

Слушатели украдкой переглянулись. Выражение у всех вызвало умиление.

— И ведь вот штука какая любопытная! — улыбнулся Балуев.— Помню, читал я «Рокамболя»; два тома прочел, а дальше не мог достать; уж такая меня взяла досада! Что с ним дальше, с этим Рокамболом, случится? Хоть иди на деньги покупай книжку, ей-богу!.. Ну, ладно. Прошло года четыре. Уж Добролюбова прочел, Шелгунова, Глеба Успенского. Вдруг попадается мне продолжение... Желанный! Забрал я книжку домой, думаю,— уж ночь не посплю, а прочту. Стал читать,— пятьдесят страниц прочел и бросил. Такая глупость, такая скучища!.. А все-таки добром я ее помяну всегда, она меня читать приучила. Ну, а час-то который сейчас? — обратился он к Варваре Васильевне.

Варвара Васильевна вздохнула.

— Пора идти, а то на поезд опоздаете! А может быть, останетесь до завтра?

— Нет, нельзя, нужно спешить! Спасибо на угощении. Прощайте!

В своей черной блузе, в пыльных отрепанных сапо-

гах, он обошел стол, протягивая всем широкую руку. Катя робко поднялась и — розовая, с внимательными, почтительными глазами — ждала. Балует протянул ей руку. Она вложила в эту грубую, мозолистую руку свою белую узкую руку и крепко пожала ее. Глаза за-светились умилением и радостным смущением.

Балуев взял со стула свой узелок и вышел в сопровождении Варвары Васильевны.

Все сидели молча. Варвара Васильевна воротилась.

— Как он, однако, изменился! — задумчиво произнес Токарев. — И какой он крепкий, цельный, — прямо кражистый какой-то!

— Да. Ничего нет похожего на прежнее, — сказала Варвара Васильевна. — Помните, раньше? Горячий, пылкий, — но совсем как желторотый галчонок; разинул клюв, и пихай в него что хочешь. Ну, а теперь...

Вегнер печально спросил:

— А теперь?.. По-моему, это положительно ужасно! Такое отрицание теории — гибель и смерть решительно всему. Мы это поймем, но поймем слишком поздно.

— Да, печальная штука! — согласился Сергей. — Но еще печальнее, что покоряет это, пригнетает как-то... Сила чувствуется.

Дверь быстро раскрылась. Вошла Таня, — запыхавшаяся, раскрасневшаяся. Оглядела комнату.

— Уехал уже?

— Уехал, конечно.

— Ах ты господи! Ну, что это!.. Что, что он рассказывал? — жадно обратилась она к Варваре Васильевне и Сергею.

— Любопытный парень!.. — С медленной улыбкой Сергей неподвижно глядел в окно. — Как это он ловко выразился насчет обмозоленных книжкой мозгов! Черт его знает, какой-то совсем особенный душевный строй!

Таня быстро прошла по комнате и решительно сказала:

— Слушайте, Митрыч! Теперь пять минут шестого, поезд отходит без четверти шесть. Поедем на извозчике на вокзал. Вы меня познакомите с ним.

— Что ж, поедем!

Они оба вышли.

В дверь раздался стук.

— Войдите!

Вошел больничный фельдшер Антон Антоныч, в белом халате и розовом крахмальном воротничке. Был он бледен, на вспотевший лоб падала с головы жирная и мокрая прядь волос.

— Варвара Васильевна, Никанора привезли: взбесился!

— Да что вы?.. Никанор? Взбесился-таки?

— В телеге привезли из деревни, связанного... Я, извольте видеть, дежурный, а доктора нет. Уж не знаю, снимать ли его с телеги или доктора подождать. Больно уж бьется, страшно подойти. За доктором-то я послал.

Варвара Васильевна быстро надевала белый халат.

— Ну, вот еще — ждать! Что ж ему так связанным и лежать?.. Пойдемте!

Они поспешно вышли.

Оставшиеся вяло молчали. Было очень жарко. Сергей сидел у окна и читал «Русские ведомости».

— Духота какая!.. Давайте, господа, на лодке покажемся! — предложил Шеметов.

— Что ж, поедем.

— Только, господа, подождемте Татьяну Николаевну, — сказала Катя.

Сергей сердито возразил:

— Ну вот еще! Ждать ее!.. Она, может быть, только к ночи воротится!

Лицо его было теперь нервное и раздраженное. Токарев усмехнулся.

— Я готов пари держать, что она с ним села в вагон, чтоб проехать одну-две станции!

Где-то с силою хлопнула дверь. В больничном коридоре тяжело затопали ноги. Кто-то хрипло выкрикивал бессвязные слова и хохотал. Слышался громкий и спокойный голос Варвары Васильевны, отдававшей приказания. Шум замер на другом конце коридора.

Варвара Васильевна вошла в комнату. Катя со страхом спросила:

— Что это такое? Правда, бешеный человек?

— Да. Ужасно жалко его! Такой славный был мужик — мягкий, деликатный, просто удивительно! И же-

на его, Дуняша, такая же... Его три месяца назад укусила бешеная собака. Лежал в больнице, потом его отправили в Москву для прививок. И вот все-таки взбесился! Буянит, бьется,— пришлось поместить в арестантскую.

Сергей встал.

— Ну, господа, идем. Будет ждать! Варя, хочешь с нами? Мы едем на лодке.

— Отлично! Идемте.

Они вышли на улицу. У Токарева все еще стоял в ушах дикий хохот больного. Он поморщился.

— А должно быть, тяжелое впечатление производят такие больные.

Варвара Васильевна опустила глаза и глухо ответила:

— Не знаю, на меня они решительно никакого впечатления не производят. Вот ушла оттуда, и на душе ничего не осталось. Как будто его совсем и не было.

В городском саду, где отдавались лодки, по случаю праздника происходило гулянье. По пыльным дорожкам двигались нарядные толпы, оркестр в будке играл вальс «Невозвратное время». Токарев сторговал лодку, они сели и поплыли вверх по течению.

Городской сад остался позади, по берегам тянулись маленькие домики предместья. Потом и они скрылись. По обе стороны реки стеною стояла густая, высокая осока, и за нею не было видно ничего. Солнце село, запад горел алым светом.

Шеметов, как столб, стоял на скамейке и смотрел вдоль реки. Катя сказала:

— Сережа, Вегнер! Столкните, пожалуйста, Шеметова в воду: он мне заслоняет вид.

Сергей, молчаливый и нахмуренный, сидел на корме и не пошевелился. Вегнер сделал движение, как будто собирался толкнуть Шеметова. Шеметов исподлобья выразительно взглянул на него и грозно засучил рукав.

— Посмотрю, кто на это решится!

Не родилась та рука заколдованная
Ни в боярском роду, ни в купеческом!..

Он стоял в ожидании, сжимая кулаки. Потом сел и самодовольно сказал:

— Вот что значит вовремя привести подходящий стих! Никто не осмелился!

Токарев греб и задумчиво глядел себе в ноги. Балув

произвел на него сильное впечатление. Он испытывал смутный стыд за себя и пренебрежение к окружающим. В голове проносились воспоминания из студенческого времени. Потом припомнилась сцена из ибсеновского «Гинта». Задорный Пер Гинт схватывается в темноте с невидимым существом и спрашивает его: «Кто ты?» И голос Великой Кривой отвечает: «Я — я сама! Можешь ли и ты это сказать про себя?..»

Шеметов острил и шутливо пикировался с Катей. Варвара Васильевна и Вегнер смеялись. Сергей молчал и со скучающим, брезгливым видом смотрел на них.

— А Сережа сидит, как будто укуса с горчицей наелся! — засмеялась Катя.

Сергей сумрачно ответил:

— Не вижу, чему смеяться. Ваши остроты нахожу ужасно неостроумными.

Вдруг Катя насторожилась.

— Что это?

Далеко в осоке отрывисто и грустно ухала выпь, — странными, гулкими звуками, как будто в пустую кадучку.

— Выпь, — коротко сказал Сергей.

— Какие оригинальные у нее звуки! Что-то такое загадочное!

Шеметов невинно спросил Сергея:

— А что такое выпь... рыба или птица?

Сергей молча отвернулся, наклонился с кормы и опустил руку в воду.

— Это он выпь хочет выловить, показать нам! — догадался Шеметов.

— Нет, брат, выпь ловить я тебя самого в воду спущу! — злобно ответил Сергей.

Варвара Васильевна засмеялась.

— Нет, Сереже положительно нужно дать валерьянки! Его сегодня какая-то блоха укусила.

Сергей обратился к Токареву:

— Владимир Николаевич, дайте мне погрести!

Он сел на весла и яро принялся грести. Лодка пошла быстрее. Сергей работал, склонив голову и напрягаясь, весла трещали в его руках. Он греб минут с десять. Потом остановился, отер пот с покрасневшегося лба и вдруг со сконфуженною улыбкою сказал:

— Однако какой из меня со временем выйдет паскудный старичишка!

Все засмеялись.

— Черт знает что такое!..— Сергей помолчал и задумчиво заговорил: — Ужасно гнусное впечатление оставила во мне сегодняшняя встреча! Может ли быть что-нибудь противнее? Сидит он — спокойный, уверенный в себе. А мы вокруг него — млеющие, умиленные, лебезящие. И какое характерное с нашей стороны отношение: мягкая снисходительность с высоты своего теоретического величия и в то же время чисто холопское пресмыкание перед ним. Как же! Ведь он — «носитель»! А мы — что мы такое? Пустота, которая стыдится себя и тоскует по нем, «носителе». Жизнь, дескать, только там, а там ты чужой, органически не связан... Какая гадость! Почему он так гордо несет свою голову, живет сам собою, а я только вздыхаю и поглядываю на него? В конце концов я сам по себе исторический факт. Я — интеллигент. Что ж из того? Я не желаю стыдиться этого, я желаю признать себя. Он хорош, не спорю. Я верю в него и уважаю его. Но прежде всего хочу верить в себя.

— А этой веры нет и не может быть, — грустно возразила Варвара Васильевна.

Сергей вызывающе спросил:

— Почему это? Чем я хуже его? Какая между нами разница?

— Та разница, что ты вот и теперь уже стал пакудным старичишкой, — ворчливо сказал Шеметов.

Сергей хотел что-то возразить, но нахмурился и замолчал. Он снова взялся за весла и стал усиленно грести.

Было уже совсем темно, когда они воротились к пристани. В городском саду народу стало еще больше. В пыльном мраке, среди ветвей, блестели разноцветные фонарики, музыка гремела.

На улицах было пустынно и тихо. Стояла томительная духота, пахло известковою пылью и масляною краской. Сергей все время молчал. Вдруг он сказал:

— Прощайте, господа, я пойду на вокзал. Поеду с ночным поездом: не стоит ждать до завтра!

— Сережа, можно и я с тобой? — спросила Катя.

Сергей хмуро ответил:

— Как хочешь.

Они простились и пошли к вокзалу.

Шеметов и Вегнер повернули к себе. Токарев пошел с Варварой Васильевной проводить ее до больницы. Звезды ярко мерцали, где-то далеко стучала трещотка ночного сторожа. Варвара Васильевна и Токарев шли по тихой улице, и шаги звонко отдавались за домами.

Оба задумчиво молчали. Сегодняшняя встреча пробудила в них давнишние воспоминания, они не перекинулись ни словом, но оба знали и чувствовали, что думают об одном и том же.

Вдруг Варвара Васильевна остановилась.

— Стойте, что такое?

На той стороне улицы из раскрытых окон неслись звуки скрипки и рояля. Играли «Легенду» Венявского.

У Токарева забилось сердце. «Легенда»... Пять лет назад он сидел однажды вечером у Варвары Васильевны, в ее убогой комнате на Песках; за тонкою стеною студент консерватории играл эту же «Легенду». На душе сладко щемило, охватывало поэзией, страстно хотелось любви и светлого счастья. И как это тогда случилось, Токарев сам не знал,— он схватил Варвару Васильевну за руку; задыхаясь от волнения и счастья, высказал ей все,— высказал, как она бесконечно дорога ему и как он ее любит.

Из окон широко лились певучие, жалующиеся звуки «Легенды». Токарев взглянул на Варвару Васильевну.

Она стояла не шевелясь, с блестящими глазами, жадно слушала. Где-то вдали с грохотом прокатились дрожки, потом застучала трещотка ночного сторожа. Варвара Васильевна нетерпеливо прошептала:

— Господи, как мешают!

Вдали смолкло, и опять по тихой улице поплыли широкие, царственные звуки. Лицо у Варвары Васильевны стало молодое и прекрасное, глаза светились. И Токарев почувствовал,— это не музыка приковала ее. В этой музыке он, Токарев, из далекого прошлого говорил ей о любви и счастье, ее душа тянулась к нему, и его сердце горячо билось в ответ.

Музыка прекратилась. Варвара Васильевна быстро двинулась дальше.

— Пойдемте! Другого не нужно слушать!

И опять за тихими домами отдавались шаги, и звезды мерцали в темном небе.

— Помните, Варвара Васильевна?..— начал Токарев.

Оживленная и счастливая, она поспешно прервала его:

— Да, да... Только не нужно об этом говорить... Как хорошо кругом, как звезды блестят!..

Они подошли к воротам больницы.

— Зайдите. Нальемся чаю.

В ее комнате было темно. Токарев зажег лампу.

— Посидите, я сейчас схожу в кухню за кипятком...— Варвара Васильевна что-то вспомнила и в колебании помолчала.— Или вот что,— заговорила она извиняющимся голосом,— подождите минут пять, я только схожу проведу сегодняшнего больного.

— Варвара Васильевна, да это же невозможно! Ну, пожалуйста, я вас прошу.— Он сжал ее руку в своих руках.— Пожалуйста, оставьте на сегодня всех больных! Ведь вы в отпуске, там у вас есть дежурные фельдшера.

— Я в одну минуту сбегая. Видите, сегодня дежурный Антон Антоныч: он с десяти часов заляжет спать и не встанет до утра. А больной тяжелый, ему, может быть, что-нибудь нужно... Я сейчас ворочусь!

— Ну, а можно мне с вами пойти?

— Отлично! Пойдемте!

Они пошли по коридору. Варвара Васильевна тихо открыла дверь в арестантскую. В задней ее половине, за решеткою, сидел на полу больной. По эту сторону стоял больничный служитель Иван,— бледный, с широко открытыми глазами. Маленькая лампочка горела на стене. Варвара Васильевна шепотом спросила служителя:

— Ну, что Никанор?

— После обеда ничего был. Доктор ему лекарства дал, он заснул... А теперь вот сидит, глазами ворочает, да вдруг как начнет головою биться об решетку!.. Все пить просит.

— А лекарство вечером давали ему?

— Н-нет...

Варвара Васильевна и Токарев подошли к решетке. В полумраке сидел на полу огромный человек. Он сидел сторбившись, с свесившимися на лоб волосами, и раскачивал головою. Варвара Васильевна мягко сказала:

— Здравствуйте, Никанор! Как поживаете?

Больной медленно поднял голову и пристально оглядел Варвару Васильевну. На темной бороде ключьями висела подсыхавшая пена. Он хрипло ответил:

— А как!.. Видно, не больно хорошо!

— Вы меня знаете?

— Ну, а как же не знаю!

— Кто же я?

— Вы-то? Барышня наша.— Он помолчал и задумчиво потер ладонью край лба.— Скажите вы мне, бога ради,— как я сюда попал?

— Вы в больнице. Вам было худо, и потому вас привезли сюда!

— Худо? — Больной задумался.— Да, да, я что-то сильно безобразил. Но что я делал,— не знаю.

— Ничего вы не безобразили. Просто у вас сильно болела голова, так сильно, что вы были без памяти. Ну, конечно, когда человек без памяти, то и мечется... Хотите пить? Я вам сейчас дам.

— А решетка зачем?.. Нет, видно, сильно я безобразил, коли за решетку посадили меня, как зверя...

Он уныло опустил голову. Лицо стало грустное и хорошее.

— Посадили вас за решетку, чтоб вы не убежали, если опять будете без памяти,— только для того. Попробуйте и пойдете себе домой.

Больной вдруг спросил:

— А где моя жена?

— Дома.

— А скажите... Она жива?

— Конечно, жива и здорова.

— А ребята?

— И ребята тоже.

— Гм...— Больной нахмурился и понурил голову.— Да скажите же мне,— что такое со мною было? — Он начинал волноваться.— Я помню, я что-то сильно безобразил. Вот, вы говорите, жена моя, Дуняша, здорова... Отчего же ее тут нету?

— Никанор, какой вы, право, странный! Ведь вы же знаете, у нее в деревне хозяйство, дети, скотина. Не может же она все бросить и идти к вам. Ну, справит дела, утром и придет вас проведать.

— Утром... Нет, это вы меня обманываете!.. Что с женой? — вдруг коротко и решительно спросил он.—

Я ей что-нибудь сделал? Убил ее! Не обманывайте вы меня, бога ради!

— Ну, Никанор, если вы мне не верите, то я уйду. Мне, наконец, обидно: я никогда не лгу, а вы вот мне не верите.

Больной внимательно слушал.

— Нет, нет, не уходите, я верю... Ну, а вас, барышня, я не обидел? Помнится, я вам что-то худое сделал.

— Да нет же, голубчик, ничего вы мне не сделали! Будет разговаривать, вам это вредно... Иван, сходите к смотрителю и принесите бутылку пива.

Иван вышел. Больной сидел на тюфяке, свесив голову. Лицо его побледнело, он дышал часто и поверхностно.

— Эх, вот тут больно,— сказал он и показал под ложечку,— дышать не дает. А пить охота...

— Вот сейчас принесут пиво, вы выпьете, и вам станет легче.

Срывающимся голосом он вдруг спросил.

— Скажите, барышня, я... бешеный?

Варвара Васильевна рассмеялась.

— Ну, что за глупости! Какой же вы бешеный? У вас просто горячка, больше ничего. Я сейчас пойду поить вас,— разве бы я пошла, если бы вы были бешеный?

Больной замолчал. Мутные глаза смотрели из полумрака на Варвару Васильевну. Вдруг он сказал:

— Я сейчас во всю силу буду стучать в дверь!

— Зачем?

Он вызывающе ответил:

— А чтоб Дуняша пришла!

— Я же вам говорила, сейчас ей некогда. Она придет завтра утром, а если что задержит,— в полдни уж непременно.

— В по-олдни... Ну, теперь я вижу, все вы врете. Говорили,— утром, а теперь уж на полдни перешли!.. Нет, видно, ее в живых-то нету... Пустите меня, я к ней пойду! — крикнул он, встал и подошел к решетке.

— Ну, Никанор, если так, то прощайте! Я вам передаю ее же слова, а вы не верите. Если не верите, то нечего и толковать.

— Нет, постойте, не уходите. Вы скажите только, придет она?

— Придет.

— Ей-богу?

— Ей-богу.

— Ну, ладно, буду ждать. А только... Коли она не придет, буду так безобразить, что... И вас не послушаю, никого! — Больной помолчал.— Коли не придет, увидите, что будет! Я попрошу вас к себе сюда...— зловеще протянул он.

— Зачем?

— А тогда узнаешь зачем!.. Значит, вы только утешали меня, обманывали!..

Больной волновался все больше. В тоске он потер рукою под ребрами.

— Эх, как больно тут!.. Дайте мне пить! Я пить хочу.

В арестантскую на цыпочках вошел служитель Иван с бутылкою пива.

— Вот, извольте!..— В смутном ужасе он покосился на больного и зашептал: — Только я, барышня, ни за что не пойду с вами! Хоть сейчас с места сгоните!

Варвара Васильевна спросила:

— Антон Антоныч у себя?

Она вышла с Токаревым в коридор. Токарев ощущал в спине быструю, мелкую дрожь. Он спросил:

— Но ведь бешеные, кажется, не могут пить?

— Нет, пиво им иногда удается проглотить.

По коридору шел заспанный Антон Антонович, в своих розовых воротничках и пиджаке.

— Антон Антоныч, Никанор пить просит. Не поможете ли вы мне его напоить?

Фельдшер остановился, поднял брови и забегал глазами по потолку.

— Мм-м... Знаете что? Подождемте лучше доктора, он ведь скоро придет.

— Какой же «скоро»? Он приходит в девять утра, а теперь только час ночи.

— Нет, знаете... Он сегодня раньше придет.

— Ну, Антон Антоныч, это вы сочиняете! Почему он сегодня раньше придет?.. Скажите, поможете ли мне или нет?

Антон Антоныч замялся.

— Знаете... я боюсь! А ну как он меня укусит? С доктором хоть в огонь пойду, а без него я... извините, боюсь!

— Как хотите!.. Дело только в том, что одной трудно его напоить.

Варвара Васильевна беглым взглядом скользнула по лицу Токарева. Токарев внимательно смотрел на фельдшера и с невинным видом играл ключиком от часов.

Фельдшер помолчал и спросил:

— Ну, а если я не пойду, то что будет?

— Что будет! Ничего особенного. Пойду одна.

Фельдшер с изумлением оглядел ее.

— Ну, Варвара Васильевна... Как это — одна? Это невозможно!

— А что же я буду делать? Больной просит пить, а я стану уговаривать его ждать до утра?

Варвара Васильевна пошла назад. Фельдшер шел за нею следом.

— Барышня, вы подумайте, ведь это невозможно! Да и на что пить ему? Он все равно не выздоровеет, помрет к завтраму, — с пивом ли, без пива ли...

Варвара Васильевна, не слушая, говорила:

— Нужно будет морфия всыпать в пиво.

Она пошла в арестантскую. Фельдшер, странно сопя носом, в волнении прошелся по коридору. Подошел к Токареву, развел дрожащими руками.

— Я, знаете... не могу этого... У меня жена молодая, ребенок маленький...

И, быстро повернувшись, снова пошел по коридору. Токарев видел, как он бормотал что-то под нос и размахивал руками.

Варвара Васильевна высыпала в жестяную кружку порошок и налила пиво. За решеткою темнела в полумраке огромная лохматая фигура больного. Он сидел сгорбившись и в забытии качал головою. Служители и сиделки толпились в первой комнате, изредка слышался глухой вздох. Токарев, прислонясь к косяку коридорной двери, крепко стискивал зубы, потому что челюсти дрожали.

Варвара Васильевна подошла к решетке.

— Никанор, вы хотели пить. Я войду, напою вас. Хорошо?

Он пробормотал:

— Хорошо.

— Ну, а можно мне к вам одной войти, вы не обидите меня?

Больной с удивлением поднял глаза.

— Что вы, барышня? Вы меня поить будете, а я обижать! Нет, вы не опасайтесь!

— Ну, хорошо... Иван, отпирите замок!

Иван снова зашептал:

— Только я, барышня, ни за что не пойду с вами. Да и вы бы тоже, барышня... Ведь в его душу не влезешь!

Варвара Васильевна нетерпеливо повторила:

— Да отпирайте же!

Стало тихо. Иван дрожащими руками совал ключ, но не мог попасть в замок. Больной неподвижно сидел на тюфяке и с загадочным любопытством смотрел на толпу за решеткой.

В дверях коридора появился фельдшер. С широко открытыми страдающими глазами, он остановился на пороге, крепко вцепившись пальцами в локти. Иван продолжал лязгать ключом по замку. Варвара Васильевна, бледная и спокойная, с сдвинутыми тонкими бровями, ждала с кружкой в руках.

Фельдшер пробормотал:

— Нет... Нет... Господи!.. Простите меня, я не могу!

Он странно-молитвенно поднял кверху руки, повернулся и с поднятыми руками пошел по коридору прочь.

Замок два раза звонко щелкнул. Решетчатая дверь открылась. Все замерли. Варвара Васильевна вошла к больному. Вдруг словно сила какая подхватила Токарева. Он протолкался сквозь толпу и тоже вошел за решетку.

Варвара Васильевна сказала:

— Ну, Никанор, давайте пить!

Больной зашевелился и поспешно отер ладонью усы.

— Дайте мне руку, держите меня!

Токарев вполголоса сказал Варваре Васильевне:

— Позвольте, я подержу.

Она быстро взглянула на него. Бледное лицо вспыхнуло радостью, и засветившиеся глаза с горячею ласкою остановились на Токареве. Больной говорил:

— За обе руки держите! А то боюсь, не зашибить бы барышню... Эй, вы! — обратился он к толпе. — Подержите кто-нибудь!

Иван на цыпочках вошел в дверь и, широко улыбаясь, взял больного за руку. Токарев держал другую

руку. Держал и смотрел на подсохшие клочья пены, висевшие в спутанной, темной бороде больного.

Больной жадно поглядел на кружку с холодным пивом и вздохнул.

— Эх, выпить-то я не смогу!.. Я воду в рот, а меня как будто кто за горло схватит.

Варвара Васильевна сказала:

— Да это не вода, это пиво. Вы не бойтесь, пиво всякий всегда может выпить, оно совсем легко идет в горло... Ну, откройте рот!

Больной неуверенно раскрыл рот. Варвара Васильевна влила в него ложку пива.

— Ну вот! Отлично! Глотайте, вы непременно проглотите! — спокойно и уверенно твердила Варвара Васильевна.

Больной закрыл глаза, постарался проглотить, но судорога сдавила ему глотку. В мучительных усилиях побороть ее он весь изогнулся назад, выкатывал глаза, рвался из рук державших. Потом вдруг сел и облегченно вздохнул, — он проглотил.

— Не ушиб ли я вас? — спросил он, передохнув. — Кажись, руками я шибко махал — не задел ли кого?

Варвара Васильевна радостно ответила:

— Нет, нет, успокойся, милый, никого ты не задел! Вот теперь ты сам видишь, что можешь пить... Ну, еще ложку!

— Дай тебе бог доброго здоровья!.. Ну, господи благослови!

Больной, хотя со значительными усилиями, но вылил еще две ложки. Облегченный и успокоенный, он сказал:

— Теперь, бог даст, засну.

Все вышли от него. В коридоре к Варваре Васильевне подошел фельдшер. Он виновато и подобострастно заглянул ей в глаза.

— Я, право, Варвара Васильевна, не мог пойти! Ведь я не один, вы знаете: у меня жена молодая, ребенок. Знаете, хотел было пойти, и вдруг, как видение встало перед глазами: Дашенька, а на руках ее младенец! И голос говорит: «Не ходи!.. Не ходи, не ходи!..» Какая-то сила невидимая держит и не пускает!

Варвара Васильевна добродушно засмеялась.

— Ну, что об этом говорить теперь! Видите, кое-как сладилось дело. Покойной ночи!

Она и Токарев вошли в ее комнату. На подносе стоял большой жестяной чайник с кипятком, и чай был уже заварен. Токарев со смехом говорил:

— Боже мой, какой чудак этот ваш Антон Антоныч!.. Посмотрели бы вы на его физиономию, когда Иван отпирал замок!.. Да, Варвара Васильевна, кстати: отчего вы прямо не обратились ко мне, чтоб я вам помог? Я сначала не решался предложить свои услуги, думал, для этого нужен специалист. Ну, а вижу, «специалисты» все мнутса...

Варвара Васильевна с счастливою улыбкою наклонилась над чайником, слегка поднимая и опуская его крышечку.

— Я в душе была убеждена, что вы пойдете... Хотя на одну секунду усомнилась...

Токарев улыбнулся.

— Это тогда, когда вы говорили в коридоре с фельдшером?

— Д-да...

— Так, господа, я же вам говорю: я не знал, гожусь ли я. Вижу, вы ко мне не обращаетесь,— думаю: очевидно, тут нужны специальные знания...

Они долго просидели за чаем. Не хотелось расходиться. Случилось что-то особенное. Вдруг они стали близко-близки друг другу. Каждую фразу, каждое слово одного другой принимал с горячим, любовным вниманием. И глаза встречались теперь свободно.

Уже светало, когда Токарев вышел из больницы. Он шел улыбаясь, высоко поднимая голову, и жадно дышал утренней прохладой. Как будто каждый мускул, каждый нерв обновились в нем, как будто и сама душа стала совсем другая. Он чувствовал себя молодым и смелым, слегка презирающим трусливого Антона Антоныча. И перед ним стояла Варвара Васильевна, как она входила в комнату бешеного,— бледная, со сдвинутыми бровями и спокойным лицом,— и как это лицо вдруг осветилось горячею ласкою к нему.

Х

Варвара Васильевна и Токарев воротились в Изворовку. Таня заявила, что уж отдохнула в деревне и останется в Томлинске.

Жизнь в Изворовке текла тихая, каждый жил сам

по себе. Токарев купался, ел за двоих, катался верхом. Варвара Васильевна опять с утра до вечера возилась с больными. Сергей сидел за книгами. Общие прогулки предпринимались редко.

Варвара Васильевна как будто жалела о порыве, охватившем ее под влиянием неожиданно услышанной «Легенды». Она замкнулась в себе и старалась отдалиться от Токарева. Токарев мучился, несколько раз пытался заговорить. В ее глазах появлялась тогда растерянность. И, прося у Токарева взглядом прощения, она переводила разговор на другое. Ему все больше начинало казаться, что Варвара Васильевна, такая на вид спокойная и ровная, давно уже переживает в душе что-то очень тяжелое. Иногда, случайно увидев ее одну, он поражался, какое у нее было глубоко грустное лицо.

С Сергеем отношения у него совсем не ладились. Вначале Сергей относился к Токареву с любовною почитательностью, горячо интересовался его мнениями обо всем. Но что дальше, то больше, в его разговорах с Токаревым стала проскальзывать ироническая нотка. И Сергей становился Токареву все неприятнее.

Вообще Сергей производил на Токарева странное впечатление. Оба они жили наверху, в двух просторных комнатах мезонина. Сергей то бывал буйно весел, то целыми днями угрюмо молчал и не спал ночей. Иногда Токарев слышал сквозь сон, как он вставал, одевался и на всю ночь уходил из дому. От Варвары Васильевны Токарев узнал, что Сергей страдает чем-то вроде истерии, что у него бывают нервные припадки.

Прошла неделя. Тринадцатого августа, в воскресенье, были именины Конкордии Сергеевны. Съехалось много гостей.

Большой стол был парадно убран и поверх обычной черной клеенки был покрыт белоснежною скатертью. В окна сквозь зелень кленов весело светило солнце. Конкордия Сергеевна, вставшая со светом, измученная кухонною суетою и волнениями за пирог, села за стол и стала разливать суп.

Сергей с усмешкою шепнул Токареву:

— Мученица своего ангела! И Варя, несчастная, тоже запряглась. С утра на кухне торчит.

Василий Васильевич был очень оживлен и говорлив. Он наливал в рюмки зубровку.

— Ну, господа, господа! За здоровье именинницы! Выпили по рюмке, некоторые по второй. Закусив, принялись за бульон с пирогом.

Юрасов, акцизный ревизор с Анною на шее, с любезною улыбкою говорил Конкордии Сергеевне:

— А приятно этак, знаете, на лоне природы жить!.. Какой у вас тут воздух прелестный!

Конкордия Сергеевна махнула рукою.

— Эх, милый Алексей Павлович, не говорите! Мы этого воздуха и не замечаем. Столько хлопот, суеты, — где уж тут о воздухе думать!

— Нет, знаете... Что ж суета? Суета везде есть, без нее не обойдешься.

— Вот только для детей, конечно. Для них, для здоровья их, — вот, правда, много пользы от воздуха.

— Ну да, и для детей... — Юрасов взглянул на Сергея. — Сергей Васильевич где теперь, в Юрьевском университете?

Конкордия Сергеевна сделала скорбное лицо.

— В Юрьевском, Алексей Павлович, в Юрьевском... Дай бог, чтобы уж там как-нибудь кончил, об одном только я бога молю.

— Ну, кончит, бог даст... Молодость, знаете: кровь кипит, в голове бродит!.. — Юрасов повел сухими пальцами перед лбом. — Этим огорчаться не следует; перебродит, взгляды установятся, и все будет хорошо. Вот увидите.

Прикусывая улыбку на красивых губах, Сергей молча смотрел на благодушно-снисходительное лицо Юрасова с отлогим лбом и глазами без блеска.

Юрасов продолжал:

— И все-таки, что вы там ни говорите, а я от души рад за Василия Васильевича, что он бросил нашу лямку. Что ему теперь? Ни от кого не зависит, сам себе хозяин, делает что хочет.

Василий Васильевич юмористически поднял брови и крикнул:

— Гм... Я бы с большим удовольствием предоставил это удовольствие вам... Нет, Алексей Павлович, раньше было лучше. Бывало, придет двадцатое число, — расписывайся у казначея и получай жалованье, ни о чем не думай. А теперь дождь, солнце, мороз — от всего зависишь. А главная наша боль — народу нет. Нет народу!

— Нету, нету! — вздохнул помещик Пантелесв,

плотный, с маленьким лбом и жесткими стриженными волосами.— Положительно невозможно дела делать!

— Хоть сам коси и паши! Все бегут в город; там хоть за три рубля готовы жить, а тут и за пять не хотят. А уж который остается, так такая шваль, что лучше и не связывайся.

— Грубый народ, пьяный! Вор-народ! — поддержал Пантелеев.— Вы поверите, сейчас август месяц, а у меня еще два скирда необмолоченных стоит прошлогодней ржи,— ей-богу! Нет рук!

Своим медленным и спокойным голосом заговорил Будиновский:

— Я думаю, господа, вы сами в этом виноваты. Хороших рабочих всегда можно достать, если им хорошо платить и сносно содержать.

Пантелеев почтительно и с скрытою враждою исподлобья взглянул на него.

— Да, Борис Александрович, вам это легко говорить! Мы бы, может, с вашими капиталами тоже не жаловались. А то капиталов-то у нас нету, а детей семь человек; всех обуй-одень, накорми-напой. Вы-то платите от излишков, а цену набиваете. А жить-то, Борис Александрович, всем надо-с,— всем надо жить!

Горячо заспорили.

Марья Михайловна Будиновская сидела рядом с Токаревым. Она вполголоса сказала ему:

— Ужасно помещики на нас злобятся! Не могут простить, что мы платим рабочим высокую цену. Этот самый Пантелеев на земском собрании такую филиппику произнес против Бориса... И вообще, я вам скажу, типы тут! Один допотопнее другого! Вот Алексей Иванович много может вам рассказать про них.

Она взглянула на сидевшего рядом земского врача Голицынского.

Загорелый, с угрюмым и интеллигентным лицом, Голицынский лениво спросил:

— Это насчет чего?

— Я говорю, что вам приходится наблюдать наших деятелей в довольно-таки непривлекательном свете.

— А-а!..— Голицынский помолчал.— Да вот вам случай с коллегой моим, врачом соседнего участка,— заговорил он неохотно, как будто его заставили говорить против воли.— Зовет его в свой приют для сирот земский начальник, гласный. У мальчика оказывается

гнойный плеврит. «Пожалуйста, будьте добры сделать дезинфекцию». — «Дезинфекция не нужна, болезнь не заразительная». — «А я требую!» Врач пожал плечами и уехал. Земский пишет в управу бумагу, — в приюте, дескать, открылась заразная болезнь, а земский врач отказывается сделать дезинфекцию. Из управы запрос к врачу: почему? — «Потому, что не было никаких оснований исполнять невежественные требования господина земского начальника». Назначается расследование, и результат: врача «для улучшения местных отношений» переводят в другой участок.

Сергей с любопытством спросил:

— Ну, а вы что же?

— То есть, что же я?

— Так и оставили это? И все врачи уезда не вышли в отставку?

Марья Михайловна воскликнула:

— Ах, господи, Сережа!.. Какой он прямолинейный! Обо всем судит со своей студенческой точки зрения!.. Ну, что хорошего было бы, если бы Алексей Иванович ушел? Одним дельным человеком стало бы у нас меньше, больше ничего!

Доктор, наклонившись над тарелкой, ворошил вилок оглоданное крыло утки.

— Нет, дело не в этом, — грубовато возразил он. — Дело, извольте видеть, в том, что куска хлеба лишишься. А на другое место пойдешь, будет не лучше. Вот — причина простая.

Марья Михайловна, прищурившись, смотрела вдаль, как будто не слышала признания доктора. Сергей протянул:

— Да, это что спорить! Просто!

— Оно, знаете, в нашей жизни человек подлеет ужасно быстро, ужа-асно!.. Совсем особенная философия нужна для нее: надень наглазники, по сторонам не оглядывайся и иди с лямкой по своей колее. А то выскочишь из колеи, пойдет прахом равновесие и... жить не станет силы. Извольте видеть? Не станет силы жить!

Сергей изумился.

— И вы миритесь с этой философией!.. Кругом — жизнь, такая яркая, живая и интересная, а вы сознательно надеваете наглазники и боитесь даже взглянуть на нее!

Доктор неохотно спросил:

— Где она, яркая-то жизнь? Все серо кругом, душно и пусто... «Яркая»...

— Да, если так дрожать перед нею и покоряться ей.

— Я не знаю, мне кажется, вы совершенно не выражаете Алексею Ивановичу,— заговорил Токарев, обращаясь к Сергею.— Мысль доктора вполне ясна: в теории непримиримость хороша и даже необходима, но условия жизни таковы, что человеку волею-неволею приходится съезживаться и становиться в узкую колею. И мне кажется, это совершенно верно. Какая, спрашивается, польза, чтобы вместо Алексея Ивановича у нас оказался врач, который бы лечил мужиков оптом: эй, у кого животы болят? Выходи вперед. Вот вам касторка. У кого жар? Вот вам хинин!

Сергей, подняв брови, внимательно смотрел на Токарева.

— Это в ваших устах звучит ново!.. Я думал, вы согласитесь с тем, что непримиримость нужна прежде всего именно в жизни, что честные люди должны словом и делом доказывать, что подлость есть подлость, так же уверенно и смело, как нечестные люди доказывают, что подлость есть самая благородная вещь.

Марья Михайловна, обрадованная поддержкою Токарева, возразила:

— Да, только тогда нельзя будет жить! И все честные люди будут погибать.

Сергей усмехнулся.

— Будут погибать, верно! А вот этого-то как раз нам ужасно не хочется,— погибать!

— Ну, Сережа, я тебя не слушаю! — Марья Михайловна засмеялась и заткнула уши белыми пальцами в кольцах.

Обед кончился. Перешли в гостиную. Одни сидели, другие расхаживали по комнате и рассматривали безделушки в неуклюжих стеклянных горках. Подали кофе. Перед домом, в густой липовой аллее, расставляли картонные столы.

Конкордия Сергеевна сидела на диване между женами Юрасова и Пантелеева, размешивала ложечкою кофе и рассказывала:

— У Картамышевых говорят мне: попробуйте жженого кофею взять, у нас особенным образом жгут, все покупатели одобряют. Взяла,— гадость ужасная! Про-

сто кофейная настойка, без всякого вкуса. А я люблю, чтоб у кофе был букет...

С террасы, потирая руки, вошел в гостиную Василий Васильевич.

— Ну, господа, господа! Пора за дело! Пожалуйста, столы готовы!

Мужчины и многие дамы поднялись. Василий Васильевич спросил Токарева:

— А вы в винт не играете?

— Я... мм... играю немножко...

— А-а! — Василий Васильевич с уважением оглядел его. — Великолепно!.. Вот вам, значит, четвертый партнер! — обратился он к Марье Михайловне.

Марья Михайловна просияла и с ласкою взглянула на Токарева.

— Как я рада!

Она сначала как будто удивилась, что он играет.

Спустились с террасы. Столы в аллее весело зеленели ярким сукном. Партнерами Марьи Михайловны и Токарева были Пантелеев и акцизный чиновник Елкин. Уселись, вытянули карты. Марье Михайловне вышло сдавать.

Елкин, живой старичок с круглыми глазами, говорил:

— Ну, я сегодня в выигрыше! Как с дамами играю, всегда выигрываю. — Он взял карты. — Так и есть! Туз... другой... третий... четвертый... пятый.

Марья Михайловна засмеялась, Елкин сказал:

— Вы что смеетесь? Давайте пари, что выиграю!

— Давайте!

Вечер был чудесный — теплый и тихий. Солнце светило сбоку в аллею. Нижние ветви лип просвечивали яркою зеленью. В полосах солнечного света золотыми точками плавали мухи. Варвара Васильевна расхаживала по аллее с женами Елкина и Пантелеева и занимала их.

Марья Михайловна в колебании смотрела в свои карты.

— Погодите немножко... Гм... — Она помолчала: — Ну... без козыря!

— Если говорят с руки: «Ну... без козыря!» — это значит, что всего два туза, — объяснил Елкин Токареву и решительно сказал: — Три без козыря!

Марья Михайловна лукаво погрозила пальцем.

— Иван Яковлевич, не зарывайтесь!

— Я вам с начала игры сказал, что у меня пять

тузов... Владимир Николаевич, карты поближе к ордену,— все вижу.

— Четыре черви! — сказал Токарев, игравший с Марьей Михайловной.

Елкин почтительно протянул:

— Па-ас, па-ас!.. Прикажете раскрыть прикуп?

Марья Михайловна заволновалась:

— Нет, нет, подождите!.. Четыре без козыря! Я беру!

Она раскрыла прикуп, задумалась. Нерешительно передала Токареву четыре карты и сказала:

— Ну, посмотрю, поймете ли вы.

Пантелеев ворчливо заметил:

— Марья Михайловна, так нельзя!

— Да-а... я ничего не сказала!

— А я вот понял, что вы сказали! — вызывающе произнес Елкин.— На ренонсах хотите играть!

— Малый в червях,— объявил Токарев.

Они сыграли назначенное. Марья Михайловна забрала последнюю взятку и радостно заговорила:

— Вы мне говорите «черви», а у меня туз и пять фосок! Я все-таки колебалась поднимать на пять червей, но думаю: вы сразу сказали четыре черви, значит, у вас масть хорошая... Ну, записывайте, Владимир Николаевич!

Ее красивое лицо горело оживлением. За соседним столом царило гробовое молчание. Там играли Василий Васильевич, Будиновский, доктор Голицынский и ревизор Юрасов с Анною на шею. Они сидели молча, неподвижные и строгие, и только изредка раздавалось короткое: «пас!», «три черви», «четыре трефы!». Елкин почтительно сказал:

— Вот играют! Как цари!

Игра шла, веселая и оживленная. Сыграли уже шесть робберов. Темнело, подали свечи и чай.

Токарев, увлеченный трудным разыгрыванием большого шлема с Елкиным, случайно поднял глаза. За соседним столом, лицом к нему, сидел Василий Васильевич, глядя в карты. Свечи освещали его лицо,— серьезное и строгое, со сдвинутыми тонкими бровями... У Токарева прошло по душе странное чувство. Что такое? Где он недавно видел такое же лицо? Ах да!.. Совсем с таким лицом Варвара Васильевна стояла недавно перед решеткою в ожидании, когда слугитель откроет дверь к бешеному...

По аллее прошли в глубь сада Сергей и побледневшая Варвара Васильевна. Сергей иронически сказал: — Ишь Владимир-то Николаевич наш! Совсем акклиматизировался среди «бóльших»!

Токарев дрогнул и нахмурился.

«Какое скучное ребячество!» — с тоскою подумал он.

В одиннадцать часов подали ужинать. Все шумно сели за стол, веселые и проголодавшиеся. Токарев опять сидел рядом с Марьей Михайловной. Они теперь чувствовали себя совсем друзьями, шутили, смеялись. Василий Васильевич разлил по бокалам донское игристое. Стали говорить шуточные тосты, чокаться. После ужина гости начали разъезжаться.

Марья Михайловна в верхней кофточке цвета ее юбки и в шляпке, сделавшей ее лицо еще красивее, крепко пожимала руку Токареву и взяла с него слово, что он приедет к ним в деревню. Подали коляску Будиновских. Красивые серые лошади, фыркая, косились на свет и звякали бубенчиками. Кучер в бархатной безрукавке неподвижно сидел на козлах.

Будиновские сели, и коляска, звеня бубенчиками, мягко покатила в темноту.

Токарев вышел на террасу. Было тепло и тихо, легкие облака закрывали месяц. Из темного сада тянуло запахом настурций, левкоев. В голове Токарева слегка шумело, перед ним стояла Марья Михайловна, — красивая, оживленная, с нежной белой шеей над кружевом изящной кофточки. И ему представилось, как в этой теплой ночи катится по дороге коляска Будиновских. Будиновский сидит, обняв жену за талию. Сквозь шелк и корсет ощущается теплота молодого, красивого женского тела...

Хорошо бы так жить! Вот такая жена, — красивая, белая и изящная. Летом усадьба с развесистыми липами, белою скатертью на обеденном столе и гостями, уезжающими в тарантасах в темноту. Зимой — уютный кабинет с латаниями, мягким турецким диваном и большим письменным столом. И чтоб все это покрывалось широким общественным делом, чтоб дело это захватывало целиком, оправдывало жизнь и не требовало слишком больших жертв...

С утра пошел дождь. Низкие черные тучи бежали по небу, дул сильный ветер. Сад выл и шумел, в воздухе кружились мокрые желтые листья, в аллеях стояли лужи. Глянуло неприветливою осенью. На ступеньках крыльца чернела грязь от очищаемых ног, все были в теплой одежде.

Настал вечер. Отужинали. Непогода усиливалась. В саду стоял глухой могучий гул. В печных трубах свистело. На крыше сарая полуоторванный железный лист звякал и трепался под ветром. Конкордия Сергеевна в поношенной блузе и с косынкою на редких волосах укладывала в спальне белье в чемоданы и корзины, — на днях Катя уезжала в гимназию. Горничная Дашка, зевая и почесывая лохматую голову, подавала Конкордии Сергеевне из бельевой корзины выглаженные женские рубашки, юбки и простыни.

Варвара Васильевна, Токарев, Сергей и Катя сидели в столовой. Горела лампа. Скатерть, с неприбранной после ужина посудой, была усеяна хлебными корками и крошками. Сергей, с особенным блеском в глазах, сидел на окне, засунув руки меж колен, и хмуро смотрел в угол.

— Ах ты гадость какая! — с отвращением сказал он, встал и зашагал по комнате. — Как паскудно на душе! Ну и компания же была у нас вчера!.. У-у, эти взрослые люди!..

Он остановился перед столом.

— Взрослые, «почтенные»... Всю жизнь корпят, «трудятся», и даже не спросят себя, кому и на что нужен их труд. Важно только одно, — чтоб «заработать» побольше, чтоб можно было со своею семьею *жить*... А для чего жить?.. А вечером съедутся и с тем же важным, почтенным видом целыми часами бросают на стол раскрашенные картонки. И ведь все ужасно уважают себя, — какое сознание собственного достоинства, какая уверенность в своем праве на жизнь! В голове — пара дряньных идей, высохших, как залежавшийся лимон, — и это — «установившиеся взгляды». Зачем думать, искать? Ведь это положительно собрание каких-то животных, — тупых, самодовольных, ни над чем не задумывающихся. И среди этих животных — «люди»: доктор, покорно преклоняющийся перед всякою подлостью,

хотя и понимает, что это подлость. Будиновский с его великолепным либерализмом... Я его себе иначе теперь не могу представить: жена сидит, читает ему умную книжку, а он слушает и... рисует лошадиные головки. Ведь в этих лошадиных головках он весь целиком, со всею силою своих идеалов и умственных запросов... Бррр!..

Сергей передернул плечами и медленно зашагал по столовой. Токарев стоял у печки и крутил бородку. В душе росло глухое раздражение. Он заговорил:

— Меня, Сергей Васильевич, удивляет одно. Вы преисполнены ужасным презрением к бывшим у нас вчера взрослым людям. Они не удовлетворяют вашему представлению о человеке, — страстно ищущем, смелом, не дрожащем за себя и свое благополучие. Вы в этом совершенно правы, но только... Разве у нас вчера были какие-нибудь особенные «взрослые люди», а не самые обыкновенные? В общем, взрослые люди все таковы, и над этим стоит задуматься. Возьмите хоть такую вещь: среди ваших сверстников, вы, наверное, уважаете множество лиц, среди же «взрослых» людей лишь трех-четырех, и то вы их уважаете условно. Ведь правда?

— Совершенно верно.

— Ну вот. У меня тоже было много сверстников, заслуживавших глубокого уважения, а теперь... теперь они уважения не заслуживают. Какая этому причина? Та, что двадцать лет есть не тридцать и не сорок, больше ничего. Вам двадцать два года. Эко чудо, что у вас кровь кипит, что вам хочется подвигов, «грозы», самоотверженной деятельности, что вы жадно ищете знаний! В ваш возраст все это вполне естественно. Но это вовсе не дает вам права так презирать других людей и так уважать себя. Вот останьтесь таким до сорока лет, — тогда уважайте себя!

Сергей сдержанно возразил:

— Мне кажется, из ваших слов вытекает не этот вывод. Когда я *перестану* быть «таким», то я и должен перестать уважать себя.

— Нет, не то! Я говорю, что нужно иметь *право* предъявлять известные требования, хотя бы и самые законные, а вы такого права не имеете. Если десятилетний мальчик станет проповедовать взрослому человеку идеи «Крейцеровой сонаты», мне будет только смешно, хотя я могу вполне сочувствовать его проповеди. Как может он упрекать людей, если *физиологически* не спосо-

бен понять, что такое страсть? Я буду слушать его и думать: погоди, брат, доживи до двадцати лет, и тогда мы тебя послушаем. То же самое и относительно вас: я думаю, вам с вашим презрением следовало бы подождать лет пятнадцать — двадцать.

Сергей, сгорбившись, сидел на окне, раскачивал ногами и с любопытством смотрел на Токарева. Токарев взволнованно говорил:

— Жизнь человека, его душа, — это страшная и таинственная вещь! За маленьким, узким сознанием человека стоят смутные, громадные и непреодолимые силы. Эти-то постоянно меняющиеся силы и формируют сознание. А человек воображает, что он своим сознанием формирует и способен формировать эти силы... В чем другом, но в этом, мне кажется, невозможно сомневаться, и с фактом этим приходится мириться. И я лично, напротив, глубоко преклоняюсь перед людьми, которых вы так презираете, — у них чувство долга по крайней мере хоть до известной степени регулирует и направляет эти темные силы. И тут нельзя говорить: либо все, либо ничего, а нужно быть глубоко благодарным просто за что-нибудь.

Сергей качал головою и смотрел взглядом, от которого Токареву было неловко.

— Как легко и уютно жить с такою моралью, — я вам положительно завидую! И других можно «глубоко уважать» за ломаный грош, да и... самому весь свой основной капитал можно ограничить таким же грошом.

Токарев решительно и быстро сказал:

— Ну, Сергей Васильевич, на личности, я думаю, можно бы и не переходить!

— То есть позвольте! Вы же сами все время доказываете, что мне всего двадцать лет. Вправе же и я сказать, что вам... перевалило за тридцать! — с усмешкою возразил Сергей.

— Да, мне перевалило за тридцать. Но что же из этого следует? К себе я могу и даже обязан предъявлять самые высокие требования, всю жизнь свою я могу оковать долгом. Но это не освобождает меня от обязанности относиться к другим терпимо и снисходительно. Я понимаю, что жить порядочным человеком не так легко, как птице петь песни. Кто с собою борется, кто старается не потерять из глаз идеала, заслуживает ува-

жения, а не презрения. Я даже больше скажу: наша прямолинейная требовательность, наша ненависть к компромиссам тяжелым проклятием лежит на всей истории нашей интеллигенции. Это — специально русская черта, европейцу она совершенно непонятна. Лежит куча кирпичей. Европейец берет из нее, сколько в силах поднять, и спокойно несет к месту постройки. Русский следит за ним с презрительной усмешкой: смотрите, какой филистер, — несет всего дюжину кирпичей! Подходит русский богатырь и взваливает на плечи всю кучу. Еле идет, ноги подгибаются, и он наконец падает, — надорвавшийся, насмерть раздавленный нечеловеческою тяжестью. Вот это герой!.. Подходит другой, пробует поднять ношу, и опять-таки, конечно, всю целиком. Но у него не хватает сил. Что делать? Он в отчаянии стоит над тяжелою грудой: он не работник, он лишний человек, — и пускает себе в лоб пулю. Ведь такое отношение к делу мы видим у нас во всем. У каждого над головою висит альтернатива: либо герой, либо подлец, — середины между этим для нас нет.

— Ну, теперь мне все совершенно ясно!.. О да! Удобнее всего, конечно, поместиться в центре вашей альтернативы. Дескать, ни герой, ни подлец. Заполучить тепленькое местечко в надежном учреждении и делать «посильное дело» — ну, там, жертвовать в народную библиотеку старые журналы... — Сергей поднял на Токарева тяжелый взгляд. — Но неужели вы, Владимир Николаевич, не замечаете, что вы полный банкрот?

Варвара Васильевна в негодовании воскликнула:

— Сережа, это, наконец, гадко! Для чего ты постоянно сейчас же сворачиваешь на личности?

— Черт возьми, да мне вовсе не интересен теоретический разговор! Все любящие папаши говорят то же самое! Меня все время интересуется лишь сам Владимир Николаевич, о котором я раньше имел совершенно другое представление.

Токарев сдержанно сказал:

— Ну, знаете, в таком случае мы лучше прекратим разговор. — И он молча заходил по комнате.

Варвара Васильевна, потемнев, смотрела на Сергея и старалась остановить его взглядом. Сергей спокойно заговорил, как будто ничего не произошло:

— Разные бывают исторические эпохи. Бывают времена, когда дела улиток и муравьев не могут быть оправ-

даны ничем. Что поделаешь! Так складывается жизнь; либо безбоязненность полная, либо — банкрот, и иди насмарку.

Токарев, напевая под нос, ходил по комнате. Он показывал, что не слушает Сергея и считает разговор конченным. Остальные тоже молчали и с осуждением глядели на Сергея. Сергей зевнул, заложил руки за голову и потянулся.

Катя сказала:

— Сережа, осторожнее! Продавишь локтем стекло.

Сергей помолчал. Глаза заблестели странно и весело. Он высоко поднял брови, и лицо от этого стало совсем детским.

— А что, вышибу я сейчас стекло или нет?

— Ну, брат, пожалуйста! Чего доброго, ты и вправду вышибешь! — сказала Варвара Васильевна.

Сергей, все так же подняв брови, с выжидающе усмешкою глядел на Варвару Васильевну — и вдруг быстро двинул локтем. Осколки стекла со звоном посыпались за окно. Сырой ветер бешено ворвался в комнату. Пламя лампы мигнуло и длинным, коптящим языком забилося в стекле.

— Господи, Сережа, ведь это же невозможно! — Варвара Васильевна поспешно схватила лампу и отодвинула в угол.

Токарев остановился, с недоумением оглядел Сергея и, пожав плечами, снова заходил по комнате. Сергей со сконфуженною улыбкою почесал в затылке.

— Черт знает что такое! Для чего я это сделал?.. Ну, ничего, Варварка, не огорчайся! Мы сейчас все это дело.. поправим!

Он быстро выбросил в сад осколки стекла, взял с дивана порыжелую кожаную подушку и заставил окно.

— Видишь, еще лучше, — все-таки хоть немножко вентиляция будет происходить!

Вошла Конкордия Сергеевна и недовольно спросила:

— Что это у вас тут за война?

— Войны, мама, никакой не было. Это я хотел испытать, крепки ли у нас стекла в окнах. Оказывается, никуда не годятся, представь себе!

— Окошко разбил! Господи ты мой боже! Ну что это! — Конкордия Сергеевна, ворча, подошла к разбитому окну. — Словно мальчик какой маленький! Разыгрался!

Сергей обнял ее.

— Ничего, мама, завтра покрепче стекла вставим... А что, дашь ты нам попробовать пастилы, которую сегодня варила?

— Ишь увивается! — засмеялась Катя.

Конкордия Сергеевна с сердитою улыбкою ответила:

— Не будет тебе пастилы, не стоишь!.. Вы, детки, ступайте из столовой; вон как в окно дует, еще простудитесь!.. И как это так можно! Ведь стекло денег стоит! Не маленький, мог бы понять. Тридцать — сорок копеек надо отдать... Пастила еще не остыла, на холод поставлена.

Она ушла. Сергей молча постоял и тоже вышел. Токарев пожал плечами.

— Что за странный человек!

Катя с беспокойством взглянула на Варвару Васильевну и грустно сказала:

— Ему что-то сегодня не по себе. Я боюсь, — что, если с ним сегодня опять что-нибудь случится?

— Ужасно он нервный!.. Как бы вправду чего не случилось с ним! А тут еще ветер так фантастически гудит...

XII

Сергей вышел из столовой и медленно прошел через большую, темную залу в гостиную. В ней тоже было темно. Он постоял, подошел к столу и сел в неудобное старинное кресло с выгнутою спинкою.

С самого утра им сегодня владела тупая, мутная тоска. Была противна погода, были противны вчерашние гости. Всего же противнее было то, что он не может стряхнуть с себя этой тоски. Раздражительная и злобная, она росла, вздымалась и охватывала, словно душные испарения. С отвращением он наблюдал, как в душе шевелилась и дрожала темная, нервная муть, над которою он был не властен. Токарев сейчас тоже говорил о «смутных, неподвластных человеку силах, которые формируют сознание»... О, этот человек с отрастающим животиком и начинающею лысиною, — он все сумеет повернуть на оправдание своей заплывающей жиром души... И Сергей гадливо морщился, что у него может быть хоть что-нибудь общее с этим человеком.

В большой, высокой гостиной было темно. Только

светлели огромные окна. Ветер гудел не переставая, тучи быстро бежали над садом. Черные вершины деревьев бились и метались под ветром. Стеклянная дверь террасы звякнула, ей в ответ слабо, болезненно зазвенела струна в рояле.

Сергей вздрогнул и оглянулся. Он услышал этот немолчный глухой гул ветра. Гул был там, снаружи, а кругом притаилась тишина. Только стенные часы в зале как-то особенно громко тикали. Но в этой тишине все как будто жило и таинственно двигалось. Опять звякнуло стекло, что-то невидимое со вздохом пронеслось в темноте через комнату и исчезло за шкафом. Дверь в залу слабо скрипнула и зашевелилась. За окном, на фоне бледного ночного неба, как живая, испуганно билась ветка. Стало жутко. Сергей встал и вышел из гостиной, боясь оглянуться.

В столовой еще горел огонь. У стола, тихо разговаривая, сидели Токарев и Варвара Васильевна. Сергей прошел по коридору в комнату матери. Конкордия Сергеевна резала на блюде свежесваренную яблочную пастилу и укладывала ее в банки. У окна, заставленного бутылками с наливкой и ягодным уксусом, стояла Катя.

Конкордия Сергеевна сказала:

— Ну вот, теперь вам всем до самых святков припасов хватит!.. Посмотри, Сереженька, какая пастила, — как янтарь! Попробуй-ка!

Сергей молча взял кусок и съел. Чтоб что-нибудь сказать, он спросил:

— А ветчину дашь?

— Как же! Сегодня утром четыре окорока отослала коптить в город... Ну, слава богу, все уложила!

Она стала увязывать банки. Катя с робким беспокойством украдкой следила за Сергеем. Конкордия Сергеевна говорила:

— Как ветер-то гудит! А рамы все в щелях, ни одна плотно не закрывается. На стеклах всю замазку галки оклевали... Да! Вот еще что, детки: колбасы я вам положу двух сортов, польские и просто жареные. Жареные вы ешьте раньше, они скоро портятся. Их можно есть холодными, но если разогреть, то, конечно, будет вкуснее. Ешьте с горчицей, это будет здоровее для желудка.

Сергей с неподвижными глазами постоял еще немного и молча вышел. Катя спросила:

— Сережа, ты куда идешь?

— Наверх, к себе.

— Можно с тобой?

Сергей заметил ее любящий, полный беспокойства взгляд и резко сказал:

— Что тебе там надо?

Катя замолчала.

Сергей вышел из комнаты, прошел темный коридор, переднюю и по узкой, крутой лестнице поднялся в мезонин.

Наверху было темно. Но в этой темноте так же, как в гостиной, все жило и двигалось. Ветер в саду гудел глухо и непрерывно, то усиливаясь, то ослабевая. На дворе отрывисто лаяла собака, словно прислушиваясь к собственному лаю, и заканчивала протяжным воем. Полуоторванный железный лист звякал на крыше сарая. Сергей остановился посреди комнаты. Он медленно дышал и пристально вглядывался в темноту.

Снаружи что-то невидимое зашуршало по стене и быстро пронеслось перед окнами. В углу у окна раздалось слабое, жалобное гудение. Это гудение постепенно становилось все громче. Снова что-то с шумом пронеслось за окнами, ветер яростно налетал из сада на дом. Стена затрещала. А в углу ныло все сильнее, отчаяннее. Теперь там ясно слышались живые, как будто человеческие стоны. Сергей осторожно вглядывался в угол и вдруг заметил, что в правом окне створки как-то странно звучат,— слабо, порывисто и неправильно. Как будто кто-то подлетел снаружи и старался открыть окно, нетерпеливо ерзая по переплету. Сергей широко открытыми глазами вглядывался в окно,— и вдруг, вздрогнув, отскочил назад,— в шелку рамы раздался злобный, шипящий свист.

Задыхаясь, Сергей успокаивал себя:

— Это — ветер!

А снаружи бешено выло и свистало, стена колебалась... И вдруг сразу все оборвалось и замолчало. Только далеко гудел сад,— глухо, утомленно.

Стало тихо. Смутный ужас все сильнее охватывал Сергея. Среди мертвой тишины, сзади, в темном углу, кто-то невидимый спокойно сплюнул. Сергей быстро обернулся: это капнула на пол капля из рукомоиника, под который забыли подставить таз. Опять что-то легкое пронеслось за окнами и опять слабо, чуть слышно заныло в углу. Гул сада рос, усиливался, становился

ближе. Как будто могучая сила неслась из сада на дом. Со всех сторон поплыли странные, неясные звуки, и Сергей уж не успевал их объяснять. Окружающее принимало необычный, сверхъестественный характер. У окна слабо шевелилось что-то серое, волнующееся. Сзади кто-то тяжело дышал. В темноте быстро проносились синеватые искры.

Теснило грудь, не хватало дыхания. Ужас — безумный, нерассуждающий и тянущий к себе — оковал Сергея. И казалось ему, — стоит шевельнуться, и случится что-то неслыханное, и он, потеряв разум, полетит в темную, крутящуюся бездну.

ХIII

Токарев и Варвара Васильевна сидели вдвоем в столовой. Лампа освещала скатерть и неприбранные тарелки с объедками. В саду бушевал ветер. В разбитое окно, заставленное подушкой, дуло сырым холодом. Варвара Васильевна говорила:

— Вы сказали тогда, что за маленькую душою человека стоят смутные и громадные силы, которые делают с нами, что хотят. Это так страшно, и, кажется... такая правда!

Она помолчала и, пересиливая себя, заговорила опять:

— Я уж несколько лет замечаю это на самой себе. Что такое делается? Во мне все словно сохнет, как сохнет ветка дерева. Ее форма, весь наружный вид, — все как будто остается прежним, но в ней нет гибкости, нет жизни, она мертва до самой сердцевины. Вот так и со мною. Как будто ничего не изменилось. Взгляды, цели, стремления, — все прежнее, но от них все больше отлетает дух...

Токарев медленно расхаживал по комнате и с удивлением слушал. Он никак не ожидал, чтоб Варвара Васильевна переживала что-нибудь подобное. От ее признаний ему становилось легко и радостно, и Варвара Васильевна делалась ближе.

— И что делать, чтоб удержать прежнее? Я бы ни перед чем не остановилась. Но оно прошло, и его не воротить. Нет желания отдать себя всю, целиком, хотя вовсе собою не дорожишь. Нет ничего, что действительно, серьезно бы захватывало, во что готова бы вложить

всю душу. Я знаю, в этом решение всех вопросов, счастье и жизнь, но только во мне этого нет, и я... я не люблю людей, и ничего не люблю! — Она со страхом взглянула на Токарева.

Токарев, широко раскрыв глаза, молча ходил. Он ждал, чтоб Варвара Васильевна продолжала, — так странно было слышать от нее это признание. Но, опустив голову, она молчала.

Токарев остановился перед нею и медленно заговорил:

— Вы не любите людей... Я не знаю, кто же тогда может сказать, что любит? Мне кажется, вы предъявляете к себе уж слишком преувеличенные требования. Вы хотите каждого, первого встречного человека любить горячо, так сказать, «конкретно», как близкого, — это прямо невозможно. Возьмите такой случай. Я иду ночью по глухой улице и слышу крики: «Караул!» Если я знаю, что это кричит, положим, любимая мною девушка, я все забуду и брошусь на помощь. Если же это так, неизвестно, кто кричит, то пойду я очень неохотно, может быть, даже постараюсь пройти в сторонке незамеченным...

Варвара Васильевна удивленно взглянула на Токарева. Он как будто не заметил ее удивления и постарался осторожно сгладить впечатление от своего признания.

— Допустим для ясности, что я даже на это способен, — допустим, что я прошел бы мимо. Все-таки это еще ничего не доказывает; на страдания чужого человека невозможно отзываться так же горячо, как на страдания близкого. Но значит ли это, что я не люблю людей? Мне дорого все хорошее, я горячо радуюсь тому, что приносит людям пользу и счастье, негодую на то, что их давит и делает несчастными; при устройстве моей личной судьбы я руководствуюсь не собственными выгодами, а тем, чтоб мое дело было по возможности полезно для людей. Разве бы все это было возможно, если бы мне до других не было дела?

Варвара Васильевна молчала. Токарев прошелся по комнате.

— И главное — вам, *вам* обвинять себя в равнодушии к людям!.. Эх, Варвара Васильевна! Ну, ответьте по совести: если бы нужно было умереть за какое-нибудь хорошее дело, вы-то не пошли бы? Да я голову

даю на отсечение, что оказались бы в первых рядах.

С бледною улыбкою Варвара Васильевна ответила:

— Нет, я пошла бы... Именно потому, что требовалось бы умереть.

Токарев опустил голову. Жуткое прошло у него по душе,— жуткое и от смысла ее слов, и что она в этом признавалась. Он почувствовал, что дальше в их разговоре не будет лжи, что и он будет говорить всю правду, какова бы она ни была. Ветер бешеным порывом налетел из сада и зазвенел в стеклах окон.

Токарев с усилием сказал:

— А что такая холодная любовь, о которой я говорю, не может наполнить жизни,— это, конечно, верно. Говоря правду, со мною происходит то же, что с вами, только еще в большей мере. Вы вот сейчас, кажется, удивились, когда я сказал, что, слыша крики о помощи, я, может быть, прошел бы мимо. А я чувствую себя даже на это способным. Помните, вы тогда в больнице пошли ночью напоить бешеного мужика? Я неправду сказал, что не знал, гожусь ли я вам с помощники,— я просто боялся пойти...

Варвара Васильевна смущенно и растерянно подняла глаза и сочувственно закивала головою, как бы боясь, чтоб Токарев не подумал, что она осуждает его. Радуюсь возможности говорить все, не встречая осуждения, он продолжал:

— Мне вообще тяжело и заглядывать в себя. Я вижу: во мне исчезает что-то, исчезает страшно нужное, без чего нельзя жить. Гаснет непосредственное чувство, и его не заменить ничем. Я начинаю все равнодушнее относиться к природе. Между людьми и мною все выше растет глухая стена. Хочется жить для одного себя... Я вот теперь много думаю и читаю по этике, стараюсь философски обосновать мораль, конструирую себе разные «категории долга». Но в душе я горько смеюсь над собою: почему раньше мне ничего такого не было нужно? Заметили ли вы, что вообще у людей действующих мораль поразительно скудна и убога? А вот когда человек остывает, тут-то и начинаются у него настоячивые мысли о морали, о долге. И чем больше он остывает, тем возвышеннее становится его мораль и ее обосновка. Долг, долг!.. Всегда, когда я говорю или думаю о нем, у меня в глубине души начинает беспокойно копошиться стыд. Как будто я собираюсь начать игру

с фальшивую колодою карт. Долг тащит человека туда, куда он не хочет идти сам. Но человек хитрее стоящего над ним долга и в конце концов заставляет его тащить себя как раз туда, куда ему хочется. Пройдет десять лет,— я буду видеть долг в том, чтоб не ссориться с женою, чтоб пожертвовать десять рублей на народную библиотеку или отказаться от третьего блюда в пользу голодающих. Пройдет еще десять лет, начнет стареть тело,— и я создам себе долг из того, чтоб отказаться от табаку, от вина, стать вегетарианцем... И ведь ужасно то,— я знаю, это так и будет!! И я буду искренно уважать себя за то, что по мере сил исполняю возложенный на себя долг.

Варвара Васильевна, сдвинув брови, задумчиво собирала ножом хлебные крошки. Токарев тихо говорил:

— Я из всего этого не вижу никакого выхода. Умерло непосредственное чувство,— умерло все. Его нельзя заменить никаким божеством, никакими философскими категориями и нормами, никаким «я понял». Раз же это так, то, конечно, вы, в сущности, правы: для чего оставаться жить? Не для того же, в самом деле, чтоб бичевать себя и множить число «лишних людей»...

— Да. И хорошо тем, о ком некому печалиться.

Они становились все ближе друг другу. С отдающимся доверием сообщницы Варвара Васильевна взглянула на Токарева и сказала:

— И удивительная у меня организация! Никакая болезнь ко мне не пристаёт. Как-то раз на вскрытии Алексей Михайлович, доктор наш, говорит мне: осторожнее вскрывайте труп, больной умер от гнилокровия. А я порезалась...— Она показала большой красный рубец на левой ладони.— И хоть бы что! Через две недели все зажило. Другой раз смазывала я зев дифтеритному ребенку; дифтерит был очень тяжелый, гангренозный; ребенок закашлялся и брызнул мне слюною в глаза; на этот раз, конечно, все вышло нечаянно. Я сейчас же не успела промыть глаз,— и все-таки ничего!

Высоко подняв брови, Токарев неподвижно глядел на Варвару Васильевну. *«На этот раз, конечно, нечаянно»*... Значит, в первый раз было *не* нечаянно?.. Так вот на что способна она, всегда такая ровная и веселая! Стало страшно от мыслей, которые он только что высказывал с таким легким сердцем. Сидевшая перед ним девушка вдруг стала ему чуждой, чуждой...

Он несколько раз прошелся по комнате. Потом остановился перед Варварой Васильевной и изменившимся голосом заговорил:

— Все-таки мне кажется, что *вы* меньше всех других имеете право так поступать. Вам жить тяжело, это я теперь вижу. Но я слышал, как восторженно отзываются об вас все, с кем вы сталкиваетесь, вижу, каким светлым лучом вы везде являетесь... Какое вы имеете право уходить из жизни только потому, что вам самой тяжело? Неужели это не самый грубый эгоизм?

Варвара Васильевна пугливо взглянула на него и опустила глаза, жалея, что проговорилась. А он смотрел на ее красивый, благородный лоб, на мягкие и густые русые волосы,— и рыдания забились в груди.

В столовую вошла Катя.

— Варя, пойдем спать? Уже первый час.

Варвара Васильевна быстро встала.

— Верно, пора! Пойдем!

— Как этот ветер неприятно действует на нервы! — Катя нервно повела плечами.— Мне просто жутко идти спать одной. Послушайте-ка, как гудит!

Непрерывный гул стоял над садом,— странный, злоежущий и сухой, как только осенью деревья шумят. Ветер порывами пронесился за темными окнами; стволы лип скрипели; в печной трубе слышался шорох.

Вдруг наверху, над потолком, раздался глухой стук, как от падения человеческого тела. Потом застучали ноги об пол, и упало еще что-то тяжелое.

Катя быстро подняла голову и нервно вскрикнула:

— Что это там?!

Опять что-то глухо стукнуло над потолком, и послышались странные звуки,— не то смех, не то плач. Ветер сильнее завыл за окном. Катя вдруг разрыдалась.

— Варя, голубушка, это что-то с Сережей наверху! Он с утра был странный... Скорей пойдете!.. Господи, что с ним такое?

Варвара Васильевна вздрогнула.

— Да ну, Катя, что это?.. Что с ним может случиться!

Катя заливалась слезами и твердила:

— Нет, нет, пойдете скорее!.. Владимир Николаевич, подите посмотрите, что с ним такое!..

Все вышли в переднюю.

Токарев и Варвара Васильевна стали подниматься по крутой скрипучей лестнице. Было темно. Токарев зажег спичку. Вдруг дверь наверху быстро распахнулась, и на пороге появилась белая фигура Сергея в нижнем белье. Волосы были всклокочены, глаза горели диким, безумным ужасом.

— О-о-о-о-о-о!! — кричал он непрерывным рыдающим воем.— Что тебе тут нужно? Во-он!! Черти!..

Варвара Васильевна громко сказала:

— Сережа, что с тобою? Стыдись!

Сергей, согнувшись, держался руками за косяк двери, глядел пристальным, безумным взглядом в глаза Токареву и бессмысленно выл.

— Да ну, успокойтесь же, Сергей Васильевич! Что это, в самом деле! Как вам не стыдно? — Токарев шагнул вперед.

Сергей вздрогнул, как будто наступил на змею.

— Вон!!! — завопил он и судорожно затопал ногами.

Спичка погасла в руках Токарева.

— Сереженька! — услышал он за собою робкий, плачущий голос Конкордии Сергеевны.— Ох, Владимир Николаевич, голубчик мой, что это с ним?

Дверь наверху захлопнулась.

— Помогите мне взойти!.. Ох!.. Не видно ничего, темно! Что это с ним такое? Варенька, ты это? Что с ним?

Конкордия Сергеевна поднималась по лестнице, оступаясь в темноте. У Токарева спичек в коробке больше не было. Варвара Васильевна сказала:

— Принесите скорее свечку!

Токарев поспешно спустился вниз. В передней горела лампа. Катя, схватившись за голову и склоняясь над столом, истерически рыдала.

— Ну, что Сережа?

— Добудьте скорее свечку! — Токарев был бледен, нижняя челюсть его дрожала.

— Да вот возьмите лампу, она здесь не нужна.

— Лампу страшно: вышибет из рук,— еще пожару наделает.

Катя побежала за свечкой. Токарев остановился у стола. Ветер выл на дворе. В черном окне отражался свет лампы. На газетном листе желтел сушившийся хмель. Прусак пробежал по столу, достиг газетного ли-

ста, задумчиво пошевелил усиками и побежал вдоль листа к стене.

Катя принесла свечку. Токарев поднялся наверх. Сергей лежал на кровати, закутавшись в одеяло и повернувшись лицом к стене. Над ним склонилась Конкордия Сергеевна, плакала и утирала глаза платком.

— Сереженька, родной мой! Скажи мне, что с тобой?

Сергей, не поворачивая головы, отрывисто ответил обычным своим голосом:

— Да пустяки, ничего не было!

— Варенька, милая, дай ему каких-нибудь успокоительных капель!.. Это ты себе нервы расстроил. Говорила я тебе: не занимайся так много. Сидишь по ночам, вот и досиделся.

Конкордия Сергеевна, всхлипывая, подошла к заваленному книгами столу. Варвара Васильевна шепнула:

— Сергей, выпей чего-нибудь, чтобы успокоить маму. Я тебе принесу.

Сергей молча кивнул головою. Варвара Васильевна пошла вниз.

— Вон сколько книг... Господи! Да ведь это совсем голову себе испортишь! Ну, почитал немножко,— и довольно, отдохни. А то ведь день и ночь, все книги и книги...

Сергей, не шевелясь, лежал на постели. Вошла Варвара Васильевна с раствором бромистого калия. Она весело сказала:

— Ну, вот тебе и успокоительные капли!.. Сережа, пей!

— Ты бы еще, Сереженька, лед себе на голову положил,— говорила Конкордия Сергеевна.— Я сейчас велю Дашке наколоть.

Токарев рассмеялся.

— Да полноте, Конкордия Сергеевна! Какой там лед! Оставьте его спать!

— Ну спи, голубчик! Господь с тобой!

Она неуверенно подошла к Сергею, перекрестила его и поцеловала. Сергей поморщился и закутался в одеяло.

Конкордия Сергеевна и Варвара Васильевна ушли. Токарев перешел со свечою во вторую, свою комнату. Он почувствовал себя одиноким, стало немного страшно. Взял книгу и сел к столу так, чтобы дверь в соседнюю комнату была на глазах.

Он скользил взглядом по строкам, но ничего не по-

нимал. Сергей в соседней комнате заворочался на постели.

— Однако же и дозу закатила мне Варька!.. Что это, бром?

— Да. Ничего, что много. Лучше подействует.

Стало не так страшно.

— Соленый какой! Теперь, я знаю, на несколько дней раскиснешь. Помню, раз пришлось принять,— три дня после этого голова как будто тряпками была набита...— Сергей помолчал и сконфуженно усмехнулся.— Черт знает что я такое выкинул!

Токарев вошел в его комнату.

— Как вы себя теперь чувствуете?

— Ничего,— неохотно ответил Сергей и замолчал.— А хорошо, что вы тогда на лестнице еще одного шагу не сделали. Я бы вас, ей-богу, задушил!

— Ну, уж задушили бы,— улыбнулся Токарев и почувствовал, что бледнеет.

В глазах Сергея мелькнул насмешливый огонек, и Токарев заметил это.

Внизу, на лестнице, раздался шорох и тихий скрип ступеней. Сергей вздрогнул и быстро поднялся на постели.

— Что там еще такое?! — Глаза его снова странно загорелись.

Очевидно, Конкордия Сергеевна или Катя подслушивали, что делается с Сергеем. Токарев взял свечку и пошел, чтоб попросить их уйти. Но только он ступил на лестницу, как Сергей неслышно вскочил с постели и скользнул в комнату Токарева. Токарев повернул назад. На пороге он столкнулся со спешившим обратно Сергеем. Взгляды их встретились. Сергей быстро отвернул лицо и снова лег в постель. С сильно бьющимся сердцем Токарев вошел в свою комнату и подозрительно огляделся. Что тут нужно было Сергею? Что он взял?

Стало безмерно страшно. Захотелось убежать, спрятаться куда-нибудь. Он сел к столу и не спускал глаз с черного четырехугольника двери. В соседней комнате было тихо. За окном гудел сад, рамы стучали от ветра... Сергей, может быть, взял здесь нож. Все это бог весть чем может кончиться! Хорошо еще, что бром он принял: бром — сильное успокаивающее, через полчаса уж не будет никакой опасности.

Сергей заворочался на постели, деревянная кровать под ним заскрипела. Токарев насторожился. Снова все стихло. Токарев курил и думал,— как ему поступить, если Сергей бросится на него: покорно ли, с кроткою улыбкою отдаться в его руки, или грозно крикнуть на него, обуздать его силою психологического влияния?

Часы шли. Токарев непрерывно курил. Иногда ему казалось, что Сергей заснул,— из соседней комнаты доносилось мерное, спокойное дыхание. Но вскоре Сергей опять начинал ворочаться, и кровать под ним скрипела. Токарева сильно клонило ко сну. Голова опустилась, мысли стали мешаться. Вдруг он вздрогнул и быстро поднял голову,— он ясно как будто почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд... Кругом все было по-прежнему. Из соседней комнаты доносилось храпение Сергея. На дворе светало.

Токарев облегченно вздохнул и поднялся. В комнате было сильно накурено. Он осторожно открыл окно на двор. Ветер утих, по бледному небу плыли разорванные, темные облака. Двор был мокрый, черный, с крыш капало, и было очень тихо. По тропинке к людской неслышно и медленно прошла черная фигура скотницы. Подул ветерок, охватил тело сырым холодом. Токарев тихонько закрыл окно и лег спать.

XV

Утром Сергей как ни в чем не бывало засел за книги. За завтраком он был молчалив и сконфуженно смотрел в тарелку. На него внимательно поглядывали укладкою, но никто не говорил о случившемся.

Токарев после всего вчерашнего чувствовал себя как в похмелье. Что это произошло? И разговоры Сергея, и признания Варвары Васильевны, и припадок Сергея — все сплошь представлялось невероятно диким и большим кошмаром. И собственные его откровенности с Варварой Васильевной, он как будто высказал их в каком-то опьянении, и было стыдно. Что могло его так опьянить? Неожиданная откровенность Варвары Васильевны? Этот странный гул сада, который напрягал нервы и располагал к чему-то необычному, особенному?

Между ним и Варварой Васильевной легло что-то, и они не смотрели друг другу в глаза. Вечером, перед ужином, Токарев пошел к себе наверх за папиросами.

Он поднимался по скрипучей лестнице. Сквозь маленькое оконце падал лунный свет на крутые, пыльные ступеньки.

И вдруг вспомнилось, как вчера быстро распахнулась наверху дверь, как на пороге с диким воплем заметалась страшная фигура Сергея. Вспомнился его горящий ужасом взгляд, судорожный топот... Сердце неприятно сжалось, и, стараясь не вспоминать о вчерашнем, Токарев взошел наверх.

Но, раз вспомнив, он уже не мог отогнать воспоминаний. Смутный, неясный страх вился вокруг и незаметно охватывал его. Все окружающее становилось необычным. Месяц светил в окна, мертвенный свет двумя косыми четырехугольниками ложился на пол. В полумраке комнаты пряталась странная, пристальная тишина. Токарев неподвижно остановился посреди комнаты. Он чувствовал, — раздайся сейчас неожиданно громкий крик или стук, — и с ним произойдет то же, что вчера было с Сергеем. Он так же затопает, с тем же диким воплем бросится куда-то...

В углу около шкафа что-то смутно забелело. Дыхание стеснилось. Токарев стал пристально вглядываться. Он сразу понял, что это висит полотенце на ручке кресла. Но его тянуло вздрогнуть, тянуло испугаться. И Токарев стоял и неподвижно вглядывался в белевшее пятно, словно ждал, чтоб что-нибудь дало толчок его испугу.

«Что это со мною?» — вдруг подумал он, громко рассмеялся, подошел к креслу и сдернул полотенце.

Страх исчез. Но оставаться наверху все-таки было неприятно, и он вышел вон.

В полутемной передней сидела деревенская баба в зипуне. Варвара Васильевна, весело разговаривая, перевязывала ей на руке вскрытый нарыв. Пахло карболкою и йодоформом. Токарев прошел через залу, где Дашка накрывала стол к ужину, и в темной гостиной сел к роялю.

Он сидел, брал одною рукою медленные, тихие аккорды и задумчиво смотрел в темноту.

Какое у Варвары Васильевны было сейчас спокойное, веселое лицо... Да уж не сон ли то, что он слышал от нее вчера, в этот страшный вечер? И всегда она такая, как теперь, — ровная, спокойная, как будто вся на туго натянутых вожжах. Токареву становилось

страшно,— страшно от глубины и безбоязненности той тайной драмы, которую так невидно переживала в душе Варвара Васильевна.

Через пять дней срок отпуска Варвары Васильевны кончился. Она уехала в Томилиnsk. С нею вместе уехала в гимназию Катя. Сергей решил остаться в деревне до половины сентября, чтоб получше поправиться от нервов. Он каждое утро купался, не глядя на погоду, старался побольше есть, рубил дрова и копал в саду ямы для насадок новых яблонь.

Прошла неделя. Токарев поехал в гости к Будиновским. Они встретили его очень радушно, отправили лошадей обратно и продержали его у себя три дня. 30 августа, на Александра Невского, Токарев в легкой пролетке Будиновского возвращался обратно в Изворовку. Был ясный осенний день. Пролетка быстро и мягко катилась по накатанной дороге. Токарев откинулся на спинку сиденья и дышал чистым, бодрящим воздухом осени. На душе было легко, в голове приятно шумело от выпитого за завтраком рейнвейна. И с улыбкой он вспоминал милые упрасивания Марьи Михайловны пить побольше.

— Ну, Владимир Николаевич, выпейте еще стаканчик! Ведь это вино совсем слабенькое! Вы знаете, как об нем говорят немцы: «Рейну много, вейну мало»...

Вспоминал он свои обсуждения с Будиновским его проекта открытия в Томилиnsке общественной библиотеки-читальни. Вспоминал комфортабельную, чистую обстановку Будиновских... Какая у них здоровая, уютная и радостная жизнь!.. Токарев был доволен, что у него в Томилиnsке будут такие милые, симпатичные знакомые, и думал о том, что влиятельный Будиновский может оказаться ему очень полезным.

По чистому, глубоко синему небу плыли белые облака. Над сжатыми полями большими стаями носились грачи и особенно громко, не по-летнему, кричали. Пролетка въехала на гору. Вдали, на конце равнины, среди густого сада серел неуклюжий фасад изворовского дома с зеленовато-рыжею, заржавевшею крышею. С странным чувством, как на что-то новое, Токарев смотрел на него.

Там, под этою крышею, растут тяжелые, мучительные душевные драмы. С апломбом предъявляются к людям ребячески-прямолинейные требования, где каж-

дый человек должен быть сверхъестественным героем. То и другое переплетается во что-то безмерно болезненное и уродливое, жизнь становится труднопереносимой. А между тем ведь вот живут же люди легко и счастливо, без томительного надсада. И это не мешает им по мере возможности работать на пользу других... Но у нас, русских, такая посильная работа увенчивается только презрением. Если ты, как древний мученик, не отдаешь себя на растерзание зверям, если не питаешься черным хлебом и не ходишь в рубище, то ты паразит и не имеешь права на жизнь.

Кучер в синей рубахе и бархатной безрукавке подкатил к крыльцу. Токарев слез, дал ему рубль на чай и вошел в дом. В передней накидок и шляпок на вешалке было больше обычного. Дашка сообщила, что на два дня праздника приехали из Томилинска Катя, а с нею — Таня и Шеметов.

Токарев прошел к себе наверх умыться и переодеться. Он не был рад приезду гостей. Опять повеет этим духом молодого задора и беспечной прямолинейности, — духом, который был ему теперь прямо неприятен.

Он напился кофе, поговорил с Конкордией Сергеевной и пошел в сад. Солнце клонилось к западу, лужайки ярко зеленели; от каждой кочки, от каждого выступа падала длинная тень. Во фруктовом саду, около соломенного шалаша, сторожа варили кашу, синий дымок вился от костра и стлался между деревьями.

Сергей притащил к пруду в подоле рубашки яблок и груш. Компания расположилась на берегу и уписывала фрукты. Токарев подошел, поздоровался. Таня быстро встала и отвела его в сторону — оживленная, радостная.

— А знаешь, Володя, я таки устроила Вариню дело!

— Да ну?

— Помнишь, мы тогда у Будиновых встретились с Осьмериковым. Учитель гимназии, ушастый такой, — еще ужасно ненавидит одаренных людей. Пошла к нему в гости и убедила, что Варя совершенно удовлетворяет его идеалу труженика, что нельзя ей позволить остаться фельдшерницей. А он хорош с председателем управы. Словом, Варю отправляют на земский счет в Петербург в женский медицинский институт! Понимаешь? Пять лет в Петербурге!

— Ну... преклоняюсь перед тобою! Это действительно очень хорошо!

— Вот ты все преклоняешься и преклоняешься, а сам ничего не хотел сделать. Все — «неловко», да «с какой стати...». Ужасно вообще ты стал какой-то... неподвижный. А уж ты бы, со своею солидною фигурою, мог гораздо скорее добиться всего. На меня как взглянет солидный человек, так сразу почувствует ненависть... Вообще я своим пребыванием в Томилинске очень, очень довольна. И люди есть, и всё. Стоит только поискать... Если бы не нужно было ехать в Питер, обязательно бы осталась здесь...

Сергей стоял на коленях перед грудой фруктов. Он крикнул:

— Владимир Николаевич, возьмите груш! Смотрите, какие,— что твой дюшес!

Токарев и Таня подошли к остальным. Таня сказала:

— Да, Володя, вот что! Ты все-таки поговори об этом деле с Будиновским, чтоб и он со своей стороны поспособствовал. Ты с ним, кажется, хорош...

— Приятелями стали? — с легкой улыбкой заметил Сергей.

Токарев холодно ответил:

— Не вижу ничего позорного быть его приятелем. По-моему, он очень дельный и симпатичный человек.

— Я против этого не спору. Но только, при всей своей симпатичности, он всегда как-то умеет прекрасно устроиваться. И жить со всеми в ладу. Мне это не нравится.

Токарев начал раздражаться.

— Скажите, пожалуйста, что же в этом плохого? Почему дельный человек непременно должен жить в грязной собачьей конуре и хватать зубами за ноги каждого проходящего?

Сергей лениво потянулся.

— Совсем этого не нужно. А вот это действительно нужно,— чтоб для дельного человека дело было его жизнью, а не десертом к сытному обеду. Для Будиновского же жизнь — в уюте и комфорте, а дело — это так себе, лишь приятное украшение жизни. Скажите, пожалуйста, чем этот тепленький человек жертвует для своего «дела»? За это я по крайней мере ручаюсь, что ни одной из своих великолепных латаний он за него не отдаст. А мотив, конечно, будет очень благородный: «На меня и так все косятся...» Только поэтому он и не хочет,— не хочет делу повредить, а то бы рад

всею душою... И подумаешь,— кто на него косится?.. Ведь какое вообще характерное явление для нашей жизни такие люди! Чуть что,— сейчас: ах, боже мой, поосторожнее! вы нам помешаете!.. Брр! Лучше мерзавцы, чем все эти смиренные и благонамеренные либеральные господа!

— Это, разумеется, дело вкуса,— иронически процедил Токарев.— Я же лично думаю, что именно эти смиренные и блестящие «господа» вынесли и выносят на своих плечах всю великую культурную работу, которою жива страна. И далеко до них не только мерзавцам, а и всякого рода «героям», которые больше занимаются лишь пусканием в воздух блестящих фейерверков,— резко закончил Токарев.

Таня подняла брови, с удивлением приглядывалась к брату. Шеметов встал. Он пренебрежительно отвернулся от Токарева и ворчливо сказал:

— Будет, Сережка, спорить! Можно найти дело поинтереснее!

— Верно!..— Сергей вскочил на ноги.— Давайте, господа, покатаемся на лодке.

К мосткам была привязана большая, старая, насквозь прогнившая лодка, вполовину залитая водой. У Тани весело загорелись глаза.

— Давайте!

Токарев возмутился.

— Ну, Таня, посмотри же, какая лодка! Ведь она совсем гнилая!

— Что ж такое? Еще приятнее... Сашка, Катюха, едем! — крикнул Сергей и прыгнул в лодку.

Лодка тяжело закачалась, на ее дне с шумом забегала вода.

Таня и Шеметов со смехом сошли в лодку. Катя, волнуясь и стараясь побороть страх, спустилась за ними.

Сергей с насмешливым ожиданием глядел на Токарева.

— Владимир Николаевич, едем!

— Благодарю покорно, мне купаться не хочется! — с усмешкою ответил Токарев.

Стоя на почерневших, склизких перекладинах, они оттолкнулись от берега. Лодка накренилась то вправо, то влево, вода в ней плескалась. Сергей вложил в уключины мокрые, гнилые весла и начал грести.

Лодка выплыла на середину пруда. Солнце садилось, багровые облака отражались в воде красным огнем. Шеметов, стоя на корме, запел вполголоса:

Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны.
Выплывают расписные,
Острогрудые челны.
На переднем Стенька Разин...

— Что же это лодка не тонет? — с любопытством спросил он. — Странно! Должна бы знать, что по законам физики ей давно следует пойти ко дну... Ну ты, шалава! — крикнул он и качнул лодку.

Катя, придерживая рукой юбку, засмеялась, стараясь не показать, что ей страшно.

Токарев сидел на берегу, возмущенный и негодующий. Какая глупость! Пруд очень глубокий, вода холодная. Если лодка затонет, то выплыть на берег одетым вовсе не просто, и легко может случиться несчастье. Это какая-то совсем особенная психология, — без всякой нужды, просто для удовольствия, играть с опасностью! Ну, ехали бы сами, а то еще берут с собою этого ребенка Катю...

На пруде раздались крики и смех. У Сергея сломалось весло. Сильный и ловкий, в заломленной на затылок студенческой фуражке, он стоял среди лодки и греб одним веслом. Лодка с каждым ударом наклонялась в стороны и почти достигала бортами уровня воды.

И они плыли вперед, веселые и смеющиеся. Токарев с глухою враждою следил за ними. И вдруг ему пришла в голову мысль: все, все различно у него и у них; души совсем разные — такие разные, что одна и та же жизнь должна откликаться в них совсем иначе. И так во всем — и в мелочах и в самой сути. И как можно здесь столкнуться хоть в чем-нибудь, здесь, где различие не во взглядах, не в логике, а в самом строе души?

Горничная Дашка появилась на горе и крикнула:

— Сергей Васильевич! Барыня зовут!.. Поскорей! Поскорее все идите!

— Что там такое?

— Телеграмма из города пришла... Поскорее, барыня зовут! Идите, я в ригу побегу за барином!..

Конкордия Сергеевна, бледная, с замершим от горя

лицом, сидела в спальне и неподвижно глядела на распечатанную телеграмму. В телеграмме стояло:

«Приезжайте поскорее. Варенька опасно больна.

Темпераментова».

XVI

В тот же вечер все приехали в Томилинск. Доктор, взволнованный и огорченный, сообщил, что Варвара Васильевна, ухаживая за больным, заразилась сапом.

— Сапом?..— Конкордия Сергеевна растерянно глядела на доктора остановившимися глазами.— Это... это опасно?

Доктор грустно ответил:

— Очень опасно.

Варвара Васильевна лежала в отдельной палате. На окне горел ночник, заставленный зеленою ширмочкою, в комнате стоял зеленоватый полумрак. Варвара Васильевна, бледная, с сдвинутыми бровями, лежала на спине и в бреду что-то тихо говорила. Лицо было покрыто странными прыщами, они казались в темноте большими и черными. У изголовья сидела Темпераментова, истомленная двумя бессонными ночами. Доктор шепотом сказал:

— Побудьте, господа, немного и уходите. Не нужно долго оставаться.

Жалким, покорно-молящим голосом Конкордия Сергеевна возразила:

— Милый доктор, я... я не уйду отсюда... хоть казните меня...— Глаза ее были большие-большие и светлые.

Доктор вышел. Токарев нагнал его.

— Скажите, доктор, есть какая-нибудь надежда?

Доктор хотел ответить, но вдруг лицо его дернулось, и губы запрыгали. Он глухо всхлипнул, быстро махнул рукою и молча пошел по коридору.

Утром Варвара Васильевна пришла в себя, весело разговаривала с матерью, потом заснула. После обеда позвала к себе Токарева и попросила всех остальных выйти.

Токарев сел в кресло около постели. Варвара Васильевна, с желтовато-серым, спавшимся лицом, усеянным зловещими прыщами, поднялась на локоть в своей белой ночной кофточке.

— Владимир Николаевич, я вам хотела сказать... Я третьего дня написала директору банка и напомнила ему его слово, что он примет вас на службу... Он ко мне хорошо относится, я была при его дочери, когда она была больна дифтеритом... Он сделает...

Токарев страдальчески поморщился.

— Варвара Васильевна, ради бога, оставьте вы об этом!

— Да... И потом еще вот что...— Она подняла мутные глаза, и в них было усилие отогнать от мозга туман бреда.— Да. Что я еще хотела сказать?

Варвара Васильевна нетерпеливо потерла руки и забегала взглядом по комнате.

— Вот что! — Она помолчала и в колебании взглянула на Токарева.— Дайте мне честное слово, что вы никому не станете рассказывать о нашем разговоре,— помните, тогда вечером, в Изворовке, когда с Сережей сделался припадок?

Токарев вздрогнул и стал бледнеть. Варвара Васильевна волновалась все больше. Она повторяла в тоске:

— Слышите, Владимир Николаевич,— честное слово, никому!..

Токарев сидел смертельно бледный, с остановившимся дыханием.

— Хорошо,— медленно сказал он и замолчал. И продолжал сидеть,— бледный, с широко открытыми глазами. И голова его тряслась.

— Видите, маме этого... Что я хотела сказать? Да!.. Надо выписать сто граммов хлороформу, пожалуйста, не забудьте,— с эфиром... Антон Антонович поедет. А я завтра сама развешу, не будите провизора.

Варвара Васильевна начала бредить. Токарев шатающейся походкою пошел вон.

Он вышел из больницы и побрел по улице к полю. В сером тумане моросил мелкий холодный дождь, было грязно. Город остался позади. Одинокая ива у дороги темнела смутным силуэтом, дальше везде был сырой туман. Над мокрыми жнивьями пролетали галки.

Токарев шел, бессознательно кивал головою и бормотал что-то под нос. «Это не сон?» — иногда приходило в голову. И он гнал от себя мысли, боялся думать о том, что узнал, боялся шевельнуть застывший в душе тупой ужас.

Воротился он в больницу, когда уже стемнело. Из ворот выходили Сергей и Таня, — оба бледные и серьезные.

— Варя умерла! — коротко сказал Сергей, прикусил губу и прошел мимо.

Через два дня Варвару Васильевну хоронили.

Похороны вышли величественные. Никто не думал, что Варвара Васильевна пользовалась такою популярностью, как оказалось. Громадная толпа народа провожала гроб, слышались рыдания. Над могилою произнесли речи главный врач больницы, председатель управы, Будиновский. Они говорили о самоотверженной деятельности скромной труженицы, о том, что вся жизнь ее была одним сплошным подвигом, что она, как воин на поле брани, славно погибла на своем посту. Токарев — угрюмый, замерший в ужасе — слушал речи, и они казались ему пошлыми и ничтожными перед тою страшною загадкою, которая вытекала из этой смерти. Хотелось рыдать от безумной жалости к Варваре Васильевне и к тому, что она над собою сделала.

В тот же день вечером уехали в Петербург оба еще оставшиеся в Томлинске члена «колонии» — Таня и Шеметов. Токарев, Сергей и Катя проводили их на вокзал. Таня не могла вспомнить от неожиданной смерти Варвары Васильевны.

Она стояла у своего вагона возмущенная, негодующая.

— Я положительно с этим не могу примириться! Смерть!.. Жить, действовать, стремиться, дышать воздухом — и вдруг, ни с того ни с сего, все это обрывается, когда жизнь кругом так хороша и интересна!..

Назад Токарев возвращался один. Таня уехала, — что ждет ее впереди? Теперь, после прощания, она была Токареву дорога и близка. Перед ним стояло ее лицо, подвижное, энергичное, с большими и смелыми, почти дерзкими глазами... Страшно! Он прекрасно знал, — не благополучие ждет ее в будущем, и не сносить ей головы. А между тем не было за нее никакого страха, и ему казалось — и жалости никогда не будет. Напротив, была только жгучая зависть к Тане за ее жадную любовь к жизни и за бесстрашие перед этой жизнью. И тот тяжелый вопрос, который возникал из смерти Варвары Васильевны, при мысли о Тане тускнел, становился странным и непонятным.

Токарев вместе с Изворовыми воротился в деревню.

Пообедали. Все были печальны и молчаливы. Темнело. Токарев вышел в сад. Вечер был безветренный и холодный, заря гасла. Сквозь поредевшую листву аллея светился серп молодого месяца. Пахло вялыми листьями. Было просторно и тихо. Токарев медленно шел по аллее; и листья шуршали под его ногами.

Жизнь вдруг стала для него страшна. Зашевелились в ней тяжелые, жуткие вопросы... В последнее время он с каждым годом относился к ней все легче. Обходил ее противоречия, закрывал глаза на глубины. Еще немного, и жизнь стала бы простою и ровною, как летняя накатанная дорога. И вот вдруг эта смерть Варвары Васильевны... Вместе с ее тенью перед ним встали полузабытые тени прошлого. Встали близкие, молодые лица. Гордые и суровые, все они погибли так или иначе,— не отступили перед жизнью, не примирились с нею.

Токарев вышел к пруду. Ивы склонялись над плотиною и неподвижно отражались в черной воде. На ветвях темнели грачи, слышалось их сонное карканье и трепыханье. Близ берега выдавался из воды борт затонувшей лодки и плавал обломок весла. Токарев остановился. Вот в этой лодке три дня назад катались люди,— молодо смелые, бодрые и веселые; для них радость была в их смелости. А он, Токарев, с глухою враждою смотрел с берега.

И все прошлое, и эти люди были для него теперь страшно чужды. Что-то совершилось в душе, что-то надломилось, и возврата нет. Исчезло презрение к опасностям, исчезло недуманье о завтрашнем дне. Впереди было пусто, холодно и мутно. Вспомнились недавние мечты об усадьбе, об уютной жизни, и охватило отвращение. Для чего?.. Жить, как все живут,— без захватывающей цели впереди, без всего, что наполняет жизнь, что дает ей смысл и цену. И все яснее для него становилось одно: невозможно жить без цели и без смысла, а кто хочет смысла в жизни, тот,— каков бы этот смысл ни был,— прежде всего должен быть готов отдать за него все. Кто же с вопросом о смысле и целях жизни сплетает вопросы своего бюджета и карьеры,

пусть лучше не думает о смысле и целях жизни. И Токареву стало стыдно за себя.

Но когда он почувствовал стыд, он возмутился. Чего стыдиться? Что он сделал плохого, и как же ему жить? Ведь все, что случилось с Варварой Васильев-ной, до безобразия болезненно и ненормально. Люди остаются людьми, и нужно примириться с этим. Он — обыкновенный, серенький человек и в качестве такового все-таки имеет право на жизнь, на счастье и на маленькую, неопасную работу.

Вспомнились жесткие слова Сергея:

«Что поделаешь? Так складывается жизнь: либо безбоязненность полная, либо банкрот, и иди на-смарку».

Эта мысль тоже возмутила его, и он опять почув-ствовал ужас перед тем непонятым ему теперь и чуж-дым, что сделало возможным смерть Вари. Токарев отталкивал и не хотел признать это непонятое, но оно властно стояло перед ним и предъявляло требования, которым удовлетворить он был не в силах.

Токарев поднял голову, огляделся. Его удивило, какая кругом мертвая тишина. Месяц спустился к ивам и отражался в неподвижной, черной глубине пруда. Не-подвижен был воздух, деревья не шевелились ни ли-стиком. Как будто сейчас случилось что-то, чего Тока-рев за своими размышлениями не заметил, — и все вокруг, замерши, испуганно прислушивалось. Была та же странная тишина, как тогда, после припадка Сергея, на пыльной лестнице. И так же странно-неподвижно светил месяц. И все вокруг становилось необычным. С березы сорвался желтый листок; он неслышно и робко мелькнул в воздухе, словно боясь привлечь к себе чье-то грозное внимание, и поспешно юркнул в траву. И опять все замерло.

Смутный страх охватил Токарева. Он повернулся и пошел домой.

XVIII

Прошла неделя. Токарев сильно похудел и осунул-ся, в глазах появился странный нервный блеск. Взмут-тившиеся в мозгу мысли не оседали. Токарев все ду-мал, думал об одном и том же. Иногда ему казалось: он сходит с ума. И страстно хотелось друга, чтоб вы-

сказать все, чтобы облегчить право признать себя таким, каков он есть. Варваре Васильевне он способен был бы все сказать. И она поняла бы, что должен же быть для него какой-нибудь выход.

Но перед ним был только Сергей. Сергей же чуждался его, и они не имели теперь ничего общего. А между тем многое в Сергее поразительно напоминало Варю: тот же тонкий, строгий профиль, те же глаза, та же привычка сдвигать брови. Как будто Варя ожила в Сергее. Но не мягкая и прощающая, а жесткая, презирующая и беспощадная.

В Сергее, в его пренебрежении и презрении как бы олицетворялось для Токарева все, из-за чего он мучился. И все больше он начинал ненавидеть Сергея. Кроме того, с той ночи, как с Сергеем случился припадок, он внушал Токареву смутный, почти суеверный страх. Но рядом с этим Токарева странно тянуло к Сергею. Ему давно уже следовало уехать из Изворовки, но он не уезжал. Он не мог уехать, ему необходимо было раньше объяснить о чем-то с Сергеем. Но о чем объяснить, для чего, — Токарев не мог бы ясно сказать.

Стояла середина сентября. День был тихий, облачный и жаркий. На горизонте со всех сторон неподвижно синели тучи, в воздухе томило. Сергей с утра выглядел странным. В глазах был необычайный, уже знакомый Токареву блеск, он дышал тяжело, смотрел угрюмо и с отвращением.

В одиннадцать часов вечера поужинали. Василия Васильевича, по обыкновению, не было, — он теперь все вечера проводил у соседей, играя в карты.

Конкордия Сергеевна сказала:

— А как барометр упал!.. Кончаются ясные денечки; теперь пойдут дожди, холод, грязь...

— Упал барометр? — с любопытством спросил Сергей и замолчал.

Они взошли с Токаревым к себе наверх. Токарев участливо спросил:

— Вы себя сегодня плохо чувствуете?

Сергей усмехнулся.

— Слыхали, барометр упал!.. Ну, вот! Такое дрянцо люди, — каждое колебание барометра отражается на душе!

Он молча зажег лампу и сел за «Критику чистого разума». В последнее время он усердно читал ее.

Токарев, не зажигая света, ходил по комнате. Он видел, как все в Сергее нервно кипело. Это заражало его, и нервы натягивались. Охватывал неопределенный страх... Токарев остановился у печки.

Сергей сидел в своей комнате, склонясь над книгой. Лампа освещала красивое лицо. Токарев смотрел из темноты.

Вон он спокойно сидит, этот мальчишка. А он, Токарев, испытывает к нему страх и стыдится его презрения... Сколько в нем мальчишеской уверенности в себе, сколько сознания непогрешимости своих взглядов! Для него все решено, все ясно... А интересно, что бы сказал он, если бы узнал истинную причину Вариной смерти? Признал бы, что это так и должно было случиться? Или и он ужаснулся бы того, к чему ведет молодая прямолинейность и чрезмерные требования от людей?

Токарев зажег лампу и открыл книгу. Но не читалось. Он думал о том, что с Сергеем опять может сегодня случиться припадок. Что тогда в состоянии будет сделать с ним Токарев, один в пустом доме? И вспоминалось ему, как Сергей сознался, что чуть его тогда не задушил, и как насмешливо улыбнулся, когда Токарев побледнел при этом признании... Ко всему остальному, Сергей теперь знает, что Токарев его боится.

Токарев встал и вышел из комнаты. Спустился вниз.

В больших, пустынных комнатах было темно и тихо. В передней на конике храпела горничная Дашка, пахло потом. В коридоре скребли крысы. Было тоскливо и грустно. Токарев вошел в гостиную. Там, при свете одинокой свечи, Конкордия Сергеевна пришивала оборвавшиеся на креслах бахромки. Он удивился:

— Вы еще не спите, Конкордия Сергеевна?

Конкордия Сергеевна подняла на него свое осунувшееся лицо.

— Да вот засиделась тут с креслами: срам взглянуть, совсем оборвались бахромки.

Токарев помолчал.

— А какая тут должна быть тоска зимою! Все разъедутся, вы останетесь вдвоем с Василием Васильевичем. Мне кажется, я бы и недели не выдержал.

Конкордия Сергеевна медленно перекусила нитку и стала вдевать в иголку.

— Голубчик мой, привыкла я. Что уж там — «скучно»... Мне за весельем не гнаться. Сколько уж лет так живу. Было бы деткам хорошо, а мне что... Ну, а ведь, кроме того, все-таки ждешь: вот опять лето придет, опять... опять все... съедутся...

Голос ее оборвался. Она наклонилась к креслу. И такую одинокою показалась она Токареву, с ее скрытою, невысказываемою печалью.

Он поговорил с нею, потом вышел на крыльцо.

Ночь была тихая и теплая. Тяжелые тучи, как крышка гроба, низко нависли над землею, было очень темно. На деревне слабо мерцал огонек, где-то далеко гроыхала телега. Эти низкие, неподвижные тучи, эта глухая тишина давили душу. За лесом тускло блеснула зарница.

Из-под крыльца, виляя хвостом, вылез легавый щенок Сбогар. Худой, на длинных, больших лапах, он подошел к Токареву, слабо повизгивал и тоскливо глядел молодыми, добрыми глазами. Токарев погладил его по голове. Сбогар быстрее замахал хвостом и продолжал жалобно повизгивать.

За лесом снова блеснула зарница и бледным, перебегающим светом несколько раз осветила неподвижные тучи. Стало еще темнее. У Токарева вдруг мелькнула мысль: как удивительно подходят эта ночь и нынешнее состояние Сергея к тому, что Токарев уж несколько дней собирался сделать; да, Сергей должен узнать настоящую причину смерти сестры! «Пусть это открытие ударит его по сердцу, наполнит тоскою и ужасом, исковеркает его прямые, несгибающиеся взгляды на жизнь и ее требования... О, он увидит, что дело вовсе не так просто, как ему кажется!» — с злорадным торжеством подумал Токарев.

Быстрая, нервная дрожь охватила тело. Он подождал, чтобы она прошла, и поднялся наверх.

Сергей медленно расхаживал по комнате, устало понурив голову.

— Сергей Васильевич, сидите вы здесь все над книгами. А посмотрите, какая ночь чудесная,— тихая, теплая... Пойдемте пройдемся.

Сергей потер рукою лоб и встряхнулся.

— Пойдемте, пожалуй! Все равно ничего в голову не лезет.

Они вышли из дому и через калитку вошли в сад.

И на просторе было темно, а здесь, под липами аллеи, не видно было ничего за шаг. Они шли словно в подземелье. Не видели друг друга, не видели земли под ногами, ступали как в бездну. Пахло сухими листьями, полуголые вершины деревьев глухо шумели. Иногда сквозь ветви слабо вспыхивала зарница, и все кругом словно вздрагивало ей в ответ. Сергей молчал.

Они дошли до конца сада и остановились у изгороди. За канавой, заросшей крапивой, тянулось сжатое поле. Над ним неподвижно висели низкие тучи. Из черной дали дул теплый сухой ветер и тихо шуршал в волосах. Токарев нагнулся и провел рукою по траве.

— Удивительно как сухо. Росы совсем нет!

Сергей коротко отозвался:

— Дождь завтра будет.

— Ну, Сергей Васильевич, идем дальше! Воздух такой славный!.. Пойдемте к Зыбинке, на Живые Ключи. Так прямо, через поле, мы скоро дойдем.

Он перелез через плетень и перепрыгнул канаву. Сергей неохотно последовал за ним. Пошли наискось по колючему жнивью. Ветер ровно дул в лицо, полынь на межах слабо шевелилась. На темном горизонте непрерывно вспыхивали зарницы,— то яркие, освещавшие все вокруг, то тусклые, печальные и зловещие.

Сзади в смутном сумраке раздался мягкий, частый, быстро приближающийся топот.

— Что это там?! — Сергей вздрогнул и быстро обернулся.

Токарев рассмеялся.

— Ну, Сергей Васильевич, ведь это непозволительно! Что это может быть? Вероятно, Сбогар нас догоняет!

Сбогар подбежал и, радостно виляя хвостом, стал ластиться к Токареву и Сергею. Сергей старался улыбнуться.

— Ишь негодяй! Так неожиданно налетел, невольно вздрогнешь!

Двинулись дальше. Сергей медленно и тяжело дышал, украдкой взглядывая в темноту странно блестящими глазами. Ветер упал. Стало тихо. Они вышли на дорогу.

Далеко на церковной колокольне глухо ударил колокол. Дрожащий звук, полный смутной тайны, тихо пронесся над темными полями. Потом раздался второй удар, третий пробило двенадцать.

Токарев взял Сергея под руку.

— Полночь!.. Мужики говорят, церковный сторож погнал мертвецов на водопой...— Он помолчал.— Странно на меня действуют такие ночи. Вам не кажется невероятным, чтоб в этом мраке не было ничего таинственного? Мне это часто кажется. Кругом необходимо должна быть своя жизнь, но только она ускользает от наших глаз. Нужно совсем неожиданно оглянуться, чтоб уловить из нее хоть что-нибудь. На меня, например, добрая половина картин Бёклина производит такое впечатление, как будто он именно «неожиданно оглянулся». Вот мы идем с вами,— и неужели мы тут только двое во всем этом просторе, а кругом нас лишь дрожание разных молекул, колебание светового эфира и тому подобное. Почему же в таком случае так ясно и так жутко душа ощущает невидимое присутствие кого-то — каких-то смутных, бесформенных существ, перед которыми мы так слабы и беспомощны?

Сергей шел, молча понурив голову. Они свернули на тропинку, прошли мимо заброшенной каменоломни и спустились в Зыбинскую лощину. В ней было очень тихо. Смутно рисовались черные кусты раkitника, и казалось, будто они медленно двигаются.

Пошли по заросшей дороге. Она тянулась по косогору к верховью лощины. Сбогар, слабо повизгивая, оглядывался по сторонам и жался к их ногам. Как раз над лощиною низко стояло большое черное облако с расходящимися в стороны отрогами. Как будто гигантское, странное насекомое повисло в воздухе и пристально, победно следило за шедшими по лощине. Угрюмые и молчаливые зарницы вспыхивали в темноте.

Незаметная внутренняя дрожь все сильнее охватывала Токарева. На душе было смутно и необычно. Только ум работал с полной ясностью.

— Помните вы «Noqlà»¹ Мопассана? Это очень болезненная, но удивительно умная и глубокая вещь. Мопассан говорит, что люди сыздавна населяли мир разными таинственными, страшными и неопределенными существами. И что это не могло быть иначе,— человек всегда чувствовал, как сам он беспомощен, как над ним стоят какие-то силы, перед которыми он раб... Что это за силы, что за существа? Они должны быть невидимы, но страшны и могучи. В чем бы они ни проявлялись, но они всегда показывают свою власть над человеком, и

¹ «Орля» (фр.).

человек перед ними так бессилен, так жалко-беспомощен!

Сергей с удивлением поднял голову.

— Неужели вы все это серьезно говорите? Ведь это положительно какой-то бред, и притом довольно смешной... Только я бы вас попросил, Владимир Николаевич,— оставьте говорить об этом. Я сегодня чувствую себя ужасно нервно.

— Хорошо. Да, в сущности, я, конечно, не говорю серьезно о разных там мертвецах или привидениях, не говорю и о мопассановских невидимках Орля. Я только говорю о мопассановской «глубокой тайне невидимого». Ведь именно ее только Мопассан и символизирует в образе «Hoglà». Согласитесь, что эта тайна действительно глубока и страшна. Мопассан говорит: «Все, что нас окружает, все, что мы замечаем, не глядя, все, что задеваем, сами того не сознавая, трогаем, не ошупывая,— все это имеет над нами, над нашими органами, а через них и над нашими мыслями, над самым нашим сердцем — быстрое, изумительное и необъяснимое действие»... Разве это не страшно и разве это не правда? — взволнованно спросил Токарев.— Человек был еще свободен, когда он эти силы олицетворял в существах, стоящих вне его,— с ними по крайней мере можно было бороться, против них стояла свободная, самоопределяющаяся душа человека. А теперь все эти существа переселились внутрь его, в мозг, в сердце и кровь... И что теперь ждет человека? Вы помните этот страшный вопль Мопассана: *«Царство человека кончилось!.. Горе нам!.. Горе людям!.. Пришел он... как его зовут? Мне кажется, он выкрикивает мне свое имя, но я не слышу его... О да, он явился!.. Ястреб съел голубку, лев пожрал буйвола с острыми рогами... Всему конец! Он во мне, он становится моею душою! Что делать? Горе нам!..»*

Токарев дрожал мелкою дрожью, в голосе звучал ужас, как будто действительно это таинственное «невидимое» стояло здесь в темноте... Но и в ужасе своем Токарев чувствовал, как Сергей нервно вздрагивал. И становилось на душе злобно-радостно.

Сергей резко возразил:

— По-моему, все это только очень характерно для самого Мопассана. Да, пожалуй, и для вас... Что спорить, «тайна невидимого» глубока. Но трус и жалкая тряпка тот, кто поддается этому невидимому.

— Сядем здесь! — коротко и решительно сказал

Токарев и опустился на косогор под молодую лозинкою.

Он сказал уверенным, властным тоном, и Сергей послушался. Токарев приобрел над ним странную власть.

Горизонт, прежде резко очерченный, затянулся на юге мутною мглою и стал сливаться с небом. Потянуло влажною прохладой. Токарев в волнении поглядел вдаль: пройдет полчаса, и жуткое очарование ночи исчезнет. Небо покроется мутными облаками, лениво засеет окладной дождь.

Он медленно заговорил:

— Вы сказали: тот, кто поддается «невидимому», — трус и жалкая тряпка. Удивительное дело! Перед вами стоит громадный вопрос, а вы хотите решить его парюю презрительных ругательств... Нет, Сергей Васильевич, такие вопросы так не решаются! Вопрос в том, что же делать, если это невидимое бесповоротно покоряет тебя. Ну, хорошо, трус, жалкая тряпка... Ведь это сказать легко. А когда в жизни встает такой вопрос, то можно с ума сойти от ужаса... Вы знаете, отчего умерла Варвара Васильевна? — Он задыхался и медленно перевел дух. — Она заразилась сапом... Но она не нечаянно заразилась, а нарочно!.. Она не остановилась перед такого рода смертью, чтоб окружающие близкие думали, будто это — несчастная случайность. А убила она себя именно потому, что чувствовала приближающуюся победу «невидимого».

Даже сквозь темноту Токарев видел, как на него смотрело смертельно бледное лицо Сергея с остановившимися глазами. Вдруг Сергей решительно сказал:

— Это не может быть!.. Она могла бы это сделать, она на это способна. Но никогда ни вам, никому она не созналась бы в этом!

— Да. Видите, оно так и есть. Но однажды — помните, в тот вечер, когда с вами произошел припадок, — она созналась мне, что чувствует приближение и победу «невидимого». Чтоб не покориться ему, она видела только одно средство — смерть. Но чтоб эта смерть поменьше доставила горя близким. Разговор был чисто отвлеченный... Ну, а перед самою смертью, почти уже в бреду, она взяла с меня слово никому не рассказывать о нашем разговоре... Как вы думаете, можно из этого что-нибудь заключить?

— Чче-ерт, чче-ерт!.. — простонал Сергей и стиснул

голову руками. Он поставил локти на колени и сидел, все так же стиснув голову.

Строгим, беспощадным и проникающим голосом Токарев говорил:

— Ну и что же? Она поступила правильно? В этом настоящий выход?.. Нет, это ужасно и до безумия ненормально! А между тем именно ваши взгляды, ваша прямолинейная требовательность и делают возможными подобные ужасы. Это отрицать вы не можете. И не можете также отрицать, что вы запираете для живого человека все выходы. Необходимо серьезно и пристально приглядеться к «невидимому». И только тогда, признав всю его силу и неизбежность, возможно прийти к какому-нибудь выходу.

Сергей вскочил на ноги. Сверкнув глазами, он крикнул:

— К чему вы все это говорите?! Вы Вариною смертью хотите оправдать себя! Да неужели вы не чувствуете, какая разница между нею и вами? Из ее смерти возникает громадный вопрос, — да, громадный и ужасный по своей серьезности. Но вы к этому вопросу и боком не прикасаетесь!

Токарев замолчал, сбитый с позиции, не зная, что возразить. Упавшим голосом он заговорил:

— Хорошо! Скажем, вы правы. Я не хуже вас вижу разницу между нею и собою. Но вдумайтесь немного в то, что я вам скажу. Слушайте. Я — обыкновенный, маленький человек. Мне судьбою предназначено одно: жить смиренно и тихо, никуда не суясь, не имея никаких серьезных жизненных задач, — жить, как живут все кругом: так или иначе зарабатывать деньги, клясть труд, которым я живу, плодить детей и играть по вечерам в винт. Но, видите ли, в жизни каждой, самой болотной, души бывает возраст, когда эта душа преображается, — у нее вырастают крылья. Если окружающие обстоятельства благоприятствуют, то ее смутные, неопределенные порывы оформляются в стремление к ясным идеалам. И человек идет за них на борьбу, на гибель и не может понять, как можно жить, не ища в жизни смысла, не имея всезахватывающей жизненной задачи. Проходит несколько лет. Крылья высыхают и отваливаются, и сам человек ссыхается. Все недавнее становится для него совершенно чуждым и мертвым. И вот я теперь нахожусь как раз в таком положении. Но суть в том, что

это прошлое уже отравило меня, — я ужасаюсь пустоты, в которую иду, я не могу жить без смысла и без цели. А крыльев нет, которые подняли бы над болотом...

Слава вере, нас сгубившей,
Слава юности погибшей,
Не запятнанной позором...

Да, я с горячим страстным чувством вспоминаю ее, эту честную юность. Но слава ее схоронена, потому что схоронена сама юность, и ее не воскресить... Где же найти основание, на которое я мог бы теперь опереться? Что может мне дать силу жить человеком? Философия? Религия? Из меня выкатывается душа, понимаете вы это? Душа выкатывается!.. Как ее удержать? Нет таких сил в жизни, нет таких сил в идеях и религии... Вся сила лишь в чувстве. Раз же оно исчезло, — то вздор все клятвы и обеты, все самопрезрение и тоска... Что же мне делать?

Сергей брезгливо ответил:

— Это — ваше дело! К сожалению, я вам помочь ни в чем не могу.

— О Сергей Васильевич! Не относитесь к этому так презрительно! Уверяю вас, все это очень близко касается и вас самого! Еще сегодня вы говорили о том, как всякое колебание барометра отражается на вашей душе. Неужели вы думаете, что только один барометр обладает такою удивительною силою?.. Нет, Сергей Васильевич, вы так же, как и я, уж целиком находитесь во власти могучего «невидимого». Вы вот настойчиво проповедуете радость жизни и силу духа, а сами живете в темном мире нервной тоски и безволия. Вы утверждаете, что человек должен действовать *из себя*, что в таком случае он откроет в себе громадные богатства души, а все ваше богатство заключается лишь в поразительной черствости, самоуверенности и самовлюбленности. Только покамест все это скрашивается молодостью. А пройдет молодость, — что от вас останется? Мы с вами одинаковые банкроты, мы одинаково слишком бедны и больны душою, чтоб расплатиться с громадными требованиями нашего разума... Есть другие люди, здоровые и сильные, люди нутра. Их можно убить, но невозможно расколоть надвое. Для них мысль, тем самым, что она — мысль, есть в то же время и действие... Вот вам тот человек, которого мы видели тогда у Варвары Васильевны. Мне

кажется, такова и Таня. Ничего, что она так неразвита и узка,— в этом-то и есть ее сила!.. А наше с вами дело проиграно. Я это уже сознаю, вы еще не сознаете. Но недалеко время, когда перед вами встанет тот же вопрос... И над трупом Варвары Васильевны нужно этот вопрос решить честно и серьезно.

Сергей злобно и болезненно усмехнулся.

— Ох, как вам хочется этого «честного» решения!.. Извольте, вот оно, по-моему: примиритесь с вашим «невидимым», полезайте назад в болото и благоденствуйте на здоровье. Вам ведь ужасно хочется этого решения. Но меня оставьте в покое. Будьте уверены, живым я в болото никогда не попаду!

Токарев молча махнул рукою. Он сидел на пригорке, охватив колени руками, и смотрел вдаль. Глухая, неистовая ненависть к Сергею охватила его: Сергей насмешливо и злобно подчеркнул то, чего именно и хотелось Токареву. Ну да, он именно и хотел, чтоб за ним было признано право жить таким, каков он есть,— где же другой выход? Сергей этого выхода не хочет признать... Хорошо! — подумал Токарев, охваченный тоскою и дрожью.

Он хрипло сказал:

— Господи, какая ночь тяжелая!.. Сергей Васильевич, сделайте одолжение, принесите мне воды из ключа. У меня так кружится голова,— мне кажется, я сейчас упаду... Она здесь недалеко, за бугром... Хоть в фуражку мою зачерпните, она суконная, не прольется... Ради бога!..

Сергей внимательно взглянул на Токарева и медленно ответил:

— Давайте фуражку.

Он исчез за бугром. Токарев быстро вскочил и огляделся. Сырая, серая стена дождя бесшумно надвигалась в темноте и как будто начинала уже колебаться. Кругом была глухая тишь, у речки неподвижно чернели странные очертания кустов. Молодая лозинка над головою тихо шуршала сухими листьями. Безумная радость охватила Токарева. Он подумал:

«Ну, получай свое решение!» — и стал поспешно распоясываться. Он был подпоясан вдвое длинным и крепким шелковым шнурком.

Волнуясь и спеша, Токарев дрожащими руками сделал на шнурке петлю и дернул ее, испытывая крепость. Петля была крепка. Он радостно улыбнулся, поднялся

на цыпочках и стал привязывать петлю к суку лозины.
— Получайте ваше решение, Сергей Васильевич!
И он представил себе воротившегося Сергея перед его трупом на лозине.

Вдали раздался шорох, как будто шаги. Токарев вздрогнул, отскочил от дерева и стал вглядываться. Нет, все было тихо. Сергей так скоро не мог вернуться. Это, должно быть, пробежал внизу Сбогар.

Медленно раскрывались внутренние глаза. Вдруг сверкнула мысль: «Что я такое делаю?!»

Токарев остановился и глядел на черную лозину, как будто только что проснулся от дикого кошмара... С потревоженной лозины медленно и бесшумно падали на землю желтые листья. Все было необычно и ужасно: и лозина с бесшумно падающими листьями, и недавний разговор, и его намерение.

Он отбросил шнурок и быстро пошел вон из лощины.

От тучи подуло сильным, влажным ветром. По земле зашуршали первые капли дождя. Распоясанный, в развевающейся рубашке, Токарев шагал по колючему жнивью через межи и шел в темноту, не зная куда.

ОБ ОДНОМ ДОМЕ

I

На Гремячем колодце

Мы третий день косили в Опасовском лесу. Был вечер, солнце село. Наш табор расположился на полянке, около лощины. Старики отбивали косы, костры трещали, и синий дым медленно стлался между кустами. Дальние полянки дымилась легким туманом.

Я лежал на склоне лощины, около Гремячего колодца. Перед ужином мы выпили водки, и тяжелая усталость превратилась в приятную истому. Не хотелось шевелиться, сквозь охватившую глубокую задумчивость медленно проплывали чуть создаваемые мысли; в просторном меркнувшем небе загорались звезды, и, казалось, никогда еще в нем не было столько тихой красоты.

Около меня, на пригорке, сидели и разговаривали три девки из нашего табора — Донька Коломенцова, Настасья и Аленка. Внизу был Гремячий ключ, холодный, чистый, как слеза; ручеек журчал в осоке, впадая в цветшую сажалку; на узкой плотине стояли три старые ивы, и над ними светился серп молодого месяца.

Этот ключ, говорят, выбит из земли молнией и обладает целебною силою; на его дне, в чистом белом песке, всегда лежит масса образков и медных крестиков. А сейчас от Доньки я узнал, что и сажалка здесь тоже особенная: на ее тинистом дне лежит труп убитого прохожим солдатом черта. Дело было так: в давнее время шел через нее солдат; над лесом бушевала буря; солдат подошел к пруду и видит: с неба бьет громом в пруд, вода бурлит, а над водою мелькает чья-то косматая голова; как ударит громом — она в воду, а потом опять вынырнет. Солдат стоял за кустом, приложился из ружья, — бац! Стон прокатился по лесу, и голова исчезла под водой. Солдат испугался, думал — застрелил человека, а это Илья-пророк с неба в черта бил, да никак попасть не мог, а солдат ему подсобил.

Тайна этого пруда и ключа настраивала на особенный

лад. И покосившийся крест над ключом, и черная вода в просветах зеленой тины, и старые ивы — все глядело значительно, таинственно и необычно. Ко всему этому странно подходила и сидевшая на пригорке Донька. Стройная, с продолговатым, задумчивым лицом, она рассказывала о загадочных «курдушках», которые водились в амбаре дернопольского лавочника Ивана Леонова. В лице Доньки было что-то удивительно одухотворенное, как бы прислушивающееся, и в то же время болезненное; прошлою осенью с нею было несколько припадков, и она слыла «порченою». Жила она душою в каком-то совсем особенном мире, полном таинственных сил и существ, и эти силы в ее присутствии как бы оживали и для других людей. Я смотрел на нее, и мне казалось: вот, в сумраке летнего вечера, над этим прудом с трупом черта, сидит задумчивая и серьезная Сказка.

Своим медленным грудным голосом Донька рассказывала:

— Он потому и богат, что ему курдуши служат. Тетка Матрена сколько раз видала: как ночь, выйдет с месивом на крыльцо и кормит их.

— Он, что же, колдун, значит? — спросил я.

— Нет, он-то не колдун, а у него отец колдун был; вот, говорят, курдушей этих ему и оставил.

— Да что это такое, курдуши эти?

— А кто ж их знает! Ведь их не увидишь... Один-то раз тетка Матрена подглядела; пошла она с Иваном Леоновым в амбар к нему, мучицы насыпать; отперла дверь, а из закрома какой-то черненький выскочил и — в нору; вроде как бы кошка, только подлиннее и с бородкой. Значит, схоронился от чужого глаза.

— На что ж они ему нужны?

— Как на что? А они ночью по чужим амбарам ходят, хлеб таскают к хозяину; как в каком амбаре дверь без креста, хоть на пяти запорах будь, пролезут... — Донька помолчала. — Раз я их сама слышала, курдушей этих, — проговорила она с медленною улыбкою. — Иду ночью через Дернополье, а они у лавочника в амбаре: у-уу! у-уу!.. Воют. Есть, значит, просят. Так вот тоже, бывает, дворные воют!

— А дворные разве тоже воют? — спросил я. Дворными в наших краях называют домовых.

— Дворные? Ну, как же не воют! Это и в нашей деревне было, у Сергея Чумакова. Он со всем семейством ушел

в Вине, избу заколотил. Так то-то там по ночам дворной выл! Никто на деревне не спал,— боялись. Думали, не собака ли; так нет, не было у него собаки...

Заговорила Настька, рябая и скуластая:

— Не знаю, как Иван Легонов, а вот, девки, Арипка санинская,— это уж верно, что еретица. Ее давно оговаривали, а нынче на святках испытание сделали девки. Как жарили яичницу, воткнули нож под крышку стола, где Аринке сидеть. Сели, значит, яичницу есть, и Арипка села. Вдруг встала. «Тошно!»— говорит, и вышла из-за стола... Сколько шуму было! Тут же жених ее был на вечерке: «А ну тебя, говорит, не стану я с тобой жениться, мне моя душа дороже!»

— Ей отец велел от себя взять, она тому невиновна,— понизив голос, сказала Донька.— Он колдун был, коренщик; стал помирать, а колдовство-то сдать некому; долго мучился, никак не помрет; наконец позвал Арипку, велел ей принять, ну, после того и помер.

— Господи, что ж ей теперь на том свете за это будет? — от глубины души вздохнула Настька.

Донька молчала и задумчиво глядела в темневшую чащу леса.

— Наступит час, придет за нею тот-то...— медленно заговорила она.— Вот как летошний год за одним ненашевским мужиком приезжал, Андреяном Лаврентьевым. Заболел он после водки, все сидят, не спят, молоком его отпаивают. Вдруг в полночь слышат: по дороге из-за церкви кто-то едет на тройке, бубенцы звенят. Подъехали к дому, остановились. Андреян испугался, зачужал, значит, велел огонь под лавку спрятать. Стучат в дверь, хозяева не отпирают,— боятся. Те все стучат. Ну, вышла старуха в сени, спрашивает: «Кто такое тут?»—«Отпирай!»—«Кто такой, кому отпирать?»—«Тебе говорят, отпирай! Мы за Андреяном Лаврентьевым приехали. Он здесь?»—«Нет, говорит, нету, он на ярмарку уехал». Духи и говорят: «Ну, коли его нет, то и дела нет!» И поехали мимо церкви назад... А через три дня вышел Андреян вечерком на гумно и не воротился. Стали искать, видят: лежит под ометом мертвый,— синий, глаза выпучены... Они ведь тоже хитрые, от них не убережешься!

— Слушай, Доня, ну скажи, за что же им брать Арипку? — сказал я.— Ведь сама же ты говоришь, что она не по своей воле колдовство взяла, что ей отец приказал.

— Там этого не спросят.

— Так зачем она брала у отца? Отказалась бы!

— Как откажешься? Кабы он ее спросил. А то — «возьми», говорит, больше ничего.

— А она бы ему сказала: «Не хочу! Сам грешил, сам и расплачивайся! За что же мне-то свою душу губить?..» Ну, ты вот, если бы у тебя отец колдун был, взяла бы ты от него колдовство?

Донька покорно ответила:

— Как же не возьмешь?

Я замолчал. Тут был какой-то совсем особенный нравственный мир, настолько чуждый и непостижимый, что разговор иссякал: темные, слепые силы не отойдут от раз обреченного, и самый высокий подвиг не несет в себе оправдания.

И то, что ответила Донька, были не слова: да, она действительно взяла бы на себя вечную муку и погубила бы себя; и взяла бы не как подвиг, не с душевным подъемом, а покорно и безропотно, как неотвратимую беду.

Нечто подобное ей и предстояло: дом их был очень бедный, мальчиков не было; старших сестер Доньки выдали замуж, и осталась одна Донька. Чтоб «сохранить дом», нужно было выдать Доньку за парня, который бы согласился идти в приемные зятя; иначе, после смерти старика отца, земля, по обычаю, должна была отойти к «обществу». Но Донька была «порченная», и три жениха подряд отказались от нее. О выборе нечего было и думать: кто хочет — приди и возьми ее, только спаси дом. И эта девушка покорно стояла, как рабыня на торгу, и ждала первого встречного, который бы удостоил взять ее. А между тем она любила одного парня из соседней деревни и он был рад жениться на ней, но не мог идти в «зятя».

— Что это, сколько страстей нарасказывали! Жутко будет спать! — вздохнула Аленка, девочка-подросток лет пятнадцати.

Настыка вполголоса пела:

Черная чернобылка во поле стояла,
Во поле стояла, к земле припадала...

Темнело. Серп месяца стал ярче и светил теперь сквозь ивы. Внизу, в осоке, ровно журчал ручей, лягушка подозрительно и испытующе квакнула в сажалке и замолчала.

На берегу, между двумя пеньками, стройная осинка глухо и ровно шепталась листьями.

Настька пела:

Ах ты, мать сыра-земля!

Ты скажи мне всё правду.

Что какая зима будет,—

Лютые ль морозы, иль глубокие снега?..

В теплом, темневшем небе загоралось все больше звезд. От табора донесся голос тетки Соломонида:

— Аленка! Скоро, что ли, спать придешь? Сидишь там... со всякими! До свету, что ль, сидеть будешь?

— Сейчас! — неохотно отозвалась Аленка.

— Вот я тебе «сейчас»! Иди, что ли! А то вожжой пригоню!

Аленка еще посидела, потом лениво поднялась и пошла. Настька улыбнулась:

— «Со всякими»... Тебя, ведьма, омекает!

— Что-то не любит тебя тетка Соломонида, все придирается,— обратился я к Доське.— С чего это?

— Сердится на меня. С осени сердится. И не кланяется. Как помешалась я осенью, сама не помню, что творила: кричу, плачу, всего боюсь. Посадили по одну сторону маму, по другую бату, сижу под образами и молитвы пою... Весною я в Ненашеве у сестры гостила, там баба одна, Пелагея, помешалась, так та образа святые в крапиву швыряла. А я все только молитвы пела... Сижу, значит, пою. А тетка Соломонида подошла к окошку, смеется: «Знать, говорит, дядя Афанасий, твоему корню конец приходит!» А я вскочила с лавки, кричу: «Конец, да не для вас! Прахом пойдет земля, а вам не достанется, колдунам!..» Вот и сердится на меня с той поры, не кланяется. А я чем виновата! Что крикнула, не знаю... Они-то все, конечно, были рады: не возьмет меня никто, земля обществу достанется. А землю у нас все тужат.

— И с чего это, Доська, случилось с тобою? — вздохнула Настька.— Такая здоровая была, а тут вдруг наподи, что случилось!

Доська задумчиво ответила:

— Я вот все думаю, кому бы на работе было испортить? Ведь я на молотье тогда была в барской риге. Некому было испортить, а выказывается порча. Пришла меня крестная проведать, в кармане бутылка со святою води-

цею, камешек иорданский, песочек... Она на порог, а я вскочила, за плечи ее схватила, смотрю в глаза: «Ты что в кармане несешь?»

— Почуяла, значит!

— Да, не иначе как порча. А кто напустил? Разве я свят дух, могу знать?

И ее глаза с робким вопросом устремились в темноту.

— И опять же, отчитали меня. Мама пошла в Еньково, к старухе. С этой старухой каждый год припадки бывали; дала зарок молебствовать,— сняло. А как годом не помоллебствует, опять припадки. Вот, значит, сижу я в избе на полатах, и словно котята у меня в животе ходят, под сердце подкатываются. А как пришла пора, значит, прочитала там старуха восемьдесят две молитвы, поднялась у меня рвота; зеленое что-то пошло, как лягушьи гнезда, а в них головки. И стало легче... Должно быть, порча.— Донька помолчала.— А может, господь покарал. Только уж не знаю,— любя ли, за грехи ли какие?

И опять ее глаза с тем же вопросом медленно устали в темноту. И мне казалось, я вижу, как под этим робким взглядом в сумраке складываются и волнуются смутные, загадочные силы, цепко опутавшие всю жизнь беспомощного человека.

— А что, Донька, ведь не пройдет уж в тебе эта порча! — сказала Настька.— Прежнего цвета уж не будет, кто тебя возьмет?

Донька опустила глаза.

— Федор дернопольский брал... Говорит: ничего, что ты порченная. А только нельзя ему к нам в дом идти, ему бабу к себе нужно.

— Ну вот, бог даст, не найдется тебе жениха, и пойдешь за Федора,— заметил я.

— Нет, где же! Нельзя. Кто меня пустит? Мама больная лежит, бате одному не управиться. Мне на сторону идти нельзя...

Серп месяца скрылся за лесом. Было темно. От сажалки тянуло запахом влажной тины. Осинка на берегу робко шумела листьями.

Она была такая же стройная, как Донька... Эта осинка стоит тут, ее сечет градом, треплет ветром, ребята обламывают на ней ветки, а она стоит, робкая и тихая, и с нерассуждающею покорностью принимает все, что на нее

посылает судьба. Придет чужой человек, подрубит топором ее стройный ствол, и с тою же покорностью она упадет на землю, и останется от нее только сухой, мертвый пенек.

Я лежал на копне. В небе теплились звезды; с поля, из-за кустов, несло широким теплом; в лесу стоял глухой, сонный шум. Тело, неподвижное и отяжелевшее, как будто стало чужим, мысли в голове мешались, и мешались представления. Стройная осинка, стройная Доська, обе робко и покорно смотрящие в темноту... Милая, милая! Сколько в ней глубокого, несознанного трагизма, и сколько трагизма в этой несознанности!

II

Похороны

В конце августа в доме Коломенцовых появился новый человек.

Это был молодой парень, худой и маленький, с землисто-бледным лицом; одет он был по-городски — в пиджак и жилетку. Проезжая по деревенской улице, я не раз видел, как он вместе с Доськой рубил около избы хворост или молотил на току рожь. И странно было смотреть на этого маленького, как будто недоношенного природою человечка рядом со стройною красавицею Доськой, с ее тонкими, сильными руками... Неужели это новый жених?

Однажды вечером я проходил мимо избы Коломенцовых. На пороге, кутаясь в тулуп, сидела старуха — мать Доськи, Мавра, с желтым, мертвенно-сухим лицом и громадным животом. У нее цирроз печени и порок сердца, она уже второй год еле двигается и только в хорошие дни выползает на порог. Поздоровались.

— Как дела у вас? — с любопытством спросил я. Мавра сделала хитрое и торжествующее лицо.

— Батюшка! Женишок новый объявился! — таинственно сообщила она.

— Это тот-то, маленький?

— Да, да, да, да, да... Он, видишь, шпитонок¹, в Туле живет, в музыкантах, — зашептала она. — Значит, прожил у нас недельку, чтоб и ему присмотреться и нам его

¹ Питомец воспитательного дома. (Примеч. В. Вересаева.)

узнать... Нынче утром ушел в Тулу... Приглянулась ему девка-то! Известное дело, сейчас же добрые люди понаказали про нее, ну, а он: «Пустяки, говорит, я этим не антиресуюсь!..» Да ты, батюшка, зайди в избу!

«Вот оно, совершилось!..» У меня тяжело сжалось сердце.

Мы с Маврой вошли в избу. Изба была черная, тесная, как клетушка, с грязным земляным полом. В ней пахло сажею и залежавшимся навозом.

Из риги воротились с молотьбы Доська и ее отец Афанасий. Афанасий был высокий и худой старик, с таким же, как у Доськи, продолговатым лицом, в его глазах было то спокойно-подчиненное, смиренное выражение, какое часто бывает у старых мужиков.

— Он где же играет в Туле? — спросил я Мавру про жениха.

— А там в хору, что ли, в каком. По десять рублей ему платят в месяц... Ученый. Читать может псалтыри над покойниками, все что хочешь. Ростом низменный, а уж то-то разумом умен!

Доська сидела на лавке у окна, с руками на коленях. Она медленно улыбнулась и сказала:

— Чудной такой!.. Деревенской работы совсем не понимает, робливый. Скажешь: «Поди напой лошадь!» — «Она забрыкает!» — «Пригони корову!» — «Она забодает!»

— Плох насчет нашей работы, — согласилась Мавра, — мало понимает. «Я, говорит, мама, только курочек на своем веку и видел...» Раз послал его хозяин дровец порубить, а девка из сарая в щелку и поглядела: отрубил колышек, и к глазам его, — значит, плох глазами, опытности у него в глазах нету... «Вы, говорит, мама, не опасайтесь, я хоть на работу плох, а одним чтением на подани заработаю». Ну а где там! Подань у нас тяжелая!

— Да только ли он глазами плох? Нет ли у него еще какой болезни? — спросил я, вспоминая подозрительно землистый цвет лица парня.

— Господь его знает, батюшка! Нешто мы понимаем? Девка, та вот доглядела: под мышкой справа у него рубаха в желтых пятнах, вроде как бы дрянь выступает из бока... Ну, да ведь не всякому здоровым быть!

— Загублю я себя! — вздохнула Доська, глядя в темный угол избы.

Афанасий поучающе заговорил:

— Нужно, батюшка, так сказать, что и на том спасибо! Горе такое вышло, испортили девку у нас, не берет никто. А сынов-то нету, дома передать некому, видишь? Пропадать приходится дому.

— А сохранить-то, значит, хочется! — объяснила Мавра.— Присватывался тут к девке женишок один, из Дернополья, да не может он к нам в зятя идти, а мы девку отдать не можем: нету сына, надобно зятя добывать.

— Плох паренек, плох, это надо правду сказать! — раздумчиво произнес Афанасий.— Мало пользы от него будет, а что поделаешь? Докуда ждать? Брезгуют девкою, сами видим — с изъязном..

— Отдали бы вы ее за Федора дернопольского. Что вы девку-то губите? — сказал я.— Сами говорите: плох парень, а ведь ей с ним всю жизнь маяться. Пожалели бы дочь!

Мавра скорбно возразила:

— Батюшка, да нешто не жалеем? Уж так-то жалеем! Да что ж поделаешь? Нельзя нам ее в чужой дом отдать,— что с хозяйством станется? Дуры-то мы, дуры, силы мужичьей у нас нету, а не обойдешься без нас в хозяйстве, нужно, чтоб баба была. А от меня, милый, пользы никакой нет, уж второй год лежу... Старик и то иной раз заругается: «Когда ты сдохнешь?» Известно, наше дело христианское, рабочее. Только хлеб задаром жуешь.

Доня недвижно сидела на лавке и задумчиво глядела в угол.

Керосинка без стекла тускло горела на столе, дым копящую, шевелящуюся струйкою поднимался к потолку. По стенам тянулись серые тени. За закоптелюю печкою шевелилась густая темнота. И из темноты, казалось мне, пристально смотрит в избу мрачный, беспощадный дух дома. Он намечает к смерти ставшую ему ненужною старуху; как огромный паук, невидимую паутиною крепко опутывает покорно опущенные плечи девушки...

И мне пришло в голову: не он ли, этот закоптелый, прикованный к печке дух, так возмущающий меня своею тупою беспощадностью,— не он ли один дает все-таки хоть какой-нибудь смысл всей этой непонятной для меня жизни?..

Афанасий вздохнул.

— А как нам вот зятя-то теперь приводить. Нужно

миру ведро вина поставить, чтобы подписали приговор, ветчины выложить на закуску... А капитал у нас вот как тонок! Не вытянем.

В конце августа, в воскресенье, Афанасий обратился на сходе к миру с просьбою разрешить ему принять в дом зятя. Решение вышло ужасное: мир наотрез отказал. Этого, собственно, и следовало ожидать: все томилась безземельем, земли не хватало своим, и безумно было принимать в общество новых членов. Правда, некоторые, соблазняясь предстоящим угощением, заговорили, что следовало бы уважить старика. Но против них решительно и резко восстал Михайло Шестопалов, умный, энергичный мужик, крепко стоявший за «мирские» интересы.

— Не принимаем! Не согласны! — бунтовал он. — Не можем мы землю отдавать чужакам: своим мало!

Афанасий, бледный и смиренный, мял в руках шапку.

— Дозвольте, православные, дом сохранить! — дрожащим голосом просил он.

— Не согласны! — орал Михайло. — Староста! За свидетельствуй: не согласны! Не можем мы землю раздавать!.. Трех зятьев уже приняли, показали дурость свою... Буде! Довольно!

— Верно! Невозможно отдать! — согласился хромой штукатур Арсентий. Он и Михайло вертели старостою и сходом и всегда умели заставить мир принять то, что находили нужным.

— Уж, видно, дядя Афанасий, не иначе, как дому твоему конец нужно сделать, — сочувственно вздыхая, сказал Сергей Сафронычев.

Сход расходился. Мавра, несмотря на холодный ветер, сидела на пороге своей избы. С побелевшими губами и мутными глазами, она растерянно качала головою. Около нее стояла бледная Донька, прижимала к груди руки и неподвижно смотрела на расходившихся по дороге мужиков.

Вечерком Донька прибежала за мною и попросила поскорее прийти: Мавре стало очень худо, и ее уже причастили.

Она лежала на полатях и протяжно охала. Я исследовал ее. Дело было плохо: сердце переставало работать, появился отек легких.

В темном углу, около печки, что-то зашевелилось на земле. Это был Афанасий. Босой, в распоясанной рубахе, он поднялся и, шатаясь, подошел ко мне.

— Барин! Я чувствую! Вот пришел ты к нам, старуху мою хочешь полечить... Дай тебе господь доброго здоровья! Стараешься для нас!..— Старик покачнулся и оглядел меня пьяным взглядом.— Извините! — пробормотал он.— Извините... Простите меня, грешного раба, недостойного!

Он рухнул на колени и прижался лицом к моему сапогу. Донька подошла к нему.

— Батя, оставь! Ляг на лавку!

Она подняла его и повела к лавке.

— Уйди! — вдруг сказал он. Вырвал руку и опять сел на землю около печки.

Снаружи бушевал ветер; с шелестящим шорохом он пронесился по соломенной крыше и глухо ворчал в трубе. Мавра, покрытая тулупом, хрипло стонала, в груди ее клокотало.

Афанасий сидел в углу на своих босых ногах и бормотал:

— Ну, ладно!.. Покорно благодарим!.. Что ж, о чем толк?.. Помирать нам всем нужно... Правильно? Мы все одного бога боимся... А с девки не спросишь. Что девка? — Навоз! Вывез в поле, и нет ее.— Старик помолчал.— Жена! — вдруг грозно позвал он.

Хриплые, длинные стоны Мавры наполняли избу и мешались с шумом ветра. Потом вдруг из ее груди вылетел ясный, чистый, громкий звук и замер. На минуту стало тихо.

Афанасий выразительно повторил:

— Жена!

— Ох! Ох! Ох! — быстро захрипели снова короткие, отрывистые стоны.

— Буде тебе, батя! Сиди! — убеждала отца Донька.

— Уйди! — упрямо сказал Афанасий.

Он поднялся и, вразвалку ступая босыми ногами, пошел к полатам.

— Жена-а! — грозно и протяжно позвал он снова.

— Ну, куда ты? Помирает Мавра, отойди! — сказал я, удерживая его.

Старик остановился передо мною.

— Барин! Я понимаю!.. Подсобить хочешь старухе,— ну, дай тебе бог доброго здоровья!.. А что жалко?

Я говорю: «Дайте дом сохранить!»— а они... Ведь сам избу-то срубил, милый! Любовался на нее, как на красное солнышко!.. А хозяйка знай все одних девок родит... Что же это? Мало я ее учил за это дело?.. Которые померли, которые замуж повываны. Вон девка одна осталась... Ба-арин!..

Он всхлипнул и забил себя в грудь.

— Конец ведь моему дому сделали, что же я теперь буду? Мы ведь не отказываемся, угощение поставим по закону; зачем мы будем против мира капризиться?

С нар опять раздался ясный, громкий крик, и все смолкло. Я поспешил к Мавре. Она агонизировала, грудь тяжело и неровно вздымалась.

Ветер ударил в оконце избы, зазвенел склеенными газетою осколками стекол и взмыл по крыше к трубе. В трубе опять заворчал, и как будто кто-то в ней зашевелился.

Афанасий, взлохмаченный, с красными глазами, сидел у печки, хитро посмеивался и глядел на нас. Вдруг он устремил глаза в землю, лицо его сделалось свирепым.

— Аа-аá! — ахнул он и изо всей силы ударил кулаком в земляной пол.

— Батя, да будет тебе! — увещевала его измученная Донька.

Старик пробормотал:

— Ничего... О чем толк? Землю не прошибешь... Не прошибешь ее, матушку, она все стерпит!..

И с пьяным рыданием он припал к полу.

Донька, бледная, как призрак, сидела на лавке, уронив на колени тонкие руки. А ветер выл на дворе и в трубе, как будто плакал кто-то, — плакал старый, закоптелый дух погибающего дома... И казалось мне — смертью и могильным холодом полна уже изба, идвигающиеся, корчащиеся призраки хоронят что-то, что давало им всем жизнь и смысл жизни.

III

Одинокий

Года через два, в начале сентября, мне снова пришлось быть в этих местах. Я ехал в телеге с одним дернопольским парнем Николаем. Небо было в тучах, на полях

рыли картошку, заросшие полынью межи тянулись через бурые, голые жнивья. На Беревской горе мы нагнали высокого, худого и лохматого старика. Он медленно шел по дороге, опираясь на длинную палку-посох. Заслышав телегу, старик посторонился и обратил к нам худое, продолговатое лицо.

— Дедушка Афанасий, здравствуй! — сказал я.

Он с недоумением прищурил подслеповатые глаза, потом узнал и оживился.

— Здравствуй, батюшка, здравствуй!

— Садись к нам, подвезем!

Старик взобрался на телегу.

Он сильно постарел и оброс, коричневая шея была покрыта сетью морщинистых трещин, седая борода мешалась у висков с нависшими космами мочальных волос.

— Донька-то твоя умерла! — сочувственно обратился я к нему. Я уж слышал, что она неожиданно умерла тою же осенью, когда я ее видел в последний раз.

Афанасий медленно ответил:

— Померла. Который месяц под покров бывает, в этот. В три дня испеклась.

— С чего же это?

— Кто же ее знает! Значит, смерть пришла.

— Как же ты теперь живешь? Один?

— Один, милый, один! — Старик подумал. — Один! — решительно подтвердил он.

— Тяжело тебе одному управляться!

— С чего тяжело? — По тонким губам Афанасия промелькнула юмористическая усмешка. — Лежишь на печке: жив — стало быть, слава богу! Помер — смерть все одна! Чего же мне? Только бы душу сообщить, а помирать все один будешь. Один, а не вдвоем. Помогать никто не станет, — помирать-то!

— Что ж, ты сам и печку топишь и обед варишь?

— Сам. Кому же еще?.. Все один. Ни навить, ни подать некому; навешь сена на телегу — полезай, притаптайвай; а потом опять — скок на землю! — дальше клади... Придешь домой — корову подои, ужин справь...

Старик рассказывал, и на губах играла та же усмешка. Как будто он забавлялся впечатлением, которое должны производить его слова.

— А народ пользуется, — помолчав, заговорил он. — В летошний год связать взяли по двадцать пять копеек

с копны: он, говорят, отдаст! Ему вязать некому. Раньше по двадцать пять копеек брали *сжать* копну, а теперь видишь ты,— *связать!*... хреста нету. А не связал,— так и едут по твоему хлебу, нет, чтоб на межу своротить... «А он зачем, говорят, не убирает?» Всю рожь в землю втопчут.

Афанасий задумался.

— Намедни на работе был, прихожу домой: дверь изнутри на засов замерта, окно высадили. Топор скрали, недоуздок, хомут. С кого спросишь? До чужого никому дела нет. А сам нешто доглядишь? Все один. А двадцать-то рублей в год на подани отдай. На то не глядят, что борода чалая. Под окошко батожком: стук, стук! «Дедушка Афанасий, неси подань!»

Он молча стал глядеть на далекие, подернутые дымкою жнивья, и в его взгляде была смиренная, нерассуждающая покорность. Мне вспомнилось,— совсем таким взглядом два года назад смотрела в летний сумрак Доська над Гремячим колодезем.

— Ну, тут слезать мне,— сказал Афанасий.— Вам кругом ехать, а я напрямик пойду, оврагом. Спасибо, батюшка, будь здоров!

Он слез и, опираясь на свою длинную палку, пошел к оврагу, за которым серела деревня. Высокий и иссохший, со спутанными, отросшими волосами, он выглядел пустынником, одичавшим в своем безлюдье.

Мой возница, Николай, прищурясь, смотрел ему вслед.

— Из волости идет, в холодной отсиживал,— сказал он.

— За что?

— За что? За подань! Что ж он справить может, такой-то? Где ему землю оправдать? Зажился дедка, чужой век живет! — неодобрительно прибавил Николай.

Вечером я вышел на крыльцо. Небо было в густых тучах, в темноте накрапывал теплый дождь. За ручьем мигали редкие огоньки деревни. Я вглядывался в нее, старался различить избу Афанасия. Но ничего не было видно. Только черные тучи медленно клубились над деревней, и между ними виднелись пятнистые, мутнобледные просветы неба.

Этот старик сидит теперь в своей пустой избе. В ней пахнет холодной сажею. За нетопленную печкою ежится

в темноте затравленный, одичавший дух дома. А с улицы на развалюшку избу холодно и враждебно смотрят избы, крепкие сознанием своего права на жизнь.

Черные тучи клубились и вздымались над деревнею. И казалось мне — огромный темный дух наклонился над избою Афанасия. Тяжелою рукою он сдавил горло приникшего за печкою «дворного» и душит его — медленно, спокойно и беспощадно.

1902

ВСТРЕЧА

Пароход шел полным ходом. Земский статистик Вязов сидел на кормовой части верхней палубы и читал «Статистику и обществоведение» Майра. Он сидел сторбившись, весь ушел в чтение и не глядел по сторонам. А пароход подходил к слиянию Волги с Камой и заворачивал на юг. Солнце садилось, на волжских горах лежала тишина.

Вдали забелел встречный пароход. Чуть слышно донесся свисток. В ответ ему над крышей палубы раздался могучий, протяжный рев и коротко оборвался. Берега вдруг ожили, тишина всколыхнулась. Ожили горы, ожило все за горами, берега, гулко и весело перебивая друг друга, стали перекликаться над молчащею рекою. Вязов поглядел по сторонам. Поглядел раз, другой,— сунул Майра в карман пальто и подошел к перилам.

Отзвуки замолкли. Тишина медленно поднималась от реки и захватывала берега. Над горами горела нежно-золотистая заря; сзади Кама вливалась свою темную струю в буро-желтую Волгу. А впереди открывался широкий водный простор,— широкий и вольный, далеко в голубую дымку раздвинувший чуть видные берега. В слабом ветре слышался запах цветущих лугов. Вязов стоял, облокотившись о перила. Хотелось так глубоко вздохнуть, чтобы сразу вобрать в грудь весь воздух. Хотелось вытянуть руки и медленно опуститься на колени, преклониться перед великим, тихим простором и благодарить его за то, что он есть. И странно было, что сзади, на пароходе, разговаривали и смеялись, что за песчаною отмелью, под темневшею горою, две лошади спокойно и лениво щипали траву, махали хвостами...

К перилам, оживленно разговаривая и смеясь, подошли две дамы и господин. Все были одеты изящно,—

видимо, из публики, первого класса. Одна дама была пожилая и полная, другая, барышня,— тонкая и стройная, с бойкими глазами. Господин держался со спутниками особенно почтительно и предупредительно,— должно быть, они только тут, на пароходе, познакомились. На нем был легкий летний костюм, вместо жилетки — широкий пояс; на голове спортсменская шапочка.

Весело улыбаясь, господин рассказывал:

— Приехал я в Баку, выхожу из вокзала. Извозчиков не видно, только стоит несколько амбалов... А амбалы — это персы-носильщики; забитый народ, жалкий, за несколько копеек делают работу такую, что смотреть жутко. Идет, например, по улице и несет на спине — рояль! Один несет. Это — вьючные люди, и на них все смотрят, как на животных... Так вот, стоит несколько амбалов. Один говорит мне: «Гаспадын, дай панэсу!..» Извозчиков нету.— «Что ж, говорю, неси!» Взобрался к нему на плечи, закурил папироску и поехал. Приехал к знакомым. То, другое. Между прочим, говорю им: «Я к вам приехал по восточному обычаю». — «По какому восточному обычаю?» — «Верхом на амбале»... — Хохот! Никакого, оказывается, такого обычая нет. То-то думаю, все на меня на улицах обирались с таким удивлением!

Дамы рассмеялись. Молодая сказала:

— Господи, как бы я хотела увидеть вас в таком виде!.. Зачем же он предложил понести вас?

— У меня, видите ли, был в руках маленький сверточек. А если прохожий хоть пару апельсинов в руках держит, они пристают: «Дай, понесу!»

— Ах, хороши вы были верхом!

— Да... проехался — «по восточному обычаю»...

Вязов, насупившись, стоял у перил и смотрел вдаль. В голосе и в манерах рассказчика что-то казалось ему знакомым.

Барышня устала смеяться и вздохнула.

— Какой вы веселый человек! Должно быть, вам очень легко и приятно жить на свете... Скажите, пожалуйста, как вас зовут?

Господин поднял брови и вздохнул.

— «Что в имени тебе моем?» Я — испанский гранд, путешествующий инкогнито.

— Ого!

— Да-с...

Вязов встретился с ним взглядом. В глазах господина мелькнуло что-то, как будто и Вязов показался ему знакомым.

Барышня сказала:

— Ну, синьор, пойдете на нос: тут от трубы несет дымом.

И они ушли.

Вязов медленно прохаживался по палубе. Он вспомнил, кто этот господин. Студентами в Москве, лет тринадцать назад, жили они в общежитии в соседних комнатах. Сосед был математик, звали его — Алексей Смирницкий. Он усердно зубрил лекции, но любил также бывать в обществе и очень увлекался оперой.

За горою догорала заря, спускались сумерки. На встречу Вязову от носовой части палубы поспешно шел Смирницкий. Он шел своею характерною походкою, по которой Вязов сразу узнал бы его, — мелкими шажками, ступая носками в стороны и слегка размахивая назад руками.

Улыбаясь, он остановился перед Вязовым и сказал:

— Николай Петрович, ведь это, брат, ты!

— Я, Алексей Алексеевич!

— Вот встреча! Голубчик! Ну, здравствуй, здравствуй!

Смирницкий поспешно обнял Вязова, они три раза поцеловались накрест.

— Вот, брат, не ожидал! — заговорил Смирницкий. — Ну, как ты, что? Куда едешь?.. погоди-ка, не выпьем ли мы с тобою вина? Ты что пьешь, — вино, пиво?.. Человек!

Они сели за столик на палубе. Смирницкий заказал бутылку бордо.

— Да, вот и встретились! — сказал он, потирая руки и улыбаясь. — Ну, что ты, как? Рассказывай.

— Да что рассказывать? Работаю по статистике...

— А помнишь наше первое знакомство? — прервал Смирницкий. — В кухмистерской, на Драчевке? Подали нам бульон: тепленькая водица, а по ней — кружочки жира. Ты катаром желудка, что ли, страдал, — сидишь и уныло снимаешь ложкою жир. Я тебе говорю: «Вы уподобляетесь тому ловеласу, который вздумал бы смыть румяна с уличной красавицы, — что от нее тогда

останется?» Ты рассмеялся, и мы разговорились... Помнишь?

— Да, да... Припоминаю.

— «Как ловелас, который вздумал бы смывать румяна с уличной красавицы»,— повторил Смирницкий и засмеялся.

— Собачья была еда... Ну, расскажи, а ты что поделываешь? Куда едешь?

— Служу я учителем математики в Москве, в гимназии, а еду... Уж прости, брат, не смейся — в Персию!

— В Персию?

— В Персию, брат, в Персию! — подтвердил Смирницкий, как будто рассказывал смешной анекдот.— И еще весь букет-то в том, что и дела-то у меня там никакого нету, а так себе еду...

Человек принес вино. Смирницкий налил его в стаканчики.

— Будь здоров! — сказал он, чокаясь.— Ну, а ты куда едешь?

— В Самару. Сейчас, брат, я человек свободный,— с легкой улыбкой заговорил Вязов. Он собирался рассказать, как они всем составом вышли из бюро рязанского земства. Но Смирницкий опять прервал его.

— Раз в Москве, когда я еще студентом был, приехал ко мне погостить из Курской губернии дядюшка, лесничий. Лет ему было за пятьдесят, любил выпить и покушать. Повез я его к Яру, возвращаемся оттуда в два часа ночи, с нами еще один студент земляк. Проезжаем мимо Большого Московского,— электрические фонари у подъезда... Дядюшка посмотрел, мигает нам на трактир: «Господа! Молодости свойственно увлекаться... Давайте увлечемся!..» И воротились мы домой только в пять часов утра. Вот так и мы с тобой,— давай-ка увлечемся!

Смирницкий снова налил стаканчики. В сумерках вино казалось черным, как чернила.

— Ну, я все болтаю... Рассказывай же, голубчик,— как ты поживаешь? Служишь, значит, в статистике?

— Да,— неохотно ответил Вязов. Он увидел, что Смирницкий весь полон только собою.— Вязов обиделся, и у него пропала охота говорить.

— Мм...— Смирницкий запнулся.— Женат?

— Женат.

— И дети есть?

— Трое.

Смирницкий крикнул. Он снял картузик и провел рукою по лысеющей, коротко остриженной голове. Вязову бросился в глаза его лоб, — очень большой, широкий и странно плоский.

— А ты вот в третьем классе едешь, — пробормотал Смирницкий и замолчал. — Скажи... тебе не страшно? — вдруг спросил он, украдкой испытующе взглядываясь в Вязова.

— Чего это? .

— Не страшно было жениться, не страшно жить теперь, женатым?

Вязов удивленно усмехнулся.

— Что такое?

— Вот! Ты смеешься... — про себя сказал Смирницкий, достал папироску и стал закуривать. — А я, брат, до сих пор еще не женат... — Он помолчал. — Черт возьми, ужасно это тяжелая штука... Меня больше всего в жизни тянет к себе семейный уют; как представлю себе — близкая, дорогая женщина, детишки, — так в горле и защиплет. Но скажи, пожалуйста, — как нашему брату жениться? Вот объясни ты мне это, — как? И главное, — для чего? Смотрю я на своих женатых товарищей и постоянно спрашиваю себя: для чего они женились? Днем пять-шесть часов в гимназии; придет, пообедаст, ляжет отдохнуть; потом бегаёт до позднего вечера по частным урокам. Это — водовозная кляча, у которой только одна цель — выработать побольше денег для какой-то семьи, которой он совсем не знает и даже никогда не видит. Квартирка тесная, кухонный чад, — ребята орут, в гостиной на смятом ковре — лошадки и обрывки бумаги, жена в отрепанной блузе. Ведь смысл тут только один, — дать и возрастить государству несколько новых членов, — больше я никакого смысла не вижу. Ты пойми, какая это чепуха! Человек ищет счастья, уюта, женится, вдруг — трах! Результат: запрягайся в тяжелую бочку, надрывайся, забудь жизнь и все лишь с одною целью — чтоб увеличить на несколько человек народонаселение российской империи!..

Смирницкий густою струею выпустил изо рта дым, притушил на пепельнице папиросу и сказал задумчиво:

— А, между тем, ужасно хочется этого счастья, ужасно! Для меня все в жизни концентрируется в этих мечтах. Мне представляется чем-то таким значительным и таинственным это тесное единенье твое с женщиной. Ты, брат,

прости уж, не смейся; мне тридцать пять лет, а в душе у меня отношение к женщине, как у шестнадцатилетнего мальчика. Каждое молодое женское лицо, каждый женский голос вызывает во мне положительное волнение: перед тобою что-то такое необычное, такое милое, поэтическое, и в то же время чуждое. Шорох длинных юбок, округлость груди, овал щек, этот голос, высокий и нежный... Как все далеко и непохоже на нас! Эта медленность движений, мягкие контуры тела, узкая рука с длинными пальцами... Ты любишь балет? — неожиданно спросил он.

— Балет? — переспросил Вязов, сдерживая улыбку.

— Ну да, ты, конечно, скажешь: зрелище для мышинных жеребчиков. Нет, брат, ей богу, это напрасно! Это — чрезвычайно чистое наслаждение, и «вольтерьянцы напрасно проповедуют». В балете как-то удивительно проявляется самое существо женщины, — ее грация, что-то гибкое и мягко ласкающее, наивно-кокетливое, чистое... Ну, да бог с ним, с балетом!.. А вот еще потом это взять — самую тайну зарождения нового существа: этот ребенок, который есть сам по себе и в то же время не что иное, как частица тела моего и ее... Ты пойми, сколько во всем этом поэзии и прелести, и как эта поэзия сразу должна протухнуть в тесной квартирке, пропитанной запахом керосина и подгорелого масла... Я, брат, страшный трус! Меня ужасает это, — ужасает, что придется вести счет каждой копейке, что нужно будет стараться занять в конке место в четыре копейки, что какая-нибудь случайность, потеря заработка, — и наступит нищета. Не чистая и легкая холостая нищета, а нищета семейная, похожая на вонючую помойную яму... И вот, когда встретишься с хорошею девушкою и в сердце начнет что-то загораться, — вдруг все это встает передо мною, и я бегу, — бегу, брат, бегу позорно, как цыпленок от ястреба... «А впрочем, выпьем!» — как говорит мой дядюшка.

Смирницкий чокнулся и поднес стакан к губам.

— Да даже не одно это. Ведь, в сущности, вообще этот семейный уют и любовь — только фантазия. Почему даже на улице сразу можно узнать, что идут муж и жена? Лица скучные, смотрят друг от друга в стороны... Ну, все равно! — вдруг решительно произнес Смирницкий, и по его губам пробежала юмористическая улыбка. Он оживился. — Расскажу я тебе анекдот, который случился со мною в прошлом году. Курьезная штука... Познако-

мился я в Москве с семьей одного помещика, Брянцева. Славные старички; у них сын-студент и... дочь, Вера... Замечай: завязка! «Действие начинает определяться!..» Нужно тебе сказать, что я вообще в обществе желанный гость; шучу, смеюсь, дурачусь; при моем появлении общество сразу, как говорится, «оживляется». У Брянцевых меня полюбили. Весною уезжают, пригласили проведать их в деревне... Вот в начале июня собрался я к ним в Орловскую губернию, приехал. Гостит у них старший их сын; археолог, профессор Казанского университета. Педант сверхъестественный, говорит, как лекцию читает, разговорного языка совсем нет, а только научно-литературный. Сумел внушить и брату-студенту и Вере, что археология «есть вещь, а прочее все — гиль». И вот в доме царит археология: все читают его печатные доклады о раскопках, «Отчеты Археологической Комиссии», ездят с ним на раскопки курганов. Скучища отчаянная, все зевают, но полны почтением к науке. Начал я понемножку разрушать это почтение. Спрашивает у меня старушка Брянцева: «Вы с чем любите утку — с капустою или с яблоками?» Я многозначительно мигну бровями, устремлю взгляд в пространство и отвечаю:

— Видите ли, на этот счет в науке существуют два мнения: старая школа, немецкая, признает утку с капустою, новая, французская, — с яблоками, respective со сливами. Взвесив все аргументы pro и contra, необходимо признать, что немецкая школа безусловно основательнее. Если употреблять антоновские яблоки, то за этим еще можно признать хоть какой-нибудь *raison d'être*, но утка со сладкими яблоками или со сливами — это нечто уж совершенно ненаучное. Это — *contradictio in abstracto*!

Профессор снисходительно улыбается, а молодежь кусает губы, потому что говорю я совершенно тоном их брата.

Вот раз собрался профессор на раскопку кургана, все в доме только об этом и говорят. Мы с Верою и студентом Колей гуляем по саду. Я им рассказал, как «В обществе поощрения скуки» Пальерона подающий надежды юноша-археолог полюбил девушку, спешит к ней на свидание; мать останавливает его: «Куда ты, ведь сегодня твой доклад о курганах!» А он: «Какие там курганы!» — и убегает... Сознались оба, что, действительно, эти курганы скучноваты. Решили мы, вместо раскопок, устроить пикник. На следующий день профессор уехал на раскопки

один, а мы закатились в лес. Захватили с собою стариков, чудесно провели время: пели, дурачились, собирали ландыши,— вроде как бы освобождение праздновали от вавилонского пленения. Вечером собрались домой. Я ехал в шарабане с Верою. Тут мы уже не смеялись, стали говорить по душе. Солнце садилось, из-под дубовых кустов смотрели незабудки. Под соломенную шляпой с белой лентою, Вера шурилась от солнца, на щеках золотился нежный пушок, и во всей ее фигуре было что-то такое милое, детски-покорное, прислушивающееся. С таким лицом она раньше слушала лекции брата-профессора. А из леса, друг ты мой, тянет ароматами, соловьи щелкают.

И в воздухе за песнью соловьиной
Разносятся тревога и любовь...

И что-то тут случилось невидимое. Что-то незаметное, скрытое вдруг распахнулось... Когда мы в сумерках приехали домой, я ей протянул руку, чтоб помочь слезть с шарабана, она взглянула на меня... И стала она мне близкой-близкой, и по душе пронеслась весна...

Сели мы за вечерний чай. Профессор уже приехал с раскопок, сидит,—молчаливый, сердитый,— и ест. Съел яйца всмятку, котлету, простокваши, выпил стакан чаю. Наконец, за вторым спрашивает:

— Ну, как ваш пикник? Удался? Где были?

Всё ему рассказали. Я спрашиваю:

— А как ваши раскопки?

— Очень удачно! Сняли с кургана пласт в пол-аршина, нашли пепел.

— Пе-пел?

— Да.

Я помолчал,— кусаю губы, чтоб не расхохотаться. Невинно поднял брови:

— А в пепле что?

— В пепле? Ничего.

Нахмурился и отвернулся. Мою взбунтованную молодежь душил смех.

— Смерили глубину слоя пепла, пространство, им занимаемое,— заговорил профессор, но обращается уже не ко мне, а к брату-студенту.— Это значит, что был костер. Завтра пойдем дальше, вероятно, найдем костяк... Ты, Коля, поедешь завтра?

Студент мнется.

- Да ведь я уж видел раскопки.
- Костяка ты еще не видел.
- Я же его увижу, когда ты достанешь.
- Интересно увидеть *in situ*.

Я наклонился к Вере, шепчу ей на ухо: «Какие там курганы!»

Просидели мы за чаем долго. Я чувствовал себя удивительно, словно волна какая-то взмыла во мне, — так и сыпал анекдотами, остротами. Смех стоял непрерывный. Даже профессор наконец начал улыбаться... После чая я упросил Веру петь. Перешли в гостиную. Она села за рояль, перебирает ноты.

— Что вам спеть?

Мы были в гостиной одни. Я говорю вполголоса:

— Что-нибудь, мне все равно! В вашем голосе «Чи-жик» для меня будет звучать Годаром. Вы чувствуете, что я не комплимент говорю?

Вера слабо покраснела, улыбнулась и раскрыла ноты. Свечи ярко освещали ее. Она заиграла; лицо с поднятыми бровями стало робким и внимательным; под прическою, на тонком затылке, вились нежные золотые завитки... Знаешь ты романс Гости «Ninon»?.. Н-ну, бра-ат!.. Запела она:

Ninon, Ninon, que fais tu de la vie?
L'heure s'enfuit, le jour succède au jour...¹

Своим детски-робким, прислушивающимся взглядом она смотрела в ноты, и палевый шелк отливался на пока-тых плечах.

Comment vis tu, toi qui n'as pas d'amour?²

А из сада в раскрытые окна несло запахом сирени, душистого тополя... Ах, разбойница! Ведь выбрала же песню! Что она, знала, что ли, что у меня в душе делается? Так своим голосом у меня в душе и шарила!.. Слушаю я ее и не понимаю, изумляюсь, — как, как, действительно, можно жить без любви? Ведь это безумнейшая нелепость — не отдать за нее всего на свете!.. Закончила она, аккомпанируя слабыми, чуть слышными аккордами:

Ninon, Ninon, que fais tu de la vie?
Comment vis tu, toi qui n'as pas d'amour?

¹ Нинон, Нинон, что делаешь ты со своею жизнью? Часы бегут, день уходит за днем... (фр.)

² Как можешь ты жить, — ты, не знающая любви? (фр.)

Кончила и с тихим удивлением продолжала смотреть в ноты. А я почувствовал, что мне теперь крышка!..

Она много еще пела, больше цыганские романсы, и все это было удивительно...

Ах, улетели волшебные дни,
Не возвратит нам умчавшихся лет!
Впрочем... Быть может, вернуться они...
Хочешь ли ты? Хочешь иль нет?

Знаешь — чистые, девические глаза, девические плечи, все девственное, а в голосе — эта обжигающая цыганская страсть. Чрезвычайно странное и оригинальное впечатление производит... И покоряющее.

Потом мы еще долго болтали около рояля. Наконец разошлись. Вошел я к себе в комнату. Окна раскрыты, за тополями светит месяц, цветущие вишни кажутся окутанными серебристым туманом, в комнате сумрак и запах росистой ночи. И вспомнилось мне:

Ninon, Ninon, que fais tu de la vie?
Comment vis tu, toi qui n'as pas d'amour?

И меня вдруг такая радость охватила, такое блаженство — бешеное, безумное. Я поднял руки к небу, этак в позе Савонаролы, благословляющего народ, и захотелось мне завопить так, чтобы прокатилось по всему большому, тихому саду...

Смирницкий дрожащею рукою взял стаканчик, отхлебнул и взволнованно поставил на стол.

— Ну, а дальше... Понимай, брат, как хочешь... Вдруг я испугался этого блаженства... Ты не поймешь, это трудно объяснить. Не каких-нибудь будущих там обязательств я испугался, нет! Я просто струсил перед охватившей меня безумною радостью жизни. Что она несет с собою? Как возможно для человека такое блаженство? Я не могу тебе объяснить... Ну, как море, — тихое, ясное, ты едешь на лодке, и вдруг, издалека, от горизонта, ты видишь, мчитя на тебя огромный, темный вал... И я... я поспешно начал укладываться. Уж светало, всходило солнце. Я с чемоданом ушел на деревню, нанял лошадей и уехал...

Он помолчал.

— И се бысть мое последнее бегство. Это случилось в прошлом году. А нынешнею весною Вера вышла замуж. И вот, когда я это узнал, я понял, что лучшей жены себе я не мог и желать, что я — дурак, дурак!..

Голос его оборвался, тусклые глаза смотрели с жалким отчаянием. Потом по губам его промелькнула обычная юмористическая улыбка.

— И вот я, неизвестно для чего, в костюме предводителя филиппинских инсургентов, мчусь теперь... в Персию. Нет, ты подумай, ну что мне там нужно? На кой мне черт эта Персия?.. Ты только пойми всю эту чепуху!

Смирницкий засмеялся, и около глаз его что-то судорожно дергалось. Вязов изумленно оглядывал его.

— Да-а, брат, чепухи непочатый угол! — согласился он.

Смирницкий лихорадочно курил. Лицо его непрерывно окутывалось дымом; огонек папиросы вспыхивал в сумраке, двигался зигзагами от рта к пепельнице и от пепельницы ко рту; вдруг, словно наскучив этой бестолочью, взвивался на воздух и летел через перила за борт, а перед ртом Смирницкого загорался новый огонек.

— Любишь ты Чехова? — вдруг спросил Смирницкий.

— Чехова?.. Д-да... Это художник большой.

— «Д-да»... Эх, ты! — Смирницкий с упреком качнул головою. — Какая, брат, силища! Ведь это положительно гений в изображении жизненной чепухи!.. Помнишь ты его рассказ «Страх»? «Вы понимаете что-нибудь в этой жизни? В таком случае поздравляю вас... Я ничего в ней не понимаю...» Ну, а я тоже... Я тоже ничего не понимаю!

Он втянул голову в плечи и развел руками. Вязов с усмешкою сказал:

— Во всяком случае, боишься ты ее изрядно!

— Боюсь!.. Боюсь, боюсь! — Смирницкий растерянным взглядом забегал по перилам палубы и по реке. — И как же брат, не бояться? Ведь все кругом до безумия страшно! Не знаешь, что тебя ждет завтра, кругом — столько зловещих возможностей. Утром, когда только что проснешься, мысль о них наполняет меня таким мутным, беспросветным ужасом, что лучше бы уж прямо умереть; вдруг заболеешь и станешь неспособным к труду, вдруг какая-нибудь случайная встреча, недоразумение, — и улетишь на край света... В прошлом году, у этих самых Брянцевых, шел я раз по саду. Сад глухой, заросший. На самом краю запущенной дорожки, у ствола березы, вижу — на земле гнездо, а в нем сидит птичка, — кажется,

жаворонок. Она была совсем под цвет буревшим в траве прошлогодним листьям, я бы и не заметил, если бы не ее глаза,— черные, блестящие, как бисер. Я остановился за шаг,— птичка не снималась. Она сидела на яйцах. Замерла от ужаса, растопырила крылья и неподвижно глядит... Тою же ночью мне не спалось, я вышел бродить по саду и забрел на эту дорожку. Месяц светил сквозь дымчатые облака, было тихо, а по земле шел повсюду непрерывный шорох. В траве, под кустами, в упавших с деревьев сучках,— везде что-то тихо двигалось, ползало, шушало. Чувствовалось что-то таящееся, предательское. И я вспомнил о моей птице: эта пичуга сидит тут на земле,— бессильная, беззащитная,— а кругом шныряет столько сильных, хищных существ... И так мне стало страшно жизни: вот она! Ведь это совершенно верное ее воплощение. Как же тут возможно не сойти с ума от ужаса?

Вязов, прикусив улыбающиеся губы, смотрел на смутный силуэт Смирницкого. Он вспомнил пережитые в жизни передраги и думал о том, насколько они все-таки легче в жизни, чем в ожидании.

Смирницкий продолжал курить. Его серое в сумерках лицо непрерывно окутывалось дымом. Дрожащий огонек папиросы бегал от рта к пепельнице и, взвившись, летел через перила за борт. И Вязову начинало казаться, что перед ним не Смирницкий сидит, а какое-то призрачное, серое и бесформенное существо корчится на стуле в схватках стихийного ужаса. Вот сейчас это существо вскочит, съежится, взвоется на воздух и, стрелой перелетев реку, юркнет где-нибудь на берегу в норку.

Вязов медленно заговорил:

— Знаешь, что я тебе посоветую? Ты человек одинокий, жалованье получаешь солидное. Отчего бы тебе не прикапливать себе на черный день? Все-таки спокойнее бы себя чувствовал.

Смирницкий расхохотался.

— Ч-черт знает, что такое! Ну, брат... Да, впрочем, ты шутишь... А если серьезно говорить,— чем же я в таком случае спасаться буду? Как наступит весна, кончатся экзамены, встряхиваюсь и мчусь вдаль... Ты только спроси, где я не был. С Россией, Европой, Америкой и Египтом покончил, теперь принимаюсь за Азию... Это для меня единственное спасение: ехать, ехать непрерывно, купаться в просторе и в новых впечатлениях... Нужно, чтобы в жизни

было хоть что-нибудь, что заполняло бы ее. Суррогатом такого заполнения мне и служит эта скачка по всему миру. А в остальном, что такое моя жизнь? Пифагорова теорема, закон Мариотта, «объем параллелепипеда равняется произведению его основания на высоту»... И так изо дня в день, из года в год. И главное — жизнь по звонку... О, этот звонок!

Смирницкий тоскливо поморщился. Становилось нестерпимо скучно.

— Чувствуется, что что-то в жизни пропущено, — вяло проговорил он. — Пустота в душе какая-то. Время с каждым годом идет все быстрее. Отношение к людям, — в каждом видишь подмеха. Раньше был этот... идеализм, или, точнее... фантазия, что ли? А теперь осталась одна слякоть. Часто вечером, зимою, начнешь ходить по комнате, — час ходишь, другой, третий... *Ни о чем не думаешь!* Спихватись: о чем я думал? Так, проходил все время, как маятник!.. Ведь это признак душевной старости?

Он вопросительно и с беспокойством взглянул на Вязова. Вязов молчал.

— И ко всему прочему, идет на меня еще новая беда!.. Директор относится ко мне хорошо, каким-то образом засчитал мне четыре года, перескочил я через чин и вскоре получу... статского советника! Понимаешь ты это? Статского со-вет-ни-ка! — в юмористическом ужасе повторил Смирницкий. — Ведь это... это... это че-орт знает что такое! Какая девушка может полюбить статского советника, скажи, пожалуйста!

Вязов с любопытством приглядывался к Смирницкому: да, по-видимому, он все-таки еще собирался быть счастливым, и не считал всего упущенным, и ждал, что впереди у него еще может быть жизнь!..

Оба молчали. Между ними висела тупая, мутная скука. Высказавшийся Смирницкий чувствовал в душе пустоту и глухую неприязнь к Вязову. Он встал.

— Ну, брат, спать пора!.. Прости, что тоску такую нагнал.

Он крепко пожал руку Вязову и пошел к себе в первый класс.

Вязов остался на палубе. Он раза два прошелся из конца в конец, остановился на носу. Совсем стемнело, запад погас. Кругом, в теплой мгле, тянулась необъятная гладь Волги, только слева на горизонте смутно чернела

полоска берега. Тумана не было, с лугового берега тянуло запахом сена. Над черною, кривою осокою поднимался багровый месяц.

В теплой мгле, напоенной летними запахами, по этой необъятной глади, громадный пароход вольно и бесшумно мчался вперед. Вязов стоял, дышал полной грудью, и ему представлялось: там, на берегах, вниз головою забились в темные норки серые жалкие существа и трепещут,— трепещут, боясь всего, даже радости жизни. А пароход так смело и свободно несется среди простора в непроглядную темноту. У Вязова поднимался из глубины груди смех, и он испытывал гордое, эгонистическое удовлетворение от мысли, как чужд сам он тем съжившимся существам: он и окружающий простор были одно, он был в просторе и простор был в нем. Все сливалось в одну здоровую, грубую и общую жизнь.— И главное, это делалось так легко, само собою, без всякого усилия,— и в этом была особенная радость.

1902

МАТЬ

Из записной книжки

Сегодня утром я шел по улицам Старого Дрездена. На душе было неприятно и неловко: шел я смотреть ее, прославленную Сикстинскую мадонну. Ею все восхищаются, ею стыдно не восхищаться. Между тем бесчисленные снимки с картины, которые мне приходилось видеть, оставляли меня в совершенном недоумении, чем тут можно восхищаться. Мне нравились только два ангелочка внизу. И вот,— я знал,— я буду почтительно стоять перед картиною, и всматриваться без конца, и стараться натащить на себя соответственное настроение. А задорный бесенок будет подсмеиваться в душе и говорить: «Ничего я не стыжусь,— не нравится, да и баста!..»

Я вошел в Цвингер. Большие залы, сверху донизу увешанные картинами. Глаза разбегаются, не знаешь, на что смотреть, и ищешь в путеводителе спасительных звездочек, отмечающих «достоинное». Вот небольшая дверь в угловую северную комнату. Перед глазами мелькнули знакомые контуры, яркие краски одежд... *Она!* С неприятным, почти враждебным чувством я вошел в комнату.

Одиноко, в большой, идущей от пола золотой раме, похожей на иконостас, высилась у стены картина. Слева, из окна, полузавешенного малиновою портьерою, падал свет. На диванчике и у стены сидели и стояли люди, тупо-почтительно глаза на картину. «Товарищи по несчастью!» — подумал я, смеясь в душе. Но сейчас же поспешил задушить в себе смех и с серьезным, созерцающим видом остановился у стены.

И вдруг — незаметно, нечувствительно — все вокруг как будто стало исчезать. Исчезли люди и стены. Исчез вычурный иконостас. Все больше затуманивались, словно стыдясь себя и чувствуя свою ненужность на картине, старик Стикс и кокетливая Варвара. И среди этого тумана

ярко выделялись два лица — Младенца и Матери. И пер- их жизнью все окружающее было бледным и мертвым. Он, поджав губы, большими, страшно большими и страш- черными глазами пристально смотрел поверх голов вдаль. Эти глаза видели вдаль все: видели вставших на защиту порядка фарисеев, и председателя-друга, и умывающего руки чиновника-судью, и народ, кричащий: «Распни его!» Да, он видел этим проникающим взглядом, как будет стоять под терновым венцом, исполосованный плетью с лицом, исковерканным обидою, животною мукою, как там, через несколько зал, на маленькой картине Гвидо Рени...

И рядом с ним — она, серьезная и задумчивая, с круг- лым девическим лицом, со лбом, отуманенным дымком предчувствия. Я смотрел, смотрел, и мне казалось: она живая, и дымка то надвигается, то сходит с ее молодого милого лица... А в уме бессмысленно повторялось начало прочитанной внизу надписи.

«Fese Rafacello a'monaci neri...»¹

Из мертвого тумана женский голос спрашивал по- немецки:

— Что это там внизу, яйцо?

Мужской голос отвечал:

— Это папская тиара.

А дымка проносилась и снова надвигалась на чистый девический лоб. И такая вся она была полная жизни, полная любви к жизни и земле... И все-таки она не при- жимала сына к себе, не старалась защитить от буду- щего. Она, напротив, грудью поворачивала его навстречу будущему. И серьезное, сосредоточенное лицо ее говори- ло: «Настали тяжелые времена, и не видеть нам радости. Но нужно великое дело, и благо ему, что он это дело берет на себя!» И лицо ее светилось благоговением к его подвигу и величавою гордостью. А когда свершится подвиг... когда он свершится, ее сердце разорвется от материнской муки и изойдет кровью. И она знала это...

Вечером я сидел на Брюлевской террасе. На душе было так, как будто в жизни случилось что-то очень важное и особенное. В воздухе веяло апрельскою прохладой, по ту сторону Эльбы береговой откос зеленел весеннею трав

¹ «Сделано Рафаэлем для черных монахов» (ит.)

кою. Запад был затянут оранжевою дымкою, город окутывался голубоватым туманом. По мосту через Эльбу, высоко, как будто по воздуху, пронесся поезд, выделяясь черным силуэтом на оранжевом фоне зари.

Я сидел, и вдруг светлая, поднимающая душу радость охватила меня,— радость и гордость за человечество, которое сумело воплотить и вознести на высоту *такое* материнство. И пускай в мертвом тумане слышатся только робкие всхлипывания и слова упрека,— есть Она, есть там, в этом фантастическом четырехугольнике Цвингера. И пока она есть, жить на свете весело и почетно. И мне, неверующему, хотелось молиться ей.

Темнело. Я шел через площадь. На небе рисовались два черные, как будто закоптелые шпица церкви св. Софии. Вот он и молчаливый Цвингер. Окна темны, внутри тишина и безлюдье. И мне стало странно: неужели и в той комнате может быть темно, неужели ее лицо не светится?

ПЕРЕД ЗАВЕСОЮ

Началось это под вечер, после обеда. На террасе дачи играли квартет Гайдна «Семь последних слов Христа». Мы сидели на скамейке под соснами. Пахло смолою. Бор тихо шумел, и казалось, над головами медленно волнуется сухое море. За поляною, на крутом берегу Оки, серел в дымке городок. Над скученными маленькими домиками высоко поднимались белые церкви.

В звуках, несшихся с террасы, росла и разворачивалась огромная драма. Чужилось близкое веяние смертных мук. Великая душа боролась с их унижающей силою, побеждала ее и вновь изнемогала. На фоне сухих, колющих звуков пиччикато звучало скорбное: «жажду!»— и последний смертный вопль тонул в грохоте землетрясения, и в ужасе содрогалась природа перед гибелью творящей жизнь силы, которую жизнь же уничтожала.

— Еще! Еще раз!

Они начали снова. И снова разворачивалась жуткая драма и казалась теперь еще глубже и значительнее. Кругом становилось все тише. Сухое море в вершинах сосен волновалось все медленнее. Стало странно тихо. Как будто воздух с растущим вниманием вслушивался в то, что рассказывали звуки. Скрипки начали:

«Истинно говорю тебе: ныне же будешь со мною в раю!..»

И вдруг какие-то чуждые, широкие звуки стройно и торжественно влились со стороны в мелодию. Это было неожиданно и удивительно. Что это, откуда? Как будто воздух вдруг таинственно ожил и откликнулся и, пораженный тем, что услышал, заговорил, сам не замечая, в одно со скрипками. «Бо-ом! Бо-ом!»— звучал воздух. И только теперь становилось понятным: в Алексине зазвонили к вечерне, и это звучал колокол. Звучал мерно, уверенно, как раз в такт и в тон музыке.

На террасе засмеялись, музыка оборвалась. Гимна-

зист Сережа, игравший вторую скрипку, в восторге хохотал.

— Заметили, господа?.. Прямо, прямо в такт! Бом, бом, ра-бом, та-ра... Бом!..

— И в тон тебе, как раз в ми-бемоль!.. Маша, слышала?

Кругом смеялись. А колокол вдали сосредоточенно звенел. Он как будто гнушался этим смехом — и серьезный, строгий — один продолжал то дело, которое начал вместе со скрипками. Другие колокола подхватили его голос и понесли вдаль, через реку и боры.

И вот странное что-то произошло со мною. Перед глазами как будто распахнулась невидимая завеса. Все кругом вдруг одухотворилось. Природа и люди слились в единую жизнь. И огромная тайна почуялась в этой общей, всепроникающей жизни. Звуки колоколов, дрожа, плыли вдаль. Тихое, просторное небо наклонялось к ним и ласково принимало в себя. Даль тянулась навстречу. В чаще бора что-то прислушивалось и пряталось в зеленую тьму. Люди смеялись и пошло острили, но на их лицах тоже лежал отсвет этой одухотворившейся общей жизни.

Играть кончили. Мы сидели на террасе за самоваром. Разговаривали, смеялись. Я тоже болтал и смеялся. А в душе было прежнее необычное ощущение, что все кругом живо и что передо мною начинает раскрываться большая, радостная тайна этой всеединой жизни.

Пора было идти. Я простился, переехал на пароме Оку и вышел на большую дорогу. Широкая и прямая, заросшая муравкою, она тянулась меж старых ив и, казалось, вела куда-то бесконечно далеко. Был конец августа. Жнивья стояли голые. Густая сероватая дымка затягивала даль. С запада дул сильный, сухой, удивительно теплый ветер. Он рвался к телу и мягко охватывал его, хотелось сбросить одежды, всем телом отдаться его мягким, теплым ласкам. И теперь вокруг еще сильнее чувствовалась эта близкая, всеобщая и необычайная своєю одухотворенностью жизнь. Ивы грустно бросали ветру свои желтые листья. Полян на межах билась и дрожала, охваченная смутным предчувствием. Глупые сухие былинки на краю дороги весело и шаловливо изгибались. А ветер в безумной тоске припадал к ним и целовал без конца. Чувствовалось прощание надолго. Это лето

прошлось со всем, что оно родило и вырастило, с чем сжилось и на что надвигалась убивающая зима.

В рассказе это было бы, может быть, недурным «поэтическим образом». Но я не мог теперь принять этого как образ. Так несомненно ясно ощущалось живое, действительное чувство в безумных ласках ветра. Так ясно чуялась живая жизнь в природе,— совсем как тогда, когда вечер всею своею глубокою тишиною вдруг откликнулся на то великое, о чем важно и сосредоточенно звонил колокол. И опять за всем, что жило вокруг, смутно чувствовалась какая-то другая жизнь — непостижимо огромная, таинственная и единая. Из нее исходило все. Все ею объединялось. И перед нею смущенно отступало сознание, потому что эта жизнь была совершенно чужда его меркам.

Все жило вокруг. Но что было мучительно,— этой ключом забившей отовсюду жизни я не мог серьезно принять ни умом, ни чувством. А между тем что-то в глубине души страстно тянулось к ней и принимало ее жадно, всю целиком. Стремление это росло из глубины, вздымалось, как дым из расщелины скалы, пьянило и властно охватывало душу... Да почему я должен принимать то, что мне предписывает ум? Пусть он бунтует, пусть разъедает все. Его трезвая правда — это лживая правда белого дня. Есть высшая правда, ею жива вечно обманывающая и вечно чарующая ночь. Ум холодно говорит:

— Нет живой целостности и общности. Все отдельно и самостоятельно. Только мертвая, слепая энергия переливается в бесконечных пространствах и творит разнообразие формы жизни. Живое же единство мира — лишь в твоей голове. Оно — лишь отвлечение и комбинирование полученных ощущений.

И завеса запахиивается. Мир обесцвечивается и распадается на миллионы отдельного. Тускнеют люди и природа.

Но почему же так неудержимо рвется к этому единству душа? Почему хочется широко раскрыть руки перед мировым простором и сказать: да, ты жив! Жив не собранием жизней, а единою, могучею жизнью, способною на великую мысль, на великую радость и скорбь. В этой общей жизни братья мои — и мужик, который пашет там за погостом, и его лошадь, и дуб над оврагом, и облачко в небе. В этой общей жизни — оправдание жизни и ее цель. Падают, сами собою решаясь, самые ее непонятные

и тяжкие загадки. Как можно принять настоящее во имя далекого будущего? Чем может быть искуплено калечение или гибель хоть одной жизни? Как не отчаяться, видя, что твоя «свободная душа» — только тень, бросаема на землю неподвластною тебе жизнью? Все становится радостно понятным, потому что нет ничего отдельного, нет прошедшего и будущего, все заключается в каждом и каждое во всем... Да, здесь и только здесь правда, потому что она дает душе жизнь.

Огненно-красное солнце уходило в буро-серую муть горизонта, эта муть ключьями въедалась снизу в ясный диск. С севера медленно росла желто-серая туча — странная сверху, резко отчерченная от неба, а сама вся ровная, без теней, без контуров внутри, как усыпанная желтоватым пеплом пустыня. Солнце скрылось. В сухом темневшем воздухе носился ветер и покрывал теплыми поцелуями травку, жнивья, деревья и меня. Я стоял, охваченный раскрывшимся передо мною таинством, чувством великой общности со всем, всем, что было кругом.

И как мог я раньше быть так слеп, чтобы не видеть этой проникающей все жизни? А в детстве я ее чувствовал. Я тогда подходил ночью к окну и смотрел в сад. В сумтном сумраке таинственно дремали кусты сирени, на бледном фоне неба шевелились странно живые ветки, и все жило своею особенною, загадочною жизнью. Отбившийся, забредший в сторону, я теперь возвращался к ней, к этой недоступной уму, но покорявшей душу светлой тайне жизни.

Туча на севере росла, захватывала запад и восток. Вверху ее, как жало змеи, быстро и зловеще трепыхнулась молния. Становилось все темнее. И ветер затихал, и туча росла, мигала тусклыми молниями и глухо ворчала. Ветер украдкой осыпал в темноте землю последними поцелуями под замутившимися звездами и почерневшею, тупою, злобно ворчащею тучею. Пушистые былинки детски весело трепетали под поцелуями, не чуя их прощальной тоски. И теплые капли медленно падали с неба.

Великое свершилось в душе. Мир коснулся ее своею бесконечною душою и поглотил, как свет солнца поглощает дневной свет звезды. И не было уже между ними границы. Все мы, с нашими разными мыслями и чувствами, были одно.

Утром я вышел на крыльцо постоянного двора. Из серого неба лил холодный дождь. У канавы болезненно ярко зеленели молодые лопухи. Два мужика в намокших зипунах угрюмо шли к конопляникам. Поля и небо вдали сливались в сырую муть, далеко на дороге бились под ветром придорожные ивы. Я смотрел и, как проспавшийся пьяный, с чуждым, отказывающимся чувством вспоминал вчерашнего себя. Что это вчера было?

Дождь туго и однообразно шумел по траве, по листьям и по моему клеенчатому плащу. Я шел по расклизшей, глинистой дороге, скользил сапогами на промоинах. В дали дороги, в просветах полуоголенных ив, над полями — везде шевелилась та же сырая муть. Где она здесь, вчерашняя таинственная общая жизнь? Ветер с мертвым шумом пронесился по жнивьям. Иззябшие ивы клонились под ним, чуждые ему, ушедшие в себя. Мокрые, порыжелые былинки на краю дороги были такие явно мертвые. Ничему ни до чего нет дела. И мне нет дела до этого мертвого, сырого простора, охватывающего миллионы маленьких, одиноких, ушедших в себя жизней...

И глаза с враждебным вызовом устремлялись в мутную пустоту дали. Да, я сумею ее принять такую, какая она есть. Не сумею — умру. Но не склонюсь перед правдою, которая только потому правда, что жить с нею легко и радостно.

ПРОЕЗДОМ

— Ну, еще раз, прощай!.. Прощай, моя милая, милая!..

Ширяев прижимал к груди голову Катерины Николаевны и целовал ее лоб, где от него отходили мягкие волосы. В просвете между березами, над пчельником, светил месяц. Березы перед месяцем казались черными, а воздух за ними — прозрачно-синим и очень глубоким. Пахло спелой рожью.

Катерина Николаевна подняла голову и шепнула:
— Погоди, идет кто-то!

Они осторожно подались в темноту. Но в саду стояла глухая июльская тишина, и ничего не было слышно. Из темноты высывались лапчатые ветви липового куста, от лунного света они казались серыми.

Ширяев громко сказал:

— Э, трусиха! Никто не идет.

И обнял ее за плечи. Они стояли так в темноте. Он чувствовал сквозь сукно студенческой тужурки, как она прижалась к нему. Обоим было необычно, слегка стыдно и сладко от этой близости.

Катерина Николаевна медленно отстранилась.

— Ну, ждут чай пить, пойдем! А то хватятся нас.— И тихо шепнула на ухо: — Завтра утром я встану тебя провожать.

Улыбаясь, он повторил: — *Тебя.*

— Ты, тебя, тобою, о тебе...— раздельно сказала Катерина Николаевна и с шаловливым вызовом глядела ему в глаза. Оба чувствовали себя, как дети. Хотелось говорить глупости. И Ширяеву радостно было видеть этот детски-шаловливый блеск в ее глазах, всегда серьезных и как будто вслушивающихся.

В конце темной липовой аллеи ярко светились окна дома, слышался говор, смех, звяканье чайной посуды. Ширяев и Катерина Николаевна медленно шли в темноте,

прижавшись друг к другу. И Ширяеву казалось,— никогда еще ни у кого не было такого счастья, как у них.

Они вошли в залу. Он — плотный и слегка сутуловатый, с большою головою. Она — тонка и гибкая, казавшаяся от этого выше его. Все мельком внимательно взглянули на них. Они думали, что никто ничего не замечает, а любовь и счастье так и сияли на их лицах.

Студент Алексей Болотов, брат Катерины Николаевны и товарищ Ширяева, разговаривал с земским врачом Кореневым. Алексей говорил быстро, слегка запинаясь и размахивая руками. А доктор с загорелым лицом и взглядом исподлобья, лениво курил папиросу за папиросой и ворчащим голосом задавал вопросы.

Ширяев прихлебывал из стакана чай и прислушивался к разговору. Доктор расспрашивал Алексея с интересом, но за всеми его расспросами и возражениями чувствовалось что-то тускло-серое и бездеятельно-скептическое. Было странно слушать его, как будто в яркий весенний день он доказывал, что небо обложено тучами и моросит вялый, бессильный осенний дождь. Жена доктора,— худая, с узким, болезненным лицом,— поддерживала Алексея против мужа. Но все, что она говорила, было шаблонно и неинтересно.

В разговор втянулись Катерина Николаевна и Ширяев. И у них, и у доктора, казалось, были одинаковые желания, одинаковые цели. Но, когда о них говорил доктор, его слова были похожи на сухие червивые орехи. А в устах его противников эти же слова становились живыми и горячими, полными волнующего смысла. И двум слушавшим гимназисткам, сестрам Катерины Николаевны, тоже стало странно от осенне-вялого настроения доктора.

Ширяев большими шагами расхаживал по зале. В раскрытые окна тянуло все тем же широким, сухим запахом спелой ржи. Месяц светил сквозь липы, за ними чувствовался вольный, далекий простор. Доктор, сгорбившись, пил крепкий, как темное пиво, чай, непрерывно курил и затушивал папиросы в блюдечке. От окурков на блюдечке стояла коричневая слякоть. Загорелое лицо доктора было темно, как будто от табачной копоти. И так весь он казался чуждым широкому простору, который тянулся за окнами...

Марья Сергеевна, жена доктора, сказала:

— Коля, пора ехать.

Доктор покосился на нее.

— Сейчас.

На помолодевшем и оживившемся лице Марьи Сергеевны играла легкая улыбка победительницы. И доктор самолюбиво чувствовал, что его возражения оказались в глазах всех пустыми и ничтожными.

Он вздохнул и обратился к матери Катерины Николаевны:

— Что ж, Анна Павловна, налейте на прощание еще стаканчик.

— Да куда вам спешить, посидите еще!

Чтоб не дать доктору времени согласиться, Марья Сергеевна поспешно отказалась.

— Нельзя, Анна Павловна, детишки дома ждут. У Фе-ди второй день жарок, мне и то не по себе.

Доктор не спеша помешивал ложечкою в стакане и курил. Он лениво сказал Ширяеву:

— А я к вам как-то, Виктор Михайлович, заходил в Томилинке. В конце июня.

— Это... позвольте!— вспомнил Ширяев:— После обеда вы зашли, сказали кухарке, что будете вечером?

— Да, да.

— Так это вы были... Отчего ж вы меня не вызвали? Ведь я дома был.

— На двор нужно было заходить, а кухарка у ворот сидела.

Ширяев засмеялся.

— А вечером так и не зашли. Я весь вечер просидел, ждал.— Он не прибавил: и ругался, потому что нужно было уйти по делу.

— У приятеля, знаете, просидел. Члена управы. То, се, спохватился,— одиннадцать часов... А вы скоро назад в Томилинка?

— Завтра утром.

Доктор оживился.

— С пассажирским? Слушайте, так поезжайте с нами сейчас! Ведь мы в четырех верстах живем от станции. Поедем вместе, переночуете у нас, а утром ровно к десяти я вас доставлю на станцию. Завтра у меня приема нет, как раз в ту сторону нужно ехать к больному.

Ширяев в замешательстве крутил бородку.

— Не знаю, право...

Ему было куда приятнее провести вечер с Катериной Николаевной. Марья Сергеевна очень обрадовалась.

— Нет, правда, Виктор Михайлович, поедemте! Отлично проедemся. Попьем чайку у нас...

Катерина Николаевна возразила:

— Да у вас и сесть-то негде. Ведь вы на маленькой тележке приехали.

— Ну, пустяки какие! На козлах можно,— сказал доктор.— Хотите, я сяду? А тут, наверно, лошади нужны рожь возить. Что их напрасно за пятнадцать верст гонять! Верно ведь? — обратился он к Анне Павловне.

— Лошади-то тут, положим, ни при чем,— сдержанно ответила Анна Павловна, но Ширяев уловил в ее голосе, что она не против предложения доктора.

Он беззаботно сказал:

— Ну, ладно, все равно!

Марья Сергеевна попросила, чтобы велели запрягать тележку. Катерина Николаевна вышла на балкон. Следом незаметно вышел и Ширяев. Они близко друг от друга облокотились о решетку. Он в темноте положил руку на ее руку и тихо гладил.

— Зачем ты согласился ехать?

— Как было отказаться? Неловко... Эх, хорошо у вас тут. Как хорошо!

Ширяев глубоко дышал. И от запаха ржи в саду, и от садившегося за рекою месяца,— от всего несло счастьем и полною, радостною жизнью.

Лошадей подали. С шутками и смехом все вышли на крыльцо. Катерина Николаевна также улыбалась, но лицо было затуманено.

Тележка проехала спящую деревню, покатила по накатанному проселку. Пыль поднималась из-под колес и стояла в воздухе. По звездному небу бесшумно скользили падающие звезды. Марья Сергеевна оживленно рассказывала Ширяеву про время, когда она служила библиотекаршей в воронежской библиотеке. Ширяев, с тем же ощущением молодости и счастья, слушал ее, оглядываясь вокруг и вспоминал, как с крыльца на него смотрело из темноты отуманенное лицо Катерины Николаевны. В низинах стоял влажный холодок, а когда тележка выезжала на открытое место, из ржи тянуло широким теплом. И звезды сыпались, сыпались.

Была поздняя ночь, когда они приехали. Марья Сергеевна поспешила в детскую, доктор с Ширяевым вошли в кабинет. На письменном столе были навалены медицинские книги, пачками лежали номера «Врача» в бледно-

зеленых обложках. Ширяев, потирая руки, прошелся по кабинету. Остановился перед большою фотографией над диваном.

— Кто это? — спросил он.

На фотографии было снято несколько студентов и девушек. Ширяев узнал доктора в студенческом мундире, с чуть пробивающеюся бородкою, и его жену. Студенты смотрели открыто и смело. Девушки, просто одетые, были с теми славными лицами, где вся жизнь уходит в глаза, — глубокие, ясные. Поразило Ширяева лицо одной девушки с нависшими на лоб волнистыми, короткими волосами; из-под сдвинутых бровей внимательно смотрели сумрачные глаза.

Доктор ответил:

— Это на голоде мы снимались, в девяносто первом году.

Ширяев указал на девушку.

— А это кто?

— Сестра Марья Сергеевны... Не правда ли, замечательное лицо?

— Где она теперь?

— Отравилась... В Якутской области... Да вы, наверно, слышали про нее...

Доктор рассказал мрачную историю, от которой веяло безысходным ужасом. Ширяев вглядывался в непреклонно-гордое, суровое лицо девушки, и ему казалось, — она и не могла кончить добром; тень глубокого трагизма лежала на этом лице. Доктор рассказывал про других участников группы...

Ширяев от глубины души сказал:

— Ей-богу, много на свете хороших людей!

— Много, — согласился доктор.

Вошла Марья Сергеевна.

— Господа, идите, чай готов. Что вы это смотрите? А... Это мы все на голоде снимались. Сестру видели?

— Видел.

— Ну, пойдете!

Они вошли в узенькую залу с бревенчатыми, несклеенными стенами. Марья Сергеевна села за самовар. Ширяев смотрел на ее болезненно-темное, нервное лицо, слушал ее шаблонные фразы. Вспоминал ее молодое лицо на карточке, с славными, ясными глазами. И казалось ему, — что-то тут погибло, что не должно было погибнуть.

Доктор непрерывно курил и пил стакан за стаканом

очень крепкий чай. Марья Сергеевна рассказывала о прошлом времени, о работе на голоде и холере, о своих занятиях в воскресной школе. И лицо ее все больше светлело и молодело. Выражения переставали быть шаблонными.

Во втором часу они разошлись. Ширяева положили на маленькой террасе, выходящей в цветник. На темном небе по-прежнему бесшумно мелькали падающие звезды. Там, далеко наверху, как будто шла какая-то большая, спешная жизнь, чуждая и непонятная земле. От пруда тянуло запахом тины, изредка квакали лягушки. Было душно.

Ширяев разделся и лег. Ему постелили на полу, положив, вместо тюфяка или сена, свернутое вдвое зимнее одеяло. Он лежал, и в голове его проходили образы хороших людей, и ярче их всех — образ девушки, которую он сегодня целовал в саду, среди сумрака, пахнувшего рожью. В ушах стоял тонкий звон вившихся вокруг головы комаров. То там, то здесь кожа начинала гореть, как будто к ней прикладывали тлеющую спичку. Ширяев тер шею и лицо. Комары не унимались. К уху приближался тонкий, уныло-сосредоточенный звон. Ближе, ближе. Замокчал. И Ширяев злобно хлопал себя по виску.

— Черти проклятые! — ворчал он и кутался с головою в простыню.

От подстеленного одеяла пахло нафталином. В детской плакал ребенок. Лягушки на пруде квакали громко и непрерывно, как весною. И сквозь дремоту это кваканье вырастало во что-то громадное и близкое. Ширяев тяжело думал:

«Чего они расквакались? Должно быть, к дождю. А может быть, потому, что лошадь ходит около пруда...»

Комар с злобно-унылым звоном, как будто исполняя надоевшую обязанность, приближался к лицу. Ширяев решительно сбросил одеяло и сел. Светало. Над постелью колыхалось прозрачно-серое облако комаров. За ивами, над прудом, стоял туман. Ширяев нащупал портсигар и закурил папиросу.

Было очень тихо. Далеко на востоке запели петухи. Им откликнулись ближе, пенне росло и медленно, плавно приближалось. На деревне звонко запел молодой петух. Где-то близко, за домом, как будто запоздав и испуганно встрепенувшись, хрипло заорал совсем, должно быть,

старый петух. Отовсюду кругом вперебой неслоь:

— Кикики-ки-и-и!.. Кикики-ки-и-и!..

И дальше, к западу, откликались и начинали петь новые петухи. Как будто невидимый дух плавно летел в тьму запада с вестью об утре, и, почуяв над собою его властный полет, встрепенувшиеся петухи приветствовали вестника. На востоке пение смолкло. Замолкли петухи кругом. Теперь то же напряженное, непрерывное пение было слышно на западе. Оно удалялось и затихало за горизонтом. И представлялось Ширяеву, как эта широкая, предутренняя волна звуков катится по земле все дальше, дальше. И следом за нею плывет тихое утро.

В детской опять заплакал ребенок. Был слышен голос Марьи Сергеевны. Ширяев побоялся, как бы Марья Сергеевна не увидела в окно, что он не спит. Он лег. Выходило солнце, начинало припекать. Комаров стало меньше, но было жарко. В зале на часах жидким жестяным звоном пробило четыре.

Ширяев неожиданно заснул. Проснулся в восьмом часу, с тяжелою, мутно-горячею головою. Солнце пекло прямо в лицо. Он сходил к пруду и выкупался.

На террасу выглянула Марья Сергеевна, в блузе, с бледным, измятым лицом.

— Вы уже встали? Ну, как вам было спать?

— Спасибо, очень хорошо!

— Идемте в залу.— Она устало села за чайный стол.— Сначала долго не могла заснуть,— вчерашние разговоры взволновали. Потом Федя не давал спать. Голова болит теперь.

С террасы с плачем вошла пятилетняя дочка Марьи Сергеевны, Аня. Она морщила пухлые щеки и тянула:

— Ма-ам, меня Костя ушипну-ул!

Марья Сергеевна нетерпеливо сказала:

— Ах, господи! Ну, не плачь!.. Не играй с ним и не будет щипать. Вот, на тебе печеньица.

Она дала ей из сухарницы альбертинку. Вошел доктор.

— А-а, чай сейчас?.. Здравствуйте!.. Я сейчас приду, только на минуту сбегая в больницу.

Он вышел через террасу. Подали самовар. Небо нахмурилось, дверь террасы хлопнула. Марья Сергеевна поморщилась.

— Господи, как голова болит!

Ширяев участливо спросил:

— Часто она болит у вас?

— Э, почти всегда!.. С нянькою боюсь на ночь детей оставлять, самой приходится возиться. Встанешь ночью к ребенку, потом два часа не можешь заснуть. Утром с шести часов в доме начинают подниматься, шуметь,— я уже не могу спать. Не помню даже, когда это было, чтоб я выпалась.

Со двора раздался обиженно-негодующий голос Кости:

— Мама, не вели Ане дразниться!

Марья Сергеевна засмеялась и взглянула на Ширяева.

— Боже мой, какой ужас! Восемилетний малый,— и его Аня обижает!.. Как же она тебя дразнит?

— Говорит: у тебя черный хлеб, а у меня печенье!

— Ты лучше скажи мне, зачем ты ее щипал?

— Я ее не щипал! Она с палочкой играла, палочка сломалась и, наверное, ее ущипнула.

— Вот как! Ну, пожалуйста, чтоб палочка больше не щипалась!

— Пускай она с палочкой не играет, а я тут ни при чем.

Ширяе спросил:

— У вас четверо детей?

— Четверо. И, к сожалению, три мальчика... Я бы хотела, чтоб у меня одни только девочки были. Мужчины всегда гораздо эгоистичнее. В детстве за ними ухаживают сестры, мать. Женятся,— жены. Для них женщины только для того и существуют, чтоб ухаживать за ними.— В голосе Марьи Сергеевны звучало тайное раздражение.— Главное, чтоб не заботиться самим о житейских мелочах: о топке печей, о провизии, о пеленках... Право, удивляете вы меня все. Говорили бы прямо, когда женитесь, что вам нужна экономка и нянька. Ведь в этом для вас вся суть. А между тем вы всегда говорите: «Мы будем вместе с тобою работать на благо людей, развиваться, читать».

Воротился доктор. Он уселся за стол, положил в свой чай сахар и медленно улыбнулся.

— Приходила сейчас баба одна, старуха. «Я, говорит, у тебя вчера была, ты мне поворожил. А назад пошла и потеряла твою ворожбу». Это про рецепт. Вместо того, чтоб в аптечку нашу снести, понесла с собой... Ворожбу!..

До чего дики, бо-же мой! Бьешься, бьешься, — сил нет. Вроде как бы гнус какой висит над тобою эта баба, и притом в огромном количестве. Сотню лет надо поработать, чтобы привыкли. Спасибо еще, земство наше хорошее, не скупится на врачебное дело. Вот больничку новую нам выстроили на восемь коек. На Успенье освящение будет. Приезжайте... — Он взглянул на жену. — Не забыть бы генеральшу на освящение пригласить, княгиню Медынскую.

Марья Сергеевна пренебрежительно повела плечами.

— Для чего этих дам-аристократок приглашать? Очень нужно с ними знаться!

Раздражаясь, доктор сказал:

— Как ты этого не понимаешь? Она жертвовала!

Марья Сергеевна вспыхнула.

— Ну, не понимаю!.. Что ж такого? Почему я не имею права высказать свое мнение? Вот либеральная привычка, — злиться, когда с ним не соглашаются!

Доктор с затаенною враждою взглянул на нее, поспешно сделал безразличное лицо и обратился к Ширяеву:

— Вот вам и хорошая погода! Посмотрите-ка, какие тучи собираются.

Ширяев осторожно спросил:

— А не пора нам ехать?

Доктор взглянул на часы.

— Скоро нужно выезжать. Вели, Маша, запрягать лошадь, — сумрачно обратился он к жене.

Вошел фельдшер.

— Николай Петрович, извините, забыл спросить. Нужно Гавриле клизму ставить?

— Погодите, я сам схожу. Нужно еще посмотреть, не промокла ли повязка у Груньки.

Он ушел с фельдшером. Полил дождь, капли зашумели по листьям деревьев. Ветер рванул в окно и обдал брызгами лежавшую на столике книжку журнала. Марья Сергеевна заперла окно и дверь на террасу. Шум дождя по листьям стал глуше, и теперь было слышно, как дождь барабанил по крыше. Вода струилась по стеклам, зелень деревьев сквозь них мутилась и теряла очертания.

В голове у Ширяева было тяжело. В комнате потемнело. Лицо Марьи Сергеевны стало еще бледнее, болезненнее и раздраженнее. Ширяев видел, как все в ней

кипит, словно кто-то ушиб ей постоянно болящую язву. Он взял со столика книжку журнала, стал перелистывать. Чтоб отвлечь Марью Сергеевну от ее настроения, спросил:

— Видели вы книгу «Проблемы идеализма»?

— Не видела.— Марья Сергеевна помолчала.— И ничего даже не слышала про нее. Где мне теперь читать... А что, интересная?

— Об ней много этот год было разговоров. Мне не нравится...

Он стал говорить о книге.

На дворе дул ветер. Дождь хлестал в стеклянную дверь террасы. За дверью появилась темная фигура доктора с зонтиком. Он постучал в стекло. Ширияев отпер дверь. Марья Сергеевна сердито сказала:

— Что ты все через террасу ходишь? Через каждые пять минут отпирать тебе!

Доктор резко и нетерпеливо ответил вполголоса:

— Ну, хорошо!

— Что — «хорошо»? Вовсе не хорошо! Ходи кругом, через крыльцо... Сыро, сквозит, а ты постоянно через балкон. Только и знай, что вставай, отпирай тебе...

Она продолжала говорить, а доктор с неестественно-безразличным лицом обратился к Ширияеву:

— Да, я вот думал, что хорошая погода надолго установилась. Барометр вчера показывал beau temps. А изволите видеть, что на дворе делается!

Марья Сергеевна замолчала и стала перетирать стаканы. Ширияев смотрел на нее и думал: «Ведь были же, были у нее эти ясные, славные глаза, с какими она снята на группе... Обманывала ли ими жизнь, как она обманывает людей мимолетною девическою прелестью? Или тут погибло то, что не могло и не должно было погибнуть? И почему тогда оно погибло, так легко и так безвозвратно?»

Марья Сергеевна спросила доктора:

— Скажи, пожалуйста, ты видел книгу... Как ее, Виктор Михайлович?.. Да, «Проблемы идеализма»... Видел ее?

Доктор неохотно пробурчал:

— Видел.

Она нервно засмеялась.

— Удивительное дело! А я даже ничего и не знала, ничего даже не слышала про нее!

— Кто ж в этом виноват? — Доктор пожал плечами.

— Вот и подумай, кто в этом виноват... От кого я что-нибудь могу услышать, кроме тебя? Весь день торчу в кухне и детской, забочусь, чтоб тебе обед был вовремя, и чтоб тебе дети не мешали спать после обеда... Откуда же я могу знать?

Доктор нахмурился и тяжело вздохнул.

— Ну, пошло!

— Да, пошло! «Общение», «совместная духовная жизнь»... Какие красивые слова, как приятно употреблять их в умных разговорах! Со стороны можно подумать, какой новый человек, с какими новыми требованиями от брака! А на поверку выходит,— обыкновенный, мягкотелый интеллигент, нужно только все прежнее.

Она говорила нервным, спешащим голосом, как будто нарочно старалась не дать себе времени одуматься. Ширяеву было неловко. В глазах доктора загорался мрачный, неврастенический огонек. Он тоже терял желание замять ссору и не дать ей разгореться хоть при чужом человеке. Враждебно глядя на жену, он спросил:

— Скажи, пожалуйста, при чем тут мягкотелость?

— Нужно только все прежнее. Чтобы жена рожала детей, заботилась о провизии, о дровах и устраивала уют. А чтоб самому спокойно пользоваться жизнью... Господи, настоящие пауки, право! Приникнут к женщине и сосут. И высасывают ум, запросы, всю духовную жизнь. И остается от человека одна родильная машина.

Доктор еще раз раздельно спросил:

— Ты скажи мне,— при чем тут мягкотелость? Ну, укажи мне,— вот я спрашиваю тебя: как иначе устроить нашу жизнь? Сам я не могу заботиться об обеде, потому что мне до обеда нужно принять сто человек больных. После обеда мне нужно поспать, а то я вечером не в состоянии буду ехать к больным. Если я вздумаю следить за дровами и провизией, то не в состоянии буду зарабатывать на дрова и провизию. Ребят мне нянчить тоже некогда... В чем же я могу тебя облегчить? Ну, скажи, укажи,— в чем?

Марья Сергеевна рассмеялась и торжествующе взглянула на Ширяева.

— Вот, вот! Это самое и выходит: будь экономкой, нянькой, и больше ничего!

Доктор с угрюмым вызовом подтвердил:

— Это самое и выходит: будь экономкой и нянькой! Оно так в действительности и есть в каждой семье. Да и не может быть иначе. Только интеллигентный человек стыдится этого и старается скрыть от посторонних, как какую-то дурную болезнь. Почему же этого прямо не признать? Если люди женятся для бездетного разврата, то вопрос, конечно, решается легко. Но тогда зачем жениться? А в противном случае женщина только и может быть матерью и хозяйкой.

Марья Сергеевна насмешливо протянула:

— Вот как!.. Я это от тебя в первый раз слышу.

— Да. И все нынешние... общественные формы, что ли, таковы, что иначе и не может быть. Мы теоретически выработали себе идеал, который соответствует совсем другому общественному строю, более высокому. И идем с этим идеалом в настоящее. А в настоящем он неприменим. И все только мучаются, надсаживаются, проклиная свою жизнь.

Ширяев осторожно спросил:

— Почему же вы думаете, что в настоящем этот идеал неприменим?

— Ну, вот научите меня,— как его применить? Я не знаю. Хотел самым искренним образом, а изволите видеть,— жизнь устроила по-своему. Раз есть семья, необходим свой отдельный угол. Угол, очень сложно управляющийся! Этого только не видно со стороны... Настолько сложно, что нужен один руководитель. Попробуйте-ка, вмешайтесь в распоряжения хозяйки! Что ж выходит? Выходит,— весь вопрос только об обмене ролями между мужем и женой. Потому что одному-то из них все равно нужно сидеть в этом углу. Ну-с, а что же это за решение? Я, по крайней мере, такого решения не принимаю. Не умею ухаживать за детьми. Не умею нянчить их и варить каши. Не умею и не хочу. Инстинктов соответственных, что ли, нет у мужчины. Но только и мать-то ни одна, если в ней есть хоть капля материнского чувства, не согласится на это... Отдельные мужчины, пожалуй, есть такие. Но все они, сколько я их ни видал, с совершенно бабьей натурой, безвольные и бездеятельные... Так вот-с, я и спрошу: как же тут быть женщине? Либо смотреть на детей в семье, как на какие-то злокачественные образования, либо... старая история: не выходить замуж и не иметь детей.

Доктор пожал плечами и взялся за свой стакан. Он

лениво глотал крепкий чай. В маленькой зале сгушался серый сумрак. Ширяев думал: «Уж давно бы пора ехать».

Своим ворчащим голосом доктор нехотя заговорил:

— В будущем, там другое дело. Там решение вопроса ясно. И уж теперь жизнь дает намеки на это решение, особенно за границей. Сложное, трудное управление собственным углом становится ненужным. В домах — центральное отопление. На каждом перекрестке — Дюваль или Ашингер, где вы без всяких хлопот имеете сытный, здоровый стол. Все больше развиваются всякие ясли, детские сады. Все больше сознается, что не мать — лучшая воспитательница ребенка, что для воспитания нужно умение и призвание...

Ширяев решительно сказал:

— Николай Петрович, как хотите, мне нужно на станцию!

Доктор усмехнулся.

— Гос-споди, как он беспокоится! — Он не спеша взглянул на часы. — Чего вы боитесь? Поспееете... Вот еще по стаканчику выпьем и поедем... — Он угрюмо покосился на жену. — Маша, скажи, чтоб подавали лошаадь.

Ширяев с враждою подумал:

«Почему он сам не может сказать? Расселся тут, курит и болтает, а у ней голова болит...» Он сумрачно оглядел доктора и встал.

— Я сейчас скажу.

Лошаадь подали. Доктор набивал портсигар папиросами. Лицо Марьи Сергеевны стало еще бледнее и болезненнее. Она пожала Ширяеву руку.

— Ну, прощайте!.. Вот вы теперь видели, во что обращается через десять лет русский радикальный интеллигент.

Доктор исподлобья оглядел ее и стал надевать пальто.

Сели и поехали. Из низких туч моросил дождь. Колеса тележки скользили по размокшей, глинистой дороге. Доктор сидел в тележке, сгорбившись под зонтиком. Зонтик трясся, и тряслась спина доктора.

Из-за рощи выглянули красно-коричневые стационарные здания с зелеными крышами. Над ними взвился белый дымок. Слабо донесся свисток поезда. Ширяев спросил:

— Это не наш поезд?

— Нет, товарный...

Подъехали к станции. Доктор крикнул сторожу:

— Пассажирский скоро придет?

— Сейчас ушел.

— Да-а, извольте видеть... Вот она какая штука! —

Доктор помолчал. — Что ж теперь делать? Придется вам с почтовым ехать, в десять вечера. А пока идите к нам, — пообедаете, чайку попьете.

Ширяев холодно ответил:

— Нет, я уж тут подожду. Может быть, удастся уехать с товарным.

— Ну, как хотите. До свиданья!

Кучер повернул лошадь. Над забрызганным грязью задком тележки опять затряслась сгорбившаяся под зонтиком спина доктора. Ширяев подумал: «Русак проклятый!»

Он сидел на платформе, подняв воротник пальто. На зеленом фоне деревьев сияли мелкие капли дождя. Было холодно, сыро. В душе лежал противный, мутный осадок, не хотелось вспоминать и думать о виденном... В жизни обычной, ровной, как во всем, к чему не приглядываешься, — вдруг расселась широкая щель. Из нее пахнуло тупым надсадом. Зашевелились темные вопросы... Ширяев старался не замечать их. В памяти вставали мягкие волосы над лбом, тихий шепот среди сумрака, пахнувшего рожью. И он думал: *с ними* — с ними этого не повторится. Люди ищут нового счастья и ждут, что к нему прийти так же легко, как к старому. А жизнь густа, дремуча, и не раздвигается сама собою в гладкую дорожку. Кто хочет новых путей, должен выходить не на прогулку, а на работу.

С неба сеял мелкий дождь. Сырой ветер дул с полей.

В ПУТАХ

Лозинский шел из Публичной библиотеки сильно задумавшись. Вдруг до его сознания дошло, что он только-что, секунду назад, смотрел на милое, близко знакомое женское лицо, что внимательный взгляд украдкой остановился на нем и быстро скользнул в сторону. Лозинский поспешно обернулся.

Она переходила на другую сторону улицы, низко опустив голову. У Лозинского стеснилось дыхание. Он поспешил следом и крикнул:

— Тоня!

Она остановилась, в замешательстве повернулась к нему. Румянец заливал ее щеки, а глаза как будто вспыхнули радостным светом.

Он подошел, взволнованно поправляя на носу очки. Спросил:

— Ты... Ты здесь, в Петербурге?

— Да.

Они растерянно смотрели друг на друга, она краснела все сильнее. Наконец, не глядя на него, сказала:

— А... а вы ведь всё в Москве живете?

Лозинский покраснел и сконфуженно задергал бородку. Он ответил упавшим голосом:

— Да... Сюда я приехал на несколько дней. А вы здесь совсем поселились? — Он тоже перешел на «вы». — Отчего вы мне целый год не писали?

— Я уж год здесь живу.

А на второй вопрос не ответила.

Они замолчали, стесняясь друг друга, не знали, о чем заговорить. Глаза Лозинского стали еще более сконфуженными и жалкими. Он нерешительно сказал:

— Вы меня простите, Антонина Николаевна... Если нельзя, вы прямо скажите. Я здесь всего на несколько дней. Можно как-нибудь зайти к вам?

Она быстро ответила:

— О, да! Я очень буду рада!

И снова глаза ее засветились ласкою.

Лозинский просиял.

— Голубушка, спасибо вам! — Он хотел протянуть руки, чтоб пожать ее руки, спохватился и сдержался. — Когда же можно? Быть может, вы сейчас свободны?

— Да, я... — И вдруг испугалась. — Ах, нет, нет! Сейчас я занята. Лучше вечером сегодня.

— Чудесно! Так я приду... Вы меня и с Петром Петровичем познакомите?.. Я внимательно слежу за его литературною деятельностью. Молодчина, широко шагает!

По ее лицу пробежала тень.

— Я с ним разошлась, — коротко ответила она.

— Разошлись... — Он замолчал; потом робко, боясь сделать ей больно, спросил: — Так вы одна живете?

— Да... То есть, конечно, с сыном... Я уроки музыки даю... Так вы сегодня придете?

— Обязательно приду.

— Я буду ждать. До свидания!

Она крепко пожала его руку, и ему опять почудилась теплая ласка в ее глазах, на минуту остановившихся на нем.

Весь день Лозинский бродил по городу, охваченный светлою радостью. Вечером он звонился к Антонине Николаевне на Васильевском Острове, и его сердце замирало, как у влюбленного мальчика.

Она встретила его сдержанно и холодно. Они сели в кресла у гостинного стола и, как малознакомые, разговаривали о пустяках. Лозинский присматривался к ней, и ему было странно: он так близко знал ее душу, ее чувства и думы, и она знала его, а оба они, с вежливыми, деланно-безразличными лицами, разговаривали как чужие. Его давило это, хотелось разорвать ложь, хотелось сказать: «Тоня, ну, полно же! Ведь между нами было так много, — разве мы после этого можем быть чужими?»

Но ее глаза смотрели намеренно-чуждо, вся она была настороже, словно боялась, как бы он не вздумал переступить через преграду, которая отделяла ее от их общего прошлого. Лозинский видел, что нельзя ее спрашивать и про Петра Петровича, и про то, как она жила эти два года... В печальном недоумении он поправил на носу очки и стал крутить редкую черную бородку.

Стоял рояль, черный и блестящий, над ним висел портрет Чайковского. Лозинский мельком взглянул на рояль,

но сейчас же глаза ее сказали ему, что и играть она тоже не будет. И все более чуждым становилось ее лицо, и он уже с трудом, как сквозь запотелое стекло, различал в нем прежние милые черты.

Лозинский взял себя в руки и оживился.

— А что, сынок ваш уже спит? — Он спросил тоном, каким полагается задавать такие вопросы добрым знакомым.

— Спит.

— Вы мне позвольте посмотреть на него?

Она вспыхнула и растерялась. Но его лицо было равнодушно-любезно, и в голосе не слышно было волнения.

— Пожалуйста!.. Пойдемте!

Вошли в соседнюю комнату. Мальчик спал в железной кровати, рядом с ее постелью. Лозинский с острым, болезненно-жадным любопытством смотрел на ребенка и старался различить в его лице черты ее и того, кого он никогда не видел, и кто разделил их. И ему вспоминалось, как когда-то он так же стоял с нею над другою кроватью, которую сделала пустою смерть.

Лозинский забыл, что доброму знакомому следовало с любезною улыбкою сказать: «какой хорошенький мальчик!» Молча, с понурою головою, он вышел из спальни.

Скуластая чухонка с редкими волосами подала самовар. Антонина Николаевна заварила чай. И так же, как когда-то, она заботливо перетирала посуду, и так же протягивалась к нему со стаканом ее красивая рука с тонкими пальцами. Она спросила:

— Вам ведь два куса сахара, да?

Что-то тепло улыбающееся мелькнуло в ее глазах, и у него на душе вдруг стало, как весною, — и оттого, что она помнила, сколько кусков, и оттого, что не скрывала этого.

Но погасла в глазах улыбка, и опять все стало холодно и чуждо.

И весь остальной вечер прошел натянуто; разговор совсем не клеился. Лозинский становился все задумчивее и печальнее.

Антонина Николаевна вышла провожать его в переднюю. Безучастно спросила:

— Вы когда едете в Москву?

— Через четыре дня.

— Так скоро?.. Ну, счастливого пути!

Она протянула ему руку. Глубокая тень легла на лоб

Лозинского: она его больше не приглашала... Он пожал ее руку.

— Прощайте! — И помолчал, нерешительно поправляя на носу золотые очки. — Все-таки, Антонина Николаевна... Простите меня, но я вас не могу понять. Любовь прошла, — хорошо; но неужели поэтому и все должно пройти? Ведь мы были и друзьями, близкими, тесными. Неужели любовь, сгорая сама, выжигает в душе и всякое другое чувство к человеку, которого мы любили? Я этого не могу понять.

Она опустила голову, теребя свесившийся с вешалки шарф; брови ее поднялись, и лицо от этого стало детским.

— Нет, я... Вы наверно думаете... Я буду очень рада, если вы будете ко мне приходить, когда бываете в Петербурге.

— Я буду приходить, — медленно ответил Лозинский. — До свидания.

Она как будто еще что-то хотела сказать, но ничего не сказала.

Придя к себе в номер, Лозинский прижался лбом к стене и плакал, как плакал два года назад. И чувствовал он, что его любовь сильна и глубока, и что он любит в ней все, хотелось слушать ее и рассказывать ей, и ласкать ее сына; хотелось в темноте целовать ее плечи и чувствовать вокруг шеи ее теплые руки, и чтоб она гладила его по волосам... И все это ушло навсегда.

Лозинский за зиму несколько раз приезжал в Петербург и два раза был у нее, стесняясь бывать чаще. В мае он опять приехал и пошел к ней, мучаясь за свою навязчивость; дружба их не восстанавливалась, Антонина Николаевна держалась отдаленно, и он решил: если и теперь не исчезнет ее странное отчуждение, то дело, очевидно, кончено, и он больше не станет с нею видеться.

Когда он вошел к ней, Антонина Николаевна, как всегда, вспыхнула и, стараясь не дать заметить этого, пошла ему навстречу; но глаза ее на этот раз смотрели радушно и мягко. Она быстро спросила:

— Скажите, правда это, — я вчера случайно узнала, — вам запрещено читать лекции в университете?

— Да.

— И «Московское Обозрение» закрыто?

— Закрыто, — подтвердил Лозинский, и в его глазах загорелись мрачные огоньки.

Он положил на полку вешалки свою измятую фетровую

шляпу и медленно снимал пальто. Пальто было выцветшее, отрепанное, и двух пуговиц на нем недоставало. Антонина Николаевна, колеблясь, украдкой оглядывала пальто. Она спросила:

— Чем же вы теперь живете?

— Э, есть о чем думать! Всегда найду... В «Энциклопедическом словаре» тут предлагают работу...

Она продолжала смотреть на его пальто и вдруг, пересилив себя, словно разорвав что-то, решительно сказала:

— Давайте пальто, я вам пришью пуговицы!

Лозинский удивленно поднял голову и взглянул на ее покрасневшее лицо.

— О, Марфа, Марфа, узнаю тебя! — сказал он, улыбаясь. Она еще больше покраснела и рассмеялась, и он рассмеялся. И вдруг сразу разрушилась преграда, и обоим перестало быть неловко.

— Ну, давайте, нечего! — И, как будто оправдываясь, она добавила: — Ведь, правда, стыдно смотреть. Все-таки вы бывший приват-доцент... С вами стыдно по улице идти.

Радостно смеясь, Лозинский вошел в комнату и сел уже не в кресло, а на стул к окну. Она принесла свой круглый рабочий ящичек и села в кресло шить. Ящичек был знакомый Лозинскому, — ярко-красный и немного облупившийся, с нарисованными на крышке темно-зелеными листьями и травами.

Антонина Николаевна всплеснула руками.

— Подкладка вся порвана, и вот карман один протерся, дырявый...

Лозинский решительно сказал:

— Ну, это не стоит!

— Нет уж! — упрямо возразила она.

Обоим было теперь легко и просто. Лозинский оживленно рассказывал, что на пасхе он две недели работал в деревне в архиве князей Серпуховских и нашел много ценных материалов к истории декабристов. Он рассказывал и смотрел на Антонину Николаевну, как она обрезывала ножницами нитку и, перестав шить, поднимала на него глаза и слушала.

Потом они пили чай, и она кормила манной кашей мальчика. Лозинский играл с ним. Нежные, маленькие пальчики скользили по его лицу и неуверенными движениями старались захватить очки. Целомудренно избегая прикосновения к Антонине Николаевне, Лозинский наклонял-

ся к животу мальчику, рычал и как будто кусал его. Мальчик смеялся неожиданно начинавшимся, перекастистым смехом.

Был десятый час. Антонина Николаевна уложила ребенка и снова села шить. В раскрытые окна несло из нижних этажей кухонным запахом и вареным маслом, но все-таки чувствовалось чистое дыхание весны. С тихого неба лился сумеречный, задумчивый свет. Глубоко внизу, на дворе, играли ребятишки, сбоку у открытого окна сидела горничная и вполголоса пела:

В небе чисто, в небе ясно,
В небе звездочка горит...

Лозинский прошелся по комнате. Антонина Николаевна сказала:

— Готово ваше пальто.

Он, нерешительно улыбаясь, взглянул на нее.

— Теперь вам не будет стыдно пройтись со мною по улице?

Она засмеялась.

— Тогда пойдемте, пройдемся,— предложил он.— Вечер такой хороший.

Они вышли, прошли на набережную. Все вокруг выглядело странно: север неба сиял широко и мягко, было совсем светло, а жизнь затихала, улицы были безлюдны; черные пароходы на реке неподвижно спали. Лозинский и Антонина Николаевна дошли до Горного института, потом повернули назад. Они говорили,— и всё говорилось легко, и всё, что говорил один, было для другого важно и интересно. Иногда Лозинский, неожиданно обернувшись, вдруг ловил на себе ее взгляд, сиявший ласкою и любовью. И душа его закипала радостью, и сейчас же ему становилось стыдно: она сломала свое недоверие, просто и свободно пошла к нему навстречу, как к товарищу, а в нем, как в пошлом самце, тотчас же загораются ожидания. Но опять светлою, сдерживаемую ласкою сияли ее глаза, и ликующая радость охватывала его, и чувствовал он, боясь верить и все-таки веря, что она снова любит, любит,— может быть, еще сильнее прежнего.

Они прошли мимо Николаевского моста. Гранитные сфинксы смотрели в смутном, радостном ожидании, громадные здания стояли тихо, словно насторожившись. И в теплой, ласковой белой ночи было то же радостное ожидание. Антонина Николаевна сказала:

— Сядем где-нибудь, я устала... Дайте мне руку.

— Зайдем в Румянцевский сад,— предложил Лозинский.

Ее рука опиралась на его руку, они чувствовали друг друга и стыдливо старались держаться дальше. В темной боковой аллее пахло сиренью и душистым тополем.

— Сядем,— сказала она.

Они опустились на скамейку. И вдруг,— Лозинский сам не знал, как это случилось,— он наклонился к ее уху и с счастливою улыбкою прошептал:

— Тоня, Тоня, ведь ты меня по-прежнему любишь!

Она отшатнулась и испуганно взглянула на него.

— Тонечка, погоди!.. Родная! — заторопился он.— Ты любишь, это несомненно, но для чего-то считаешь нужным скрывать это... Для чего? Я не могу понять, но это так... Разорви эту ложь, стань выше ее...

Она отвернулась и припала лицом к спинке скамейки. Ее плечи тряслись и вздрагивали.

— Ну что? Что? — взволнованно спрашивал Лозинский, и страх охватил его, что он ошибся.

Антонина Николаевна порывисто двинулась, хотела подняться и уйти, и вдруг повернулась к нему,— бледная, с текущими по лицу слезами.

— Господи, как мучительно!.. Да! Да! — с насадом крикнула она.— Люблю!.. Давно уж опять люблю,— в сущности, никогда и не переставала... Я тебе последний год не писала, ты спрашивал, почему... Вот почему: я боялась, что не выдержу, что у меня сорвется с пера: приди ко мне, мой любимый, мой хороший, светлый!..

Лозинский, охваченный счастьем и недоумением, встал.

— Почему же ты этого не написала?

Она продолжала:

— Ты знаешь, когда мы тогда в первый раз встретились... Ты хотел сейчас же зайти ко мне... Я испугалась и отказала. Знаешь, почему? У меня висел твой портрет, я боялась, что ты увидишь его и догадаешься. К вечеру я его спрятала...

Он медленно сел и, сдвинув брови, внимательно слушал.

— И потом, когда ты ушел вечером, я плакала и целовала твой портрет, и в сотый раз перечитывала то твое письмо,— помнишь, которое ты написал мне, когда я тебя известила, что сошлась с ним... Ты писал: «Дай бог, чтоб у тебя с ним было прочное, хорошее счастье».

Если же это окажется увлечением, то во всяком случае знай, что я по-прежнему люблю тебя»... И еще ты писал, что, конечно, все это не помешает нам остаться друзьями... Как все это было поразительно! И как сдержанно, любовно, — с любовью даже к нему!.. и всегда, всегда ты стоял передо мной, с серьезным, грустным и вдумчивым лицом... Вот такой, как сейчас! — в опьянении счастья улыбнулась она, взяв его руку в свои.

Лозинский машинально высвободил руку и, засунув руки в карманы, заходил около скамейки.

— Господи, если бы я знал!.. Если бы я знал!.. Но для чего же, скажи, для чего ты все это скрывала?

Он остановился перед ней в ожидании ответа, который был ему уже ясен. Она в удивлении всплеснула руками.

— Гриша, неужели же ты этого не понимаешь? Гордость есть у меня, гордость!.. Разбить твоё счастье, надсмеяться над твоею любовью, а потом с легким сердцем воротиться: ну вот, я опять пришла... Да еще с ребенком от другого...

— А теперь ты свою гордость переломила, — медленно произнес Лозинский. В его глазах мелькнула жесткая, колющая насмешка. — Кающаяся грешница возвращается в семейное лоно, преступная жена смиренно припадает к ногам своего оскорбленного владельца... А владелец — такой порядочный и великодушный, он не лакей, чтобы мстить... Он поднимает грешницу и, к обоюдному удивлению, дает ей прощающий поцелуй... Тоня, Тоня, что же это?!

Лозинский быстро сел на скамейку и засунул руки меж колен.

— Как же мы теперь сможем жить? Я правду скажу тебе: где-то в душе, вне сознания, мне все время чувствовалось, что ты любишь меня, что ты опять придешь ко мне... Но не как рабыня придешь, подавленная своим «позором», — господи, гадость какая!.. Придешь, как товарищ, гордо подняв голову, свободная и чистая: «Вот, я ошиблась, я по-прежнему люблю тебя»... А теперь — как же ты сможешь жить со мною под постоянным гнетом моего великодушного «прощения»?

Его голос обрывался. Антонина Николаевна, припав подбородком к спинке скамейке, горящими, думающими глазами смотрела в чашу сада.

— Господа, запирается сад. Не слышали, что ль, звонков? — угрюмо сказал подошедший в темноте сторож с бляхою.

Они пошли к выходу. Антонина Николаевна шла, опустив голову, глубоко и медленно дыша.

— Как странно!.. Как все это странно! — тихо сказала она.

Они повернули на Вторую линию. Медленно, все думая, Антонина Николаевна заговорила:

— Припоминаю, ты и прежде несколько раз высказывался так. Но я тогда это право свободы относил к тебе — и возмущалась. Мне казалось, — просто ты рассуждаешь умом, не справляясь с чувством, и все это было бы грязно, гнусно, если бы не было у тебя только отвлеченными рассуждениями. А теперь... Господи, как странно!..

С легким, счастливым вздохом она просунула руку за его локоть и прошептала:

— Гриша, ты понимаешь, что ты меня делаешь человеком? — И, стиснув его руку, крепко прижала ее к груди.

— Тонечка! Делайся, делайся им! — радостно заговорил он, наклоняясь к ней. — Ведь только тогда и жизнь может быть, и счастье... К черту рабскую гордость, пусть лучше будет гордость свободного человека!.. Да?.. Да?.. — И он с настойчивою, зовущею радостью заглядывал ей в лицо.

— Да... — ответила она с медленною улыбкою и еще крепче прижала его руку к груди, глядя в землю широкими, неподвижными глазами.

Они долго ходили по улицам и говорили, говорили... В колдовском сумеречном свете тянулись пустынные бульвары, неугасающий север светился мягко и радостно. Было тепло, пахло душистым тополем. Они шли, сидели на скамейки, опять шли дальше. Антонина Николаевна рассказывала:

— Это был какой-то чад, угар, какое-то опьянение... Как это случилось? Я теперь не могу понять. Но только, знаешь?.. Нет, но все-таки все это мне так чуждо... Я вот вспоминаю: нет у меня любви к нему, это был какой-то чувственный ураган; он мелок и полон только собою, своею славою; скромничает, потому что это выгодно, а сам украдкою следит, оглядываются ли на него на улицах, и в скольких позах выставлены его портреты на открытках... Так вот: я не люблю его, в душе — сознание, что это была горькая ошибка; но нет стыда, который бы жег за это, нет чувства позора, гадости случившегося. А между тем, если бы ты что-нибудь такое сделал, мне кажется, я бы тебе никогда не простила. То есть, может быть, про-

стила бы, но в душе все-таки бы презирала тебя...

Он молча целовал ее в ладонь руки.

— Куда мы зашли, смотри! — вдруг засмеялась Антонина Николаевна.

Тянулись заборы, какие-то пустыри, заросшие лопухом; роса серела на траве. Небо светлело и становилось золотистым, вдали сквозь дымку сиял золотой купол Исакия.

— Помнишь, — сказала она, — шесть лет назад, когда мы полюбили... Мы так же всю ночь проходили по Москве.

Вдали по проспекту ехал сонный извозчик. Лозинский кликнул его, они сели в пролетку.

Колеса на резинах мягко покатали по мостовой. Лозинский тихонько обнял Антонину Николаевну, она ласкающе подалась к нему.

— Как странно! Все-таки как это странно!.. — повторяла она улыбаясь, как в счастливом сне.

1904

НА ВЫСОТЕ

I

Парный извозчик ехал по шоссе в гору. За черными садами море смутно сверкало под звездами. Ордынцев упорно молчал. Вера Дмитриевна осторожно просунула руку под его локоть и с ласкою заглянула в глаза.

— Боря, ты за что-то сердисься на меня?

Ордынцев пожал плечами.

— Нет... За что сердиться? — Он в нерешительности помолчал. — Я только немножко удивлен. Ну, как ты, Верочка, до сих пор не знаешь, что значит «пойти в Каноссу»?

Вера Дмитриевна медленно высвободила руку и со сдержанным вызовом ответила:

— Что ж делать, не знаю!

— Не знаешь, — ну, спросила бы меня потом. А то при всех.

— Я вовсе не стыжусь показать, чего не знаю. Мне интересно было, что говорил профессор Богодаров. А он все поминал эту «Каноссу». Я и спросила... Очень мне нужно, что подумают.

— Оно так, но я не понимаю, — для чего выставлять перед всеми свое невежество? Какая в этом нужда?

Пролетка катилась. Вера Дмитриевна молча смотрела в сторону. Вдруг она быстро сказала:

— Лучше я никогда не буду ездить с тобою к твоим знакомым. — И голос ее задрожал.

— Ну, Вера, зачем ты это говоришь? — мягко возразил Ордынцев. — Я сказал, что думал. Если тебе обидно, прости. Я не хотел задевать тебя.

— Вовсе не обидно. А только я чувствую, что тебе неловко бывать со мною у твоих знаменитых знакомых, стыдно. Я тебя постоянно компрометирую... Да и зачем мне там бывать? Ты им интересен, а я, — что я для них такое? Просто, — жена Ордынцева, больше ничего.

Ордынцев ласково гладил ее руку в перчатке, как будто возражал эту ласкою.

— Ты сильно ошибаешься, если так думаешь. Я о тебе слышал здесь уже несколько отзывов... В тебе есть что-то удивительно честное, юношески-чистое. Это вызывает недоумение — и привлекает. Потому что сами мы слишком сжились со всякими условностями. Да взять, наконец, хоть бы как раз эту самую «Каноссу». Из нас никто бы не спросил, если бы и не знал. Стыдно было бы. А ты спросила. И видела ты, как глаза у Богодарова засмеялись мягко и ласково?

Ордынцев больше старался утешить Веру Дмитриевну. Но от его слов в нем самом исчезла досада за «Каноссу», и она стала мила ему, с ее открытою душою и юным, девическим взглядом. Вера Дмитриевна молча, с затуманившимся лицом, смотрела на море.

Извозчик остановился. В заросшей плющом каменной ограде была решетчатая калитка. Они поднялись по каменным ступенькам и пошли вверх по кипарисовой аллее. Было темно и очень тихо. В воздухе стоял теплый, пряный аромат глициний. Ордынцев поднес к губам руку Веры Дмитриевны и тихонько целовал ее ладонь в разрез перчатки.

Убеждающим голосом, мягко и виновато, он сказал:
— Ну, девочка моя, ты не сердись на меня!

В обрывистом шепоте слышалась загорающаяся страсть.

Вера Дмитриевна грустно опустила голову.

— Я не сержусь.

Будет нервная, мучительная и ненужная для нее ночь. Он будет предупредительно-нежен и виновато-благодарен. А потом — через силу сдерживаемая грубость, непонятное, обидное отвращение на лице и холодная скука.

Но теперь ей, — такой большой, с серьезным, думающим лбом, — был покорен и ласков, как маленький мальчик. И в душе поднималось что-то тихое, матерински-нежное. Хотелось сделать ему приятное. Она сняла перчатку и ласково провела рукой по его щеке.

— Мне очень нравится, как ты сегодня говорил. Столько у тебя всегда нового, неожиданного! По лицам видно, как твои слова всё ворошат в душах, всё ставят вверх дном, заставляют над всем думать. А ты заметил, ведь Завьялов угощал тобою гостей?

Ордынцев пренебрежительно улыбнулся.

— Ну, угощал!

— Конечно!.. И ужасно был рад, что угощение вышло такое хорошее,— прошептала она и с гордостью погладила его волосы.

Ордынцев отпер ключом дверь дачи, они вошли в комнаты. В широкие окна было видно, как из-за мыса поднимался месяц и чистым, робко дробящимся светом ласкал теплую поверхность моря. Вера Дмитриевна вышла на балкон, за нею Ордынцев. Здесь, на высоте, море казалось шире и просторнее, чем внизу. В темных садах соловьи щелкали мягко и задумчиво. Хотелось тихого, задушевного разговора.

Странно низко, почти в уровень с крышею, по небу плыло от гор к морю воздушное белое облачко. Вера Дмитриевна сказала:

— Посмотри вверх, как низко облачко.

На глазах облачко бледнело, растягивалось и растаяло в воздухе. Ордынцев рассеянно ответил:

— Клочок тумана с гор.

Он тихонько расстегнул у кисти ее рукав и скользнул рукою по тонкой, голой руке к плечу. Она все с тою же материнскою нежностью гладила его курчавую голову, прижавшуюся к ее груди. И в темноте ее лицо становилось все грустнее и покорнее.

II

Когда Вера Дмитриевна проснулась, Ордынцев давно уже, обложенный книгами, сидел на балконе своей комнаты и писал. Вера Дмитриевна чесала перед зеркалом волосы. На душе было тяжело, одиноко. В зеркале отражались ее плечи и шея. С враждою смотрела она на свою наготу и на невидимые следы его поцелуев на ней: почему, почему он — такой любящий, тихо-нежный, когда хочет ее, а в другое время почти ее даже не замечает? Как возможны такие резкие изменения, и почему этого нет у нее? Почему у нее горит к нему постоянно ровное, нежное чувство? И вот эти оскорбительные батистовые рубашки, эта декадентская прическа,— всего этого хочет он... Гадость, гадость!

На балконе, на лазурном фоне моря, рисовалась наклоненная над столом красивая голова Ордынцева. Вера Дмитриевна с враждою вглядывалась в него. Вот — грубый и хищный самец. Удовлетворил свой голод по самке

и теперь себялюбиво безразличен ко всему, что не он.

Вера Дмитриевна оделась, заварила для Ордынцева кофе и села читать статью в журнале о последней книге Ордынцева. Статья была злобная и плоская. Цитаты, вырванные из книги без связи, пестрели нелепыми вопросительными и восклицательными знаками. И все-таки, даже изуродованные, цитаты эти сияли в серой статье, как лучи весеннего солнца в неубранной и грязной мешанской спальне. И на душе стало хорошо, серьезно. Вера Дмитриевна вошла в комнату Ордынцева, как будто чтобы положить на место журнал. Молча подошла и с тихой лаской поцеловала его в затылок. Ордынцев поморщился и, не оборачиваясь, нетерпеливо замахал рукою.

В двенадцать часов Вера Дмитриевна позвала его пить кофе. Он вошел, и в медленно двигавшихся глазах глубоко светилась еще продолжавшая работать мысль. Вера Дмитриевна спросила:

— Писалось тебе?

— Чудесно писалось! — Довольно потирая руки, он сел за кофе. — Этот крымский воздух, он положительно вдохновляет.

— А я сейчас прочла статью Коробкова. Как глупо! Боже мой, как все глупо!

Ордынцев улыбнулся.

— Да-а... И главное, злость-то беззубая, не задевает. Ругают тебя, а читать скучно.

— А знаешь, в одном я все-таки согласна с ним, а не с тобой, где он защищает утилитаризм. Я не понимаю, почему ты утилитаризм находишь пошлым. Ведь его не нужно непременно понимать в смысле «моральной арифметики» Бентама: хочу поступить хорошо — и высчитываю, что для меня же это будет выгодно и приятно. Так никогда это не делается. Просто, я поступаю хорошо, потому что мне было бы противно поступить иначе.

Он неохотно протянул:

— Ну, да... Дело в том, что наши так называемые нравственные действия вообще вне разумны, и здесь не может быть самого вопроса об их выгодности или приятности.

Вера Дмитриевна встрепенулась и придвинулась к нему.

— Погоди, почему? Ведь чувство голода тоже вне разумно, а оно в то же время неприятно, и я ем. Ем, потому что я голодна, потому что мне хочется есть, потому что я испытываю ощущение голода...

Ордынцев лениво потянулся и шутливо похлопал ее по руке.

— «Голодна», «хочется есть», «испытываю ощущение голода»,— ведь все это одно и то же!.. Ах, Верка!..— Он добродушно засмеялся.

Вера Дмитриевна нетерпеливо возразила:

— Ну, это не важно! Я только хочу сказать...

Он стал серьезен.

— Я понимаю, что ты хочешь сказать. Пожалуй, в этом смысле ты права.

Вера Дмитриевна быстро взглянула на него, закусила губу и молча наклонилась над чашкою. Она видела,— Ордынцев соглашался просто потому, что ему было неинтересно спорить. Чувствовалось, он уже сотни раз слышал все эти возражения, и их скучно было опровергать.

Она молча пила кофе. Ордынцев не заметил, почему она замолчала, и стал говорить о том, что сегодня писал. Он любил излагать Вере Дмитриевне свои новые мысли. При этом они становились и для него самого яснее и отчетливее.

И опять ее стал захватывать тот живой, сиявший мыслью огонь, которым были полны его слова. Она ожилилась, спрашивала, возражала. Ордынцев легко, походя, отстранял ее возражения, как гибкие прутики, и вел ее мысль за своею, как послушного ребенка.

III

Вечером они пили чай у матери Ордынцева. Она жила с двумя дочерьми в Чукурларе. Ордынцев посещал ее аккуратно каждую субботу, был предупредителен к матери, болтал и смеялся с курсистками-сестрами. Вера Дмитриевна чувствовала себя там хорошо и свободно, но ее стеснял Ордынцев: она видела, что он здесь только исполняет свой долг. Часто, когда все они, и Ордынцев с ними, смеялись и дурачились, в его глазах вдруг мелькала только ей заметная скука и усталость. Чувствовалось, как все они чужды ему. Было неловко за себя и за всех. Как будто большой человек, согнувшись, ходил среди них на корточках, чтобы быть одинакового роста с ними, и она видела, как от этого у него ноет все тело.

Так было и теперь. Но Вера Дмитриевна не чувствовала неловкости за себя. Ей вдруг стало вызывающе-странно,— почему это обыкновенная, живая жизнь так непереносима

для него? Вот, даже эти кипарисы, дымчатая даль моря, горы, все это как будто немножко конфузится перед ним оттого, что не думает о критериях познания... С какой стати всем им конфузиться?

Они вдвоем возвращались домой по набережной. Ордынцев был вял и бледен. Он потер висок.

— Голова начинает болеть... Проедемся на лодке, я погребу.

— Поедем... Тогда туда пойдем, лодки там отдаются.

Вера Дмитриевна указала рукою по направлению к молу. Ордынцев поморщился и украдкой поглядел по сторонам.

— Ну, Вера!..

— Ах, да! Неприлично пальцем показывать... Хорошо, не буду!

Она усмехнулась про себя и пошла, глядя в землю.

Вот тоже. Он по натуре боец, смелый и дерзкий. Его веселит, когда на него набрасываются орды защитников шаблона, когда его имя заливают грязью. Но это в области мысли. А в жизни он труслив и косен. Он двадцать раз оглянется в обе стороны, прежде чем перейти улицу, и приходит в ужас, если она режет котлету ножом... Она отыскивала в нем темное и нехорошее и старалась этим закрыть от себя тоску, которая была в ней от его холодности и отчужденности.

Солнце село. Все было в какой-то белой, тихой, раздражающей дымке. Тускло-белесое, ленивое море сливалось с белесым небом, нельзя было различить дали. Два черных судна неподвижно стояли на якорях, и казалось, они висят в воздухе.

Ордынцев молча греб. Вера Дмитриевна думала и не могла разобраться в той вражде и любви, которые владели ею. И было у нее в душе так же раздраженно-смутно, как кругом. Волны широко поднимались и опускались, молочно-белые полосы перебивались темно-серебряными, в глазах рябило. Кружили чайки, и их резкие крики звучали, как будто несмазанное колесо быстро вертелось на деревянной оси.

Вера Дмитриевна злыми, вызывающими глазами помотрела на Ордынцева и спросила:

— Скажи, Боря, ты сейчас любишь меня?

Он удивленно оглядел ее и пожал плечами.

— Что за вопрос!

— Ну, скажи, любишь?

Он неохотно ответил:

— Люблю, конечно.

Вера Дмитриевна нервно рассмеялась и замолчала. Ордынцев, нахмурившись, продолжал грести. Она опять заговорила:

— Ведь любовь вообще бывает разная. Человек любит своего ребенка, любит и карася, жаренного в сметане. Но своего ребенка он не станет жарить в сметане.

Ордынцев перестал грести, внимательно посмотрел на нее и мягко сказал:

— Верочка, зачем этот тон? У тебя что-то есть на душе. Почему этого не высказать просто? Ведь гораздо легче все выяснить, когда не сердиться. Что с тобою?

Его простые, ласковые слова оборвали ее ненавидящее настроение.

— Что со мной?..— Она помолчала, чтоб он не заметил подступивших к ее горлу слез.— Что со мной... Боря, мне странно, ты ничего не замечаешь, а ведь я уж сколько недель мучаюсь... И с каждым днем больше...

Ордынцев широко раскрыл глаза, как будто очнулся от глубокой задумчивости.

— Это правда, ничего не заметил,— наивно согласился он.

— Ну, вот...— Она еще помолчала.— Разве я не вижу, что ты меня совсем не любишь, что мы с тобой не пара? Ты живешь своею отдельною внутреннею жизнью, и до меня тебе нет совсем никакого дела. Тебе скучно со мной говорить. Все, над чем я думаю, для тебя старо, банально, уже давно передумано... И ты любишь только мое тело, одно тело... Господи, как это оскорбительно!

Ордынцев страдальчески нахмурился и вздохнул.

— погоди, Вера. Согласись, ведь, например, Марья Александровна в двадцать раз красивее тебя. А ты знаешь, я ее не выношу. Зачем же так говорить?.. Дело очень просто. Ты удивительно романтична и все хочешь какой-то «общности душ». Сколько уж у нас об этом было разговоров. Ее у нас, конечно, нет и не будет. Люди с каждым поколением становятся все сложнее и разнообразнее. Теперь никогда уже два человека не смогут «слиться душами». Я думаю, скоро даже простая дружба будет становиться все труднее.

— Боря, да ведь у нас с тобою даже и этой простой дружбы нет, между нами нет *ничего*... Вспомни, о чем мы с тобою говорим. Чтоб кофе тебе вовремя приготовить,

чтоб переписать на ремингтоне твою статью,— больше ни о чем. Что же у нас общего, что нас связывает? Только то, что ты — мой господин, а я — твоя раба.

— Во-от как! — Ордынцев замолчал и с выжидающим вниманием уставился на Веру Дмитриевну.

— Да!.. А ты этого совсем даже не замечаешь. Ты, как большое колесо, свободно вертишься, а меня захватил в свои спицы и вертишь с собой. Я постоянно смотрю на тебя снизу вверх, меряю себя твоими глазами. Твой тон, взгляд, улыбка,— все действует на меня неотразимо, я постоянно настороже, как ты взглянешь на мое слово или поступок. А я привыкла быть сама собою, отдавать отчет только своей душе и никому другому. Со всеми людьми я чувствую себя уверенно, независимо, чувствую себя полным человеком. А теперь, с тобою, все это разметывается, все мешается, и я никак не могу отыскать почву под ногами...

Она говорила, торопясь и волнуясь, под его спокойно-выжидающим, внимательным взглядом. И она знала,— на все ее слова у него найдутся неопровержимые возражения, и все-таки от этих возражений все останется в душе, как было. И она продолжала:

— Помнишь, мы недавно видели по дороге в Алупку плющ на сухом дереве? Ты душишь меня, как этот плющ. Дерево мертво, сухо, но плющ украшает его пышною, густою, чужою зеленью. Так и со мной: меня нет, вместо меня — ты. Я принимаю все, что ты думаешь, ты ведешь меня за собою, куда хочешь. Ты можешь дойти до самых противных для меня взглядов,— и я окажусь в их власти незаметно для себя самой...

Ордынцев, наконец, заговорил:

— Вера, но разве же я требую от тебя какого-нибудь подчинения? Подумай, в чем ты меня обвиняешь!.. Я начитаннее,— может быть, развитее тебя. Без меня ты решила бы такой-то вопрос так-то. Я прибавляю ряд данных, и благодаря им ты,— совершенно свободно,— приходишь к более обоснованному выводу. Ведь вот и вся моя роль.

Он говорил, как будто большой корабль уверенно резал носом мелкие, бессильно вздымавшиеся волны. Вера Дмитриевна взволнованно возразила:

— Нет, ты не просто даешь данные. Ты меня направляешь, прямо ведешь на буксире!

Ордынцев нетерпеливо потер руки.

— Я никак не могу понять,— чего же ты от меня хочешь? Чтоб я ни о чем не говорил с тобою, чтобы не возражал тебе, если не согласен с твоими мнениями? Но ведь сама же ты сейчас только упрекала меня, что я, будто бы, говорю с тобой только о кофе и пишущих машинах.

Вера Дмитриевна тоскливо повела плечами и быстро двинулась на скамейке. Как будто птичка забилась, запутавшаяся в сети.

Ордынцеву вдруг стало ее горько-жалко. Он пересел к ней и мягко сказал:

— В одном ты, может быть, права: я, действительно, слишком занят собою, своими мыслями. Ты часто должна получать впечатление, будто мне до тебя нет дела. Но только, девочка моя, не будь ко мне слишком строга. Я, может быть, урод, люблю как-то особенно. Но все-таки очень люблю тебя... А уж насчет «тела» ты так несправедлива,— мне даже дико слышать. Я помню, как ты курсисткою в первый раз пришла ко мне, я потом три дня ходил под впечатлением твоих ясных, тревожно-спрашивающих глаз. И ты для меня — в этих глазах, в славной, удивительно чистой душе, но не в теле же! Верочка, ведь ты сама не можешь этого не чувствовать!

Вера Дмитриевна, уткнувшись лицом в ладони, плакала, стыдясь своих слез и не в силах их сдержать. А он нежно гладил ее по волосам. Белый сумрак спускался на море. Бултыхала вода, над тихою поверхностью кувыркались выгнутые, черные спины дельфинов с торчащими плавниками. И все кругом было смутно и бело.

К ночи Ордынцев лежал в сильной мигрени. Вера Дмитриевна ухаживала за ним, клала на голову горячие компрессы. С бережной любовью она вглядывалась в полумраке в его бледный, холодный лоб и думала, какой это хрупкий и тонкий инструмент,— сильно работающий мозг, и как нужно его лелеять.

IV

И все следующие дни Ордынцев был хмур и нервен. Ему не работалось. Он читал только беллетристику. В душе он винил в своем настроении Веру Дмитриевну, был скучен и более обычного холоден с нею. Глаза смотрели на нее с легким удивлением, как на незванно-пришедшую. Говоря с нею, он зевал.

Веру Дмитриевну это еще сильнее мучило, и черные подозрения роились в душе.

С раннего утра с гор подул на город бешеный ветер. Над улицами и домами вздымались тучи серой пыли. Деревья бились под ветром. Гибкие кипарисы гнулись в стройные дуги.

Вера Дмитриевна встала грустная, заплаканная. Ордынцев сидел у себя в кресле и читал Кнута Гамсуна. Она робко сказала:

— Хотелось тебя увидеть. Я на минутку... Не мешаю тебе?

Он вяло ответил:

— Нет, я не работаю.

Вера Дмитриевна горячо поцеловала его в голову и села.

— Мне сегодня ночью снилось. Вхожу я к твоей матери на балкон. Ты сидишь с нею. Когда я вошла, вы замолчали, ты вышел. А она странно взглянула на меня и говорит: «Мне нужно с тобою поговорить», и смотрит так серьезно!.. «Боре очень тяжело жить с тобою. Все, что ты ни скажешь, все так банально, неинтересно. Все его так раздражает... Неужели ты сама не чувствуешь, что ты ему не пара?» И во сне мне так тяжело стало, так обидно, обидно... Я проснулась и плачу... Зачем, зачем ты мне этого прямо сам не сказал?

Такая вся она была жалкая, бледная, с синими кругами у глаз... Ордынцев взял ее руки в свои и улыбнулся.

— Деточка моя! Ведь не ответствен же я за то, что говорю тебе в твоих сновидениях!

— Я должна отказаться от тебя, я об этом все время думала. Но я не могу!.. Я так тебя люблю! — Она прижалась головою к его плечу и зарыдала.

— Верочка, да ты с ума сошла! — всполошился он, пораженный ее словами. — Какие у тебя мысли! Что с тобой? «Отказаться!» Да пойми, что ты тогда со мною сделаешь!

Он стал говорить, как она необходима ему, как скрашивает его жизнь своими заботами и любовью, как ему дорого ее мнение об его работах. Вера Дмитриевна рыдала, прижав к лицу носовой платок. Потом вдруг быстро встала.

— Прости, все нервничаю!.. Зачем я об этом заговорила? Так глупо!

И ушла. Ордынцев думал и скуцливо морщился... К че-

му это все? Как было легко и хорошо раньше, когда она с раскрытою душою шла ему навстречу, дышала им, как цветок солнечным светом. А теперь... Ну, да! В ней нет ничего особенного. Пора бы уж самой понять это и не требовать от жизни невозможного, а отдать силы на выращивание того, что есть у него...

Вечером они отправились в городской сад на симфонический концерт. Темнело, ветер крепчал. Навстречу по дорожке шел плотный и высокий профессор Богодаров, с седоватыми волосами до плеч, в серой крылатке.

Он издали улынулся им, любовно и дружески глядя на Ордынцева.

— Здравствуйте. Симфонический концерт пришли слушать? Отменен. По случаю ветра... Сядем все-таки, послушаем хоть садовую музыку.

В тоне его голоса чувствовалось, как он любит и ценит Ордынцева. Они сели на скамейку перед ротондой.

Публики было мало. Оркестр играл «Шествие гномов», попури из «Фауста». Ветер бушевал и трепал на пюпитрах ноты. Богодаров оживленно говорил с Ордынцевым. Вскоре они вполголоса горячо зашпорили о чем-то.

Вера Дмитриевна сидела молча, кутаясь в накидку. На душе было одиноко. В груди тонко и быстро как будто дрожали натянутые струны. После утреннего разговора Ордынцев опять стал с нею нежен-нежен. Это было сладко и обидно. Хотелось плакать и от этого, и от музыки, где скрипки пели о любви Маргариты к Фаусту. А в воздухе кругом дрожала жуткая тревога. Ветер шипел в деревьях. Электрические фонари мерцали и качались. Вправо на аллее, в тучах пыли, бились, изгибаясь, кипарисы. Из-за хребта Яйлы выглядывали черные, растрепанные тучи, как будто подстерегали что-то.

Ветер бешено рванул, пюпитры на эстраде опрокинулись, и ноты, как стая чаек, заметались в воздухе. Музыка оборвалась. Дирижер сказал что-то музыкантам. Все ушли. Вышел человек и объявил, что по случаю ветра музыка совсем отменяется. Служители подбирали на дорожках ноты.

Ордынцевы и Богодаров отправились в садовый ресторан. Они сели в стеклянной галерее и пили чай. Мимо прошел студент в потертой серой тужурке. Вдруг он нерешительно остановился, подошел и сказал улыбаясь:

— Здравствуйте, Вера Дмитриевна.

Вера Дмитриевна взглянула и просияла.

— Бездетнов! Здравствуйте! Вы как здесь в Ялте?
Он ответил.

— Садитесь к нам чай пить, знакомьтесь. Это — профессор Богодаров, это — мой муж.

Студент почтительно поздоровался и сел. Вера Дмитриевна радостно и оживленно заговорила с ним, он отвечал, и они беседовали, как давнишние друзья.

Ветер завыл в саду и ударил песком в стекла галерей. Все оглянулись. Ордынцев нервно повел плечами.

— Вот, в такую погоду на море очутиться!

Бездетнов отозвался:

— Под вечер сегодня я был на набережной. Какое-то парусное судно уж совсем входило в гавань. Вдруг его понесло ветром в море. Выкинули красный флаг о помощи. Их уносит, а в гавани никто не двинулся на помощь. Так и исчезло за горизонтом.

— Парового катера здесь нет, а в лодке помочь невозможно,— вздохнул Богодаров, помолчал и спросил: — Вы, коллега, какого университета?

— В московском был... Теперь уже не состою.

— По студенческим вылетели?

— Нет, не по студенческим... По обвинению в участии в социал-демократической партии.

Богодаров стал расспрашивать, и вскоре заспорили. Богодаров с Ордынцевым были против Бездетнова. Но Бездетнов держался, смотрел твердыми, даже слегка насмешливыми глазами и не уступал. И все, что он говорил, было для Веры Дмитриевны ясным, близким и родным. Подошли знакомые Ордынцева. Спор прекратился. Вера Дмитриевна оживленно встала и вышла с Бездетновым в сад. Ордынцев видел в окно, как они быстро ходили по аллее, жмурясь от ветра, и горячо разговаривали.

v

В одиннадцатом часу Ордынцевы возвращались домой. В воздухе все чувствовалась та же тревога. Ветер с протяжным свистом проносился через сады. Телефонные проволоки жалобно гудели. Над головою с востока на запад неподвижно тянулась черная гряда туч. И что-то злое было в ее неподвижности, когда внизу все выло и билось. Горизонт над морем слабо сиял от невзошедшего еще месяца.

На душе у Веры Дмитриевны было светло. Против

окружавшей тревоги росло бодрое, вызывающее чувство... И вдруг ей таким маленьким показался шедший рядом Ордынцев, опять ставший хмурым и нервным от окружавшей жуткой тревоги. Он заговорил:

— Славное лицо у этого студента... Но какой типично студенческий способ мыслить.

Вера Дмитриевна сдержанно спросила:

— Что же это за особенный студенческий способ мыслить?

— Ты заметила, он все превращает в прямоугольные четырехугольники? В сложное, загадочно-неправильное жизненное явление вколачивается железная рамка, и все становится удивительно простым и легко измеримым.

— Не знаю... А только я с ним была гораздо больше согласна, чем с вами.

— Кстати, кто он такой? Откуда ты его знаешь?

— Я с ним познакомилась в прошлом году, летом, когда гостила у подруги.— Вера Дмитриевна улыбнулась своим воспоминаниям и прибавила: — Такие странные у нас были отношения!

— Какие же?

Она помолчала.

— Я думаю, он меня любил... В первый раз меня поразило его поведение, когда мы ездили на мельницу. Там была над самым омутом узенькая, гнилая дощечка... Ты сердисься, я при тебе не делаю, а вообще меня так и тянет ко всему опасному. Я хотела пройти по этой дощечке, он вдруг страшно побледнел, схватил меня за руку. «Вера Дмитриевна, я вам не позволю идти». Я засмеялась: «Вот еще!» — и, конечно, все-таки пошла. И весь вечер он был бледен, задумчив. И мне в первый раз стало странно. И потом вообще, когда мы бывали одни, вдруг начинало чувствоваться что-то особенное, не всегдашнее.

Вера Дмитриевна рассказывала, мечтательно улыбаясь. Она шла на сочувственное внимание Ордынцева, как будто рассказывала своей подруге. А он слушал, подняв брови, и соображал: это было прошлым летом, значит, за месяц, за два до их свадьбы...

Они пришли домой, вошли в комнаты. Вера Дмитриевна, охваченная воспоминаниями, опять заговорила:

— И много, много было... Раз мы все поехали на пикник к шлюзам. Мы с ним спустились по лесенке в один из ящиков, где шлюзы были опущены. Стоим,— по обеим

сторонам ревет вода, скользкие стены дрожат, а из щелей бегут струйки. Опять почувствовалось что-то не всегдашнее, значительное. Он говорит: «Давайте, расскажем друг другу, когда и кого мы любили». — «Хорошо». Он стал рассказывать. Десяти лет влюбился в девочку Таню на елке, она была в розовом платье и розовых туфельках. А с тех пор, кажется, не любил... А у самого голос дрожит, бледный... И еще сильнее почувствовалось это важное. Я сказала, что люблю тебя, я ему об этом раньше говорила. И вдруг он вспыхнул, нахмурился и резко стал мне доказывать, что я тебя совсем не люблю, что я люблю тебя только как писателя, а это совсем другое.

Ордынцев коротко сказал:

— Я думаю, он был прав.

Вера Дмитриевна не заметила скрытой вражды в его голосе, не заметила напряженно-безразличного выражения его глаз и горячо возразила:

— Нет, совсем не прав. Я для тебя дала бы себя на куски разрезать, а не сделала бы этого даже для Толстого. Тут совсем другое. К тебе любовь была какая-то шероховатая, с сомнениями и мучениями. Мне всегда казалось, — за что ты меня можешь любить? То гордилась тем, что ты, такой умный и талантливый, любишь меня, то плакала. И всегда при тебе я чувствовала себя как будто немножко связанною. А с ним как-то странно было, но удивительно хорошо. Я знала, что люблю тебя, но с ним мне было так тепло-тепло и, главное, свободно. Я как будто грелась в его отношениях. Не было чувства снизу вверх, мы были во всем равны, как товарищи. Вместе читали, спорили. Мне были полезны его возражения, ему — мои. Говорю — и не боюсь, знаю, что мои слова не покажутся ему скучными. И стремления у нас тогда были общие, и общая работа подпольная... Скоро пришла телеграмма, ему пришлось уехать в Петербург, — и вот только теперь увиделись.

Ордынцев тяжело дышал. Вера Дмитриевна стояла, облокотившись о спинку кресла, вся отдавшись воспоминаниям. И он смотрел на нее, — молодую, девически стройную, опять желанную.

— Да-а... Значит, если бы не телеграмма, ты бы со мною разорвала, это вполне очевидно, — медленно заговорил Ордынцев, и глаза его были холодны и злы. — Твое отношение ко мне и теперь осталось прежним. Вина моя, значит, в том, что я слишком умен для тебя...

Вера Дмитриевна, пораженная его тоном, быстро

подняла голову. Он продолжал медленно и беспощадно-мстительно, с разрешившеюся тревогою, которая была в нем от тревоги кругом.

— Что же мне теперь делать? Я тебя люблю, потерять тебя мне было бы очень тяжело... Случается, что женщина разрывает с близким человеком потому, что он пошлет, опускается умственно и нравственно. Но разрывать из-за обратного,— на это, я думал, способны только мопассановские «*rouppées de chair, faites pour les baisers*». Я стремился развиваться, стремился стать умнее, шире. Оказывается, в этом, как раз, и был мой промах. Нужно, наоборот, стараться, попридерживать себя, не идти вперед, а, если можно, пятиться назад...

Он вдруг замолчал. Вера Дмитриевна стояла страшно бледная, с широко открытыми, огромными глазами. И Ордынцев с ужасом почувствовал, что теперь все пропало, и сказанного не воротишь ничем.

— Ох, Боря, что ты сказал...— тускло произнесла она, вдруг вздрогнула, издала горлом странный, глухой звук и быстро ушла к себе.

Замок щелкнул.

Ордынцев дрожащим шагом несколько раз прошелся по комнате, потом подошел к двери и постучал:

— Верочка!

Она властно ответила:

— Нельзя!

И стало тихо.

Ордынцев серьезно и настойчиво сказал:

— Ну, Вера, отвори, мне необходимо с тобой поговорить.

— Боря, я сейчас не могу. Потом.

Он растерянно повернулся, вышел на балкон. Над морем стоял месяц, широко окруженный зловещим зеленовато-синим кольцом. По чистому небу были рассеяны маленькие, плотные и толстые тучки, как будто черные комки. Ордынцев постоял, вернулся в комнату, сел на диван. За дверью было тихо. Он с тревогою думал: что она делает? И не знал, что предпринять. И чуждыми, глупо-ненужными казались ему сложенные на столе папки с его работами.

Через час Вера Дмитриевна вышла, с сухими, большими и радостными глазами. Новым, не боящимся его возражений голосом она сказала:

— Я утром уезжаю.

Ордынцев внимательно посмотрел на нее и молча забарабанил пальцами по ручке дивана.

— Вера... Я глупо погорячился и наговорил непозволительных пошлостей,— через силу произнес он.

— Боря, нет, я не из-за этого... Но теперь я уж всегда буду думать, что камнем вишу на тебе. А потом... Я много сейчас передумала. Полезной я тебе никогда не буду. И вот, странно,— когда я это поняла, я вдруг почувствовала радость. Вдруг почувствовала, что хочу жить сама. Не тебя лелеять хочу, а хочу жить на собственный риск... Да, я не так умна, не так развита. А все-таки жить должна своим умом. И пусть будет, что будет...

Она подошла к двери балкона и жадно дышала свежим ветром. И стояла она, радостно и чутко насторожившись, как серна, почуявшая свободу.

Ордынцев чувствовал, что теперь все его уговоры окажутся бессильными. Он угрюмо смотрел на Веру Дмитриевну и думал: любила ли она его хоть когда-нибудь или нет?

К ЖИЗНИ

Часть первая

Алексея выпустили.

Мы с ним поселились на краю города. Сняли у вдовы мелочного лавочника Огороковой две передние комнаты ее ветхого домика. Алеша сильно осунулся, но от побоев совсем оправился. Он по-всегдашнему молчалив, не смотрит в глаза и застенчиво принимает мои заботы о нем.

У меня много беготни и хлопот по району, редко приходится бывать дома. Алексей меня ни о чем не спрашивает, со смешным, почтительным благоговением относится к тому таинственному, что я делаю; с суетливою предупредительностью встречает проходящих ко мне. Что-то есть в нем странно-детское, хоть он мне ровесник. Когда я иду куда-нибудь, где есть хоть маленький риск, он молча провожает меня любящими, беспокойными глазами. Очень мы разные люди, а ужасно я его люблю.

Выпустили также многих товарищей. Выпустили, говорят, и Иринарха. Попался в сети, как лягушка среди карасей, а просидел три месяца.

Всегда мне странно и смешно бывает, когда приходится зайти к Катре. Каждый раз в другом платье, необычном, каких никто не носит, как будто в маскараде, а между тем странно идет к ней. И прическа, и все. И думаешь: «Эге! Вот еще какая у тебя красота!» И думаешь: «Господи! Сколько на это трудов кладется! Вот тоже — труженица!»

У нее сидел за кофе Иринарх. Расцеловались с ним. Он рассеянно положил себе горку сухарей и продолжал говорить:

— Да, так вот... Ужасно было интересно в тюрьме. Я прямо жалел, когда выпустили. Эти мужички с недо-

умевающею мыслью в глазах. Рабочие, как натянутые струны. Огромнейшая книга жизни. Евграфову видел,— интересно. Бледная, с горящими глазами, настоящая христианская мученица, с огромною трагической жизнью в душе. А заговорит,— боже мой! Любовь к людям, избавление их от страданий, социалистический строй... И чем бы она жить стала в этом будущем благолепии!.. Удивительно, как люди не умеют жить настоящим! Такое яркое, интересное время, никогда лучше не бывало. А они все о каком-то будущем. Хорошо у Ибсена сказано: «Ненавижу я это вялое слово — будущее!..»

Что-то в Иринархе было новое, какая-то найденная идея. Глаза светились твердым, уверенным ответом, а раньше они смотрели выжидающе, со смеющимся без веры вопросом.

Но я спешил.

— Катерина Аркадьевна, можно вас попросить на пару слов?

Мы вошли с нею в гостиную. Наедине обоим было неловко,— встало то странное и жуткое, что недавно так тесно на минуту соединило нас. Как тогда, ее чуть слышно окутывал весенне-нежный, задумчивый запах тех же духов. И в воспоминании запах этот мешался с запахом керосина и пыли.

— Можете вы нам дать послезавтра квартиру?

В ее глазах мелькнули усталая скука и насмешка.

— Опять будете препираться о «текущем моменте»?.. Хорошо...

— Благодарю вас.

Товарищи расходились. Окурки торчали в земле цветочных горшков; в тонком аромате гостиной стоял запах скверного табаку. Оставались только я с Алексеем, Турман и Дядя-Белый.

Вдруг вошла Катра — любезная, радушная. Она поздоровалась и стала звать нас ужинать. Турман и Дядя-Белый с недоумением оглядывали ее, стали отказываться. Катра настаивала. Они усмехнулись, пожали плечами и пошли в столовую.

Там опять сидел Иринарх. Как всегда, он сейчас же овладел разговором. И у него был всегдашний странный его вид: на губах улыбка какого-то бессознательного юродства, в наклоненной вперед крутолобой голове

что-то бычачье и как будто придурковатое, а умные глаза наблюдающе приглядываются.

— В воздухе носится это решение — любовь к жизни. Ницше, Гюйо, Беклин, Гри, Гамсун Толстой, Достоевский, — с разных концов, мыслью, художественным чутьем, — все приходят к тому же: к пониманию громадной ценности жизни как она есть. Особенно в этом отношении великолепен Лассаль. Он впитал в себя все разрозненные элементы, носившиеся в воздухе, и вырос в истинного человека. Мы наивно ищем блага в будущем, ищем в религии веры в сохранение ценности жизни, — это верно определяет Геффдинг. А ценность-то жизни, а благо-то это — кругом. Нужно только протянуть руку и брать полными горстями.

Турман молча сидел, заложив руку за пояс блузы, непрерывно курил и своим темным взглядом смотрел на Иринарха. Дядя-Белый внимательно слушал.

Иринарх обратился к ним:

— Скажите, пожалуйста, вы вот боретесь. Много терпите в борьбе. Стремитесь к чему-то... За что вы боретесь? К чему стремитесь?

Дядя-Белый поднял брови и слегка усмехнулся.

— К чему? Вам бы это должно быть известно.

— Простите, я совершенно серьезно говорю: мне неизвестно.

— К тому, чтоб всем было хорошо.

— А зачем нужно, чтоб всем было хорошо?

Дядя-Белый с удивлением смотрел. Иринарх ждал со скрытою улыбкою, как будто он знал что-то важное, чего никто не знает.

— Не понимаю вас.

— Что значит «хорошо»? Чтоб была свобода, чтоб люди были сыты, независимы, могли бы удовлетворять всем своим потребностям, чтоб были «счастливы»?

— Ну да!

— Гм! Счастливы!.. Шел я как-то, студентом, по Невскому. Морозный ветер, метель, — сухая такая, колющая. Иззябший мальчугашка красною ручонкою протягивает измятый конверт. «Барин, купите!» — «Что продаешь?» — «С...сча-астье!» Сам дрожит и плачет, лицо раздулось от холода. Гадание какое-то, печатный листок с предсказанием судьбы. «Сколько твое счастье стоит?» — «П-пятачо-ок!..»

Иринарх удивительно изобразил мальчика,— так и зазвенел плачущий, застуженный детский голосок.

Турман шевельнулся на стуле и враждебно оглядывал Иринарха.

— Он на этот пяточок сыт стал!

— Верно. А все-таки цена-то его счастью — «пяточок!» Сыт — разве же это счастье?.. А что даст будущее, если оно, боже избави, придет? Вот этот самый пяточок. Разве же за это возможна борьба? Да и как вообще можно жить для будущего, бороться за будущее? Ведь это нелепость! Жизнь тысяч поколений освящается тем, что каким-то там людям впереди будет «хорошо жить». Никогда никто серьезно не жил для будущего, только обманывал себя. Все жили и живут исключительно для настоящего, для блага в этом настоящем.

Я сдержанно спросил:

— В чем же это благо?

— В чем!.. Оно так ясно, так очевидно,— его можно определить строго математически, как звук или свет. Чем определяется звук, свет? Числом и размахом колебаний в секунду. Целиком так же определяется и благо. Радость — великолепно! Странствие — великолепно! Радость — странствие! Радость — странствие! Быстрее, ярче, сильнее! Раз-раз-раз! А мы страдания боимся, проклинаем его. Утешаемся будущим, когда страдания не будет... Как верно Шопенгауэр сказал: «После того как человек все страдания и муки перенес в ад, для рая осталась одна скука».

Катра слушала и внимательно наблюдала товарищей. Раза два она искоса взглянула на меня, как будто вызывала: ну-ка, возразите!

Иринарх говорил словно пророк, только что осиянный высшею правдою, в неглядящем кругом восторге осияния. Да, это было в нем ново. Раньше он раздражал своим пытливо-недоверчивым копанием во всем решительно. Пришли великие дни радости и ужаса. Со смеющимися чему-то глазами и совался всюду, смотрел, все глотал душою. Попал случайно в тюрьму, просидел три месяца. И вот вышел оттуда со сложившимся учением о жизни и весь был полон бурлящею радостью.

Он продолжал:

— О-ох, это будущее!.. Слава богу, теперь сами все в душе чувствуют, что оно никогда не придет. А как рань-

ше-то в старинные времена: «Liberté! Egalité! Fraternité!» Сытость всеобщая!.. Ждали: вот-вот сейчас все начнут целоваться объёмными ртами, а по земле полетят жареные индюшки... Не-ет-с, не так-то это легко делается! По-прежнему пошла всеобщая буча. Сколько борьбы, радостей, страданий! Какая жизнь кругом прекрасная! Весело жить.

Турман опять двинулся на стуле. Он тяжело бросил на Иринарха свой темный взгляд и злобно усмехнулся.

— Весело... Очень весело! Спасибо вам, господин, за такую веселость! Не весело, а скверно жить! Тяжело жить!

— Тяжело? Боритесь! Поднимайтесь выше!

Турман в изумлении и негодовании смотрел на него.

— Индюшки полетят?.. Полетят индюшки?.. Пятачок будет?.. Говорите: боже избави?

— Боже избави! — твердо и решительно ответил Иринарх.

— Не надо этого?

— Не надо.

— Надо! — крикнул Турман. Он, задыхаясь, наклонился над столом и пристально смотрел в глаза Иринарху.— Вот что я вам заявляю: надо, чтоб это пришло через десять — пятнадцать лет. Слышите? — Турман грозно постучал ладонью по столу.— *Через десять — пятнадцать лет, не дольше!*

Он встал и оглядывал всех, как будто вдруг проснулся и увидел кругом незнакомых людей.

— Вы, господа,— интеллигенция, вы понимаете социологию. Мы ее мало понимаем. Может быть, по научным там всяким законам мы людьми станем через сотню лет... Так врете нам, а говорите, что это близко. А то слишком скверно жить. Нам скверно жить, невозможно жить, а не «весело»!

Дядя-Белый все время с недоумением слушал Иринарха,— слушал, мучительно наморщив брови, стараясь понять. Он раздумчиво заговорил:

— Вы мало знаете нашу жизнь. Ничего в ней веселого нету. Все время от всех зависишь,— раб какой-то. Сегодня на работе, а завтра сокращение, завтра не потрафил мастеру, шепнули из полиции,— и ступай за во-

рота. А дома ребята есть просят... Унижают эти страдания, подлецом делают человека...

Иринарх просиял торжеством.

— Вот, вот это самое!.. Есть страдания, которые унижают, и из них рвется человек к другим страданиям, к тем страданиям, которые...

Турман не слушал. Он взволнованно метался по комнате, отыскивая свою фуражку. Отыскал, остановился боком и теми же проснувшимися глазами окинул богатую сервировку стола, изящную Катру, внимательно наблюдавшую его из кресла.

— Что будет! — прервал он Иринарха. — В морду всем можно будет засветить. Всем, кто того стоит! Вот что будет!.. Сенька, пойдем! Пойдем, Сенька, не оставайся!

— Да, пора идти. — Дядя-Белый грустно поднялся.

Турман искоса бросил на меня выжидающий взгляд. Они ушли.

Иринарх ходил по комнате и в восторге потирал руки.

— Но ведь этот черный — это великолепнейший хищный зверь! Какая ненависть в глазах!.. Погодите, он еще всем вам покажет свои коготки! Ну и что, что такому делать при всеобщем благополучии? Ведь именно ненависть-то эта и наполняет его жизнь огромнейшим содержанием! Ужасно он много дал для моей мысли... И как характерно: люди стремятся — и совершенно не понимают: к чему? Теряются, не могут ответить. Огромное стремление, а впереди — только какой-то смутно золотистый свет. Удивительно, как это у вас нет проковок. Ведь именно при таких-то условиях они и должны бы греметь.

Мы с Алешей уходили. Катра со скрытою насмешкою следила за мною. В передней она спросила:

— Отчего вы ничего не возражали Иринарху Ильичу? Я насупился.

— Разве можно было ответить лучше, чем ответил Турман?

— А я думаю, вам просто нечего было возразить, — презрительно и устало сказала Катра.

Я пожал плечами.

Мы шли домой. На душе было весело. Не люблю я Катры — и как она бесится, что на все ее вызовы я отвечаю вежливым молчанием!

Алексей все споры слушал с странно-пристальным, принимающим к сведению вниманием. Мы шагали по тропинке среди сугробов. Он сдержанно спросил:

— А какой же ты смысл видишь в настоящем? Оно имеет значение только в виду будущего?

— Да как это можно разделять? Будущее, настоящее... Все равно что стараться ножом отделить в организме жизнь от материи. Жизнь радостна, прекрасна, потому что освещена будущим, и, конечно, дай бог, чтобы будущее как можно скорее пришло... Какой-то разворот душевный копаться в этом. Болтун! Почему же он ничего не делает?

Алексей замолчал и не возражал.

Как огромные струны, еще пели приводные ремни. Подрагивали стены, и быстрые отсветы мелькали по стальным рычагам. Но люди толпились в середине, и подходили все новые из других мастерских.

В замасленной блузе рабочего я говорил, стоя на табурете. Кругом бережным кольцом теснились свои. Начал я вяло и плоско, как заведенная шарманка. Но это море голов подо мною, горящие глаза на бледных лицах, тяжелые вздохи внимания в тишине. Колдовская волна подхватила меня, и творилось чудо. Был кругом как будто волшебный сад; я разбрасывал горсти сухих, мертвых семян,— и на глазах из них вырастали пышные цветы братской общности и молодой, творческой ненависти.

Когда приходишь домой,— из большого, яркого мира вдруг попадаешь во что-то маленькое, узенькое, смиренное. Алеша сидит в своей накуренной комнате, сгорбившись над столом. Моя комната большая, а его — очень маленькая. Он ее выбрал себе,— уверял, что любит тепло. Но сделал он это по своей обычной упорной деликатности.

Сидит он за маленькой лампочкой с бумажным колпаком и старательно пишет. Красиво пишет своим аккуратным почерком конспект прочитанной книжки. Если что нужно вычеркнуть, он вырывает из тетрадки всю страницу и переписывает. Конспектирует и ничтожнейшие брошюрки. Часто мне в голову приходит вопрос,—

чем он живет? Застенчивый, молчаливый, нелюдимый. Никогда он не смотрит в глаза — даже мне, двоюродному своему брату, а мы с детства росли вместе. Ничем особенно не интересуется. Читает мало, принуждая себя, то, что я уж очень расхвалю. В комнате у него так все аккуратно разложено, так чисто. Это всегда признак бедной духовной жизни.

Пьем с ним чай. Своим всегда неестественным голосом он говорит, не глядя в глаза:

— Ходил сейчас ко всенощной к Спасу, слушал шестопаловских певчих. Вот здорово поют! Особенно «Свете тихий». Чудная у них новая октава. Шестопалов недавно привез из Мценска... После всенощной зашел к Маше. Нет, она действительно ненормальна, это несомненно.

— Опять тетя Юля ваша мутит?

— Заявила, что Маша ей мешает спать по утрам, когда встает. И Маша из большой комнаты перебралась в переднюю. Там спит. Говорит, великолепно. А от двери дует черт знает как!.. Положительно, сама себя она валит в могилу.

Алеша украдкой глядит на меня и осторожно спрашивает:

— Ты не зайдешь к ней?

Ох, эти родственные обязательства! Я морщусь.

— Да некогда, дела много.

Алеша темнеет. В нем вообще очень силен семейный патриотизм, а сестру Машу он любит с восторженным умилением. Перемогая себя, сам тяготясь своею настойчивостью, он говорит коротко:

— Шестого ее рождение.

— Ну, зайду тогда.

Алеша благодарно глядит.

В освещенных, завешанных тряпками окнах флигелька метались тени. Мы с Алешею стояли на крыльце двора.

— Ты верно видел, пьян он?

— Пьян.

— Ну, значит, бьет.

Когда Гольтяков пьян, его охватывает буйная одержимость, он зверски колотит Прасковью. Она — худенькая, стройная, как девочка, с дикими, огромными глазами. У меня и у Алеши жалостливая влюбленность в нее.

Мучают и волнуют душу ее прекрасные, прячущие страдание глаза. Горда она безмерно. Все на дворе знают, что с нею делает муж, а она смотрит с суровым недоумением и резко обрывает сочувственные вопросы.

Мы растерянно стояли. Трепала дрожь. В флигельке звучали заглушенные стоны, отчаянно плакал ребенок... И нельзя ничего сделать, нельзя броситься на помощь!

Да, учит жизнь! Сколько раз за этот год, в самых разнообразных случаях, приходилось переживать вот это самое,— стой, стиснув зубы, когда тянет броситься вперед,— гнусно кипи и перекипай внутри себя.

Вздываются волны все выше. Весело жить! Работы страшно много, беготня с утра до вечера. К циглеровцам присоединяются все новые и новые заводы.

Вчера примкнули староноссовцы, где Дядя-Белый. Через три дня предстояла получка. Дядя-Белый предложил присоединиться после получки. Поднялись крики, упреки:

— Трус! Предатель... Сейчас же все бросай работу!

И с песнями ушли из мастерских. А присоединились только из сочувствия.

Забегал к Катре, попросил вызвать ее. Горничная сказала, что выйти она не может, а просит к себе.

В «будуаре»,— кажется, так это называется,— сидели толстый адвокат Баянов и приезжий из столицы юноша. Катра с радостной улыбкой встала навстречу. Какая-то особенная у нее улыбка,— медленная и яркая: всю ее эта улыбка освещает изнутри.

Я сказал, что спешу. Она как будто не слышала, усадила меня. Почему она не могла ко мне выйти?

Юноша неестественно-поющим голосом читал стихи. Гибкие, певучие звуки баюкали внимание, трудно было понять, о чем речь.

Я пересидел стихи, подошел к Катре. Смеясь глазами, она взяла меня за локоть и сказала:

— Пожалуйста, посидите четверть часа,— мне нужно с вами поговорить.

Юноша еще читал стихи. Шла речь о каких-то неслыханных «дерзаниях», о голых женских телах, о громовых беседах с «братом-солнцем»:

Брат мой солнце! Ясный, ярый,
Пьяный жаром старший брат!

Тонкая шея туго была стянута высоким крахмальным воротничком. Неврастеническое лицо, длинные влажные пальцы. На что, кроме пакости, способен «дерзнуть» этот заморыш! Девочку растлить, обольстить и бросить с ребенком горничную, — другого никак я не мог себе представить.

— Извините, я не понимаю. Что такие за дерзания?

Вышел спор. Я говорил о громадности и красоте дерзаний, которыми полна действительная жизнь. Он неохотно возражал, что да, конечно, но гораздо важнее дерзание и самоосвобождение духа. Говорил о провалах и безднах души, о божестве и сладости борьбы с ним. А Катра заметно увиливала от разговора наедине. Ее глаза почти нахально смеялись надо мною. Мне стало досадно, — чего я жду? Встал и пошел вон.

Катра вышла следом. Я молча надевал пальто.

— Погодите, ведь вам что-то было нужно?

Я презрительно ответил:

— Вам, я вижу, это неудобно. Тогда не надо... До свидания.

Катра вспыхнула.

— Вы воображаете, я боюсь... Что вам нужно?

Я сказал.

— Хорошо, я согласна.

— Так я пришлю Алешу.

Катра с враждебной и вызывающей насмешкой взглянула на меня.

— Знаете, Константин Сергеевич, — я согласна только потому, чтобы вы не воображали, будто я боюсь... А все это до тошноты противно, скучно и пошло. «Транспорт»... Зачем целый транспорт, когда всю вашу литературу можно пронести в жилетном кармане? «Эксплуатация», «классовая борьба», «организация», «предательство буржуазии»... Господи, и неужели кто-нибудь читает это!

Много шелухи поднялось в воздух с ураганом, грозно загудело в нем — и бессильно упало наземь, когда ураган стих. Я думал, Катра не из этих. Но и она как большинство. Ее радостно и жутко ослепил яркий огонь, на минуту вырв- вшийся из-под земли, и она поклонилась

ему. Теперь огонь опять пошел темным подземным пламенем,— и она брезгливо смотрит, зеваает и с вызовом рвет то, чем связала себя с жизнью.

А был миг. Я его не забуду. Сквозь мою вражду к ней, сквозь презрение к ее переметчивости этот странный миг светится в воспоминании, как вечерняя звезда в узком просвете меж туч.

Толпы дико побежали по Большой Московской. Все ворота и калитки были предательски заперты. Падали люди. Я вырвал Катру из топчущего, мчащегося человеческого потока; мы прижались к углублению запертой двери.

Бледный мальчик, прижимая руку к боку, набежал на нас.

— Ай-ай-ай-ай!.. Настоящие пули!

— Мальчик! Сюда иди, сюда!

Он непонимающими глазами оглядел меня и побежал дальше и повторял:

— Настоящие пули!

Наискосок через улицу, наклонившись, бежал под пулями Иринарх и закрывал голову поднятым локтем, как будто над ним вился рой пчел. Из Ломовского переулка, как шакалы, выглядывали молодцы лабазника Судоплатова с дубинками.

Подбежал студент с простреленной рукой. Эсер — он не раз выступал против меня на митингах. Ухватившись за косяк, он безумно смотрел, как судоплатовцы с воем и свистом ринулись наперерез бежавшим, как замелькали в толпе их дубинки.

Сзади нас была железная дверь какого-то подвала. Висел замок. Я дернул,— он не был заперт. Быстро я отодвинул засов.

— Товарищи! Сюда!

Мы с Катрою проскользнули в дверь. Но студент стоял как околдованный и все смотрел.

— Да идите же, товарищ! Скорее, а то увидят!

Я втащил его в подвал, замкнул дверь. Крутые каменные ступеньки шли вниз. Громоздились до потолка пыльные бочки, деревянная скамейка пахла керосином. Странно-тихо золотились пылинки в узком луче солнца. На улице трещали револьверные выстрелы, и молниями прорезывали воздух вопли избиваемых.

По рукаву студента текла кровь.

— Вы ранены. Садитесь, перевежем.

Как в гипнозе, он сел. Катра засучила ему рукав, стала перевязывать носовым платком рану. В замершем порыве студент безумными глазами смотрел на дверь, и душа его была не здесь.

Затопали ноги, со стоном грохнулся кто-то за дверью.

— За что бьете?.. Злодеи!.. ааа-аа!!.

Студент рванулся, роняя на пол окровавленный пла-ток.

— Боже мой, а я здесь сижу!.. Пустите меня!

— Сидите, товарищ!

— Пустите! Господи, какие мы подлецы! Мы их звали, мы вместе с ними должны и погибнуть!

— Вы с ума сошли! Какой в этом смысл?

Он с презрением оттолкнул меня и бросился по крутым ступенькам к двери.

— Ведь вы без оружия! У вас помутилось в голове, очнитесь!

— Мы должны с ними умереть!

Я его удерживал, но душу с дрожью вдруг охватил стыд и горький восторг. Лязгал под руками студента отодвигаемый ржавый засов. Смерть медленно накладывала свою печать на его бледное лицо. И вдруг преобразилось это лицо и вспыхнуло живым, сияющим светом. Он выбежал на улицу.

Громкий вызывающий крик, полный восторга и муки:

— Да здравствует!..

И топот ног. Рев человеческих гнен. И глухие удары.

Я неподвижно стоял. Мир преобразился в безумии муки и ужаса. Весь он был здесь, где золотой луч тихо вонзался в груду пыльных бочек, где пахла керосином жирная скамейка. Кругом — кровавое, режущее кольцо, а дальше ничего нет.

Из полумрака на меня смотрели огромные глаза с бледного, прекрасного, восторженного лица. Охватывал душу безумный восторг от какой-то чудовищной, недоступной уму правды. Я взглянул на Катру.

Все было сказано без слов.

— Идем!

Огромные глаза ее все смотрели на меня. Грудь вздымалась, как будто не могла вместить того, что открылось душе.

— Да. Идем... Погодите. Прощайте, товарищ!

В первый раз она сказала это слово «товарищ».

Руки раскрылись, мы обнялись и крепко поцелова-

лись. В запахе пыли, керосина и кровавого ужаса от свежего лица пахнуло весенним запахом духов.

Улица была уже пуста. Ее опять откуда-то обстреливали. Валялся у дверей аптекарского магазина пыльный труп в кроваво-черных обрывках студенческой тужурки.

Мы медленно шли вдоль улицы. Пули жужжали, с визгом рикошетировали от камней.

— Товарищи! О боже мой... Товарищи!..

Ерзая руками по мостовой, у тумбы лежал рабочий с простреленною ногой.

— Товарищи!.. Не бросайте меня!.. О боже мой!.. Жена у меня, четверо ребят...

Я схватил его под мышки, приволок к ближайшему крыльцу. От соборной площади бежали с дубинками пьяные молодцы из холодных лавок. Катра метнулась к двери. Она была старая, на старом, непрочном замке.

— Смотрите! Можно выдавить!

Я ударил плечом, дверь распахнулась. Мы втащили раненого. В конце старенькой галерейки чернела обитая клеенкой дверь.

Раненый стонал. Перебитая нога моталась.

— Товарищ, тише! Сберегите все силы, молчите! Услышат черносотенцы или из квартиры выйдут. А бог весть, кто там живет.

— О-о-о... Погодите!.. Ну... Ну, вот!

Он вцепился зубами в полу пальто и замер, дрожа и всхлипывая.

Но клеенчатая дверь уже раскрывалась. Выглянул седой, полный господин в тужурке отставного полковника.

— Это что такое?!

Он вышел и, бледнея, оглядывал нас.

— Сейчас же уходите! Что вам тут нужно?.. Уходите, уходите! Я не сочувствую революционерам!

Катра выпрямилась и смотрела на него темными, презирающими глазами.

— Здесь, полковник, не революционер, а раненый, вы сами видите. Пьяные дикари будут его сейчас добивать.

— Господа, господа... Это меня не касается... Сейчас же уходите, я не могу.

Полковник волновался и прислушивался к крикам на улице. Катра в упор смотрела на него.

— Храбрый вы человек!.. Мы не пойдем. Вытолкайте нас.

Хороша она была в этот миг! Полковник сконфузился.

— Но согласитесь, господа... Ну, хорошо!.. Несите его скорее в квартиру!

Он суетливо запер наружную дверь на крюк. Мы потащили раненого в переднюю.

Грозно и властно зазвенел звонок. В дверь посыпались удары. Слышались крики. Полковник побледнел, оправил тужурку и пошел по галерее.

Дверь затрещала и распахнулась. Мы замерли.

Слышно было, как полковник кричал и топал ногами.

— Не видите, кто я?.. Чтоб я у себя кого прятать стал? Вон!.. По телефону губернатору... Всех вас в тюрьме перегною!

Задыхаясь и отдуваясь, полковник воротился к нам.

— Негодяи этикие!.. Понесем его в спальню, там перевяжем.— Он с гордостью остановился перед Катрой и развел руками.— Ну-с! Надеюсь, вы меня теперь ни в чем не можете упрекнуть!

Катра удивленно взглянула на него.

— Но ведь вы были бы подлец, если бы поступили иначе!

Попал я к Маше на рождение только в десятом часу вечера. Алеша был там уже с обеда.

Маша радостно встретила меня, поцеловала долгим, умиленным поцелуем и благодарно прошептала:

— Спасибо, что пришел!

Большие кроткие глаза, и, как из прожекторов, из них льются снопы света. Алеша называет ее «Мадонна».

Сидела, притворно улыбаясь, их тетка Юлия Ипполитовна. Она обратилась ко мне:

— Костя, скажите вы: ну, разве идет Маше эта голубенькая кофточка?

— Очень идет.

Юлия Ипполитовна со снисходительною насмешкою пожала плечами.

— Не понимаю ее! Нарядилась, как шестнадцатилетняя девушка. Нужно же помнить свой возраст! Тридцать шесть лет исполнилось, седина в волосах — и светлые кофточки! Напоминает маскарад!

Маша добродушно улынулась и не ответила. Она угощала нас закусками, чаем, быстро говорила своими

короткими, обрывающими себя фразами. Юлия Ипполитовна брезгливо шевелила вилкой кусочки нарезанной колбасы.

— Маша, где ты брала эту колбасу? Шпек ужасно скверно пахнет.

Алеша угрюмо и резко возразил:

— Никакого запаха нет.

— Ну, может быть, мне кажется... Почему ты не берешь у Рейнвальда? Только там колбасы хорошие.

Она концами пальцев отодвинула тарелку и обиженно стала пить чай. Как удушливое облако, ее присутствие висело над всеми. Ждали, когда же она пойдет спать.

Пошла наконец. Маша зашептала:

— Господа, перейдемте в переднюю, поставим там столик. Ну, тесно будет, а зато так хорошо! И тете не будем мешать.

Мы перенесли в переднюю стол, самовар. Я с упреком спросил:

— Ты здесь и спишь?

Маша поморщилась и быстро заговорила:

— Ну, господа, все равно... Не будем об этом говорить... Это мое дело... Все равно...

— Маша, да ведь ты губишь себя. Сама нервная, болезненная, весь день на уроках,— и даже отдохнуть негде в своей же квартире! Смешно: две комнаты на двоих, а ты живешь в передней.

— Ну, все равно... Господа, не говорите... Тете мешает утром спать, когда я встаю, а мне все равно...

— Мешает спать!

— У нее все время то мигрени, то невралгии. Трудно заснуть, и необходима тишина... А мне приятно, что я хоть что-нибудь могу для нее сделать. Только жалко, что придется от вас жить отдельно.

— Да, нам бы еще тут с этим сокровищем жить! Я понимаю, что все ближайшие родственники открещиваются от нее... Какая бесцеремонность! «Шпек пахнет». Никто не просит, не ешь!

Маша умоляюще сказала:

— Оставим... Ну, пускай... Нужно либо все принять, либо совсем уж отказаться...— Она покраснела.— Своей семьи у меня нету. Вы выросли. А я чувствую такую потребность любить, всю себя отдать... Мне кажется, если бы тетя меня била, я бы еще нежнее ухаживала за нею.

— Черт знает что такое! Какой-то садизм филантро-

пии!.. И для кого! Маша, ну разве ты не видишь кругом жизни? Ведь выше и нужнее всю себя отдать ей, а не какой-то Юлии Ипполитовне!

Мы уж не раз спорили об этом.

— Ну, оставим, все равно... Я к вам не могу пойти. Вы слишком наружу смотрите. Под этим, глубже, у вас ничего нету. Поэтому все строите на ненависти. А нужно всех любить. И потом у вас — без бога.

— Этого бы еще недоставало!

И сейчас же я в ней почувствовал тот странный, внутренний трепет, который часто в ней замечал. Когда мы, еще гимназистами, начинали спорить с ней о боге, Маша быстро говорила, с испуганно вслушивающимися во что-то глазами: не надо об этом говорить. Об этом нельзя спорить.

Она перевела разговор на другое.

Мы пили чай с миндальным печеньем, разговаривали и смеялись тихонько, чтоб не разбудить Юлию Ипполитовну. По отставшим от стен обоям тянулись зубчатые трещины. Задумчиво сидели, неожиданно явившись откуда-то, черные тараканы.

Понемножку со мною произошло обычное — я не могу без скуки и колючего раздражения думать о Маше, а побудешь с нею — и вдруг мягче начинаешь принимать всю ее, с ее чуждою, но большою и серьезною душевною жизнью. Бедно одетая, убивает себя на уроках, чтоб Юлия Ипполитовна могла есть виноград и принимать лактобациллин. И какое-то светящееся оправдание жизни, с терпимым и любовным уважением ко всему.

Мы чуть слышно пели втроем песни, которые пели с Машею, давно, еще мальчиками. Вспоминали, смеялись, говорили теми домашними словами, которых посторонний не поймет. Было по-детски чисто в душе и уютно.

Алеша всегда чувствует себя у Маши тепло и свободно. Но сегодня он был необычно весел, острил, смеялся. Как будто тайно радовался чему-то своему. А в Машиных глазах, когда она смотрела на Алешу, была горячая любовь и всегдашний скрытый, болезненный ужас, — какой-то раз навсегда замерший ужас ожидания. Вот уже два года она смотрит так на Алешу. Это для меня загадка.

Когда мы шли домой, я спросил Алешу:

— Отнес к Катре?

— Отнес, конечно.

— Что она, не фыркала?

— Н-нет...— Алеша помолчал.— Ужасная чудиха! Вдруг спрашивает меня: «Отчего вы, Алексей Васильевич, никогда не смотрите в глаза?» И засмеялась. Очень весело и добродушно. Звала чаю выпить.

Он говорил небрежно, а весь сиял, вспоминая. Катра и его околдовала своею красотою. Бедный, как ему мало надо.

И несколько раз еще Алеша возвращался к своему визиту. Объяснял мне, почему он отказался выпить чаю, рассказал, как она пожала ему руку.

На дворе, в белом сумраке ночи, у флигелька виднелась тонкая фигура. Мы взгляделись. В одном платье стояла изящная Прасковья. Она метнулась, хотела спрятаться, но как будто что вспомнила. Остановилась и недобрыми глазами смотрела на нас.

— Чего это вы на холоду стоите, Прасковья Вонифатьевна?

Она оборвала:

— Так.

Гольтяков пьет запоем. Ясно,— пьяный, он выгнал ее на мороз и запер дверь.

Мы стали звать ее зайти к нам выпить чаю. Она сердито отказывалась, бросала пугливые взгляды на темные оконца флигеля. И вдруг быстро пошла к нашему крыльцу, все не говоря ни слова.

Поставили самовар. С полчаса он нагревался. Прасковья сидела на уголке стула, худенькая, тонкая, и настороженно молчала. Чувствовалось,— заговори с нею, она сейчас же вскочит и убежит.

Мы предложили ей переночевать в Алешиной комнате, а он перейдет ко мне.

— Нет. Я в кухне посижу.

Всю ночь она просидела на табуретке в нашей кухне. Иногда выходила, поглядывала на беспощадно молчащие окна флигелька и возвращалась.

Мне плохо спалось. Завтра — большая массовка за Гастеевской рощей, мне говорить. Нервно чувствовалась в кухне Прасковья с настороженными глазами. Тяжелые предчувствия шевелились,— сойдет ли завтра? Все усерднее слезка... Волею подавить мысли, не думать! Но смутные ожидания все бродили в душе. От каждого стука тело вздрагивало. Устал я, должно быть, и изнервничался! — такая тряпка.

Не могу рассказывать. Сжимаются кулаки...

А когда я возвращался, я столкнулся в калитке с Гольтяковым. Мутно-грозными глазами он оглядел меня, погрозил кулаком и побежал через улицу. На дворе была суетня. В снегу полусидела Прасковья в разорванном платье. Голова бессильно моталась, космы волос были перемешаны со снегом. Из разбитой каблуком переносицы капала кровь на отвисшие, худые мешки груди. Хозяйка и Феня ахали.

Я остановился и смотрел, бессмысленно и неподвижно. Было в душе только тупое отвращение и какая-то тошнота. Странно запомнились, вытесняя чудные глаза Прасковьи, эти жалкие мешки ее груди, в страдальческом безразличии открытые взорам.

Страшно усталый я лежал на кровати. В душу въедался оскоминастый привкус крови. Жизнь кругом шаталась, грубо-пьяная и наглая. Спадали покровы. Смерть стала простою и плоскою, отлетало от крови жуткое очарование. На муки человеческие кто-то пошлый смотрел и тупо смеялся. Непоправимо поруганная жизнь человеческая,— в самом дорогом поруганная,— в тайнстве ее страданий.

И вечно, вечно сжимайся, жди без конца, дави желание бешено броситься навстречу!

Пришел Мороз. Возбужденный, с вздушеюся багровою полоскою поперек лица. Он пил чай, жадно жевал булку. И, смеясь, рассказывал:

— Вьется надо мною, все хочет достать нагайкою. А я в канавку втиснулся и лежу. Видит, не выходит его дело,— хочет лошадью затоптать. А живая тварь, лошадь-то, не желает ступать на живого. Стал он меня тогда с лошади шашкою тыкать,— проколол бок. Пальто вот все изрезал. Ну, да не жалко: старое.

— Что старое?

— Пальто.

— Пальто?.. Мороз, голубчик!

Я расхохотался, вскочил и стал целовать его милое скуластое лицо.

— И сильно он вам пальто попортил? Вот негодяй! Давайте посмотрим. Да кстати и бок.

Глубоко изнутри взмыл смех и светлыми струями побежал по телу. Что это? Что это? Все происшедшее было для него не больше как лишь смешною дракою! Что в этих удивительных душах! Волны кошмарного ужаса

перекатываются через них и оставляют за собою лишь бодрость и смех!

На боку оказалась царапина. Мороз сел зашивать просеченное пальто.

Пришли Наташа, Дядя-Белый, другие. Кой-кого не хватало. Пили чай. Рассказывали о пережитом. Что-то крепкое и молодо-бодрое выросло из ужаса. То черное, что было в моей душе, таяло, расплывалось, недоумевая и стыдясь за себя.

От хохота было тесно в комнате. Осетин Хетагуров рассказывал своим смешным восточным говором, как он из чаши вскочил на лошадь к стражнику, выбросил его из седла в снег и ускакал. Желтоватые белки ворочались, ноздри раздувались. Странно было на его гибкой, хищной фигуре горца видеть студенческую тужурку.

— Пачыму вы смаетесь?

Он с недоумением оглядывал нас, и глаза при воспоминании загорались диким, зеленоватым огнем. Милый Али! Я помню, как в октябре он один с угла площади вел перестрелку с целою толпою погромщиков. И все какие милые, светлые! В одно сливались души. Начинала светиться жизнь.

Вышел из своей комнаты Алеша, сидел и почтительно слушал.

Я написал воззвание. Наташа и Мороз ушли печатать. Уходя, Мороз улыбнулся и крепко потряхнул мою руку.

— А что, Сергеич! Скучно будет жить на свете, когда придет этот самый наш социализм!

Приехал доктор Розанов. Сразу все оживились. Почувствовалась властная, уверенная рука.

Его усиленно разыскивают, грозит ему недоброе. Но он приехал. Только бороду сбрил и покрасил волосы. Это смешно: огромная голова на широких плечах, глубоко сидящие зеленоватые глаза, давняя хромота от копыт казацкой лошади,— кто его у нас не узнает? Он две недели владел городом. Черносотенцы называли его «ихний царь».

Раньше он мне мало нравился. Чувствовался безмерно деспотичный человек, сектант, с головою утонувший в фракционных кляузах. Но в те дни он вырос вдруг в могучего трибуна. Душа толпы была в его руках, как буйный конь под лихим наездником. Поднимется на

ящик, махнет карандашом,— и бушующее митинговое море замирает, и мертвая тишина. Брови сдвинуты, глаза горят, как угли, и гремит властная речь.

Я не мог решить, правильно ли он действует, я ничего не понимал в закрутившемся вихре. Но его стальная воля покорила меня, как и всех, я слепо шел за ним. Спокойно и властно он мог всех нас послать на смерть,— и мы бы пошли и верили бы, что так нужно.

И вот он теперь приехал.

— Иван Николаевич, это безумие!

— Скажите-ка лучше, что у вас там в комитете наерундили? Совсем меньшевистские повадки. Это все вас Наташа мутит.

С ночевками его вышла история. Решили поместить его у Катры и поручили мне попросить ее. Но что лезть к человеку, который отбивается и руками и ногами? Я решительно отказался. Тогда пошел к ней Перевозчиков. Навязчивостью и ложью он многого достигает,— тою фальшивою «пролетарскою моралью», которую культивируют как раз интеллигенты. В Ромодановске он сидел в тюрьме; после долгих хлопот удалось уговорить одного адвоката внести за него залог; Перевозчиков сейчас же скрылся: «У этих буржуев денег хватит!» В квартире, данной нам буржуем, он пачкает сапогами диваны из презрения к буржую.

Катра приняла Перевозчикова высокомерно, высокомерно отказала, а в заключение прибавила:

— Пусть попросит Чердынцев,— тогда я подумаю.

С хохотом Перевозчиков рассказал это. Все хохотали, поздравляли меня с победою над сердцем декадентки. Ужасно было глупо, и я-то понимал, что тут вовсе не «победа».

Пересилил себя, пошел. Катра встретила меня очень любезно, в недоумении пожимала плечами, сказала, что тут какое-то недоразумение. А глазами нагло смеялась. И отказала решительно.

Ночует Розанов там и сям. Раза два даже у Маши ночевал, в передней.

Есть люди, есть странные условия, при которых судьба сводит с ними. Живой, осязаемый человек, с каким-нибудь самым реальным шрамом на лбу,— а впечатление, что это не человек, а призрак, какой-то миф. Таков Турман. Темною, зловещею тенью он мелькнул передо

мною в первый раз, когда я его увидел. И с тех пор каждый раз, как он пройдет передо мною, я спрашиваю себя: кто это был,— живой человек или странное испарение жизни, сгустившееся в человеческую фигуру с наивно-реальным шрамом на лбу?

В первый раз я его увидел на митинге, в алом отблеске знамен, среди плеска и шума неудержимо нараставшей потребности в действии. Бледный полицмейстер пытался говорить:

— Граждане! Чтоб избежать напрасного кровопролития...

— Долой! Не мы крови хотим, а вы!..

— ...чтоб напрасно не полилась человеческая кровь, я умоляю вас...

— Вон его!.. Долой!..

Полицмейстер измученно махнул рукою и сошел с ящика. Кипели речи. Около полицмейстера стояла Наташа. Мелькнула темная фигура,— это был Турман. Задыхаясь, он остановился перед полицмейстером, потоптался. Странно наклонившись, шагнул в сторону. Опять воротился. Как будто сновала зловещая ночная птица. В одно время полицмейстер и Наташа вдруг поняли,— понял вдруг и Турман, что они поняли. И стояли все трое, охваченные кровавою, смертною дрожью, и молча смотрели друг на друга. Наташа заслонила полицмейстера рукою и властно крикнула:

— Товарищ, уйдите!

Турман крепко сжатою рукою что-то держал в кармане пальто. Он топтался на месте, дрожал и впивался взглядом в глаза Наташи.

— Уйти?.. Наташа!

— Сейчас же уйдите! Слышите?

— Так уйти?.. Ната... Наташа?..

Я решительно обнял его за плечи.

— Пойдемте, товарищ! Вам тут нечего делать!

Все еще дрожа, он покорно, как в гипнозе, пошел со мною в толпу... Через минуту, все забыв, Турман жадно слушал несшиеся в толпу призывы.

Сегодня он опять темным призраком прошел перед душою, и опять я спрашиваю себя: живой это человек? Или сгустилась какая-то дикая, темная энергия в фигуру человека со шрамом на лбу?

Спокойно глядя на него, Розанов беспощадно говорил:

— В профессионалы вы не годитесь. Никакого дела

мы вам дать не можем. Вы не умеете сдерживать себя, когда нужно. Вы весь отдаетесь порыву. Вы не ведете толпу, а сами несетесь с нею...

Турман дрожащими руками закуривал папиросу и никак не мог закурить.

— Как же это не может мне дело найтись? Я ни от чего не откажусь. Давайте, что знаете. Что ж мне, сложа руки сидеть? И это тоже: с голоду издыхать? Сами знаете, я теперь безработный. За общее дело пострадал, никуда не принимают.

— Жалко вас, но партия не богадельня.

— Да я у вас не милостыни и прошу, а дела... Гм! Ну, па-артия! Жалуются, людей нет, а людей гонят. Жалуются, денег нет, кругом все добывают деньги — на пьянство, на дебош... А они на дело не могут.

Розанов быстро поднял голову.

— Как это деньги добывают?

— Как! Сами знаете!

Они молча смотрели друг другу в глаза.

— Вы говорите про экспроприации. Запомните, Турман, хорошенько: партия запрещает их.

— Я вам под чужим флагом устрою. Наберу молодых. Никто не узнает.

— Что такое? — Розанов встал. — Нам с вами разговаривать больше не о чем.

— Та-ак... — Турман взялся за шапку. Он задышался. — Значит, окончательно за хвост и через забор? Благодарим!.. Речи болтать, звать на дело, а потом: «Стой! Погоди! Ты только знай *организуйся*». Спасибо вам за ласку, господа добрые!

Собрание происходило в народном театре. На эстраде восседал весь их комитет, — председатель земской управы Будиновский, помощник директора слесарско-томилинского банка Токарев и другие. Приезжий из столицы профессор должен был читать о правах партиях.

Ходили слухи, что на собрание явится со своими молодцами лабазник Судоплатов — местный «Минин» и кулачный боец. Лица смотрели взволнованно и тревожно.

В первом ряду сидела жена Будиновского, Марья Михайловна, рядом с Катрою. Марья Михайловна по-манила меня.

— Скажите, вы слышали, что будут судоплатовцы?

— Слышал.

— Неужели ваши будут так бестактны, что выступят?

— Обязательно!

— Ну да! Вы хотите сорвать собрание... Господи, положительно я не понимаю. Сами бойкотируете выборы,— зачем же другим мешать? Ведь бог знает что может произойти. Катерина Аркадьевна, не пойти ли нам за кулисы? Муж мне советовал лучше там сесть,— если что выйдет, легче будет уйти.

— Конечно, пойдите,— оно безопаснее.

Катра вспыхнула, высокомерно оглядела меня и отвернулась. Марья Михайловна взволнованно двинулась на стуле.

— Боже мой! Смотрите,— верно!.. Он!

В публике произошло движение. От входа медленно шел между стульями лабазник Судоплатов в высоких, блестящих стапогах и светло-серой поддевке, как будто осыпанный мукой. Сухой, мускулистый, с длинною седою бородою. Из-под густых бровей маленькие глаза смотрели привычно грозно.

Говорят, у него дружина в сто человек, вооруженных револьверами. Он входит к губернатору без доклада. Достаточно ему кивнуть головою, чтоб полиция арестовала любого. Он открыто хвалится везде, что в дни свободы собственноручно ухлопал пять забастовщиков.

Прошел он и сел во втором ряду. И замер, прямо глядя перед собою. Как будто удав прополз и лег. Жуткий, гадливый трепет пронесся по рядам. Слухи становились грознейшей действительностью.

Наши заняли правую сторону амфитеатра. Мороз шепнул мне на ухо:

— Ну, значит быть бою!

Весело блестя прищуренными глазами, он вынул из кармана кастет и показал мне его из-под полы.

Вышел докладчик-профессор. Оглядел толпу близорукими глазами в очках и начал.

Говорил он мягко, красиво и задушевно. Правые партии объявляют себя опорой России: при каждом удобном случае твердят о своей готовности всем пожертвовать для царя и отечества. На днях еще это говорил в Дворянском собрании глава истинно русской партии, граф фон Ведер-Нох. Исследуем же их программу, посмотрим, чем они готовы жертвовать. Вот, например, аграрный вопрос. Беру программу, ищу и нахожу: первым

делом рекомендуется переселение. Спору нет, это дело не бесполезно, хотя статистикой доказано, что свободных земель для заселения у нас весьма недостаточно. Но я спрошу: где же тут жертва?.. Рабочий вопрос. Рекомендуется государственное страхование рабочих. Опять против этого ничего нельзя возразить. Но жертва-то, господа, жертва где же?..

Профессор улыбался близорукими глазами и разводил руками.

Ярко вскрыл он узкое своекорыстие разбираемой партии, широко и красиво набросал собственную программу и кончил напоминанием, что на нас смотрит история.

— В ваших руках, граждане, дальнейшая судьба России, и строго допросите вашу совесть раньше, чем пойти к избирательным урнам!..

Захлопали — громко и настойчиво, но не густо. Большинство загадочно молчало.

Председатель объявил перерыв.

Настроение становилось все тревожнее. Дамы со страхом косились на Судоплатова. Он сидел на подоконнике и сонно-равнодушными, загадочными глазами смотрел перед собою.

Я пошел на эстраду записаться. Будиновский растерянно взглянул на меня. Стал убеждать не выступать?

— Толпа самая ненадежная, — приказчики, мелкие лавочники, — мещане. А мы имеем достоверные сведения, что в публике до полусотни переодетых судоплатовцев. Вы ведь знаете специальное назначение этих молодцов — в нужные моменты изображать «возмущенный народ». Ваше выступление даст им возможность увлечь толпу на самые неожиданные выходки.

— Ну, а все-таки, пожалуйста, запишите меня.

Я воротился на место. Дыхание слегка стеснялось, сердце вздрагивало от ожидания. Море голов двигалось внизу. Огромная душа, чуждая и темная. Кто она? Враг? Друг?.. Кругом были свои, с взволнованными, решительными лицами. О, милые!

Зазвенел председательский звонок. Начали рассказываться. Часть наших стала около эстрады, чтобы, в случае чего, быть поближе.

Будиновский поднялся из-за стола, взволнованно поглядел в мою сторону.

— Слово принадлежит господину Чердынцеву. Господин Чердынцев, пожалуйста на эстраду!

Алеша любящим беспокойным взглядом следил за мною.

Головы, головы перед глазами. Внимательные, чуждонастороженные лица. Поднялась из глубины души горячая волна. Я был в себе не я, а как будто кто-то другой пришел в меня — спокойный и хладнокровный, с твердым, далеко звучащим голосом.

— Господа! Столичный профессор очень жестоко нападал здесь на правые партии. Позвольте заявить прямо и откровенно: я принадлежу к самой правой партии. Я — черносотенец. Тем не менее я от души приветствую доклад господина профессора, приветствую те основные мысли, на которых он строит свою критику. Для разных социал-демократов и забастовщиков программы их партии определяются тем, чего они *требуют*. Вооруженный наукою профессор доказал нам: достоинство серьезной политической партии опережается не тем, чего она требует, а тем, чем она жертвует. Чем жертвуем мы, кого вы называете черносотенцами, — это я после скажу. А раньше спрошу вас, господин профессор, — чем же жертвуете вы и ваша партия?

Разобрав их программу, определив состав партии, я стал доказывать, что всевозможные свободы и конституции им выгодны, сокращение рабочего дня безразлично, наделение крестьян землею «по справедливой оценке» диктуется очень разумным и выгодным инстинктом классового самосохранения.

— Чем же, господа, вы-то жертвуете? Всякие революционеры, — они по крайней мере жизнью своею жертвовали, а вы тогда сидели в ваших норках и болтали на разных съездах. Но вы спрашиваете: чем жертвуем мы? Извольте, я скажу. Вы все говорили о графах и богачах, — верно, — им жертвовать нечем. Но вот тут мы сидим, бедняки и не графы. Мужики, рабочие, ремесленники, приказчики. Да мы всем жертвуем для порядка отечества! Мы жен и детей готовы заложить, как великий наш патриот Минин!.. (Я с пафосом повысил голос.) И заложим, и всем пожертвуем... Жизнь отдадим за могущество и славу матушки России!..

Раздались хлопки, крики «ура!». Судоплатов, подняв бороду, все время пристально смотрел на меня, но тут тоже захлопал. Тогда в разных концах захолопали

еще настойчивее. Сова, шныряющие только в темноте, приветствовали сову, смело вылетевшую на солнце.

— Чем мы жертвуем! И вы можете это спрашивать! Да что же вы думаете, мужик нашей партии слеп, что ли? Не видит он, что рядом с его куриным клочком тянутся тысячи десятин графских и монастырских земель? Ведь куда приятнее поделить меж собой эти земли, чем ехать на край света и ковырять мерзлую глину, где посеешь рожь, а родится клюква. А мужик нашей партии говорит: ну что ж! И поедем! Или тут будем землю грызть. Зато смиренно сидим, начальство радуем, порядка не нарушаем... Разве же это не жертва?!

Пронесся недоумевающий ропот. Раздались смешки. Судоплатов еще выше поднял бороду и пристальными, загорающимися глазами смотрел на меня.

— Про неприкосновенность личности вы говорили... На мне вот, господин профессор, потрепанная блуза, а на вас тонкий сюртук. Если я попаду в каталажку, мне там пропишут такую неприкосновенность, какой вам никогда не видать. Всякий околоточный или урядник надо мною все равно что царь. А поверьте, господин профессор, я тоже человек, я тоже хотел бы, чтобы меня никто не смел хватать за шиворот. Но я говорю: это нужно для высшего порядка. Не моего ума дело соваться в политику. Господину полицмейстеру лучше видно... Да неужели же и это не жертва?

Меня прервал взрыв рукоплесканий и хохот. Судоплатов вскочил и опять сел. Перекатывался хохот, кричали «браво», повсюду трепыхали хлопающие руки, даже на эстраде и в первых рядах.

Я восхвалял рабочих, для порядка голодающих и работающих без конца. Среди хохота и плеска Судоплатов встал и медленно, ни на кого не глядя, пошел вон.

Потом говорил Мороз, Перевозчиков. Опять я говорил, уже без маскарада. Меня встретила буря оваций. И говорил я, как никогда. Гордые за меня лица наших. Жадно хватающее внимание серых слушателей. Как морской прилив, сочувствие сотен душ поднимало душу, качало ее на волнах вдохновения и радости. С изумлением слушал я сам себя, как бурно и ярко лилась моя речь, как уверенно и властно.

Говорили, конечно, и с эстрады, — профессор, Будинковский, Токарев. Но было у них, как обычно теперь: им наносились удары слева, они стыдливо чуть-чуть за-

щищались, а свои удары направляли вправо, в пустоту.

Трогательно было, когда собрание кончилось. Тесною, заботливою толпою меня окружили товарищи рабочие, и я вышел в густом кольце защитников.

Стояла в проходе Катра и скучающе слушала госпожу Будиновскую. Мельком Катра взглянула на меня, и в ее взгляде мелькнула на миг сиротливая зависть и горячая нежность. А может быть, это мне показалось.

— Слышал, слышал, как вы отличались! Везде только о вас и говорят! — Доктор Розанов смеялся зеленоватыми глазами и с горделивою нежностью смотрел на меня. — Вот что: знаете вы некоего человека, которого зовут Иринарх?

Я пренебрежительно ответил:

— Знаю.

Рассказал о его разговоре с Турманом и Дядей-Белым. Я ждал, что глаза Розанова вспыхнут презрением. Но он выслушал внимательно и очень спокойно, с тем взглядом глаз, который я знаю у него, — выше людей смотрящим, где каждый человек — лишь материал.

— Он может нам пригодиться.

— Сомневаюсь. Это одиночка до мозга костей и гастроном жизни.

— Мы ему сколько угодно поднесем пикантных блюд.

Мне хотелось знать, как относится Розанов к его разговору с Турманом.

Розанов уклончиво ответил:

— В сущности, он во многом прав. Только ошибка его, что он мыслит не диалектически. В процессе своей жизнь выработала из человека тип, для которого борьба стала фетишем. Но нельзя же, например, агитатору говорить такие вещи перед толпой!.. Нашел кого просвещать, — Турмана! Этаким болван!

Вчера вечером Алексей нажарил печку, в низкой комнате было жарко и душно, я долго не мог заснуть. Встал поздно, в двенадцатом часу. Наставил в кухне самовар и стал чистить свои ботинки.

В наружную дверь постучались.

— Кто там?

Ответил голос Катры. Что это значит? Я надел ботинки и пиджак, отпер дверь.

Она вошла, румяная от холода, немного смущаясь.

— Здравствуйте! Пришла к вам в гости,— сказала она недомашним, застенчиво тихим голосом и улыбнулась.

Улыбкою, как медленную зарницу, осветилось ее лицо, и осветилось все кругом.

— Чудесно! Сейчас поспеет самовар, будем чай пить.

По-обычному я враждебно насторожился, стараясь не поддаться ее красоте и свету ее улыбки.

Катра, наклонившись, снимала с ноги серый меховой ботинок, с любопытством оглядывала убогую, обмазанную глиною кухню.

— Как к вам трудно пройти! Сугробы горами и узенькие-узенькие тропинки... Что это вон на полу лежит, письмо? Кажется, нераспечатанное.

Около моей двери лежал большой серый конверт. Я поднял его.

— Должно быть, в щель вашей двери был засунут, вы открыли дверь, он выпал.

На конверте рукою Алексея было четко написано: «Его Высокоблагородию Константину Сергеевичу Чердынцеву. *Весьма нужное*». В конверте оказался другой конверт, поменьше, белый, и на нем стояло:

«Костя! Пожалуйста, *ради всего тебе дорогого*, прежде чем предпринимать что-нибудь, прочти *все* мое письмо возможно спокойнее, дабы не сделать ложного шага».

Я дрожащими руками разорвал конверт. Было написано много, на двух вырванных из тетради четвертушках линованной бумаги. Перед испуганными глазами замелькали отрывки фраз: «Когда ты прочтешь это письмо, меня уж не будет в живых... Открой дверь при Фене... Скажи ей, что я самоубийца... согласится дать показание. Вчера воротился сильно пьяный и, должно быть, закрыл трубу, когда еще был угар».

Из смутного тумана быстро выплыло вдруг побледневшее лицо Катры. Как в зеркале, в нем отразился охвативший меня ужас. Я бросился мимо нее к двери Алексея.

Дверь была заперта изнутри,— крепкая, в крепких косяках. Я бешено дернул за ручку. Что-то затрещало и подалось, я дернул еще раз, радостно и удивленно

чувствуя, что силы хватит. Правый косяк подался, дверь с вывернувшимся замком распахнулась, и штукатурка в облаках белой пыли посыпалась сверху. Охватило душным, горячим чадом.

С кровати, придвинутой изголовьем к открытой печке, полусидя и странно скорчившись, Алексей неподвижно смотрел в просвет взломанной двери.

Я бросился к нему.

— Алеша!.. Голубчик!..

Бледный, он перевел на меня, не узнавая, огромные, чуждые, смертно-серьезные глаза. Смотрел и бессмысленно бормотал:

— Что такое?.. Что такое?..

Я раскрыл форточку, вынул из трубы горячие вьюшки. В мутных глазах Алексея мелькнуло сознание. Он медленно спустил ноги с кровати и вздохнул.

— Родной мой, Алеша!..

Задыхаясь, с дрожащими губами, я сел рядом с ним, обнял его плечи. Он сидел в одном нижнем белье, вытаращив глаза, и медленно оглядывался — с пристальным, испытующим любопытством.

— Как глупо! Как нелепо!

Он с отвращением передернул плечами и продолжал украдкой оглядываться, как будто выискивал, отчего не удалась попытка.

Я что-то говорил, а он безучастно молчал. В дверях показалась Катра и, увидев его раздетым, отошла. Алексей равнодушно проводил ее глазами. Белый, уныло-резвый свет наполнял комнату. У кровати стоял таз, полный коричневой рвоты, на полу была натоптана известка, вдоль порога кучею лежало грязное белье, которым Алексей закрыл щель под дверью.

И он сидел понурившись, с вырисовывавшимся под бельем крепким, мускулистым телом, сложив на коленях большие, как будто рабочие руки.

— Что у меня такое с языком?.. Посмотри, пожалуйста, у меня ощущение, как будто кончика нет.— Еще сильнее обычного его голос звучал неестественно и деланно.

Он высунул распухший, толстый язык. На языке темнели глубокие отпечатки зубов, как на тесте. Я ответил:

— Распух язык. Ты его себе прикусил.

Не глядя на меня, он лег в постель и укрылся одеялом. Я осторожно и любовно спросил:

— Как ты себя чувствуешь?

Алексей равнодушно ответил:

— Ничего. Голова только отчаянно болит... Попробую заснуть.— Он помолчал.— Вот что, Костя: пожалуйста, никому не говори. Так глупо!

Он отвернулся к стене и закутался с головой. Я вышел. Катра стояла в моей комнате у окна. Она торопливо стала спрашивать:

— Ну, что? Как он?

— По-видимому, ничего, все благополучно. Должно быть, поздно печку закрыл, мало было угару, а организм здоровый... Пожалуйста, Катерина Аркадьевна, никому не рассказывайте.

— Ну да, конечно же!.. Скажите, ведь при угаре помогает нашатырный спирт? Вам нужно здесь остаться, я схожу в аптеку.

Она поспешно оделась и ушла. Я поднял с пола письмо, стал читать:

15 февраля, 2 ч. ночи.

«Когда ты прочтешь это письмо, меня уж не будет в живых. Пожалуйста, поступи так: открой дверь при Фене (ключ под дверью на пороге), скажи, что я самоубийца, что я буду гореть в вечном огне и что помочь мне могут только панихиды. Она девушка добрая и согласится дать такое показание: «Алексей Васильевич часто топил печку на ночь; вчера вечером он воротился сильно пьяный и, должно быть, закрыл трубу, когда еще был угар...» Только бы Маша не узнала настоящей причины! Голубчик, дорогой, прими к этому все меры!.. Я больше месяца мучился, старался побороть себя, но *не могу*, и даже мысль о Маше не может меня удержать. Бедная, бедная Мадонна! Я любил ее больше всех на свете.

А причины? Что же я не пишу о причинах моей смерти? Я чувствую себя *чересчур* уж «маленьким человеком». Я думаю, больше нечего об этом писать, ты меня поймешь. Прощай, мой хороший, смелый, умный. Если я на что шел, то только потому, что ты вел меня. Завтра вы будете пить чай, ходить по улицам, а меня *совсем не будет*... Чудно!»

«Проснулся,— голова болит, но жив; пошел и взял назад это письмо. Как глупо! Видно, пять поленьев мало. Поэкономничал, жалко было тратить много дров. Все моя глупая деликатность. Сегодня положу в печку десять».

4 часа утра, 16 февраля.

«Вчера ночью я плакал, волновался, уходил из дома, а теперь чувствую такое спокойствие и решимость! Печка натоплена жарко, углей масса, и жар валит в комнату. Теперь мне такими маленькими-маленькими кажутся все людские страдания и печали. И знаешь? Такою маленькою кажется мне и твоя радость жизни, освещенная будущим. Неужели ты вправду веришь в нее? Ну, не сердись, прости меня. Ты, конечно, веришь, иначе как бы ты мог жить? Но это вера, и не больше. А я к своему выводу пришел разумом, неопровержимую логикой: жизнь человеческая есть отрицательная величина, а смерть — нуль; нуль же больше всякой отрицательной величины, это говорит математика. И если даже прав Иринарх относительно размаха в положительную и отрицательную сторону, то и тут я столь же строго математически извлекаю среднее и получаю тот же молчаливо-выразительный нуль... Прощай!»

Он пытался, значит, две ночи подряд! Я смотрел на ровные, четкие строки, на эти два сероватых листика с школьною голубую линовкою... А вчера вечером он со мною пел, дурачился. Это, — имея позади одну ночь и в ожидании другой. У меня захолонуло в душе.

Я вышел в кухню, заглянул в его комнату. Алексей лежал лицом к стене и — притворяясь? — ровно и громко дышал, как будто крепко спал. Я сел к нему на постель, обнял через одеяло и припал к нему.

Алексей вздрогнул, раскрыл глаза и, тряхнув головою, стал оглядываться, как человек, разбуженный после крепкого сна. И нельзя было разобрать, притворяется он или нет. Я сказал прерывающимся голосом:

— Алеша, Алеша, что ты хотел сделать!

Он старался не встретиться со мною глазами. Взгляд его был чуждый и отдаленный; на бледном, страш-

но осунувшемся лице темнели глубоко впавшие, окаймленные синевой глаза. Он как будто смотрел из другого мира, неподвижно прислушиваясь к чему-то внутри себя. Я продолжал:

— И почему? Какие причины? То, что ты пишешь, — разве это основание? «Маленький человек». А разве мы все не маленькие? Неужели право на жизнь имеют только Лассали и Гарибальди? Да и не в этом все дело, ты просто изнервничался в тюрьме, ослабел.

Алексей слушал, заложив руки за голову, и смотрел в потолок. На губах его мелькнула усмешка. Он удивленно сказал:

— Чудак ты! Вот я не думал, что ты будешь так держаться! Что тюрьма? Посмотри, какой я крепкий. Дело вовсе не в этом. Ты отлично должен бы все понять.

— А потом — Маша. Как можно было бы это скрыть от нее? Конечно, Феня разболтала бы, да и вообще то, что ты придумал, слишком невероятно... А что бы с нею тогда случилось?

— По-твоему, это, значит, главная причина? А если бы Маши не существовало? — с странным любопытством спросил Алексей. Он поднял голову и облокотился о подушку. — Для чего мне, собственно, продолжать жить? Неумелый. За что ни возьмусь, получается ерунда. Вот два раза подряд даже убить себя не сумел. И ты отлично знаешь мою судьбу: ворочусь в университет, кончу — sereneкий, аккуратный; поступлю на службу... А страдания меня вовсе не прельщают... Для чего же все?

Он теперь прямо смотрел мне в глаза, и глубоко в его зрачках светилась добродушная, прощающая усмешка.

Я растерянно молчал. Этот взгляд, смотревший на меня из другого мира, принял бы одну только глубокую правду. И все, что я мог бы сказать, чувствовало себя ненужным, фальшивым, все бессильно спадалось, обвисало и сморщивалось. Радость жизни, радость борьбы, — но он их не ощущал. Жизнь для других, — но как будто об этом можно случайно забыть и при напоминании убедиться... А между тем душа громко, настойчиво кричала, всем существом кричала, что должно быть что-то громадное, полное, могучее по своей неоспоримой убедительности. Но что?

Я молча прошелся по комнате, сел к столу. Около склянки с чернилами аккуратную стопочкою были сложены все конспекты, записная книжка, потертый кожа-

ный портсигар. Паспорт был раскрыт. В рубрике: «Перемены, происшедшие в служебном, общественном или семейном положении владельца книжки», рукою Алеши четко было вписано:

«Волею космического разума обратился в ничто 16 февраля 1906 г., в 6 часов утра».

Алексей увидал, что я читаю, и поморщился.

— Э, это я так, дурачился.

Я перевернул страницу. Все рубрики были заполнены его старательным, аккуратным почерком.

«Приметы: рост: — Так себе. Цвет волос: — Неопределенный. Особые приметы: — Конечно, нету».

Алексей неестественным голосом сказал:

— Слушай, Коська, я спать хочу. Голова болит.

— Я уйду. Только вот что... Голубчик!— Я нерешительно подошел.— Дай мне слово, что больше не будешь пытаться.

— Не буду. Не сумел,— сам виноват. Теперь бы это было свинством.

— Правду только говоришь, Алеша?

Любовь и горькая жалость были во мне. Я обнял его и целовал — нежно, как маленького, беззащитного брата. Алексей вдруг всхлипнул, обнял мою шею и тоже крепко поцеловал меня. И я чувствовал, как страшно пусто и как страшно холодно в его душе.

— Алешка, Алешка, тяжело тебе! Нужно, брат, встряхнуться, нужно перестроить жизнь... Мы поищем...

Он усмехнулся.

— Теперь только и остается. Отказался от смерти, приходится что-нибудь поискать в жизни.

— Найдем, брат, найдем!.. Ей-богу, найдем!

Стало легко и близко, разрушилась преграда. Мы несколько времени сидели молча. Я участливо спросил:

— Голова болит?

— Ужасно!— поморщился он.

— Сейчас Катерина Аркадьевна принесет нашатырного спирта. Ты его нюхай, легче будет.

— Слушай, зачем она здесь?

— Случайно зашла, и как раз попала.

— Ну, ладно, буду спать...

Я ушел в свою комнату, подошел к окну. На улице серели сугробы хрящеватого снега. Суки ветел над забором тянулись, как окаменевшие черные змеи. Было мокро и хмуро. Старуха с надвинутым на лоб платком

шла с ведром по грязной, скользкой тропинке. Все выглядело спокойно и обычно, но было то и не то, во всем чувствовался скрытый ужас.

Сегодня утром так же чуть таяли хрящеватые сугробы, так же проходили по тропинке женщины к обледенелому колодцу. А в это время он, со смертью и безнадежностью в душе и со страшною решимостью, валялся головою к печке в горячем угарном чаде, с судорожно закушенным языком.

И мне вспомнилось: в первую из этих ночей я долго слышал сквозь сон, как он двигался в своей комнате, слышал скрип наружной двери и шаги за окном. А вчера вечером мы пели вдвоем, боролись, и он смеялся. Потом, ночью, я читал Макса Штирнера, а там, за тонкою стеною, совершалось в человеческой душе самое страшное, что есть на свете. Страшное — и одинокое, глубоко, непостижимо одинокое. И если бы он тогда вошел ко мне и сказал:— отбросим все условности, поговорим по душе, не прячься друг от друга,— скажи по совести, для чего мне продолжать жить?— то я все равно ничего не мог бы ему ответить. И он, стоя обеими ногами в могиле, смотрел бы на мою растерянность с тою же добродушною насмешкою...

Извозчик подъехал к воротам. Торопливо вошла Катра с нашатырным спиртом. Я пошел со склянкою к Алексею. Опять он встряхнулся и удивленно раскрыл глаза, и опять нельзя было понять,— спал ли он, или притворялся и думал о чем-то.

Как будто для моего удовольствия он понюхал раза два из бутылочки и завернулся с головою в одеяло. Я тихонько вышел. Катра задумчиво ходила по моей комнате.

— Константин Сергеевич, может быть, можно ему что-нибудь сделать, помочь ему... Отчего это он, отчего?

Я устало сел на постель. Недоумение и растерянность были в душе, и что-то, как будто помимо сознания, напряженно думало все над одной мыслью:

— Вот вплотную подойдет к вам человек, подойдет и спросит: не хочу я жить,— почему мне не умереть? И ответьте ему так, чтобы это не было фразой. На что же мы вообще можем ответить, если не можем ответить на это? А ведь, казалось бы, ответить нужно так, чтоб ясная убедительность ответа покоряла легко и сразу, нужно ответить с недоумевающим смехом,— как можно было об этом даже спрашивать...

Катра, наморщив брови, смотрела мимо меня в окно, как будто намеренным непониманием отгораживалась от моих вопросов. Она сказала:

— Может быть, это временное? Нужно отвлечь его от его мыслей и настроений, рассеять...

Сидела она, облокотившись о стол, и была это не запершаяся в себе красавица, лелеющая свою красоту, а прежняя Катра, с гладкими волосами, простая и отзывчивая. Стало близко, как с товарищем. Мы долго сидели и разговаривали вполголоса.

Я наставил давно выгоревший и остывший самовар. Решил, что Алексею хорошо бы выпить чаю с коньяком. Катра осталась дежурить, а я пошел в город за вином и тихонько захватил свои часы, чтобы заложить.

Спускались сумерки. Мелкий, сухой снег суетливо падал с неба. Я остался один с собою, и в душе опять зашевелился притихший в разговорах ужас. На Большой Московской сияло электричество, толпы двигались мимо освещенных магазинов. Люди для чего-то гуляли, покупали в магазинах, мчались куда-то в гудящих трамваях. Лохматый часовщик, с лупою в глазу, сидел, наклонившись над столиком. Зачем все?

Так огромно было то, перед чем сегодня ночью стоял Алексей. Так ничтожна была суетня кругом. И не только она. Мелькнувшее в темноте румяное личико девушки, перебитая каблуком переносица Прасковьи, стачка циглеровцев, вопросы о будущем, искания мысли и творчество гения — все одинаково было ничтожно и мелко.

И опять мне вспоминалось, как с темною безнадежностью в душе он валялся с закушенным языком в жарком угарном чаде. И губы начинали прыгать, и в темноте слезы лились из глаз.

Идут дни. Снова все обычно. Снова мы разговариваем, шутим, как будто ничего не случилось. Но он смотрит на меня из другого мира и только скрывает это. Когда я осторожно пытаюсь заговорить о том, что у него в душе, он морщится и отвечает:

— Ну, оставь, пожалуйста! Я дал тебе слово, что больше не буду повторять, — чего же тебе еще?

Что-то глухо огородило его душу. Хочется разорвать, раскидать руками преграду, вплотную подойти к его душе, горячо приникнуть к ней и сказать...

Но что сказать?!

В душе моей ужас. И не потому, что Алеша стоит перед смертью. На моих глазах его били городовые дубинками и рукоятками револьверов, залитая кровью голова бесчувственно моталась. Я шел мимо, одетый деревенским парнем, с гирляндой револьверов под полушубком. И тогда было не то. Я шел — и не мозгом, а всем существом в лихорадочном смятении ощущал одно: Алеша, Розанов, я, другие — все это совсем ничто, есть что-то огромное и общее, а это пустяки. Сейчас избивают Алешу, — пускай! Завтра меня самого, раненого, будут топтать лошадью, — пускай! И это думалось без смирения и без гордого вызова, а просто как что-то естественное и само собою понятное.

Тогда было совсем не то.

Топится печка. В ее пасти — куча раскаленных мигающих углей, по ним колышутся синие огоньки. Алексея нет дома. Я сижу с кочергой перед печкой в его комнате. Мне кажется, в воздухе слабо еще пахнет угаром и смутный ужас вьется в темноте.

Перед тою ночью, вечером, мы пели дуэтом: «Не шуми ты, рожь...» Он однообразно и размеренно гудел своим басом, и я возмущался, дирижировал, замедлял темп. Там есть слова:

Тяжелей горы, темней полночи,
Легла на сердце дума лютая...

Я морщился и останавливал его.

— Ну, Алешка, ведь *дума лютая*, — ты пойми, представь ее себе!.. Тоски побольше, грусти безнадежной... Давай еще раз!

Он конфузился, и мы начинали снова. И он бесплодно старался вложить безнадежную тоску в «думу лютую»... А у самого в это время — какая лютая-лютая дума была в душе!

От печки жарко. Темные налеты, мигая, проносятся по раскаленным углям. Синие огоньки колышутся медленнее. Их зловещая, уничтожающая правда — ложь, я это чувствую сердцем, но она глубока, жизненна и серьезна. А мне все нужно начинать сначала, все, чем я жил. У меня, — о, у меня «дума лютая» звучала такой захватывающею, безнадежною тоскою! Самому было приятно слушать. И теперь мне стыдно за это. И так же стыдно за все мелкие, без корней в душе ответы, которыми я до сих пор жил.

Все нужно начинать сначала.

Жизнь неслась, как будто летел вдаль остроконечный снаряд, со свистом разрезая замутившийся воздух. Так неслась жизнь, и мы в ней. Голова кружилась, некогда было думать. И вдруг, как клубок гадов, зашевелились теперь вопросы. Зашевелились, поднимают свои плоские колеблющиеся головы.

И я читаю, читаю. И я думаю, думаю. И самому смешно — мне поскорее, пока Алеша не убил себя, нужно узнать вновь, и уже всерьез, — зачем жить.

Зачем жить?

Я смотрю на эти два написанных слова. Чего-то стыдно. Они глядят так наивно-банально, так по-гимназически. И это особенно страшно. Смешно глядят они не потому, что только гимназист не знает ответа на странно-простой вопрос, а потому, что только еще гимназист может ждать возможности ответа.

Ответа нет нигде. А люди живут.

Гольтяков не пьет. Пропил инструменты, пропил тальму Прасковьи. Вчера вечером пришел, рванул себя зубами за руку, оторвал лоскут кожи.

— Вот! Себя не жалею!.. То ли с тобой сделаю!

Ночью за нами прибежал Гаврик, братишка Прасковьи. Гольтяков накинулся на избитую до бесчувствия Прасковью и стал ее душить. Мы оттащили его и связали. Он щелкал зубами, катался по кровати и хрипел:

— Доберусь до тебя, шлюха проклятая, погоди!.. К студентам бегаешь ночевать, — думаешь, не знаю!.. Нашла заступников... Погоди!..

Гнусность, гнусность!

Зашел Иринарх, передал мне просьбу Катры прийти к ней. И, как маньяк, опять заговорил о радости жизни в настоящем, о бессмысленности жизни для будущего. Возражаешь ему, — от смотрит со скрытою улыбкою, как будто тайно смеется в душе над непонятливостью людей.

Я расспрашивал, подходил с разных сторон. Я хотел узнать, можно ли хоть что-нибудь извлечь из его сияния для того, что мне было теперь так важно. Но, занятый своим, Иринарх не замечал кровавой жизненности моих вопросов. Глядя из-под крутого лба, с увлечением разматывал клубок своих мыслей:

— Все уныло копошатся в постылой жизни, и себе противны, и друг другу. Время назрело, и предтеч было много. Придет пророк с могучим словом и крикнет на весь мир: «Люди! Очнитесь же, оглянитесь кругом! Ведь

жизнь-то хороша!» Как и Иезекииль на мертвое поле: «Кости сухия! Слушайте слово господне!»

Я с ненавистью расхохотался.

— «Жизнь хороша!»... Сотни веков люди ломают себе голову, как умудриться принять эту загадочную жизнь. Обманывают себя, создают религии, философские системы, сходят с ума, убивают себя. А дело совсем просто,— жизнь, оказывается, хороша! Как же люди этого не заметили?

— Потому не заметили, что хотят «счастья», что задушены мертвым утилитаризмом. Что не настоящим живут, а ждут всего от будущего — либо в этом, либо в том мире...

Я уходил с ним. На крылечке под февральским солнышком сидела дрябло-жирная Пелагея Федоровна и кормила манною кашею любимого внука. Сытый мальчишка через силу глотал кашу.

— Кушай, золотце мое!.. Вон Гаврюшка смотрит... Не-ет! Мы тебе не дадим, мы сами хотим! Ну, кушай, раскрой ротик! Ишь какой Гаврюшка! Смотрит!.. А вот дяди подошли, говорят: «Дай нам!» Не-ет, не дадим, ишь какие ловкие! Вы пойдите у себя покушайте, а это мне!

Иринарх смеющимися глазами смотрел и жадно любобался. Мальчонка холодным взглядом враждебно косился на нас и сквозь набитый кашею рот повторял:

— Это мне!

Прошла Прасковья с неподвижными, сурово-страдальческими глазами. Пелагея жалостливо спросила:

— Ну что, милая? Где злодей твой?

Прасковья слегка покраснела и с сумрачным вызовом ответила:

— Где? На работу пошел!

Иринарх, пораженный, смотрел ей вслед.

— Кто это? Какие глаза замечательные!

Мы шли к воротам. Я рассказывал ему про Прасковью, про недавнюю ночь. Он рассеянно слушал и вдруг сказал:

— Вот если бы не было страданий у нее, если бы муж ее хорошо зарабатывал, не бил бы ее, холил... Была бы она, как эта вот хозяйка твоя,— жирная, заплывшая, со свиным взглядом.

Я, задыхаясь, остановился.

— Уходи! Уходи от меня!.. Я не могу с тобой идти, иди один!

Иринарх очнулся от своих мыслей и с недоумением взглянул на меня.

— Что такое?

— Вон!! Выкидыш засохший!

Я в бешенстве хлопнул на него калиткою, она вышибла его на улицу, и я задвинул засов.

Нехорошо и глупо. Но уж больно нервы растрепались за последние дни. Вспомнишь,— опять сжимаются кулаки и охватывает кипящая злоба.

Но не только за Прасковью. Я вслушиваюсь в себя,— да, давно уже в проповедях Иринарха что-то вызывало во мне растерянную досаду, я не мог себе опровергнуть у него какого-то неуловимого пункта и растерянность свою прикрывал разжигаемым презрением к Иринарху.

Довольно вилять перед собою. В одном, самом существенном и важном, Иринарх прав,— жизнь оправдывается только настоящим, а не будущим. А теперь, и теперь особенно,— я не знаю и не понимаю, как это возможно.

Пришла Катра. Робкая, застенчивая. Украдкою приглядывается ко мне. Своим тихим, недомашним голосом сказала с упреком:

— Отчего вы за это время ни разу не зашли ко мне? Ведь вы же понимаете, мне хочется знать, как Алексей Васильевич.

— Ничего. Совсем по-прежнему. Ходит на урок.

— Я сейчас с ним встретила на улице, разговаривала. Вы знаете, у него в глазах как будто какая-то темная, мертвая вода. И он боится чужих глаз. Он все равно скоро убьет себя.

Теплым участием звучал ее голос. Но вдруг что-то во мне дрогнуло,— глубоко в зрачках ее прекрасных глаз, как длинный и холодный слизняк, проползло выжидающее, осторожно-жадное внимание.

Что такое было, я не знаю. Но не верю я теперь ее участию к Алеше. И когда она ушла, я злобно погрозил ей вслед кулаком.

Плохо идут у нас дела. Настроение неудержимо падает. Ничего не добившись, завод за заводом становят-

ся на работу. И совсем другое теперь, когда перед тобою то же море голов. Не волшебный сад, а бесплодная пустыня. Живые, рвущиеся к жизни семена бессильно стучаются о холодные камни.

Староносовцы чуть вчера не избили Дядю-Белого.

— Три дня до получки оставалось,— что было подождать? Нет,— «пристанем, ребята!..» А жрать нам тоже надо, не снегом кормимся!

Дядя-Белый смотрел, остолбенев от неожиданности.

— Товарищи, вспомните: я как раз вас удерживал. Как раз я говорил: подождем до получки. Вы же меня тогда обругали трусом и предателем.

— За других влетели в кашу!.. Мы от хозяев обиды не знали!

Согнулись спины, потухли глаза. В темноте сонно и уныло, как невыспавшиеся рабы, ноют гудки. И идут в холоде угрюмые вереницы серых людей. А Мороз и другие в тюрьме.

Жадно я вглядываюсь во встречные лица. Меня узнают. Глаза одних со стыдом отворачиваются, глаза других загораются враждою.

Что-то у меня в душе перестраивается, и как будто пленка сходит с глаз. Я вглядываюсь в этих сгорбленных, серых людей. Как мог я видеть в них носителей какой-то правды жизни! Как мог думать, что души их живут красотой огромной, трагической борьбы со старым миром?

Светятся в сырой соломе отдельные люди-огоньки, краса людей по непримиримости и отваге. А я от них заключал ко всем. Налетит ветер, высушит солому, раздует огоньки,— и на миг вспыхнет все вокруг ярким пламенем, как вспыхивает закрученная лампа. А потом опять прежнее.

Помню я незабываемое время. Сотни тысяч людей слились в одно, и все трепетало небывало полною, быстрой жизнью. Сама на себя была непохожа жизнь — новая, большая, палившая душу живящим огнем. И никто не был похож на себя. Весь целиком жил каждый, до ногтя ноги, до кончика волоса,— и жил в общем. Отдельная жизнь стала ничто, человек отдавал ее радостно и просто, как пчела или муравей.

Но упал ветер, полил дождь,— и где они, сотни тысяч? Мокрая солома. А Мороз, Дядя-Белый — неизменно те же.

Не теперешняя наша мелкая неудача надела на меня темные очки. Давно уже мне начинает казаться, что мы обманываем себя и не видим кругом того, что есть. Повторяем грозные фразы о своей силе и непримиримости, а волны спадают, спадают, и скоро мы будем на мели.

О, я верю и знаю, воротятся волны, взмоют еще выше, и падут наконец проклятые твердыни мира. Я не об этом. Но я ясно вижу теперь,— не тем живут эти люди, чем живут Мороз, Розанов, Дядя-Белый. Тогда иначе было бы все и больше было бы побед. Не в борьбе их жизнь и не в процессе достижения, не в широком размахе напрягавшихся сил.

А в чем?

Мне не интересны десятки. Вот эти сотни тысяч мне важны — стихия, только мгновениями способная на жизнь. Чем они могут жить в настоящем?.. А подумаешь о будущем, представишь их себе,— осевших духом, с довольными глазами. Никнет ум, гаснет восторг. Тупо становится на душе, сытно и противно, как будто собралось много родственников и все едят блины.

У Катры постоянно приезжие гости. Особенная атмосфера там — пряная и слегка пьянящая. Чувствуется всеобщая тайная влюбленность в Катру. Я несколько раз был у нее. Там говорят о том, что мне теперь так важно.

Но мало дает.

Говорят, что мир плох, нужно его в своей голове сотворить другим, заслонить жизнь измышленною красотою. Что смысл жизни откроется людям в каких-то вакхических хороводах. Об искусстве говорят так, как мы говорим о борьбе. Много о боге говорят, очень умно и красиво. Но не чувствуется того смятенного трепета, который я чую в Маше. И понимаю я, что, раз побыв тут, Маша грустно ушла и больше не бывала. Не бог у них, а «бо-ог». Не огонь души, а гимнастика для ума. Величественный на вид, но удивительно покладистый и нетребовательный.

А сегодня читал свою странную драму Ивашкевич.

Я смеялся про себя необычным образам и оборотам, непонятым разговорам, как будто записанным в сумасшедшем доме. Не дурачит ли он всех нас пародией?..

И вдруг, медленно и уверенно, в непривычных формах зашевелилось что-то чистое, глубокое, неожиданно-светлое. Оно ширилось и свободно разворачивалось, божественно-блаженное от своего возникновения. Светлая задумчивость была в душе и грусть,— сколько в мире красоты, и как немногим она раскрывает себя...

Он кончил, взволнованно ждал суждений. Быстро вышел без цели в столовую, опять воротился и непрерывно курил. Пряча самолюбие, впился в заговорившего глазами, приготовившимися к отрицающей оценке.

И ребячески-суетною радостью загорелись настороженные глаза от похвал. Губы неудержимо закручивались в самодовольную улыбку, лицо сразу стало глупым. Я вглядывался,— мелкий, тщеславный человек, а глубоко внутри, там строго светится у него что-то большое, серьезное, широко живет собою — такое безучастное к тому, что скажут. Таинственная, завидно огромная жизнь. Ужас мира и зло, скука и пошлость — все перерабатывается и претворяется в красоту.

Какая ошибка! Я искал ответа на свой вопрос у мыслителей, у творцов. Что я мог у них найти?

Благоухающие цветы человечества ищут смысла жизни и делают открытие,— смысл в том, чтобы благоухать. А крапива, репей, бурьян поучаются, вздыхают и повторяют: «Да, наше призвание — благоухать!» Орлы рвут ураган стальными крыльями и кричат сверху: «Жизнь в том, чтобы бороться с грозами!» А козявки цепляются за бьющиеся под ветром листья и пищат: «Да, жизнь в борьбе с грозами!»

Мне нет дела до орлов и цветов человечества. Борцы, подвижники, творцы,— они всегда жили и будут жить — в исканиях и муках, в восторге побед и трагизме поражений. А эти вот, серенькие, маленькие? Этот бурьян человеческий? Ведь здесь-то именно и нужно знать, для чего жизнь. Все люди живут. И для всех должно быть что-то общее. Не может смысл жизни разных людей быть несоизмеримым.

Эти, вот эти,— серые, бесцветные. С какой стороны к ним подойти? Если они живут и довольны жизнью, меня злость берет и негодование. Хочется толкать их, трясти, чтоб они очнулись и взглянули кругом,— вы не живете, вы обманываете себя жизнью! А очнутая,

взглянут,— вот Алеша. И охватит ужас. И кричит душа, что есть, есть и должно быть что-то для всех.

Но что,— я не знаю. Строго, пристально вглядываюсь я в себя. Чем я живу? И честный ответ только один: не хочу быть и никогда не стану человеческим бурьяном. Стану Розановым, Лассалем. Иначе не понимаю жизни... Собрание врагов волнуется и бушует, председатель говорит: «Господа, дайте же господину Чердынцеву возможность оправдаться!» И с гордым удивлением орла среди галок я в ответ, как Лассаль: «Оправдаться?.. Я пришел сюда *учить* вас, а не оправдываться!»

Царственная, уверенная в себе сила, неотвратимо покоряющая людей и жизнь. Трепет врагов при одном моем имени. Глаза девушек, с сияющим восторгом устремленные на меня.

И может быть... Я все больше начинаю подозревать: может быть, ничего этого не будет. Я тоже бурьян. Когда Ивашкевич читал свою драму и я, всей душой противясь, невольно покорялся вставшей красоте,— я почувствовал себя перед ним таким мелким и плоским. А вчера,— ну, уж расскажу и это,— вчера у Будиновских меня срезали позорно, как мальчишку.

Был спор о недавних событиях. Я привел слова Маркса, что в июньские дни в Париже был разбит не пролетариат, а была разбита его вера в буржуазию. И Шевелев — кадет! — с вежливой улыбкою, даже бережно как-то, возразил, что не помнит таких слов у Маркса; если же они и есть, то согласиться с ними трудно,— в лучшем случае тогда были разбиты и пролетариат, и его вера в буржуазию. Я почувствовал, что краснею,— я не мог, я не мог уверенно сказать, говорил ли подобное Маркс, или это я сейчас сам придумал в расчете на незнакомство противника с Марксом. И на возражение его я не умел ответить. А Шевелев не счел нужным закреплять свою победу и с тою же вежливой, бережной улыбкою искусно затушевывал мою растерянность.

Сидел я на крылечке двора. По обледенелой тропинке, под веревками с развешанным бельем, катался на одном коньке Гаврик, братишка Прасковьи. Феня надрала ему вихры,— все тесемки на белье он завязал узлами, и так они замерзли. Он катался,— худой, с остреньким,

вынюхивающим носом, и плутовские глаза выглядывали, где бы опять наколобродить.

Из-под крылечка Гольтяковых вылез на изуродованных ногах худой, облезший щенок Волчок. С месяц назад пьяный Гольтяков, когда Прасковья убежала от него, со злобы вывернул щенку все четыре ноги и забросил его в снег на крышу сарая.

Волчок ковылял и повизгивал, серая шерсть вихрами торчала на ввалившихся ребрах. Но глаза смотрели весело и детски доверчиво. Он вилял хвостом. Подошел к сугробу у помойки, стал взрывать носом снег. Откопал бумажку, задорно бросился на нее, начал теревить. Откинется, смотрит с приглядывающеюся усмешкою, подняв свисающее ухо, залает и опять накинется на бумажку.

— Волчок!

Он повернулся ко мне, а лапою прижимал к снегу бумажку. Задорно приглядывающиеся глаза смотрели на меня, и в них читалось, что жизнь — это очень веселая и препотешная штука.

С улицы деловито забежал на двор большой мрачный пес и стал обнюхивать сугроб у ворот. Волчок, ковыляя и махая хвостом, кинулся к нему, хотел шутиво куснуть его. Пес хрипло огрызнулся и быстро хватил его зубами. Волчок завизжал и покатился в снег.

Я крикнул на пса, он убежал, Гаврик смотрел — и вдруг изо всей силы пхнул коньком визжавшего щенка.

— Гаврик, ну как же тебе не стыдно! Собака его укусила, а ты на него же!

Волчок спасался к себе под крыльцо. Гаврик в негодовании смотрел ему вслед.

— Пускай не резонится, что я, такая, кусаюсь. Букашка этакая!..

Через десять минут опять вылез Волчок из-под крыльца. И опять в его приглядывающихся глазах была та же веселая усмешка.

Я пришел за Дядей-Белым. Он живет в Собачьей слободке. Кособокие домики лепятся друг к другу без улиц, слободка кажется кладбищем с развороченными могилами. Вяло бегают ребята с прозрачными лицами. В воздухе висит каменноугольный дым от фабрик.

Дяди-Белого еще не было. В тесной каморке вози-

лась у печки его беременная жена Марья Егоровна. Трое ребят все лежали в кори. Нечем было дышать. От одиночной двери несло снаружи холодом.

Мы сидели с Марьей Егоровной у столика. Щеки ее осунулись, натянулась кожа на скулах, но глаза, прислушиваясь, спрашивали о чем-то неведомом. Так смотрят глаза у девушек-курсисток, у молодых работниц.

Она рассказывала:

— Это ведь уже четвертый ребенок будет, что же это? Как цепь какая тянется. Я, когда почуяла, всю ночь проплакала. Утром набралась духу, говорю ему... А он... Вдруг вижу,— вся его рожа так и просияла! Есть с чего, подумаешь! Вы только представьте себе,— сияет, как будто я ему невесть какой подарок объявила. Потирает руки, ухмыляется. Поглядела я на его рожу глупую — и тоже засмеялась. Сидим, как дураки, смотрим друг на друга и смеемся...

Она улыбнулась воспоминанию, покраснела. Изнутри идущая радость засветилась в глазах.

— Ну, хорошо. А все-таки...— Марья Егоровна задумалась.— Четвертый родится, что же потом? Потом — пятый...

Глаза широко раскрылись, обтянутые скулы выдались сильнее.

— А потом... Что же это? Потом — шесто-ой?..

Пришел Дядя-Белый.

— Запоздал я. Идем?

— Да, нужно торопиться.

— Так идем. Егорка, прощай!

Он потрепал по шелушащейся щеке исхудалого мальчика с большими красными глазами.

— Вот, как в котле, все кипят... Из болезни в болезнь. Только что коклюш перенесли, корь напала...— Со своею медленною улыбкою он добавил: — Зато, какие выживут, закаленные *будут* люди.

Мы вышли. Изголодавшиеся легкие жадно вдыхали свежий воздух.

— Очень мало вы теперь зарабатываете?

— Мало... Расценки понижают. Что осенью у хозяев отвоевали, все теперь отбирают назад. Каждую неделю народ рассчитывают.

— Тяжело жить?

С бледною улыбкою он ответил:

— Тяжело.

Смотрел я на него: и никогда-то он не горит — всегда спокоен, ясен; упорно и без порыва смотрит в будущее. Нужно — с холодной отвагой бросится в огонь. Не нужно — с верою ждать будет годы.

Мы молча шли.

Я украдкой приглядывался к нему.

— Да, в будущем всем будет хорошо. А все-таки... Семен Иванович! Теперь-то, — зачем теперь жить?

Дядя-Белый с недоумением взглянул на меня.

Я упорно говорил:

— Ну что кому до того, что в будущем будет хорошо? Ведь кругом-то от этого не легче. А живут для чего-то... Зачем? — Я повел кругом рукою.

Дядя-Белый поднял брови. Лукавое что-то и хитрое мелькнуло в его наивно-чистых глазах.

— Да, норы собачьи... — Он огляделся кругом, улыбнулся. — Тяжело, невозможно жить. А мы все-таки живы... Вот. Может, через месяц все с голоду подохнем. На ниточке висим, вот-вот сейчас оборвемся, а мы живы! В вонючих своих углах, под грязными одеялами ситцевыми, — а живы!

Я остановился и молча смотрел на него. Он все улыбался.

Крутится Волчок на изуродованных ногах. Смотрят с бескровного лица дико-испуганные, мучительные глаза Прасковьи. Радостно краснеет осунувшееся лицо Марьи Егоровны, Дядя-Белый лукаво улыбается. И один крик несется — вызывающий, мистически-непонятный:

«А мы живы! А мы живы!»

Свивается все в один серый клубок, втягивается в него вся жизнь кругом. Вьется, крутится, — вся неприемлемая, непонятная, — и, смеясь над чем-то, выкрикивает на разные голоса:

«А мы живы! А мы живы!»

Какое-то в этом самооскорбление жизни. Слепота какая-то, остаток умирающего недоразумения.

И все-таки упрямо и торжествующе звучит голос Иринарха:

«Человек живет для настоящего...»

Как все это понять, как согласить?

Я жил. Я опьянялся бодрящими, поверхностными

разгадками. Теперь мне совсем ясно,— я мог так жить только потому, что глубоко внизу лежала другая, всеисчерпывающая разгадка. Да, несомненно, она всегда была у меня, и вот она: а все-таки лучший выход — взять всем людям да умереть. Настоящее решение всей жизненной чепухи — смерть и только смерть...

И никогда я не мог понять, как люди могут бояться смерти, как могут проклинать ее. Всегда ужас бессмертия был мне более понятен, чем ужас смерти. Мне казалось, в муках и скуке жизни люди способны жить только потому, что у всех в запасе есть милосердная освободительница — смерть. Чего же торопиться, когда конечное разрешение всегда под рукою? И всякий носит в душе это радостное знание, но никто не высказывает ни себе, ни другим, потому что есть в душе залежи, которых не называют словами.

Но вот Алеша взял да и назвал. И тогда меня охватил ужас. Алексей вырвал из мрака таинственное, неназываемое. Назвав, сорвал с него покровы. И лежит оно на свету — обнаженное, простое, ужасное в своей простоте и невиданном уродстве. И я не могу принять его.

Не могу принять этого, не могу принять и противоположного. Алеша стоит с темными глазами. Дядя-Белый лукаво улыбается.

Розанов увидел у меня на столе «Происхождение трагедии» Ницше. Он поднял брови и со скрытою усмешкою протянул:

— Вот вы чем начинаете интересоваться!

Мне вдруг вздумалось спросить его. И я спросил.

В ответ звучали мертвые, чуждые мне теперь слова, а зеленоватые глаза с изучающим вниманием смотрели на меня. И все больше в них проступало жесткое презрение. Как будто шел человек к спешной, нужной цели, а другой пристаёт к нему: как это люди ходят? Почему? Почему мы вот идем на двух ногах и не падаем?

И мне странно стало, зачем я его спросил. У него только одно: «Кто не за нас, тот против нас». И не над чем задумываться, можно только с насмешкою и презрением отмести мои вопросы в сторону.

Но я вдруг вспомнил, что Розанов — врач, и как раз психиатр. Может быть, он что посоветует относи-

тельно Алеши. И я все рассказал ему про Алешу.

Розанов сразу изменился. С горячим участием стал расспрашивать, справляться о всех подробностях.

— Так, так... это очень важно. Так. Дома он? Я пойду поговорю с ним.

Розанов просидел с Алексеем более часу. Его голос звучал мягко и задушевно. Алеша по-обычному не смотрел в глаза, был взволнован и застенчив, держался со странною, подчиненною почтительностью подпоручика к генералу.

Они вышли пить чай. Маленькие зеленоватые глаза Розанова нежно и ободряюще смеялись на Алешу, властно-уверенным голосом он говорил:

— Вы подержитесь с полгода, сами тогда увидите, какая это ерунда! А бром принимайте аккуратно, слышите! И обтирайтесь холодной водою.

— Обязательно, конечно! — поспешно отвечал Алеша, конфузясь.

Розанов был доволен собою. Из подчиненной конфузливости Алеши он заключил о силе своего влияния на него. А я видел, что Алеша только еще глубже спрятался в себя.

Я провожал Розанова. С серьезным лицом он ковылял, опираясь на палку, и говорил:

— Штука, в общем, очень скверная. Важно тут не то, что он сейчас хандрит. А вообще на всей их семье типическая печать вырождения: старший брат — пропойца; Марья Васильевна — с нелепо-неистовым стремлением распинать себя; другой брат, приват-доцент этот, отравился...

— Как отравился?! Евгений Васильевич?

— А вы не знали? Это, впрочем, скрывают. Но в литературных кругах всем известно, да и Марье Васильевне. Отравился цианистым калием... Вот эта-то гниль в крови и опасна.

Я жадно расспрашивал, и в душе у меня холодело.

Обреченный...

Внутри его — власть сильнее разума, от нее спасения нет! Незнаемое отметило его душу своим знаком, он раб и с непонимающею покорностью идет, куда предназначено. А в записке своей он писал:

«К своему выводу я пришел разумом, неопровержимую логикую...»

И я помню его брата Евгения. Блестящим молодым ученым он приезжал к Маше; его книга «Мир в аспекте трагической красоты» сильно нашумела; в ней через край была напряженно-радостная любовь к жизни. Сам он держался самоуверенно-важно и высокомерно, а в глаза его было тяжело смотреть — медленно двигающиеся, странно-светлые, как будто пустые — холодною, тяжелою пустотою. Два года назад он скоростижно умер... Отравился, оказывается.

Неведомые науке изменения в мозговом веществе, в нервах. Оттуда изменения вползли в душу, цепкими своими лапами охватили «свободный дух». Алексей и не подозревает предательства. Воспринимает жизнь искаленным от рождения духом и на этом строит свое отношение к жизни, ее оценку.

«Гниль в крови...» А у других, у меня — что там в крови, что в нервах, что под разумом? Как оно меняет мое восприятие и оценку жизни, как дурачит разум?

А я тоже доверчиво искал «разумом» — для себя и для Алеши. И надеялся найти что-нибудь не пустяковое.

Утром я сидел за книгою. Потом перестал читать и задумался — без мыслей в голове, как всегда, когда задумаешься. За стеною у хозяйки торопливо пробили часы... Сколько? Я очнулся, часы кончили бить. Было досадно — не успел сосчитать, а своих часов нет.

Не шевелясь, я осторожно придержал сознание, придержал память, прислушался к себе. И случилось удивительное. Где-то глубоко-глубоко во мне мерно и отчетливо повторился бой:

— Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум!

Восемь ударов.

Я был поражен. Я вышел в сени и открыл дверь к хозяйке.

— Пелагея Федоровна, который час?

— Сейчас восемь пробило.

Я воротился и взволнованно остановился у окна.

Глубоко внутри все слышался этот отдельный, независимый от меня бой:

— Тум-тум-тум...

Там, глубоко под сознанием, есть что-то свое, отдельное от меня. Оно вспоминает, пренебрежительно отбрасывая мою память... Я сейчас читал книгу, думал над нею, все понимал. А теперь почувствовал, что все

время внизу, под сознанием, тяжело думалось что-то свое, независимое от книги, думалось не словами и даже не мыслями, а так как-то. И потом, когда я задумался без мыслей, там все продолжалась та же сосредоточенная работа.

— Тум-тум-тум-тум...— звучало в душе что-то слепое и живое.

Как будто в гладком полу освещенной залы открылся люк, и ступеньки шли вниз,— тум-тум-тум! — и я спускался все глубже и в смятении вглядывался в просторную темноту, полную живой тайны.

Алеша в своей комнате обливался холодной водой, потом внес ко мне самовар. Мы сели пить чай. Не глядя мне в глаза, деланно-веселым голосом он рассказывал что-то про хозяйку и Феню. А я украдкой вглядывался в его осунувшееся лицо, в низкий, отлогий лоб...

«Он к своему выводу пришел *«разумом, разумом»...*»

Зашла Маша. Кроткими своими глазами, в которых глубоко был запрятан болезненный ужас, она радостно смотрела на Алешу и говорила быстро-быстро, сыпля и обрывая слова. Знаю теперь, отчего этот ужас...

Я для разговора спросил Машу:

— Мне говорили, ты отказалась от урока у Саюшкиных?

Она вдруг оборвала себя, замолчала и стала смотреть в угол.

— Да... все равно...

— Отчего ты отказалась?

— Ну, все равно... Так... Это неважно...— Она покраснела и страдальчески наморщилась.— Я вообще уроков музыки больше не буду давать.

— Почему?

На ее чистом лбу появилась жалкая, упрямая складка.

— Господа, это бесполезно... Это все равно бесполезно... Вы будете спорить, а все равно меня не убедите... Я... не имею права давать уроков музыки...

Мы с изумлением слушали: на днях она при Катре играла Шопена, и Катра мельком сказала, что в ее музыке нет души. Маша два дня мучилась, думала и решила,— если это так, то она не имеет права обманывать непонимающих и брать деньги за преподавание музыки.

Маша доказывала это, волнуясь и торопясь, и про-

тив воли в ее голосе зазвучали слезы отчаяния,— она теряла почти все свои заработки.

Алеша спорил, возмущался.

— Это ерунда, но если это даже так?.. Подумаешь! Этим купеческим дочкам ведь только и нужно выучиться играть падеспань и матчиш... При чем тут душа!

— Ну, все равно... Алеша, оставь, не надо... Я не найду, что возразить, мне это будет тяжело, а все-таки я останусь при своем...

Я молчал и смотрел. К чему она ни подойдет, она из всего извлекает для себя страдание. Остается только наморщиться, прикусить губу и смотреть на ее лучистые, живущие страданием глаза и понять, что иначе для нее не может быть.

Они спорили. Слова крутились, сталкивались и бесильно падали. Я пристально смотрел на лица. Пусть спорят, о чем хотят, пусть спорят о самом важном. Пусть говорят друг другу о жизни, о боге — она, отрывающаяся от земли, и он, уходящий в землю. К чему тут слова и споры?

И пусть еще явятся люди, и пусть все спорят,— Розанов, Катра, Окорокова. Мне представлялось: Розанов убедил Машу,— и ее глаза засветились хищным пламенем, она познала смысл жизни в борьбе, она радуется, нанося и получая удары. И мне представлялось: Маша убедила Розанова, он в молитвенном экстазе упал на колени, простер руки к небу и своим свободным духом узрел невидимый, таинственно-яркий свет сверхчувственного...

Да, да! Отчего же это невозможно? Хотелось смеяться. Отчего это невозможно? Ведь одними и теми же законами живет разум — строгий, бесстрастный, сам себя направляющий...

— Тум-тум-тум...— шли звучащие ступеньки в темную глубину.

Спорят. А в глубине души у каждого лежит, клубком свернувшись в темноте, бесформенный хозяин; как будто спит и не слышит стучащихся снаружи слов и мыслей.

Иринарха дома не было, были только старики. Славно у них всегда — бедно, но уютно и оживленно, хочется чему-то улыбаться. В уголке сидит молчаливый Илья

Ильич и курит. Шумит старенький, ярко вычищенный самовар, Анна Ивановна сыплет словами, и лицо у нее такое, как будто она сейчас радостно ахнет чему-то. И светлые голубенькие обои с белыми цветочками.

Сидела в гостях Юлия Ипполитовна, вечно больная тетка Маши. На губы она нацепила улыбку, а холодно-злые глаза смотрели по-всегдашнему обиженно. Анна Ивановна рассказывала про какую-то знакомую.

— Две недели целых мучится. Кричит без перерыву. Морфий впрыскивают, ничего не помогает. У меня до сих пор в ушах стоит ее крик... Как мучится человек!.. Вчера ухожу от нее,— она поманила, я наклонилась, шепчет мне в ухо: Анна Ивановна, милая! Попросите доктора — пусть он меня отравит. Нет моих сил терпеть!..

Ее голос задрожал, и легко выступающие слезинки заблестели на глазах. Юлия Ипполитовна думала о себе, она забыла держать на губах улыбку и измученно сказала:

— Господи, господа, зачем столько страданий дано человеку? Пускай бы умереть,— я всегда говорю: что в смерти страшного? Но только бы без страданий.

Анна Ивановна на секунду задумалась, как будто споткнулась, и одушевленно заговорила:

— Нет, нет, Юлия Ипполитовна! Нет! А по-моему, уж лучше пусть страдания. Какие угодно страдания, только бы жить! Только бы жить! Умрешь,— господи, ничего не будешь видеть! Хоть всю жизнь готова вопить от боли, только бы жить! — Она засмеялась.— Нет, и думать не хочу о смерти! Так неприятно!

Илья Ильич курил в сторонке, слушал и играл бровями. Беззвучно смеясь, он наклонился ко мне.

— А мне это все равно, совсем спокойно слушаю! До меня это дело не касается!

— Что не касается?

— Вот, о смерти эти разговоры. Я не верю, что умру.

Юлия Ипполитовна посмотрела на него со своею внешнею улыбкою.

— То есть как не верите?

— Так-с, не верю! Как это может быть? Что все другие умрут,— я понимаю, а что я? Не может этого быть... Знаю, что умру, а не верю.

Пришел Иринарх с братьями-гимназистами. Они бежали на пожар.

— Ну что? Ну что?

— Да ничего не было! Просто из трубы выкинуло. Иринарх смеялся и тер озябшие руки.

— Полное, всеобщее разочарование!.. Бегут все, толпятся, напирают. Уж личности какие-то появились, подсолнухи продают, сбитьень... Жадно все суются вперед, ворочают головами. «Где, где горит?» Городаш стоит, осаживает публику. Прет какой-то в широких штанах. «Куда, эй!» — «Да я вот только сюда». — «А в морду не желаешь получить?» — «В морду?» — Подумал, почесал в затылке. — «Нет, чтой-то сейчас не хочется...» «Да где же горит-то?» Два пожарных по крыше ходят... Ждала, ждала публика. Уж пожарные уехали. Все стоят, прижимаются: а может быть!..

Юлия Ипполитовна снисходительно заметила:

— Толпа ужасно падка на такие зрелища.

— Я и сам падок! Мне кажется, из меня мог бы выработаться профессиональный зевака. Как интересно! Ух, люблю пожары! Пламя шипит, люди борются, публика глазеет!

Анна Ивановна замахала на него руками.

— А ну тебя! Есть что любить! А я ужасно боюсь... Батюшки, да что же это я? Вы все убежали, а наверху, должно быть, свет остался... Захарушка, пойди посмотри, что там наверху горит?

Захар пошел, воротился и торжественно доложил:

— Две лампы и одна штора.

Анна Ивановна ринулась наверх. Все захохотали.

— Дурак! Как ты смеешь? Я тебе мать, а ты надо мною шутки шутишь?

— «Мать»... Ты до ста лет будешь жить, а все будешь мать?

Анна Ивановна хотела еще больше рассердиться, но рассмеялась.

— Вы знаете, это тут рядом в богадельне две старушки, мать и дочь. Одной девяносто лет, другой семьдесят. Дочь начнет мать ругать, та ей: «Ты бы постыдилась, ведь я тебе мать». — «Да-а, мать! Вы до ста лет будете жить, а все будете мать?»

Иринарх, не слушая, пил чай и говорил:

— Эта потребность возбуждения, возбуждения! Горчицы, перцу, чтоб рот обжигало... На днях как-то взяла меня тоска, пошел я пройтись. Балаганчик, надпись: «Визориум из Парижа». Зашел. Восковые фигуры во

фронт с выпученными глазами — Бисмарк, президент Крюгер, Момзен... «Разбойница Милла, наводившая панеку (через ять) не только на людей, но и на правительство»... и как полиция позволила... «Штейн, для личной выгоды убивший адскою машиною двести человек»... И тут же эта адская машина — ящичек какой-то из-под стеариновых свечей, скобочки ни к чему не нужные, винты, гайки,— подлинная! И совсем целенькая! «Любимая жена мароккского султана» — глаза открываются и закрываются, грудь дышит: турр-турр!.. турр-турр!.. Подходит рябой мужчина с двумя другими. «А где тут болезни показывают?» — «Не знаю. Да нету тут». — «Е-есть! Как нету? Должны быть!» Полез под какую-то рогожку, его оттуда турнули... Уж требуется более острое ощущение! Разбойница Милла и жена мароккского султана приселись!.. Вышел я, всю дорогу хохотал.

В жестах Иринарха, в ворочанье глаз, в интонациях голоса живьем вставало то, о чем он рассказывал, и все видели жизнь сквозь наблюдающе-смеющуюся, все глотающую душу Иринарха.

Стоял смех. Гимназисты острили. Была та уютная, радующая жизнь поверхностная веселость, какую полны все они. Анна Ивановна снова и снова наливала Иринарху чай. Иринарх жадно пил и жадно говорил:

— После обеда сегодня шатался я по городу. Лампадки в воротах Кремля. Узкие улицы, пахнет мятою и пеклеванками, мужики у лабазов. Каменные купеческие дома, белые, с маленькими окнами, как бойницы. И собор. Кажется, Гете сказал, что архитектура есть окаменевшая музыка. В таком случае наш собор есть окаменевший вой; так ровно, прямо — ууу!.. (он медленно повел ладонями вверх). И вдруг — стой: купола! Широкие луковицы — и коротенькие, узенькие хвостики к небу. Дескать, там, наверху, много делать нечего. Не то, что в готике. Сколько там порыва к небу! Дунь на миланский собор, — он полетит на воздух. А в наших куполах сколько тяжелой массы, сколько земли! Выть — вой, а все-таки цепляйся за землю. И этот собор наш прекрасен, всегда скажу! Почему? Потому, что он на своем месте, выражает свою сущность. А в мире все прекрасно, если оно проявляется из себя, если не косится по сторонам...

Саша серьезно спросил:

— Ира, ты уже сто стаканов выпил?

— Сто, сто,— рассеянно ответил Иринарх.

— Что ты врешь? — возразил Захар. — Двести пятьдесят, я же считал... Ира, ведь двести пятьдесят?
— Двести пятьдесят, да.

Все хохотали. Иринарх кротко огляделся.

— Я не расслышал, что вы меня спрашивали. — И продолжал говорить. — Кругом одна громадная, сплошная симфония жизни. Могучие перекаты сменяются еле слышными биениями, большие размахи переходят в маленькие, благословения обрываются проклятиями, но, пока есть жизнь, есть и музыка жизни. А она прекрасна и в гармонии, и в диссонансах, через то и другое одинаково прозревается радостная первооснова жизни...

Иринарх помолчал и задумчиво прибавил:

— Тепло становится в голове, когда мысли эти прихлынут.

Кипел самовар. Весело улыбались голубенькие обои с белыми цветочками. Анна Ивановна умиленно слушала, хоть мало понимала, и в ее полном, круглом лице удивительное было сходство с бородатым, продолговатым лицом Иринарха. На меня нашло странное настроение. Я смотрел, — и мне казалось: одно и то же существо то вдруг расплывается в круглую женскую фигуру, то худеет, вытягивается, обрастает бородою и говорит о симфонии жизни... Потом вдруг перекинется стареньким, ярко вычищенным самоваром и весело бурлит про какую-то бездумную радость. Молчаливо скользнет голубым светом по стенам. И вот опять сидит с бородою, с крутым, нависшим лбом, в тихом восторге вслушивается в себя и говорит умные слова о жизни.

Ну да! Ведь в этом же все и дело. Что мысли Иринарха сами по себе? Дело вот в этом неуловимом, что здесь разлито кругом, что у всех у них в душах. Иринарх нечаянно познал самого себя, нащупал умом точку, с которой они здесь принимают жизнь. Вот отчего он живет в таком непрерывном, непонятном со стороны восторге. Это восторг от открытой истины. И он вправду открыл истину — для себя, для этого вот дома на Съезженской улице в городе Томилинке. Открыл свою истину. И свою-то истину, пожалуй, открыл не целиком, — не может же даже его истина быть такою смеющеюся. А он рад и думает, что нашел истину вообще, для всех людей, — убежден, что даже Юлия Ипполитовна, с ее брезгливыми к жизни глазами, должна бы только постараться *понять...*

И так для всех. Да, так для всех. Каждый спустись в глубь своей души и ищи там свою истину. И только для тебя она и годна. Но что же это? Искать и решать, каков параллакс Сириуса, каковы электрические свойства нерва — это мы можем все вместе. А зачем жизнь, в чем она — это решай каждый, запершись в себе?

Если я стану самостоятельно искать разумом,— это будут построения, годные для книги, для кабинета, для спора, но не для жизни. Если я познаю то, что во мне,— это годится только для меня. И там нет ничего для Алеши. Мы, живущие рядом, чужды друг другу и одиноки. Общее у нас — только параллакс Сириуса и подобный же вздор.

Но что же там у меня? Там, в таинственной, недоступной мне глубине? Я не знаю, не вижу в темноте, я только чувствую,— там власть надо мною, там истина для моей жизни. Все остальное наносно, бессильно надо мною и лживо. Как та «дума лютая»,— я пел про нее, вкладывая в нее столько задушевной тоски, а самой-то думы лютой никакой во мне и не было.

Что же там у меня?

Я чувствую трепет, я вижу сквозь темноту,— в глубине моей души лежит неведомый мне хозяин. Он все время там лежал, но только теперь я в смятении начинаю чувствовать его. Что он там в моей душе делает, я не знаю... И не хочу я его! Я раньше посмотрю, принимаю ли я ту истину, которую он в меня вложил. Но на что же мне опереться против него?

— Костя, что с Алешей? Он так страшно изменился! У него какая-то темнота в глазах... Что с ним?

Маша жадно смотрела на меня, в ее глазах замер ужас. Душою своею она видела, как неотвратно надвигается что-то, чего другие не видят. Я успокаивал ее. У нее лились слезы, она быстро бормотала, как будто молилась про себя:

— Если бы он поверил!.. Если бы он поверил!..

— Маша, Маша! Разве это так просто? Что для этого нужно?

— Это так легко,— если бы вы знали!.. Нужно только в себя слушать... В себя смотреть... Вы слишком смотрите наружу, от этого и все...

Так мне это теперь странно! Как все легко заключают от себя к другим...

Маша говорила:

— Я это только ему рассказала. И тебе расскажу, ты не будешь смеяться... Ты ведь знаешь, какая я была раньше. Целые ночи плакала от тоски, никакое лечение не помогало... Раз я читала жизнь Франциска Ассизского. Как он радостно и солнечно жил Христом и всем миром. Я легла, задумалась. Отчего я такая черствая и темная душой? Отчего для меня ужасен мир? И я так никогда не испытывала, — я вся сжалась в одну молитву. И вдруг в комнату вошел Христос. Я не видела его лица, ничего не видела. Но все во мне затрепетало. Он медленно приблизился, медленно вошел в меня, — и я почувствовала, что все во мне тихо, светло и твердо и что теперь все ужасы навсегда кончились... Потом мне рассказывала тетя Юля. Она вошла в комнату, подумала, — я умираю. Бросилась ко мне. Я вся светилась. — Что с тобой, Маша? — Я встала, обняла ее и заплакала.

Было это глухою ночью, перед рассветом. Я стоял на пустынной улице перед высоким, молчаливым трехэтажным домом. Вдруг с его фасада бесшумно взвилось под крышу огромное сплошное жалюзи. Ярко сверкнули ряды освещенных окон, в доме шумели и кричали. Из окна верхнего этажа вниз головою полетел на мостовую человек, следом за ним упал тяжелый письменный стол. Из окон нижнего этажа тоже вылетело человеческое тело и тяжело ударилось о мостовую. В окнах появились пьяные офицеры в расстегнутых сюртуках и угрожающе крикнули:

— Мы сейчас будем стрелять!

Жалюзи быстро и бесшумно опустились, в доме все смолкло, погасло, и из-за жалюзи затрещали частые выстрелы. Все побежали, а я прилег за углом и выглядывал на пустынную улицу, по которой свистали пули.

Потом что-то я делал дома вместе с людьми, которых нельзя было различить. В окна залетали пули. Было жарко, кажется, кругом все горело. По изразцам печи, в пазухах комода и стола дрожали какие-то светлые, жаркие налеты, и странно было: дунешь — налет слетит, но сейчас же опять начинает светиться и дрожать. Алеша с прикушенным распухшим языком жался в темный угол и притворялся, что не видит меня.

И я вышел к перекрестку, где стояли извозчики, стал

нанимать сани, но извозчики только смеялись надо мною. Тогда, уже не собираясь ехать, я сел в сани самого заднего извозчика, он мне что-то сказал, я кротко возразил, и вдруг он, не торгуясь, поехал. Нас обгоняли на тройках пьяные офицеры из дома с завешанным фасадом. Я боялся — вдруг они заметят меня на темном извозчике и зарубят шашками.

Лучше уж проснуться!

Но я ехал не один. Рядом сидела Катра. Скорбная, она смотрела на меня огромными страдающими глазами и умоляюще шептала что-то, и меня охватывала бесконечная тоска. И вдруг оказалось, что она полураздета, мы кутаемся вместе в пушистую, теплую шубу, ко мне невинно прижимается девичья грудь под тонкой рубашкой. Я знаю, ей теперь не уйти, и тайная, жестокая радость закипает в душе. Никто об этом не узнает, и она боится офицеров. Прячась от себя, я обнимаю ее; под бесстыдной рукою — горячее нагое тело. Она выгибается, алые, словно напившиеся кровью губы озаряют лицо странной усмешкой, и бесстыдные глаза пристально смотрят в мои зрачки... О, я давно знал, что она бесстыдная! И только бы не проснуться теперь, только бы не проснуться!

Но я неловко повернулся. Она была еще здесь, но и не здесь. Ее не было. В пустой, высокой камерке с побеленными стенами я цеплялся за карниз под потолком, а в камерку на корточках впрыгнул студент, и на голове он держал огромный четырехугольный каравай ситного хлеба. Ужаснее ничего не могло быть. Студент, как тушканчик, прыгал с караваем по камерке и что-то бормотал, не видя меня; и если бы он меня увидел, — конечно!.. Сбоку чернела в полу четырехугольная ямка, глубиною в аршин; студент впрыгивал в нее и старался изнутри закрыть отверстие своим караваем, как камнем, — потом выскакивал и опять прыгал, как тушканчик. Я цеплялся за карниз, подбирал полы пальто, чтоб студент меня не задел. А он вдруг остановился, снял с головы каравай и, все сидя на корточках, медленно стал поднимать голову. Он поднимал, все поднимал. Я увидел напряженное, мясистое лицо с бородкою клинышком. Маленькие, мутные глаза взглянули из-под лба вверх и остановились прямо на мне...

Испуг юркнул в душу. Пора проснуться! Я быстро разбудил себя и открыл глаза. Чуть светало. Сердце билось медленными сильными ударами. Я сел на постели и вслушивался в туманный ужас в своем теле.

В чем ужас? В чем ужас?

Пьяные офицеры и выстрелы, Алеша и светлые налеты,— все это было так себе. А ситный каравай на голове студента и его прыжки,— это был ужас безмерный... В чем же он?

Я вглядывался, как выходил из тела мутный ужас и очищал душу. Хотелось оглядываться, искать его, как что-то чужое,— откуда он прополз в меня? Куда опять уползает? Казалось мне, я чувствую в своем теле тайную жизнь каждой клеточки-властительницы, чувствую, как они втянули в себя мою душу и теперь медленно выпускают обратно.

Уж было смешно вспоминать прыгающего студента с нелепым караваем. Смешно было, что ведь и в жизни, наяву, он прыгает,— такой же ничтожный и условно ужасный. Нужно только разбудить себя, нужно понять, что ужас не в нем, а во мне. Ужас, скука, радость ясная,— ничего нет в мире, все только во мне.

И что это у меня сейчас было с Катрой? В душе темно плескались бесстыдные, жестоко-сладкие воспоминания и сожаления. И мутный ужас, ослабевая, еще шевелился там. А сознание как будто выбралось на какой-то камешек, высоко над плещущей темнотой, и, подобрав ноги, с тупым любопытством смотрело вниз.

Нет, бояться за Алексея нечего. Он, не унывая, лечится. Делает гимнастику, гуляет, обливается холодной водой. Стены домика трясутся от его прыжков: за стеною — плеск воды, фыркание, топот, как будто бегемот борется там с каким-то врагом.

Но я уже не могу успокоенно воротиться к прежнему. Что-то во мне сорвалось, выскочил какой-то задерживающий винтик. Так у меня было раз с часами,— треснуло что-то — и вдруг весь механизм заработал с неудержимой быстротою...

Я потерял себя. Совсем потерял себя, как иголку в густой траве. Где я? Что я? Я чувствую: моя душа куда-то ушла. Она оторвалась от сознания, ушла в глубину, невидимыми щупальцами охватывает из темноты мой мозг — мой убогий, бессильный мозг,— не способный ни на что живое. И тело мое стало для меня чуждым, не моим.

Где я, я сам? Свободный, самопричинный? В том,

что думает, сознает себя, — в моем «разуме»? Но почему же все самостоятельные мысли его так тощи и безжизненны, почему рождаемые им слова так сухи и ограничены? Лишь когда его захватят из темной глубины эти странные щупальца, он вдруг оживает. И чем теснее охвачен щупальцами, тем больше оживает и углубляется. Мысли становятся яркими, творчески сильными, слова светятся волнующим смыслом.

Значит, там я, в этой глубине, откуда мне таинственно звучал бой часов? Но ведь там лежит темный раб, я это теперь ясно чувствую. Могучий Хозяин моего сознания, он раб неведомых мне сил. Неотступно силы эти стоят над ним, — над ним, над человечеством, над всею жизнью. И сколько этих сил — не перечеть и не учесть! Я могу возмущаться, противиться, проклинать — все равно: мои мысли, мои искания были бы совсем другие, если бы только мне было сейчас не двадцать четыре года, а пятьдесят. Все было бы другим, если бы я был рабочим, если бы я был китайцем, если бы моими родителями были родители Иринарха. Даже если бы солнце у нас светило ярче и дольше, я бы, может быть, искал и нашел другое!.. Покорно плетусь я, куда ведет меня мой темный Хозяин-раб; высшее, до чего может подняться мой ум, — это сознать зависимость себя — свободного и бессильного.

Но я не хочу, я этого не могу принять!

В опорках на босу ногу и в мокром пиджаке, накинутом на плечи, Гольтяков стоял на углу Кривоноговского переулка. Трезвый, жалкий, трясущийся.

— Четыре дня не жрамши путаюсь, сам не знаю где... Всякая сволочь пальцем показывает, говорят: он пьяница, бездельник... Жену бьет... А нешто я дурее их, дураков? Меня вон хозяин в Серпухов зовет, чайник делать на выставку. Никто не может, а я вот взялся... И в Москве тоже, на Покровке... А между прочим — что ж я тут?.. Го-ос-поди!..

Сеяла мга из мокрого неба, сеяла на желтоватое, опухшее лицо, на открытую голову с торчащими вихрами. И сочились слезы из жалких, добрых глаз.

— Вот он, пинжак. На этом пинжаке несчастном весь день я проспал вон там, подле колодца. Поднял голову, — на пинжаке собака легавая лежит. Лысая. А такой собаки у нас во всей округе нет. Что же это? Все смотрят, смеются... Ишь, говорят, собаку свел! Отку-

да собака взялась? Поглядел, — нету ничего!.. Вот какую кару терплю через вино!..

И слезы лились, и посинелою рукою он утирал всхлипывающий нос. Что это — тот человек или другой? Он придет домой, слезами обольет колени Прасковьи. Будет работать по двадцать часов — ласковый, виновато-тихий, просветленный. Я смотрел на него, смотрел. Тени не было того Гольтякова. А взять стакан водки, — осязаемый чайный стакан, с осязаемою жидкостью, которую можно купить за пятнадцать копеек, — и сотворится в человеке другая душа. Безумием захлебывающейся злобы вспыхнут добрые, плачущие глаза, тихая душа закрутится в кровавой жажде истязаний, и будет другой человек.

Гольтяков всхлипывал и бормотал:

— Пойду к Параше... Даст она мне чайку, подлецу проклятому?.. Параша, ангел мой!.. Касатка!..

На толкучке топчутся люди. Кричат, божатся, надувают. Глаза беспокойно бегают, высматривая копейку. В разнообразии однообразные, с глазами гиен, с жестоким и окоченелым богом в душе, цыкающим на все, что рвется из настоящего. Как из другого мира, проезжают на дровнях загорелые мужики в рваных полушубках, и угрюмо светится в их глазах общая тайна, тихая и крепкая тайна земли. Среди них хожу я, с мозгом, обросшим книжными мыслями.

А когда задрожат в воздухе гудки, по мосткам тянутся вереницы еще новых людей. На маслено-серых лицах неуловимый отсвет благородства, даваемого трудом, в глазах — пробуждающаяся, свободная от пут сила. Чем, кем она разбужена? Огнем ненависти, рвущимся из сдавленной жизни? Вот этими кирпичными зданиями с высокими трубами?.. Идут вереницами, стучат по мосткам. Если бы они сидели в тех холодных лавочках на толкучке, то и их лица горели бы блудящими огоньками гиен. Будущее они несут? А что с ними, творцами будущего, сотворит будущее?

В сумерках шел я вверх по Остроженской улице. Таяло кругом, качались под ногами доски через мутные лужи. Под светлым еще небом черною и тихую казалась мокрая улица; только обращенные к западу стены зданий странно белели, как будто светились каким-то тихим светом. Фонари еще не горели. Стояла тишина, какая

опускается в сумерках на самый шумный город. Неслышно проехали извозчицьи сани. Как тени, шли прохожие.

И вдруг ясно, очевидно мне стало, что это вовсе не люди идут, — это медленно движутся молчаливые силуэты-марионетки. И это была правда. Что думалось до сих пор мыслью, теперь вдруг открылось душе. Мир на мгновение, распахнулся и явил свою тайную, скрытую жизнь.

И страшно-молчаливо проходили люди-силуэты, придавленные великою, вслушивающейся в себя тишиною.

Марионетки, рабы Неведомого, тени темного... Ходят, слепо живут своим маленьким сознанием и не видят огромной, клубящейся внизу темноты... И к ним обращаться с вопросами!...

Спуститься в темноту, откуда встают тени. Там что-то всех должно объединить. Там, где хаос — изменчивый, прихотливый, играющий темною радугою и неотразимый в постоянстве своего действия на нас. Туда спуститься к людям, там крикнуть свой вопрос о жизни. Если бы оттуда раздался ответ, — о, это была бы покоряющая, все разрешающая разгадка. Как молнией, широко и радостно осветилась бы жизнь. Но там молчание. Ни звука, ни отклика. Только смутно копошатся вечно немые, темные Хозяева.

Мерное, слабое потрескивание сзади. И, порывисто дергаясь, быстро двигаются фигуры по экрану кинематографа. Всплескивают руками, бросаются в окна. Патер благочестиво слушает лукаво улыбающуюся испанку, возводит очи к небу и, жуя губами, жадно косится на полуобнаженную грудь. Мчится по улице автомобиль, опрокидывая все встречное.

Вот где — голо вскрытая сущность жизни! Люди смотрят и беспечно смеются, а сзади мерно потрескивает механизм. Придешь назавтра. Опять совсем так же, не меняя ни жеста, бросается в окно господин перед призраком убитой женщины, патер жадными глазами заглядывает в вырез на груди испанки. И так же, совсем так же мчится ошалевший автомобиль, опрокидывая бебе в колясочке, столы с посудой и лоток с гипсовыми

фигурами. А сзади чуть слышно потрескивает механизм.

Потом выходишь на улицу. Бегут извозчицы лошади. Гимназист с криво сидящим ранцем покупает у грека халву, похожую на замазку. Идет господин, блестя новым цилиндром. И кажется, все они тоже чуть-чуть дергаются: все чужды душе, мертвы и плоски. И невыразимо смешна их серьезная самоуверенность, их неведение о безвольном своем участии в мировом кинематографе.

Слякоть, сырость. Люди забыли, есть ли на свете солнце. Тихо тает внутри сугробов.

А сегодня с утра вдруг повалил молодой, осенне-пахучий снег и настала мягкая зима.

От Катры получил странную записку, где настойчиво она звала меня прийти вечером. Пришел я поздно. Было много народу. Кончили ужинать, пили шампанское. По-обычному пряно чувствовалась тайная влюбленность всех в Катру. Катра была задорно весела, смеялась заражающим смехом, глаза горячо блестели. Каждый раз она другая.

Сидел приехавший из Москвы Крахт, маленький человек с огромным лбом и мясистым носом. Все почтительно его слушали. Говорил он как раз о какой-то высшей свободе. Я яро сцепился с ним.

Он снисходительно возражал. Сознание рабства, о котором я говорю, — это естественная стадия. Конечно, со временем и я превзойду ее. Эмпирическая необходимость вовсе не противоречит высшей, трансцендентальной свободе.

Я же говорил: никого до сих пор я не знаю, кто бы честно «превзошел» эту стадию. С тайным страхом ее оббегают обходными путями, — так сделали и Кант и Фихте. Видно, слишком невыносимо для человеческого духа ощущение великого своего рабства.

Катра внимательно слушала. Звенели у крыльца бубенчики троек. Крахт стал возражать более серьезно. Говорил он очень умно и учено. Я же замолчал; вдруг я ясно увидел сидевшего в нем его Хозяина.

И мне стало смешно: да, велика сила Неведомого, если высшее рабство оно способно претворять в сознании людей в высшую свободу!

Я прихлебывал шампанское. Молчаливые золотые искорки крутились за хрустальными стенками. Звенящие искорки со смехом крутились в голове. Крахт говорил. Его тусклые глаза медленно мигали, губы шевелились. Я прятал под ладонью улыбку... Потихоньку подойти сзади к многоумному этому человеку, незаметно запустить в него руку, нащупать в глубине его Хозяина. Хорошенько притиснуть Хозяина, потом встряхнуть и опрокинуть на спину. Отойти и посмотреть, — что станется с свободным духом г. Крахта? Со смехом смотреть, как с тою же эрудицией, с тою же неопровержимую логикой дух его затанцует совсем другое.

И пусть бы начался общий танец. Танцевали бы все стройные мирозерцания, все неопровержимые логики, все объяснения смысла жизни. Танцевали бы, крутились и сшибались, как золотые искорки в бокале, сходились бы и расходились. А я бы смотрел и смеялся...

Толстый адвокат Баянов разливал по бокалам шампанское. Катра вскочила.

— Господа, кончайте! Едем!

Стояли у подъезда трое трючных саней и легкие санки для двоих без козел. Катра быстро села в санки и крикнула мне:

— Константин Сергеевич, садитесь со мною!

Санки мчались по пустынным улицам. Звеня бубенцами, следом неслись тройки. Тускло светились у домов редкие фонари, а небо полно было звезд.

— Весна, весна скоро!.. Константин Сергеевич, видите небо? Завтра солнце будет... Солнце! Господи, какая мутная была темнота! Как люди могут жить в ней и не сойти с ума от тоски и злости! Я совсем окоченела душой... Все время мне одного хотелось: чтоб пришел ко мне кто-нибудь тихий, сел, положил мне руки на глаза и все бы говорил одно слово: Солнце! Солнце! Солнце!.. И никого не было! Хотела сегодня закрутиться, закутить всю, чтобы забыть о нем, а вот оно идет. Будет завтра. Любите вы солнце?

Горячие глаза заглядывали мне в лицо и упоенно смеялись.

— Но вы-то, вы-то!.. Константин Сергеевич, что вы такое сейчас говорили? Всегда я в душе чувствовала, что вы не такой, каким кажетесь. Вот вы спорили с Крахтом о рабстве, о ваших неведомых силах, — и мне казалось: вы говорите из моей души, отливаете в слова то, что в ней. Так было странно!

Я с любопытством оглядел ее.

— Вы тоже чувствуете эти силы?

Катра задушевно спросила:

— А скажите, вам страшно? Страшно от того, что они над вами?

Вдруг она стала мила мне, хотелось говорить по душе.

— Прежде всего обидно очень, Катерина Аркадьевна. И пусто... Да! И страшно.

— А скажите еще...— Она лукаво вглядывалась в меня.— Кружится у вас сейчас голова? От шампанского?

Недоумевая, я ответил:

— Да, немножко.

Катра сильно ударила вожжей лошадь. Санки понеслись. Она рассмеялась.

— Смотрите, как странно! Где-то во Франции люди поймали золотистого, искрящегося духа, закупорили в бутылку, переслали нам. И вот он пляшет в нас и мчит куда-то. Говорит за нас и делает, в чем, может быть, мы завтра будем раскаиваться. Разве сейчас это мы с вами? Это он. А какая воля, какой простор в душе! Жутко, какая воля. А это не мы, а он.

Я наморщил брови и соображал.

— И сколько над душою стоит других духов — могучих, темных, обольстительных. Куда до них французскому чертенку! И всем им — власть. И вам только страшно, больше ничего?

Она наклонилась, заглядывая мне в лицо странно смеющимися глазами.

— И Алексея Васильевича вам только жалко, больше ничего? Только жалко?

Дикие глаза были. Трепетало и билось в них дерзкое, радостно-безумствующее пламя. И в пламени этом вдруг мне почуялась какая-то особенная, жутко захватывающая правда.

Катра шаловливо рассмеялась, близко наклонилась к моему уху и прошептала:

— И будете, как я.

Горячею змейкой юркнул в меня ее шепот. С золотистым звоном все закружилось в голове.

Мягкий воздух обвевал лицо. Город был назади. В снежной мгле темнели голые леса. Мчались мы, как в воздухе на крыльях, тройки звенели сзади.

Что-то мы говорили бессвязное, но разговор шел помимо слов. Молчаливо сливались души в весело-безумном вихре, радовавшемся на себя и на свою волю.

Я что-то хотел сказать, Катра нетерпеливо прервала:

— Не говорите. Дайте руку... Да снимите ваши варежки нелепые. Видите, я сняла перчатку...

В Гастеевской роще сделали привал. На тихой белой поляне, под яркими звездами, громко говорили, смеялись, пили вино.

Иринарх увлеченно спорил с Крахтом. Катра, не стесняясь, стояла со мною под руку и слегка прижималась к моей руке. Лукаво смеясь, она наклонилась и прошептала:

— Вы знаете, вот эти двое. Совсем разные люди. А отнять у них слова — оба они стали бы совсем пустые. Оба думают мыслями, выражаемыми словами.

Подошел Иринарх. Он улыбался, но глаза смотрели грустно и ревниво.

— Видели, господа, звезды какие? Ехал, — все время глаз не сводил. Люблю на звезды смотреть, — сколько жизни запасено во вселенной! Мы умрем, все умрут, земля разобьется вдребезги, а жизнь все останется. Весело подумать!

— А звезды — это все солнца! Огромные, горячие! Андрей Андреевич, налейте мне еще! — Катра протянула Баянову стакан. — Господа, тост: за громадные яркие солнца и за... еще за... Нет, больше ничего!

Мы катили назад. Катра нетерпеливо твердила:

— Гоните скорее! Скорее! Ух, как будто в воздухе легишь!

Она крикнула во весь голос. Эхо покатило за бор.

— За солнце пили... Хотела я еще сказать — знаете что? «За рабство!» Да они бы не поняли. Вы знаете, я когда-то... Да бросьте вожжи, она сама будет бежать... Дайте руку...

Лошадь ровно побежала. Горячая рука говорила в моей руке. Глаза мерцали и блуждали.

— Вы знаете, я когда-то была восточной царевной. Царь-солнце взял меня в плен и сделал рабыней. Я познала блаженную муку насильнических ласк и бича. Какой он жестокий был, мой царь! Какой жестокий,

какой могучий! Я ползала у ступеней его ложа и целовала его ноги. А он ругался надо мною, хлестал бичом по телу. Мучительно ласкал и потом отталкивал ногою. И евнухи уводили меня, опозоренную и блаженную. С тех пор я полюбила солнце... и рабство.

Я слушал, раскрывая глаза. Где это уже было? Где была эта странная, блуждающая усмешка, эти бесстыдные глаза? Да. И санки даже были тогда.

— Я часто вас ненавижу, Константин Сергеевич. Но было между нами что-то, и мы тайно связаны. Помните, в подвале... Пахло керосином...

Я резко прервал:

— Не говорите про это!

— Помните, вы тогда меня вырвали из бегущей толпы... Ух, какую я в вас тогда почувствовала силу. Как волна, она обвила меня и вынесла...

— Да замолчите вы! Слышите?! — грубо крикнул я.

Катра осеклась и взглянула мне в лицо впивающимися глазами. И вдруг в них мелькнула ненависть. Она быстро отвернулась.

С чуждым удивлением, как очнувшийся лунатик, я оглядывал то, что создалось между нами. Французский чертенок. Красивое тело человеческой самки. Предательские инстинкты собственного тела,— и извольте видеть: «правда» какая-то открывается! А эта склизкая болотная змейка вьется в темной воде и на всем оставляет свою ядовитую слюну — на самых чистых белых лилиях... Бррр!..

— Простите, что я так крикнул. Но я слишком иначе отношусь к тому, что нам тогда пришлось вместе пережить.

Катра беззаботно рассмеялась, взяла вожжи и погнала лошадь.

Холодно, холодно в нашем домишке. Я после обеда читал у стола, кутаясь в пальто. Ноги стыли, холод вздрагивающим трепетом пронесся по коже, глубоко внутри все заглодело. Я подходил к теплой печке, грелся, жар шел через спину внутрь. Садился к столу,— и холод охватывал нагретую спину. Вялая теплота бессильно уходила из тела, и становилось еще холоднее.

Алексей, скорчившись под пальто, лежал у себя на кровати.

Я взял лопату и пошел в сад чистить снег. На дворе меня увидела Жучка и радостно побежала вперед. Она обнюхивала сугробы, с ожиданием поглядывала на меня. Я потравил ее в чащу сада. Жучка с готовностью залаяла, бросилась к забору, волнисто прыгая по проваливавшемуся снегу. Полаяла, потом воротилась и заглянула мне в глаза.

«Видишь? Я сделала, что надо!»

Робко начала ласкаться. Я погладил ее. Она обрадовалась и бросилась лапами на пальто...

— Ну, будет!.. Пшел!

Жучка отошла.

Я долго чистил снег. Прозрачно серела чаща голых сучьев и прутьев. Над березами кружились галки и вороны. Вдали звонили к вечерне. Солнце село.

Вдруг я заметил, что я давно уже без варежек, вспомнил, что уж полчаса назад скинул пальто. Изнутри тела шла крепкая, защищающая теплота. Было странно и непонятно, — как я мог зябнуть на этом мягком, ласкающем воздухе. Вспомнилась противная, внешняя теплота, которую я вбирал в себя из печки, и как эта чужая теплота сейчас же выходила из меня, и становилось еще холоднее. А Алешка, дурень, лежит там, кутается, придвинув кровать к печке...

Темнело. К вечерне перестали звонить. В калитке показалась Феня и тихим, ласкающим голосом крикнула:

— Степочка!

Узнала меня, ахнула и скрылась. Сучья тихо шумели под ветерком, поскрипывал ствол ели. На самой ее верхушке каркала старая ворона, как будто заливался плачем охрипший новорожденный ребенок. Жучка ткнула мордою в мою руку.

— Ты что?

Смешно было, как она говорит глазами. Я опять поуськал ей на забор. Она опять с готовностью залаяла. Лаяла, и поглядывала на меня, и говорила взглядом:

«Вот, делаю, что тебе нужно. И даже не спрашиваю себя, есть ли в этом смысл».

Я подозревал ее и пристально заглянул в глаза. Жучка покорно изогнулась, робко завиляла хвостом. Я улыбнулся и продолжал смотреть. Она радостно засмеялась глазами и хотела было броситься ласкаться, но не бросилась, а медленно опустила на задние лапы.

И мы смотрели друг другу в глаза.

Долго смотрели. И вдруг я почувствовал,— мы с нею разговариваем! Не словами, а тем, что лежит в темноте под словами и мыслями. Да, это есть в ней так же, как во мне. Такое же глубокое, такое же важное. Только у меня над этим еще бледные слова-намеки, несамостоятельная мысль, растущая из той же темноты. Но суть одна.

И сквозь темноту, в которой шел наш разговор, вдруг мне почудился какой-то тихий свет.

Нежно и ласково я погладил Жучку по голове. Она прижалась мордой к моему колену, и я любовно гладил ее, как ребенка. Все кругом незаметно сливалось во что-то целое. Я смотрел раскрывающимися, новыми глазами. Это деревья, галки и вороны на голых ветвях, в сереющем небе... В них тоже есть это? Это — несознаваемое, не выразимое ни словом, ни мыслью? И главное — общее, единое?

Птицы притихли на ветвях, охваченные сумеречным небом. Небо впитывало в себя и их и деревья... Мне показалось, что я к чему-то подхожу. Только проникнуть взглядом сквозь темный кокон, окутывающий душу. Еще немножко,— и я что-то пойму. Обманчивый ли это призрак или открывается большая правда?

Или только кажется? Или все узнается?

Но все потерялось. Что-то важное и решающее скрылось.

Я воротился домой. Алеша, заспанный и озябший, нес из сени охапку дров. Он угрюмо сказал:

— Хочу еще раз печку протопить... Как холодно.

Было странно смотреть на него. Холодно!...

— Да пойдй лучше, Алеша, поработай в саду. Я весь горю жаром!

Он вяло ответил:

— Ну, не хочется.

В кухне на остывающей плите лежала и мурлыкала серая хозяйская кошка. С незнакомым раньше любопытством я подошел к ней со свечкою и тоже заглянул в глаза.

— Кс-кс-кс!

Она взглянула прямо в мои зрачки, потом прищурилась. Внутри ее глаз как будто что-то закрылось, и она снова начала мурлыкать. Теперь узкие щелки зрачков

в прозрачно-зеленоватых глазах смотрели на меня, но смотрели мимо моей души. И я жадно вглядывался в эти глаза — как будто слепые и в то же время бесконечно зрячие. Я засмеялся. Она не приняла моего смеха и продолжала смотреть теми же серьезно-невидящими глазами. Что-то в них было от меня закрыто, но *было закрыто* — в них не было пустоты. Было что-то важное, и я почувствовал, — это возможно было бы понять.

Что такое творится?

От Дяди-Белого вышла молодая женщина. Красивая, одета усиленно пышно, как одеваются женщины, вдруг получившие возможность наряжаться.

С страдальческой насмешкой Дядя-Белый спросил меня:

— Видели, какая графиня прошла?

— Кто это?

— Вы ее встречали. Сестра моя. Она с Турманом живет.

Он взволнованно теребил курчавую бородку.

— Кутят с Турманом. Деньги расшвыривают, как купцы. Откуда у них деньги? Слыхали вы, на той неделе артельщика ограбили за вокзалом, на пять тысяч? Думаю, не без Турмана это дело.

— Константин, дай-ка мне опия, — второй день живот болит.

— Вот, на!.. Да дай я тебе накапаю.

— Я сам. — Алексей нетерпеливо тянул к себе бутылочку и не смотрел мне в глаза. — Ведь несколько раз придется принимать, что же каждый раз к тебе ходить?

Наши глаза встретились. Я побледнел и, задыхаясь, схватил его за руку.

— Алеша!

— Да что ты? Что с тобой?

Мы молча смотрели друг другу в глаза. Алексей удивленно пожал плечами и пустил бутылочку.

— Ну, бери, накапай сам!

Вздор! Мне это только показалось! Он так старательно лечится! Сначала должна бы пропасть вера в лечение, он должен бы бросить свою гимнастику и обливание.

Но ночью я вдруг проснулся, как будто в меня вошло что-то чужое. Из комнаты Алексея сквозь тонкую перегородку что-то тянулось и приникало к душе.

Ясно, все ясно! Как я мог сомневаться?.. Недавно к нам зашла Катра, и меня тогда поразило,— Алексей равнодушно разговаривал с нею, и откуда-то изнутри на его лице отразилась удовлетворенная, ласковая снисходительность. Как будто он был доволен, что может смотреть на нее с высокой высоты, до которой ее чарам не достать; и с Машей он так нежен-нежен, и такой он весь ясный, тихий, хотя и не смотрит в глаза.

Да, конечно, так! Он по-прежнему носит свою мысль, прочно сжился с нею и утих в ней. Но силы ушли на те две ночи, он копит новые силы, и вот почему лечится. Ведь невозможно человеку через каждую неделю приговаривать себя к смертной казни.

Сквозь перегородку все шло в душу что-то напряженное и гнетущее. Как будто упорно лилось какое-то черное электричество. Вся комната заполнялась тупою, властною силою, она жизненно чувствовалась в темноте. Неподвижно и скорбно вставало Неведомое, некуда было от него деться.

Я поднялся на руках, огляделся. Исчезла перегородка. И я увидел: Алеша лежит на спине, с пустыми, остановившимися глазами. А Хозяин его, как вывалившийся из гнезда гад, барахтается на полу возле кровати; в ужасе барахтается, вьется и мечется, чуя над собою недвижную силу Неведомого. Заражаясь, затрепетал и мой Хозяин. И я чувствовал,— в судорогах своих он сейчас тоже выбросится на пол, а я с пустыми глазами повалюсь навзничь.

Я вскочил, разрывая очарование. Прислушался. За перегородкой все было тихо, как-то особенно тихо. Я зажег свечу и пошел к Алексею. Дверь не была заперта. Алексей быстро поднял от подушки чуждое лицо. И опять нельзя было узнать, спал он или думал.

— Что ты? — спросил он.

— Мне не спится, а все папиросы вышли... Можно у тебя взять?

— Возьми, конечно...

Я пристально смотрел на него.

— Ты спал?

Он недовольно нахмурился.

— Спал, конечно.

Никогда я этого раньше не представлял себе: душа одного человека может войти в душу другого и смешаться с нею. Я теперь не знаю, где Алексей, где я. Он вселился в меня и думает, бьется, мучится моею душою; ища для себя, я как будто ищу для него. А сам он, уже мертвый, неподвижно лежит во мне и разлагается и неподвижным, мутным взглядом смотрит мне в душу.

Охватывает жуткая дрожь и раздражительное нетерпение. Я смотрю на его осунувшееся лицо с остановившеюся в глазах мыслью. Ну, ну!.. Чего ж ты ждешь?

Я долго сегодня бродил за городом. Небо сияло. Горячие лучи грызли почерневшие, хрящеватые бугры снега в отрогах лощин, и неуловимый зеленый отблеск лежал на блеклых лугах. Я ходил, дышал, перепрыгивая через бурлящие ручьи. Вольный воздух обвевал лицо. Лучи сквозь пригретую одежду пробирались к коже, все тело напитывалось ликующим, звенящим светом... Как хорошо! Как хорошо!

Небо безмерное от сверкающего света. Солнце смеется и колдует. Очарованно мелькают у кустов ярко-зеленые мотыльки. Сорока вспорхнет, прямо, как стрела, летит в голую чашу леса и бессмысленно-весело стрекочет. Чужды липкие вопросы, которые ткал из себя сморщившийся, затемневший Хозяин. Где они? Тают, как испаренья этой земли, замершей от неведомого счастья. Отчего в душе такая широкая, такая чистая радость?

Отчего... Я не могу не подчиняться, но меня светлый колдун не обманет. О, я знаю: весеннее солнце коснулось крови, воздух чистого простора влился в легкие, в коре мозговых полушарий расширились артерии, к ней прихлынуло много горячей крови, много кислорода,— и вот все безысходные вопросы стали смешно легкими и нестрашными. Хороша жизнь, хорош я, дороги и милы братья-люди.

Ну, вот оно и решение! Как просто,— словно настоящее!

Потянуло в город, где суетятся братья-люди.

И я ходил по сверкающим улицам с поющими ручьями, залитым золотым солнцем. Что это? Откуда эти новые, совсем другие люди? Я ли другой? Они ли другие? Откуда столько милых, красивых женщин? Ласково смотрели блестящие глаза, золотились нежные завитки волос над мягкими изгибами шей. Шли гимназистки и гимназисты, светясь молодостью. И она — Катра. Вот

вышла из магазина, щурится от солнца и рукою в светлой перчатке придерживает юбку... Царевна! Рабыня солнца! Теперь твой праздник!

Мускулистые плотники с золотыми бородами тесали блестящие бревна. Старик нищий, щурясь от солнца, сидел на сухой приступочке запертого лабаза, кротко улыбался и говорил с извозчиками.

— Табачку понюхал, да и пошел в казенку... Бабка подсмолит: «Ишь, старый черт, опять в кабак? Пойдем домой!..» Ну, ладно, пойдем!.. Ха-ха-ха!

— А жива у тебя бабка-то? — лениво спросил извозчик.

Старик радостно ответил:

— Жива, жива, милый!.. Жива, слава тебе господи!

Он снял облезлую шапку и стал креститься. И голова его была благообразная, строгая.

Звенели детские голоса. Спешили люди, смеялись, разговаривали, напевали. Никто не обманывал себя жизнью, все жили. И ликовали пропитанные светом прекрасные тела в ликующем, золотисто-лазурном воздухе.

Через два дня.

В Кремле звонили ко всеобщей. Туманная муть стояла в воздухе. Ручейки вяло, будто засыпая, ползли среди грязного льда. И проходили мимо темные, сумрачные люди. Мне не хотелось возвращаться домой к своей тоске, но и здесь она была повсюду. Тупо шевелились в голове обрывки мыслей, грудь болела от табаку, и все-таки я курил непрерывно; и казалось, легкие насквозь пропитываются той противною коричневою жижеею, какая остается от табаку в сильно прокуренных мундштуках.

Из-под ворот текли на улицу зловонные ручьи. Все накопившиеся за зиму запахи оттаяли и мутным туманом стояли в воздухе. В гнилых испарениях улицы, около белой, облупившейся стены женского монастыря, сидел в грязи лохматый нищий и смотрел исподлобья. Черная монашенка смиренно кланялась.

— Во имя скорой послушницы царицы небесной пожертвуйте, благодетели!

И шли по слякоти скучные люди с серыми лицами, полные мрака и смрадного тумана.

Блестели желтые огоньки за решетчатыми окнами церкви. В открывавшиеся двери доносилось пение. Тянулись к притворам черные фигуры. Туда они шли, в каменные здания с придавленными куполами, чтобы добыть там оправдание непонятной жизни и смысл для бессмысленного.

В лужах отражались освещенные окна низкого трактира. Я подумал и вошел. В дверях столкнулся с Турманом. Он выходил с молодой черноволосой женщиной. Турман прямо мне в лицо взглянул своим темным взглядом, вызывающе взглянул, не желая узнавать, и прошел мимо.

Я сел к столику и спросил водки. Противны были люди кругом, противно ухал орган. Мужчины с развязными, землистыми лицами кричали и вяло размахивали руками; худые, некрасивые женщины смеялись зеленовато-бледными губами. Как будто все надолго были сложены кучею в сыром подвале и вот вылезли из него — помятые, слезавшиеся, заплесневелые... Какими кусками своих излохмаченных душ могут они еще принять жизнь?

Везде пили, курили. Глотали едкую влагу, втягивали в легкие ядовитый дым... Ну да. Ведь праздник! Надо же радоваться! А разве это легко?

Бледный парень, заломив шапку на затылок, быстрым говорком пел под гармонику:

Сидел милый на крыльце
С выраженьем на лице...

Половой поставил передо мной полубутылку. Я смотрел в зеленовато-ясную жидкость, смотрел кругом на людей и думал:

«Погодите вы все, — вы, противные! И ты, мутная, рабская жизнь! Вот сейчас я буду всех вас любить. В ответ поганым звукам органа зазвенят в душе манящие звуки, дороги станут братья-люди, радостно улыбнется жизнь, — улыбнется и засветится собственным, ни от чего не зависимым смыслом!»

Я вышел из трактира с двумя фабричными парнями. Они любовно-почтительно слушали меня и кивали головами, а я с пьяным, фальшиво-искренним одушевлением говорил о завоевании счастья, о светлом будущем.

Голова шумела, в душе был смех. Люди орали песни,

блаженно улыбались, смешно целовались слюнявыми ртами. Мужик в полушубке стоял на карачках около фонарного столба и никак не мог встать. С крыльца кто-то крикнул:

— Ванька!

Мужик сосредоточенно ответил:

— Был Ванька, да уехал!

Поднял ко мне лохматое лицо, лукаво подмигнул и засмеялся. Кто-то пробежал мимо в темноту.

— Ванька-а-а!!

— Был Ванька, да уехал!

Лохматое лицо подмигивало мне и радостно смеялось.

Отовсюду звучали песни. В безмерном удивлении, с новым, никогда не испытанным чувством я шел и смотрел кругом. В этой пьяной жизни была великая мудрость. О, они все поняли, что жизнь принимается не пониманием ее, не нахождением разума, а таинственной настроенностью души. И они настраивали свои души, делали их способными принять жизнь с радостью и блаженством!.. Мудрые, мудрые!..

Я звонил к Катре.

— Дома Катерина Аркадьевна?

Горничная удивленно оглядела меня.

— Сейчас доложу.— Сходила и воротилась.— Пожалуйте!

Катра вышла со свечкою в темную гостиную. Лицо у нее было странное и брезгливо-враждебное.

— Вы одна... Я боялся, что у вас народ будет! Хотите,— пойдете погуляем?.. Чудная погода!

Катра пристально вглядывалась в меня. Вдруг она расхохоталась, как девочка.

— Знаете, который час?

— Н-нет.

— Двенадцатый!.. И на дворе сырость, туман... Ха-ха-ха!.. Пойдемте... Только за город пойдём, там туман чистый...

Она смеялась и не могла остановиться и, смеясь, поспешно одевалась.

— Только вы мне много-много говорите и не смотрите на меня. Слышите,— не смотрите! Я сейчас всех выгнала от себя. Боже мой, какие скучные люди!.. И какая тоска!.. Вы много будете говорить?

— А вам разве словами нужно много говорить? Мы

все время много разговариваем, только не словами,— вдруг сказал я.

Она перестала смеяться, быстро взглянула на меня.
— Да-а?..— И широко открыла глаза.— Идемте!

Мутный туман затягивал поля, но на шоссе было сухо. Над городом тускло белело мертвое зарево от электрических фонарей. Низом от леса слабо тянуло запахом распускающихся почек.

И я говорил, говорил.

— ...Алексея я нисколько теперь не жалею, его я почти не чувствую. Но я весь охвачен запахом трупного разложения, я никуда не могу уйти от него. И не могу уйти от вставших отовсюду сил. Неведомые, они везде, кругом,— в луче солнца, в гнили тумана, в моем теле. В душе темнота, наверху бессильною змейкою крутится сознание, и я с презрением смеюсь над ним. Но сейчас,— вот перед тем как прийти к вам,— вдруг в этой темноте запылал странный, мелькающий свет. С замиранием я вспомнил о вас и пошел к вам... Катра! Есть жизнь и для отверженных — для вас, для Алеши, для меня! Вашею мутною душою вы почуяли путь. Пусть сознание вздымается на дыбы и бросается назад, пусть гадливо трепещет, презирает и ужасается... Вперед, *holla!* Под ногами обрыв и черная ночь? Ну что ж! Вперед с зажмуренною душою. Там радости, которых не знают сидячие души. И миг полета стоит десятка лет.

Я не замечал, что называю ее Катра.

Большие глаза улыбались нежно и радостно. Пьяновеселым вихрем все крутилось во мне, и я чувствовал — этому вихрю звучит в ответ странно насторожившаяся душа.

— Я скажу, Катра. Мы очень мало с вами говорим, мы все время на ножах. Но что это такое? Уже давно я чувствую, что вы во мне, и я... да, и я в вас. И мы играем в прятки.

Что еще говорилось? Не помню. Бессвязный бред в неподвижном тумане, где низом шел ласкающий запах весенних почек и мертво стояло вдали белое зарево. Не важно, что говорилось,— разговор опять шел помимо слов. И не только я чувствовал, как в ответ мне звучала ее душа. Была странная власть над нею,— покорно и беззащитно она втягивалась в крутящийся вихрь.

Я, задыхаясь, сказал:

— Темно. Дайте вашу руку.

И мы шли.

— Все еще нельзя смотреть вам в лицо? А я буду.

Я взглянул в ее огромные насторожившиеся глаза. И темнота не мешала. В них мерцала радость покорной, отдающейся очарованности. Как будто я нес ее на руках, а она, прижавшись ко мне щекой, блаженно закрыла глаза.

Я близко наклонился к ней. Вдруг Катра вздрогнула и быстро выдернула руку.

— Послушайте, вы пьяны! От вас пахнет водкой!..— Она с отвращением отшатнулась.— Какая гадость!

Я смотрел на нее. Она повторяла:

— Какая гадость!

Злоба и гадливое отвращение вдруг охватили меня. Я пристально все смотрел на нее.

— И вы раньше не знали, что я пьян? Неправда! Вы знали уж тогда, когда пошли со мною! — Я злорадно добавил: — Вы даже были этому очень рады, вы поэтому именно и пошли!

— Гадость, гадость какая!

Мне казалось,— всем напряжением воли Катра взмучивает в себе содрогающееся отвращение. Она отбросила взглядом мой презирающий взгляд и высокомерно сказала:

— Проводите меня домой!

И повернула назад.

Мы шли и молчали.

Было глухо. Было очень тихо от тумана. Катра быстро шла, опустив голову. В чаще леса что-то коротко ухнуло, рванулось болезненно и оборвалось, задушенное туманом. Вздрогнув, Катра пугливо оглянулась и пошла еще быстрее.

Вдруг жалующимся голосом она сказала:

— Я не могу так скоро идти!

Как будто это я ее заставлял.

Пошли медленнее. Катра робко вглядывалась в туман. Жалким, детским голосом она проговорила:

— Дайте вашу руку. Мне страшно!

Оперлась на мою руку и все с большим страхом оглядывалась.

— Тут вдоль шоссе трактиры, тут часто режут людей... Везде безработные, грабежи... У нас ночью по всей улице сняли медные дощечки с дверей и дверные ручки...

Вчера опять была экспроприация на механическом заводе...

Я злился. Катра вздрагивала, пугливо прижималась ко мне и деланным голосом повторяла:

— Мне стра-ашно!

Было неестественно. И все-таки делалось жутко. Теперь что-то из ее души заражало меня. Мертво выдвигались из тумана пригородные кусты, белесые от далекого зарева.

Вздрагивали искривленные губы, бегали глаза.

— Мне стра-ашно!

Комедиантка! Все в ней деланно и преувеличенно — и боящийся голос и вздрагивания. Она нарочно вздрагивает, чтобы крепче прижаться ко мне. Это все она мстит мне за тогдашнюю поездку на тройках.

— Что это?.. Аа... Аааа!!.

С воплем Катра метнулась в сторону. Споткнулась о кучу шоссейного щебня и упала. Я бросился к ней. Корчась в усилиях воли, она глушила вопль, впивалась пальцами в осыпавшиеся камни.

Вдруг голова неестественно согнулась. Подбородок впился в грудь. Тело медленно изогнулось дугою в сторону, скорченные руки дернулись и замерли. Вот так история! Она была без чувств.

Я старался приподнять ее. Тело было странно негибкое, глаза закрыты.

— Катерина Аркадьевна! Катерина Аркадьевна!

Она неподвижно лежала с закрытыми глазами и вдруг тихо всхлипнула. Сильнее, все сильнее. Грудь дышала с хриплым свистом, как туго работающие мехи. Катра раскрыла глаза, в тоске села.

— Боже мой, у меня все тело распухает!.. Нет воздуху, нечем дышать!.. Кто тут? Расстегните мне платье!

Я неумело попробовал. Крючочки какие-то, кнопки... Она нетерпеливо оттолкнула мою руку, захватила ворот и дернула его, обрывая.

— Куда воздух делся?.. Боже мой! О боже мой!

На первом встречном извозчике я довез ее до дому.

Слабая, разбитая и жалкая, она сидела молча.

Пролетка остановилась у крыльца. Катра с ненавистью взглянула на меня и с колюще-холодным вызовом сказала:

— Вы думали, я чего-нибудь испугалась? Вовсе нет. Ничего я не боялась.

И, не простившись, пошла к крыльцу.

Ну да! Ведь я же ждал, давно ждал этого! Я ждал — и нечего ужасаться! Уж два месяца назад я похоронил его. О господи!..

Ремонтные рабочие рано утром подобрали на рельсах за сахарным заводом его раздавленный труп. Голова не тронута, только с одной ссадиной на лбу, в редкой бороденке песок и кровь. И на бледном, спавшемся лице все было это странное выражение, как будто он притворяется. Хотелось растолкать его, сказать:

— Ну, будет же, Алеша! Перестань! Ведь это слишком мучительно!

И он быстро поведет голову и, притворяясь, будто вправду был мертв, с деланным удивлением раскроет глаза.

Но средь лохмотьев пальто, в черно-кровавой массе легких, белели и выпячивались лопнувшие ребра, из срезанных наискось бедер сочилась ярко-алая, уже мертвая кровь, и пахло сырым мясом.

Вечером, воротившись от Маши, я сидел в темноте у окна. Тихо было на улице и душно. Над забором сада, как окаменевшие черные змеи, темнели среди дымки молодой листвы извилистые суки ветел. По небу шли черные облака странных очертаний, а над ними светились от невидимого месяца другие облака, бледные и легкие. Облака все время шевелились, ворочались, куда-то двигались, а на земле было мертво и тихо, как в глубокой могиле. И тишина особенно чувствовалась оттого, что облака наверху непрерывно двигались.

Опять все кругом было необычно, опять давно приглядевшееся выглядело новым и странным. От поля медленно шла по улице темная фигура, смутные тени скользили по земле, в теплом воздухе пахло распускавшимися березовыми листочками... Вот, — этот человек идет, охваченный думами, и не спрашивает себя, — его ли это думы в его голове? И тени сосредоточенно ползут и не подозревают, что они — только безвольное отражение облаков. Скромно-горделиво стоят березы, окутанные

свежим и чистым ароматом молодости. Чего гордиться?.. И только в тишине кругом чуялось сознанное миром безмерное, несвержимое рабство свое.

— Константин Сергеевич, вы? — нерешительно спросил из тишины женский голос.

Я вздрогнул. Посреди улицы неподвижно стояла Катра.

— Как вы здесь? Катерина Аркадьевна!

Она медленно подошла к окну. Лицо под широкими полями шляпки казалось бледным.

— Это от поля *вы* сейчас шли?

— Да, я в поле гуляла... За архиерейской дачей...

Катра облокотилась о подоконник, подперла щеку рукою в светлой перчатке. Она была сосредоточенно-задумчива, глаза светились.

Я пристально смотрел на нее.

— Вам странно? — Она равнодушно помолчала.—

Я хотела после тогдашнего проверить, трусиха я или нет... Ничего. Только заблудилась... Ох, не люблю трусов!.. Ямы какие-то пошли, сваленные березы. У меня револьвер с собою. Удивительно, тишина какая. Жутко, слышно, как тишина звенит в ушах. Иду я за казачьими казармами,— в полыни кто-то слабо и глухо ворчит, кто-то пищит жалобно. Остановилась. В темноте через дорогу проползло что-то черное, пушистое, длинное, и все ворчит, и ушло в крапиву. И там долго еще ворчало и жалобно пищало. Что это?

Она нервно повела плечами.

— Хорек, должно быть. Мышь поймал.

— Если уж правду говорить, я ужасно испугалась! — Она доверчиво улыбнулась и с детской гордостью прибавила: — А все-таки овладела собою, даже шагу не ускорила...

— Вы знаете, Алешу поезд раздавил.

— Что-о?

Катра быстро подняла голову. Она молча смотрела на меня большими, спрашивающими глазами, и мои глаза ответили ее взгляду.

— Так, вот что...

Катра понурилась и стала ворошить концом зонтика осколок кирпича. Вдруг она решительно и взволнованно сказала:

— Константин Сергеевич, откройте мне дверь, я зайду.

Я отпер калитку. Освещая сенцы спичками, ввел Катру в комнату. Она нетерпеливо смотрела, как я зажигал лампу.

— Расскажите, как случилось... Подробней!..

— Что рассказывать? Я ничего не знаю. Позвали к куску растерзанного мяса, спросили: «Узнаете?»— «Узнаю...» Сказал: «Он поехал с пассажирским поездом номер восемь, любил стоять на площадке, должно быть, свалился...» И сошлись с ним ложью,— в жилетном кармане у него нашли билет. Маше он еще третьего дня сказал, что едет в Пыльск.

Катра, наклонившись вперед, в ужасе слушала.

Я сел на кровать и стиснул голову руками.

— О господи, пускай, пускай! Слава богу, наконец кончилось!.. Какая мука!..

Я замолчал. Катра не шевелилась и все как будто слушала.

— Вы знали его старшего брата? — спросил я.— Он тоже убил себя, отравился цианистым калием. Проповедовал мировую душу, трагическую радость познания этой души, великую красоту человеческого существования. Но глаза его были водянисто-светлые, двигались медленно и были как будто пустые. В них была та же жизненная пустота. И он умер,— *должен был умереть*. Доктор Розанов говорит, на всей их семье типическая печать вырождения... Встало Неведомое и ведет людей, куда хочет!.. Страшно, страшно!

Как будто в каком-то сне, Катра глухо отозвалась:

— Страшно!

Она подошла к окну. По серебристо-светящемуся небу по-прежнему ползли черные облака, и удивительна была эта сосредоточенная жизнь на небе над глухо молчащей землей.

— Забытая небом земля,— сказала Катра.

Мы долго молчали. Катра повернулась спиной к окну. От полей шляпки падала тень на ее лицо, но мне казалось: я вижу его с широко открытыми, светящимися глазами. Как будто она, насторожившись, жадно прислушивалась к чему-то внутри себя, чего не могла слышать. Мне вдруг стало странно: зачем она здесь и зачем молчит?

Катра бессознательно застонала слабым, протяжным стоном — смутным и тоскливым, как стонут спящие

люди. Она вздрогнула от своего стога, очнулась и презрительно повела плечами.

— Пойдемте в его комнату... Я хочу посмотреть,— коротко сказала она.

Мы вошли. Катра с острым любопытством медленно оглядывала кровать Алексея, печку с полуоткрытою заслонкою, за которою виднелись сор и бумага. На гвоздике у двери висел старый пиджак Алексея, теперь сиротливо-ненужный. Катра смотрела на дверь.

— А вокруг косяков вся штукатурка осыпалась... Так все и осталось, как вы тогда дверь выломали. Стоял синий угар...

Она говорила как в бреду. Она как будто тянулась душою в этот воздух, насыщенный смертью,— тянулась жадно, извилисто-страстно. И замолчала.

И я замолчал. За окнами была та же тишина. До меня донесся странно-тихий шепот:

— Вам не кажется, что сейчас все кругом умерло?

Сердце стучало, в груди была дрожь. Я нахмурился и резко ответил:

— Не понимаю, что вы говорите.

Катра медленно подошла к окну и стала смотреть на улицу.

— Как тихо! Как тихо! И ни одного огонька нигде... Смерть разлилась на все и все охватила, и только мы одни. Это удивительно... Можно кричать, вопить, стрелять,— никто не услышит... И умереть...

Она счастливо вздохнула. У меня сердце стучало все сильнее. Я смотрел на нее. На серебристом фоне окна рисовались плечи, свет лампы играл искорками на серебряном поясе, и черная юбка облегла бедра. Со смертью и тишиною мутно мешалось молодое, стройное тело. Оно дышит жизнью, а каждую минуту может перейти в смерть. И эта осененная смертью жизнь сияла, как живая белизна тела в темном подземелье.

Мы молчали. Мы долго молчали, очень долго. И не было странно. Мы все время переговаривались, только не словами, а смутными пугавшими душу ощущениями, от которых занималось дыхание. Кругом становилось все тише и пустынее. Странно было подумать, что где-нибудь есть или когда-нибудь будут еще люди. У бледного окна стоит красавица смерть. Перед нею падают все обычные человеческие понимания. Нет преград. Все разрешающая, она несет безумное, небывалое в жизни счастье.

Душистый туман поднимался и пьянил голову. Что-то в отчаянии погибало, и из отчаяния взвивалась дерзкая радость. Да, пускай. Если нет спасения от темных, непонятных сил души, то выход — броситься им навстречу, свиться, слиться с ними целиком — и в этой новой, небывало полной цельности закрутиться в сумасшедшем вихре.

Прерывисто дыша, я подошел к окну. Я близко подошел к ней и тяжело, решительно сказал:

— Катра! Сейчас же уходите отсюда! Слышите?

Катра повернулась ко мне. Она беззвучно смеялась, счастливо смотрела и качала головою. В тени шляпки глаза мерцали смутными, далекими огоньками, как светляки в лесном овраге.

Я быстро охватил ее плечи и крепким поцелуем припал к щеке. Катра слабо вскрикнула и рванулась.

— Константин Сергеевич, что это вы?

Я хищно целовал ее, я ломал ей руки и отводил их от тела.

— Константин Сергеевич!... Боже мой!.. Конста...

Была немая борьба. Гибкое, сильное тело извивалось, пуговицы и застёжки трещали. Вдруг Катра перестала биться. Она слабо застонала — тем же тоскливым стоном бредящего человека. Жестоким поцелуем я припал к нагому плечу.

Катра рванулась.

Вихрем взвилась острая, безумная радость. Никогда нигде ничего не было, было только дерзкое, непозволенное, неслыханное в человеческой жизни счастье.

— Погоди, что это... Ах да!

Катра вынула из кармана револьвер. Она обняла мою шею рукою, крепко прижала к себе. Другой рукою покрыла плоский, блестящий револьвер. Грозно-веселый свет безумно лился из ее глаз в мои.

— А если я сегодня же убью тебя и себя?

— Пускай!

В комнате еще чувствуется весенне-нежный запах ее духов. Воспоминание о безумной ночи мешается с мыслью о растерзанном трупe Алеши... Ну что ж! Ну и пускай!

У косяка двери с осыпавшеюся штукатуркою висит на гвозде старый пиджак Алеши. Заношенный, с отрепанными рукавами. Рыдания горькой жалости схватывают грудь.

Здесь стояла и она, прекрасная, охваченная смутным бредом смерти. Но она не вспомнила о револьвере. Ушла и даже забыла его на столике. Лежит он, тускло поблескивая, грозный и безвредный. Обманом была украдена радость, кончилась мелко и неполно.

А Алеша вчера утром стоял в кустах за сахарным заводом. Чуть брезжила зеленоватая заря. Блестящие струи рельсов убегали в сумрак. Со впавшими решительными глазами он стоял и вслушивался, как рельсы тихо рокотали от далекого поезда, несшего ему смерть.

Тщательно и горячо они обсуждали содержание завтрашних речей. Наташа всю ночь с женою Дяди-Белого вышивала майские флаги. Ее бескровное лицо посерело, но глаза светились еще ярче. Я решительно отказался выступать завтра, — очень расстроен смертью Алексея, в голове каша, не сумею связать двух слов. И было мне безразлично, что Перевозчиков иронически улыбался и ясно выказывал подозрение, — не попусту ли я трушу.

Со смутною завистью я прислушивался. Что-то важное для них, огромное и серьезное. А у меня в душе все сохлось, и жизнь отлетела от того, о чем они говорили. Были только истрепанные слова, возбуждавшие тошнотную скуку.

Я видел под сознанием непроглядную темноту и увидел мои мысли — призраки, рожденные испарениями темноты. Некуда уйти от нее. И призраки меня не обманут — темные ли они, или светлые. Не обманут, а теперь уже не испугают.

Пускай мутный сумрак души, пускай ночные ужасы и денная тоска. Зато в полумертвом сумраке — слепящие яркие, испепеляющие душу вспышки. Перенасыщенная мука, недозволенное счастье. Исчезает время и мир. И отлетают заслоняющие призраки. Смейся над ними и весело бросайся в темноту. Только там правда, неведомая и державная.

Часть вторая

За обедом, за чаем, за ужином, — все время Анна Петровна непрерывно кричит на скуластую Аксютку. Это здесь необходимая приправа к еде.

— Да где она опять, эта рыжая дурища?.. Аксютка! Поди сюда! Где ты была,— в риге, на скотном, что не слышишь, как зовут?

— Я в кухне была.

— А я тебе десять тысяч раз говорила: когда мы за столом, чтобы ты тут была... Где вилки?

— Вон, на столе лежат.

— Где *вилки*?.. Чем у тебя голова набита,— навозом? Поди сюда, считай,— сколько нас? Теперь сообрази,— сколько вилок надо?

Федор Федорович кричит и пьет много квасу.

Оба они то и дело шпыняют Борю за то, что ему назначена переэкзаменовка,— малый в пятом классе, а вот пришлось взять репетитора.

Анна Петровна приправляет салат и поучающе говорит:

— Ты должен хорошо учиться. Видишь, как хозяйство идет. Все ползет, все разваливается. Мы с отцом ничего в хозяйстве не понимаем...

Федор Федорович широко раскрывает глаза.

— Кто не понимает?.. Парлэ пур ву!¹ Зачем вы меня сюда припутали? Я отлично понимаю.

— «Отлично»... Почему же у нас никакие машины не идут?

— Какие машины не идут?

— Все, какие есть. Сеялка, косилка, молотилка. Свидерский говорит,— сеялка у нас очень хорошая, только управлять не умеют.

— Глупости говорит Свидерский.

— Почему же у нас, как посеют овес просто, без сеялки...

— Почему... почему... Э...э... Почему у оленя во рту не растут лимоны?

Федор Федорович сопит и наливается кровью, рачьи глаза смотрят злобно. Анна Петровна презрительно пожимает плечом.

— Это что значит?

— Почему этот стакан стеклянный, а не деревянный? Почему сейчас дождь идет? Эти глупые вопросы, на них нельзя ответить. Почему не родилось? Урожаю не было!

¹ Говорите о себе!.. (от фр. Parlez pour vous!..)

— Почему же у нас урожай бывает там, где сеют без сеялки?

— Го-го!.. Уд-дивительно!

— Очень удивительно. Посеют просто, от руки,— и растет себе великолепно. А выедут с сеялкой — стучит, трещит, звенит, а толку нету!

— У-удивительно! Х-хе-хе-хе!.. Суперфлю! Суперфлю!..¹

— И во всем так. Все дуром идет, через пень колodu.

Курсистка Наталья Федоровна с темным, болезненным лицом, страдальчески морщится.

— Ну, мама, будет!

Но Анна Петровна безудержно сыплет:

— Вот, скотник Петр. Три недели лошадей не распуывал, лошади все ноги себе потеряли. Скотину домой гонит за два часа до заката, кнутом хлещет. Стадо мчится, как с пожара, половина овец хромая — лошади подавили. А прогнать скотника нельзя,— «где я другого найду?»

— Ну да,— где я другого найду? Нет народа!

— Свет не клином сошелся. Можно пока поденно взять.

Федор Федорович наливаются темной кровью, на лбу вспухают синие жилы.

— Поденно!.. Умное слово услышал!.. Поденно!..

Он, шатаясь, поднимается и поспешно уходит в кабинет. Анна Петровна ему вслед:

— Вот, когда правду заговорят,— сейчас же бежит!

— Да будет тебе, мама! Ну что это! Противно слушать.

— Не слушай, пожалуйста!

— Ведь опять у него кровь прилила к голове.

Анна Петровна осекается. Она сидит молча, подергивает плечами, без нужды передвигает тарелки. Потом говорит:

— Пойди, Боря, посмотри, не нужно ли чего отцу... Да вот творожники отнеси ему — ушел от третьего.

— Сказал,— не хочет.

Изо дня в день так. О чем ни заговорят,— вдруг из разговора высовываются острые крючочки, цепляются, колются. Ссоры, дразги, попреки. Мой ученик Боря —

¹ Бесплезно! Бесплезно!.. (от фр. Superflu!..)

славный мальчик, наедине с ним приятно быть. Но когда они вместе,— все звучат в один раздраженно злой, осиный тон.

Весна в разгаре. Воздух поет, стрекочет, жужжит. Цветет сирень. И державно плывет над землей солнце.

Но душа на все смотрит как из глубокой черной дыры. Далеко где-то звенят ласточки. Равнодушно проходят цветы — распускаются, теряют уборы... И сирень уже закоричневела, сморщилась. А я все собирался почувствовать ее. Ну, все равно.

Я ничего не читаю, и не хочу думать. Довольно играть мячиками-мыслями. Второстепенное мне теперь совсем не интересно — все эти параллаксы Сириусов и тактика кадетов. А в самом важном, что так необходимо для жизни,— тут цену исканиям мысли я знаю. Мячики, которые подсовывает Хозяин. Не хочу.

И странно мне смотреть на Наталью Федоровну. Сутулая, с желто-темным лицом. Через бегающие глаза из глубины смотрит растерянная, съездившаяся печаль, не ведающая своих истоков. И всегда под мышкой у нее огромная книга «Критика отвлеченных начал» Владимира Соловьева. Сидит у себя до двух, до трех часов ночи; согнувшись крючком, впивается в книгу. Часто лежит с мигренями. Отдышится — и опять за книгу. Сосет, сосет, и думает — что-нибудь высосет.

Живет здесь еще жена старшего их сына-чиновника, Агриппина Алексеевна. Молодая, очень полная, всегда в тугом корсете; сильно скучает в деревне. У нее мальчик Воля. Вечно он ноет и капризничает; с воскового, спавшегося личика смотрят злые глаза. Какой-то кишечный катар у него. Агриппина Алексеевна ставит ему клизмочки и готовит кашки.

Кругом все разрушается. Амбары покосились, крыша риги провисла. Старенький старичок Степан Рытов ведет на поводу слепого мерина, запряженного в бочку, и шамкающим голосом повторяет:

— Тпру!.. Тпру!..

По запущенному саду ходит, еле двигая ногами, дряхлый жеребец. Вокруг глаз большие седые круги, как будто очки. На ночь его часто оставляют в саду. Он неподвижно стоит, широко расставив ноги, с бессильно-отвисшей губой. И в лунные ночи кажется,— вот призрак умирающей здесь жизни.

А иногда другой является призрак. Приходит из деревни пьяный Гаврила Мохначев. Огромный, лохматый и оборванный, он бродит по саду, шагая через кусты и грядки, бродит под балконом. Грозит кулаком на окна и зловеще трясет головой.

— У-у, дармоеды проклятые! Настроили хором...
Погодите, дайте срок!..

Зато сегодня вечером увижу Катру.

Имение ее матери в пяти верстах от Сеянова, где я. Мать — сухая, энергичная дама с хищными, торгашескими глазами. Она сама управляет имениями, носится в платочке по амбарам и скотным дворам. Копит, копит для Катры и совсем не интересуется, как и чем она живет.

Катра властвует. Ее три комнаты — изящная сказка, перенесенная в старинный помещичий дом. Под окнами огромные цветники, как будто эскадроны цветов внезапно остановились в стремительном беге и вспыхнули цветными, душистыми огнями. Бельведер на крыше как башня, с винтовой лестничкой. Там мы скрыты от всего мира.

Среди ароматов и цветов — она, прекрасная, хищная. И она моя. Буйно-грешный сон любви и красоты, вечной борьбы и торжествующего покорения. Все время мы друг против друга, как насторожившиеся враги. Мне кажется, мы больше друг друга презираем и ненавидим, чем любим. Смешно представить себе, чтоб сестра с нею рядом, как с подругой, взять ее за руку и легко говорить о том, что в душе. Я смотрю, — и победно-хищно горят глаза:

«Да! Ты — гордая, недоступная, всем желанная, ты моя, с твоими презрительными глазами и руками Дианы».

А она смотрит:

«Ты, с твоими звонкими словами о широком и большом, — ты увидел в этом пустоту. Я буду при тебе смеяться надо всем, ты можешь беситься, а я знаю: встану, подниму из широких рукавов нагие руки, потянусь к тебе, — и пусть ты не говоришь, а пьянящая тайна моих объятий для тебя глубже и прекраснее скучных дел мира».

Ну да, глубже и прекраснее. Она торжествует. А я злорадно смеюсь в душе. С предательски-внимательным взглядом она подносит мне пьяный напиток, кажется,

вся страсть и острая радость ее в том, что я хватаюсь за него. А мне его-то и нужно.

Кружится голова. Как темно, как жарко! Гибкая змея вьется в темноте. Яд сочится из скрытых зубов, и смотрят в душу мерцающие, зеленые глаза. Темнота рассеивается, глубоко внизу мелькает таинственный свет. Все кругом изменяется в жутком преображении. Грозное веселье загорается в ее глазах, как в первый раз, когда она ласкала рукою сталь револьвера. И вдруг мы становимся неожиданно близкими. И идет безмолвный разговор.

«Ты помнишь,— помнишь, что смерть нас венчала?»

И безумные глаза отвечают:

«Помню!»

Шевелятся волосы от близкого дыхания божественной венчательницы. Вот она. Какая великая власть у нас! Только шаг шагнуть и ух! Оборваться и полететь и забиться в безумно сладких судорогах. Светлый смех над темною жизнью. И молния. И светлый, торжествующий конец.

Это писалось всего несколько часов назад? Читаю, перечитываю,— как будто писано на незнакомом языке. Свет какой-то, пьянящая тайна объятий... Какого тут черта «тайна»?.. Бррр...

В душе смрад. Противны воспоминания. Все так плоско и убого. Как будто вышел я из спальни проститутки. «Бездна»? Грязное болото в ней, а не бездна... Ко всему она спускается сверху, из головы, с холодом ставит опыты там, где ждешь всежигающего огня. И никакой нет над нами «венчательницы». Не ужас между нами, а развратно-холодная забава.

Хозяин слепыми глазами смотрит на меня из моей глубины. И я твержу себе:

— Помни, помни, что ты теперь испытываешь!

Но со злобою я чую: захочет он, слепой мой владыка, и опять затрепещет душа страстно-горячею жаждою, и опять увижу я освещающую мир тайну в том, от чего сейчас в душе только гадливый трепет.

Идут дни, как медленные капли падают. С тупым отвращением я наблюдаю моего Хозяина. Он, этот слепой и переметчивый тупица,— он должен решать для меня

загадку жизни! Какое унижение! И какая глупость ждать чего-нибудь!

Конечно, я болен. Слишком много всего пришлось пережить за этот год. Истрепались нервы, закачались настроения, душа наполнилась дрожащею серою мутью. Но этому я рад. Именно текучая изменчивость настроений и открыла мне моего Хозяина. Как беспокойный клещ, он ворочается в душе, ползает, то там вопьется, то здесь, — и его все время ощущаешь. А кругом ходят люди. Хозяева-клещи впились в них неподвижною, мертвою хваткою, а люди их не замечают; уверенно ходят — и думают, что сами они себе причина.

А сегодня я посмеялся.

Лежал после обеда под кленом в конце сада, читал газету. Часа через два после обеда меня часто охватывает тупая, мутящая тоска. Причину я знаю. Не осиянное проникновение духа сквозь покров Майи, — о нет! Обычный студенческий катар желудка.

Я лежал, смотрел, как светило солнце сквозь сетку трав на валу канавы. Душа незаметно заполнялась тяжелым, душным чадом. Что-то приближалось к ней, — медленно приближалось что-то небывало ужасное. Сердце то вздрагивало резко, то замирало. И вдруг я почувствовал — смерть.

Я почувствовал — она здесь. Подползла откуда-то — унылая, тусклая, — обвилась, сунула нос в мою душу и нюхает. Она не собиралась сейчас взять меня, только приползла взглянуть на будущую добычу. И все внутри затрепетало в понятой вдруг обреченности своей на уничтожение.

Не умом я понял. Всем телом, каждую его клеточкою я в мятущемся ужасе чувствовал свою обреченность. И напрасно ум противился, упирался, смотря в сторону. Мутный ужас смял его и втянул в себя. И все вокруг втянул. Бессмысленна стала жизнь в ее красках, борьбе и исканиях. Я уничтожусь, и это неизбежно. Не через неделю, так через двадцать лет. Рассклизну, начну мешаться с землей, все во мне начнет сквозить, пусто станет меж ребрами, на дне пустого черепа мозг ляжет горсточкою черного перегноя...

Несколько раз за этот год я лицом к лицу сталкивался со смертью. Конечно, было очень страшно. Но совсем было не то, и не мог я понять, что это за ужас смерти. А теперь, в полной безопасности, на мягкой траве под

кленом, — я вдруг заметался под негрозящим взглядом смерти, как загнанная в угол собачонка.

Хотелось перестать метаться, свиться душою в клубок, покорно лечь и в неподвижном ужасе чувствовать, что вот она, вот она над тобою, несвержимая владицица...

Но я вскочил на ноги.

С разбегу перепрыгнул через канаву и побежал навстречу ветру к ложине. Продираясь сквозь кусты, обрываясь и цепляясь за ветки, я скатился по откосу к ручью, перескочил его, полез на обрыв. Осыпалась земля, обвисали ветви под хватающимися руками. Я представлял себе, — иду в атаку во главе революционных войск. Выкарабкался на ту сторону, вскочил на ноги.

Морем лился свет на широкие луга. Весело билось сердце, грудь, задыхаясь, алчно вбирала свежий воздух, насытившиеся мускулы играли.

Где, где — то, что сейчас клубком обвивалось вокруг души? Там осталось внизу. Вон за канавой, под кленом.

А, подлый раб! Ты думал — ты мой Хозяин, и я все приму, что ты в меня вкладываешь? А я вот стою, дышу радостно и смеюсь над тобою. Стараюсь, добросовестно стараюсь — и не могу понять, — да что же такого ужасного было в том, что думалось под кленом? Я когда-нибудь умру. Вот так новость ты мне раскрыл!

— Воля, пойдика сюда! Пойди, пойдика сюда! — Агриппина Алексеевна сердито ждала, пока он не подошел. — Скажи, пожалуйста, кто это у тети Наташи в комнате разбил синий кувшинчик из-под цветов?

Воля насупился, поджал губы и вызывающе уставился на нее.

— Ты это разбил, да?

Он, не спуская с нее взгляда, кивнул головой.

— Сколько же раз я тебе говорила: не смей никогда трогать ничего без спросу! Тетя Наташа так любит синий кувшинчик, а ты разбил. Никогда больше не ходи один в комнату тети Наташи, понял?

Воля робко взглянул исподлобья и неожиданно ответил:

— Нет.

— Не понял? Я тебе говорю: ты все трогаешь без

спросу, все портишь. И не смей ходить, куда тебя не зовут. Понял теперь?

Робко, жалобно и настойчиво Воля повторил:

— Нет.

— Ну, голубчик мой, если не понимаешь, то тебя никуда нельзя выпускать. Пойдем, я тебя запроу наверху.

Она взяла Волю за руку. Он сморщился и судорожно стал всхлипывать.

— А-а! Видишь? Не хочется наверх? Понял теперь, что нельзя трогать чужих вещей?

Крупные слезы прыгали по желтовато-прозрачным щекам. Воля вызывающе взглянул и жалобно дрожащим, упрямым голосом опять ответил:

— Нет.

— Ах, дрянной мальчишка!.. Ну, посиди наверху, тогда поймешь!

Она потащила его из столовой. Воля вдруг закатился голосистым ревом, как будто плач долго накапливался в нем и теперь упоенно вырвался наружу. Анна Петровна сказала:

— Вот характерец!.. Какой упрямый мальчишка!

— Болен он.

— И в кого он такой уродился? Отец здоровый, мать вон какая! — Анна Петровна улыбнулась. — Сегодня утром Фекла мне говорит: удача нашему молодому барину — такая телистая жена попалась.

Боря лениво возразил:

— Она сказала: «тельная»!

— Ну что ты! «Тельная»! Тельною корова называется, когда ждет теленка.

— «Тельная» через *ять* от «тело».

— Я сама слышала, она сказала — телистая.

— А я слышал, сказала — тельная.

— Ну не ври, пожалуйста!

Раздражаясь, вмешалась Наталья Федоровна:

— Отчего он должен врать? Ты так слышала, он так.

— Ничего он не слышал. Всегда врет.

— Никогда не вру! По себе судишь.

Федор Федорович крикнул:

— Как ты смеешь говорить так матери?!

Заварила каша.

— Сейчас же проси у матери прощения.

— Не стану просить. Пусть она раньше меня попросит!

— Она — у тебя?!

Федор Федорович поспешно ушел в кабинет. Когда он волнуется, у него приливы крови к голове, и он страшно боится удара.

Приказ из кабинета через Аксютку:

— Пусть Борис Федорович не попадается барину на глаза.

Раньше, чем выйти к обеду или ужину, Федор Федорович вызывает теперь Аксютку справиться, в столовой ли Боря. Кормят Борю отдельно.

— Тпру!.. Тпру!..

Чалый, слепой мерин, спокойно шагает. Заложив руки за спину и держа в них повод, впереди идет дедушка Степан. Старая гимназическая фуражка на голове. Маленький, сгорбленный, с мертвенно-старческим лицом, он идет, как будто падает вперед, и машинально, сам не замечая, повторяет:

— Тпру!.. Тпру!..

Мерин возит воду из колодца, траву для конюшенных лошадей. И круглый день на дворе или в саду слышится отрывистое, сурово-деловитое:

— Тпру!.. Тпру!..

Тяжело и жалко смотреть на старика. Такой он маленький, дряхлый, сгорбленный. Ему бы давно лежать на печи и греться на солнышке. А он убирает пять лошадей на конюшне, обслуживает двор и кухню.

На днях косил он в саду траву для конюшенных лошадей. Коса резала медленно и уверенно, казалось, она движется сама собой, а дедка Степан бессильными руками прилип к косью и тянется следом. Лицо его было совсем как у трупа.

— Дай-ка, дедка, я покошу.

Он остановился, — скрывая тяжелую одышку, оглядел меня.

— С чего это? Ну, ну, побалуйся. Дай поточу тебе.

Я косил. Степан с добродушно-снисходительною усмешкою смотрел и учил:

— Пяткой больше налегай!.. Та-ак!.. Много концом забираешь, ты помаленечку. Она ровней пойдет...

Я докосил до канавки. Степан подошел.

— Будя, малый! Уморился.

— Нет, я на весь воз накошу.

— О-о?.. Ну, покоси еще.

Я ряд за рядом продвигался мимо. Степан стоял, расставив ноги в огромных лаптях; с узких, сгорбленных плеч руки прямо свешивались вперед, как узловатые палки. А глаза следили за мной и в глубине своей мягко смеялись чему-то.

— Ну, я, значит, за телегой побегу... А ты еще рядочка два пройди — и ладно.

Теперь я каждый день кошу для него траву.

— Дедушка Степан, где косить сегодня?

— Ай опять охота нашла?.. Ну-ну! Низком нынче коси, за малиной. Где кленочки-то насажены-ы? Пройди рядок-другой, а там я подъеду, подсоблю тебе.

Я кошу. Он подъезжает. Каждый раз пытается взять косу и продолжать сам. Но я не даю. И он вилами начинает накладывать траву на телегу.

Слепой мерин с таинственными, мутно-синеватыми зрачками ест с рядов траву, медленно подвигаясь вперед. Степан свирепо кричит:

— Ну, ну, куда прешь?.. Тпру-у!.. Ходит кругом, полверсты бежать за ним с вилами... Стой ты, дьявол нехороший!.. Тпру!..

И все время слышатся его шамкающие, грозные окрики. Но сморщенная рука тянет за узду, не дергая. Но лошадь не вздрагивает при его приближении.

Накосили травы, навили воз. Степан стоит с тавлинкою из бересты и медленно нюхает табачок. Украдкою он кивает мне на Слепого и вполголоса говорит:

— Эх, малый, хорош конек! Кабы еще зрячий был, цены бы ему не было.

Слепой смотрит невидящими глазами и притворяется, что не слышит. Степан подтягивает чересседельник, вздохнув, взглядывает на Слепого.

— Ну что ж? Трогай, что ли!

Руки за спину, повод в руках — и идет впереди дряхлым, падающим шагом, и опять слышится:

— Тпру!.. Тпру!..

Жалко Степана.

Он из Шепотьева, верст за пять отсюда. Хозяйство ведет его сын Алексей, большой, вялый мужик с рыжею бороною. Горе их дома, что жена Алексея родит ему все

одних девок. Семь девок в семье, а желанного мальчика все нет. Нужда у них жестокая.

Степан получает жалованья три рубля и целиком отдает их сыну. Отдает и свою месячину,— два пуда муки. А сам подбирает со стола за работниками обгрызанные корочки и мочит их в воде. Работники за обедом смеются:

— Ну, дядя Степан, до смерти теперь мягкого хлеба не видать тебе!

Степан тискает беззубыми деснами размоченные корочки и тихо улыбается.

Ужасно его жалко. Хочется сделать ему что-нибудь приятное. Я подарил ему свои большие сапоги. Дедка был очень доволен, осматривал сапоги, щелкал по ним пальцами. Приглядываюсь,— Степан все в лаптях, как ни мокро на дворе.

— Что же ты, дедка, сапог не носишь?

Он хитро улыбнулся.

— Да их, малый, уж давно Алеха трепле!

Боря привез ему из города четвертку чаю и два фунта сахара. Степан сейчас же переслал их своим.

Удивительное дело — самому ему *ничего не нужно*. И все время мягко и радостно смеются чему-то тусклые глаза. Сгорбившись дугою, он стоит у конюшни, с наслаждением поглядывая на далекие луга.

— Эх, парень, росы ноне больно хороши! На зорьке два шага по траве пройдешь — весь мокрый. На большом лугу, чай, стогов шесть смечут.

К себе домой его совсем не тянет. Он сжился с сеяновской усадьбой, с конюшней, с лошадьми, болеет душою за разрушающуюся хозяйственную жизнь. Домой же ходит только по очень большим праздникам, из вежливости. И скучает там.

Изредка придет к нему сын Алексей, принесет осьмушку табачку или лычка на лапти. В окно увидит это Анна Петровна и раскудахчется:

— Зачем ты ему, Алексей, лыка принес? И так он весь день ничего не делает. А теперь и вовсе,— знай, сиди себе на солнышке да плети лапти!

Степан равнодушно уходит с Алексеем в конюшню. Там он ворчит:

— Раскричалась!.. Небось не на работе, а на полднях урвешь времечко лапти поковырять. Али после ужина. На твое жалованье сапоги нешто купишь? «Не

делаешь ничего!»... Одних лошадей сколько в конюшне! На этакую артель отдельного бы человека нужно. Всех почистить, навоз выгрести, травы накосить лошадем... Бра-ат!

Но чувствует Степан, что силы у него мало и что его скоро прогонят. Он самому себе старается доказать, что не хуже других, и надсаживается без отдыха.

Мужики при встречах смотрят угрюмыми, презирающими глазами и отворачиваются. Каждый вечер за ужином идут ярые споры, убирать ли дальние покосы. Везти оттуда — перевозка станет дороже сена; там метать стога — мужики их растащат или подожгут.

По вечерам то здесь, то там дрожат на горизонте зарева горящих усадеб. Дедушка Степан нюхает табачок и с лукавою усмешкою говорит:

— Ребята самовары ставят!

Недавно под вечер Степана нашли за конюшной на навозной куче, а рядом валялись вилы. Он лежал и не мог встать. Правая рука и нога отнялись, лицо дергалось. Он ворочал глазами и говорил непонятные слова:

— Марый! овса запускай кленочку... Овса, говорю... запускай!

Его перенесли в рабочую избу.

А через два дня слышу на дворе:

— Тпру!.. Тпру!..

И опять падающим своим шагом Степан идет перед бочкою, волоча правую ногу.

За ужином он жевал деснами размоченную в щак хлебную корку и хвастливо говорил:

— Я почему держусь? Другой в мои годы на печи лежит, а я все работаю. Почему? Потому что за меня семь душ богу молятся. Бог мне здоровья и дает. Я всегда работать буду. Здесь прогонят, в пастухи пойду, а на печь не лягу!

По винтовой лестничке спускалась мать Катры, расстроенная, раздраженная. Катра стояла у окна бельведера и сумасшедшими глазами смотрела перед собой. Она с отвращением пробормотала:

— Броситься сейчас в окно!

Вдруг вздрогнула и очнулась. Оглядела меня незнающими глазами.

— Кто тут?.. Это вы... Ты?

— Я стучался, ты сказала — войдите.

— Я не слыхала, как сказала...

Она медленно села на кушетку и из всех сил сдерживала порывистые вздрагивания тела. Пересиливая себя, задала нарочно банальный вопрос:

— Ну, как поживаешь?

Вдруг она испуганно вздрогнула и быстро провела руками по плечам и груди.

— Что с тобой?

— Мне кажется, по всему телу у меня ползают пауки... Шекочут. Бегают... Это ничего...

Ее взгляд двигался, ни на чем не останавливаясь. Она тяжело дышала. Подошла к окну и жадно стала вслушиваться. С заднего крыльца доносился грубоватый голос ее матери и галденье мужиков.

Катра повела плечами и снова села на кушетку.

— Э, наплевать!.. Не все мне равно!

С выжидающим, злым вызовом она поглядела на меня.

— Сейчас побранилась с мамой... Зимой мужики взяли у нас хлеба под отработку, вязать рожь. По два рубля считая за десятину. А теперь объявили, что за десятину они кладут по два с полтиной: пусть им доплатит мама, а то не вышлют баб вязать. Почувствовали свою силу. Мама хочет уступить, находит, что выгоднее. А по-моему, это трусость. Скверная, поганая трусость!.. Как и в этом тоже: мама потихоньку продает имение и боится сказать об этом мужикам.

Я молча ходил по комнате. Катра следила за мною.

— Что же ты не возмущаешься?.. Бедные мужички, помещичья дочка-эксплуаторша...

— Вот что, Катра. Я уйду. Я не вовремя пришел.

Катра встрепенулась:

— Костя!.. Не уходи.

Она вдруг всхлипнула и прижалась к моему плечу. Жалкое что-то и беспомощное было в ней.

— Господи! Как все тяжело, как противно! Все эти мелочи, эти дрязги мещанские,— как они отравляют жизнь! И солнца давно уже нету, опять лето будет холодное, мокрое... Посмотри. Ты трлрко взглядишь в эту тусклость...

Цветы бились под холодным ветром, текла вода с деревьев. Катра села в угол и все вздрагивала резкими,

короткими вздрагиваниями. Как будто каждый нерв в ней был насыщен электричеством' и происходили непрерывные разряды. Лицо было серое, некрасивое. И серо смотрели из-за нее золотистые японские ширмы с волшеб-но вышитыми орлами и змеями.

— И потом — слова. Они надо мною имеют какую-то странную власть. Я скажу слово — так себе, без всякого соответственного настроения, — и слово уже овладевает мною и создает свое настроение. И я злюсь, для меня вся жизнь в том, чтоб отстоять это наносное... Вот так и с мужиками этими. Я мельком сказала, мама стала возражать...

И вдруг глаза ее сверкнули.

— А все-таки я маме не позволю уступить им!

Скорчившись, она с ногами сидела на кушетке, охватив колени, и злыми, задирающими глазами смотрела на меня.

— Костя!.. Да что же ты все молчишь?.. Научи меня, как мне жить. Спаси меня, ведь я гибну!.. Да где тебе!.. Ты не знаешь, сам ничего не знаешь и не умеешь! Ты даже Алексея Васильевича не сумел удержать от смерти. На твоей совести лежит его смерть!..

— Ого!..

Начинало вскипать в ответ злое, враждебное нетерпение. Прижавшись подбородком к коленям, Катра ненавидящими глазами впиалась в меня и выскивала, где бы побольнее уколоть.

— Да! Это правда! Его нужно было лечить, куда-нибудь в санаторию отправить в Швейцарию. А ты книжками его отчитывал да разных Хозяев каких-то открывал... Деньги бы всегда нашлись. Ты лично знаешь, я с удовольствием дала бы тебе, сколько бы ты ни попросил...

Сдержанность меня покидала. Глаза загорались. И в наступавших сумерках как будто два отравленных клинка скрещивались. Или, — что там! — вернее, — как будто Федор Федорович и Анна Петровна злобно шпыняли друг друга.

— ...Только два мгновения в жизни я была счастлива, и оба эти мгновения я пережила с тобою. И вот я не могу оторвать себя от тебя. А ты так противно элементарен душою, ты мещанин до мозга костей!

— А скажи ты мне, сложная, немещанская душа. Я давно хотел тебя спросить. Почему, — помнишь, в одно

из этих двух твоих «мгновений» — почему ты... забыла о револьвере? Это у тебя только красивая фраза была для украшения мгновения?

Катра вздрогнула и побледнела. И пристальнее впились в меня ненавидящие, сумасшедшие глаза.

Крики были. И плач. И эфирно-валериановые капли.

Потом — тихие, всхлипывающие речи. Горячечно-быстрый шепот, поцелуи и проникающая близость. Ласки, пьяные от пронесшегося мучительства. Огромные, грозные, полубезумные глаза. И все кругом зажигалось странною, безумною красотою.

Степан, в рваном зипуне, стоял, сгорбленную спиною прислонясь к стене конюшни. Он смотрел довольными глазами, как нависали с неба мутно-шевелившиеся тучи, как везде струилась и капала вода.

— Благодать господь посылает... Гляди-ка, парень, как теперь трава подыметя, как овсы пойдут... Ко времени дождик пришелся!

Он медленно поднес к носу щепоть табаку и нюхал и вбирал глазами насыщенные влагою дали полей.

— Теперь бы недельки на две такой погоды — лучше не надо.

Из конюшни пахло влажным теплом лошадей и навоза. Степан вздохнул.

— Пойти овса засыпать лошадем...

Он вошел в сумрачную конюшню, подошел к ящику с овсом. Лошади насторожились и радостно заволновались.

— Тпру!.. Тпру!.. Стой ты, дьявол! И-ишь! Не дождется!

С нетерпеливым, взволнованным ржанием Нежданчик повернул к Степану голову. Сверкали в сумерках прекрасные глаза. Он хватал овес из мерки, не дожидаясь, чтоб Степан высыпал в кормушку. Степан с упреком смотрел и не высыпал мерки.

— Уж утром мерку засыпал, — съел... А засыпать все не даешь. Чего жадобишься?.. Вот уж свинья!

В заднем стойле, незагороженный и непривязанный, стоял, расставив ноги, дряхлый гнедой жеребец. Мягкая губа отвисла, глаза в очках из седины грустно думали о чем-то своем, в терпеливом ожидании забывчивой смерти.

— У-у, костяк старый! Зажился!.. Поглядывай у меня!.. В кормушку стал гадить, старый черт! Вчера весь вечер выгребал.

И всыпал ему овса. Федор Федорович запретил трать овес на гнедого жеребца, но Степан всегда дает и ему.

Весело и мерно хрустело в сумраке от дружного жевания пяти лошадей. В пустом стойле поблескивала золотистая солома. В соломе пищали и шевелились розовые мышата, захваченные с омета вместе с соломою. Степан стоял в проходе — сгорбленный, с висящими вниз руками. Он слушал, как дружно жевали лошади, и скрытая улыбка светилась в глазах. Вместе с радостно топотающими лошадьми он, тайно от меня, как будто тоже радостно переживал что-то.

Была старая, низкая конюшня. С темного потолка свешивались пыльные лохмотья паутины, пахло навозом. Но стоял здесь этот оборванный старик, — и все странно просветливалось. Все становилось таинственно радостным — какою-то особенною, тихою и крепкою радостью. Что-то поднималось отовсюду, сливалось в одно живое и общее.

Все еще хотелось жалеть его, этого дряхлого, нищего старика. Но в душе не жалость шевелилась, а какая-то светлая ответная радостность. И жалость вдруг поднялась, презрительная и насмешливая, когда мне вспомнились японские ширмы и пряные запахи никтериний и тубероз. Ходит там и тоскует мутная душа, как пластырями облепляет себя красотами жизни. Но серым пеплом обсыпано все вокруг. И только судорожными вспышками мгновений освещается мертвая жизнь. И можно горами громоздить вокруг утонченнейшие красоты мира, — это будет только вареньем к чаю для человека, осужденного на казнь.

Здесь же вот — теплый запах навоза, хрустение жующих лошадей, пыльная паутина и писк мышат. А все претворяется в такую красоту, перед которой тусклы и смешны бесценные японские ширмы. Ясным, идущим изнутри светом озаряется вся жизнь сплошь, — радостная и неожиданно значительная.

Степан задумчиво смотрел на черного, блестящего меринка и скорбно качал головою.

— Эх, малый! Не «Мальчиком» бы коня этого звать, а «Грачиком». Говорил я барину сколько раз, не слушает...

Я случайно открыл ее, эту лощинку.

Вчера днем шел по тропинке среди полей и справа над матово-зеленою рожью увидел темно-кудрявые дубовые кусты. Пробрался по меже. Среди светлой ржи лощина тянулась к речке темно-зеленым извилистым провалом. Чувствовалось, давно сюда не заглядывал человек.

Был полдень, стояла огромная тишина, когда земля замолкает и только в просторном небе безмолвно поет жгучий свет. И тихо сам я шел поверху мимо нависавшей ржи, по пояс в буйной, нетоптанной траве. На повороте мелькнула вдали полоса речки. Зелен был луг на том берегу, зелен был лес над ним, все было зелено и тихо. И синяя речка под синим небом была как скважина в небе сквозь зеленую землю.

Тишина жила. Я тихо выкупался в речке, и вода мягко сдерживала всплески. Не одеваясь, я сел на берегу. Сидел долго.

Свет горячо прикивал к коже, пробираясь сквозь нее глубоко внутрь, и там, внутри, радостно смеялся чему-то, чего я не понимал. Шаловливым порывом вылетал из тишины ветерок, ласково задевал меня теплым, воздушно-прозрачным своим телом, легко обвивался и уносился прочь. Ясноло в темной глубине души. Слепой Хозяин вбирал в себя щупальца и, ковыляя, уползал куда-то в угол.

Я оделся. Среди той же большой тишины медленно пошел вверх по дну лощины, вдоль ручейка.

Маленькая бурая лягушка бултыхнулась из осоки в ручей и прижалась ко дну. Я видел ее сквозь струисто-прозрачную воду. Она полежала, прижавшись, потом завозилась, ухватила переднюю лапкою за стебель и высунула нос из воды. Я неподвижно стоял. Неподвижна была и лягушка. Выпуклыми шариками глаз над вдавленным черепом она молчала и пристально смотрела, всего меня захватывая в свой взгляд. Я смотрел на нее.

Все тише становилось кругом. И мы все смотрели.

И вдруг из немигающих, вытаращенных глаз зверушки медленно глянула на меня вся жизнь кругом — вся таинственная жизнь притихшей в прохладе лощины. Я оглянулся.

Среди темной осоки значительно и одухотворенно чуть шевелилась кудряво-розовая дрема. И все в ней было жизнь. И всюду была жизнь в свежей тишине, про-

питанной серьезным запахом дуба и ароматами трав. Как будто лощинка не заметила, как я вошел в нее, не успела притвориться безжизненной и — все равно уж — зажила на моих глазах, не скрываясь. Всем нутром я почувял вдруг эту чуждую, таинственно молчащую жизнь. Жутко становилось. И что-то радостное дрогнуло внутри и жадно потянулось навстречу. В запахе клевера и зацветающей ржи я пошел вдоль откоса. Сапоги путались в густой траве. Захотелось ближе быть к этой душистой жизни. Я разулся, засучил брюки выше колен и пошел. Мягко обнимала и обвивала ноги трепетно-живая, млеющая жизнью трава. За пригорком мелькнул золотисто-огненный хвост лисицы. Цеплялись за дубовые кусты лесные горошки с матовыми, плоскими стеблями.

Разбегались глаза. Хотелось искать путей, чтоб добраться до вскипавшей кругом жизни. Отыскать у нее глаза и смотреть, смотреть в них и безмолвно переговариваться тем могучим и огромным, чему путь только через глаза. Но не было глаз. И слепо смотрела трепетавшая кругом жизнь, неуловимая и вездесущая.

Я прилег под колебавшуюся рожь. Меж рыхлых сухих калмыжек шевелился цветущий кустик; продолговатые, густо посаженные цветочки, как будто тонко вырезанные из розового коралла, в матово-зеленой дымке кружевных листьев.

Ну!.. Ну!.. И радостно, призывно что-то смеялось в душе.

Но слепо качались кружевные листья, налитые зеленым светом, и жадно пили солнце, и не чувствовали моего взгляда. Но было в них что-то единое со всем, что кругом.

С тем же радостно-недоумевающим смехом в душе я воротился домой. Шел мимо террасы. Там пили чай. Сидел в гостях земский начальник. И медленно ворочались сухие, как пустышки, слова для разговора. Федор Федорович пил холодный квас, кряхтел и говорил:

— Даже на мертвые существа жара действует... Возьмите дерево, цветок, траву — и те вянут от жары.

И еще несколько раз издали я слышал: «Мертвые существа».

Мертвые существа!.. Мелькнула над террасой ласточка, с радостно звенящим смехом вильнула в воздухе и понеслась прочь от жирно потевших на террасе живых существ.

В кухне ставили хлеба. И с ранней зари на весь дом звучал пронзительный, ругающийся голос Анны Петровны.

Невозможно было спать. Потом стали подавать чай. Хлынули крики на горничную:

— Аксютка, да где же ложки? Зачем я тебе их отдала, — для потехи? Для удовольствия? Поиграть ими? Я тебе их вымыть дала!.. Куда ты идешь?

— Я через кухню иду.

— И тут широкая дорога... Аксютка!.. Ульяна, скажи ты этой рыжей дряни, чтоб сейчас же шла сюда!

Угрюмый, невыспавшийся, я сидел на постели. Жарко было в комнате и душно. Из зала, из кухни, из коридора непрерывно неся захлебывающийся криками голос Анны Петровны. В тон ему истерично заливались-кудахтали куры в курятнике.

Что это вчера со мною было? Вспоминалась идиотская радость в лощине... С чего она? Жизнь какая-то в лягушке и в траве! Ну да — жизнь. А раньше не знал я, что в них жизнь и свои физиологические процессы? Что же меня привело в восторг?

Под одичавшими кустами смородины бродили среди лопухов куры. Шевелились налитые солнечным светом листья бузины. Вот и здесь везде жизнь. Что же дальше?

Я чуждо смотрел в окно.

— Ты не кричи так, не кричи, как пьяная баба! Тебе колом в голову не вдолбишь, все на своем будешь стоять! Я тебе десять тысяч раз говорила, чтоб ты в кухню не брала серебряных ложек... Ах, «я-а», «я-а»... Поменьше бы языком молола. Корова рыжая!

Хотелось бешено вскочить и стукнуть старуху по шее. И все как скверно, как противно!.. И этот нелепый роман с Катрой. Непрерывный от него чад в душе. Неужели не хватит воли разорвать с нею? Два болота, разделенные высокой горою, соединились на вершине гнилыми испарениями... Гадость, гадость!

Мутно вздрагивало в душе угрюмое, брезгливое отращение и выискивало, к чему бы прицепиться. Я сидел и вслушивался в себя.

Вот он, в темной глубине, — лежит, распластавшись, слепой Хозяин. Серый, плоский, как клещ, только огромный и мягкий. Он лежит на спине, тянется вверх цепкими щупальцами и смотрит тупыми, незрячими глазами, как

двумя большими мокрицами. И пусть из чаши сада несет росистой свежестью, пусть в небе звенят ласточки. Он лежит и погаными своими щупальцами скользит по мне, охватывает, присасывается.

Погоди ты, подлый раб!

Сверкал солнцем тихий пруд. Сверкали листья мать-мачехи. В траве пряталась прохлада утра. Бух! Брызги. Вода с стремительною ласкою охватывает тело, занимается дыхание.

Медленно плыву на спине, чуть двигая руками. Холодные струйки пробегают по коже, радостно вздрагивает тело. Синее-синее небо, в него уносятся верхушки берез, все улыбается. Тает и рассеивается в душе мутная темнота.

Я вытирался на берегу. Солнце ласково грело кожу, мускулы напрягались. Глубоко в теле вздрагивал смех.

— Ну, Хозяин, что? Непрерывно и упорно я тебе буду доказывать на деле, что ты подлый раб. Ты хозяин мой, — знаю. Но вот я тебя заставил, и ты уже радостно трепещешь жизнью и светом. И это я тебя заставил. Потому что ты мой хозяин, но я свободен, а ты раб.

Стрекотали о чем-то дрозды в березах, качалась осока на верховьях пруда. Как на проявляемой фотографической пластинке, из всего кругом медленно опять выявлялась жизнь, которую я вчера почуял. И опять ей навстречу радостно забилося сердце. И ощутилась важность того, что открывалось.

Тихо звеня, пролетел зеленоватый комар, с пушистыми сяжками. Вчерашний радостно недоумевающий смех охватил душу. И звучало комару из глубины:

— И ты живешь?.. Э, брат, как нас много!

Когда я возвратился домой, завтракали. Воля сидел за манной кашей, около стояла няня Матрена Михайловна.

— Хо-хо-хо!

Воля держал в руке ложку с кашей, поглядывал кругом и бессмысленно-радостно смеялся.

— Воля, чего это ты?

— Хо-хо!.. Хо-хо-хо!...

Глазенки блестели. И он все смеялся беспричинным, идущим из нутра, заражающим смехом. И все засмеялись, глядя на него.

— Ну, смотрите, дурень какой. Чего смеется?

Сила жизни безудержно вскипала в нем, радуясь на себя и играя.

Где, где эти робко-злые, упрямые глаза, этот ноющий голос? Животик поправился у мальчика. Клизмочки помогли и манные кашки. И вот переметнулся его маленький Хозяин. Бессмысленной радостью заливаает тельце, ясным светом зажег глазенки, неузнаваемо перестроил всю душу...

О раб! О подлый, переметчивый раб!

Гнедой жеребец издох. Вечером Степан пошел за ним в сад, а он лежит на боку мертвый.

За ужином работники смеялись и говорили:

— Ну, дедушка Степан, теперь твой черед помирать. Самый ты теперь старый остался.

— А неужто в холщовой рубахе и в гроб ляжешь? Ты бы на это дело ситцевую завел.

Степан тихо, про себя, улыбнулся.

— У меня есть. Сшита. Синяя с крапушками, молодая барыня подарила. Как помру, наказал Алехе в нее одеть.

— А небось ждешь смерти? Ишь старый какой! Болезнь какая, али убьешься,— молодой переживет, а тебе где уж! Сразу свернет.

— Ты, дедушка Степан, вели табачку себе побольше в гроб положить. Да тавлинок. Сломается ай потеряешь — новой там не купишь. Весь табак растрясешь.

Степан открыл тавлинку, с хитрою улыбкою заглянул в нее, встряхнул.

— Там даду-ут...

— Деньжат с собойхвати,— может, даром-то не дадут... Хо-хо-хо!

Слава богу, наконец-то! Так, иначе,— но это должно было случиться. И по той радости освобождения, которая вдруг охватила душу, я чувствую,— возврата быть не может. Произошло это вчера, в воскресенье. Мы с Катрою собрались кататься.

Вышли на крыльцо, а шарабана еще не подали. На ступеньке, повязанная ситцевым платочком, сидела мать Катры, Любовь Александровна, а кругом стояли и сидели мужики, бабы. Многие были подвыпивши. Деловые раз-

говору кончились, и шла просто беседа, добродушная и задушевная.

Бородатый мужик, скрывая усмешку под нависшими усами, спрашивал:

— Ты, барыня, вот что нам объясни. Как это так? Вон ты какая — маленькая, сухонькая, вроде как куличок на болоте. А у тебя две тысячи десятин. А нас эва сколько, — а земли по полсажени, всю на одном возу можно увезть.

— Отчего? Я тебе прямо скажу, — сила моя.

— Сила? Правильно. Ну, а как сговоримся мы, как пойдем всем российским миром, то сила наша будет. Где ж вам против нас!

Другой мужик прибавил:

— Как наседок, с гнезд сымем.

— А правду, скажи, болтают, — продаешь ты землю?

Любовь Александровна посмеивалась.

— Слыхал, как говорится? Не всякому слуху верь. А дело это мое: захочу — продам, не захочу — не продам.

— Нет, барыня, ты жди, не продавай, — решительно сказал бородатый мужик.

— У тебя тогда спроситься?

— Не позволим тебе. Нам она определёна.

— Вот как!

— Да... Сколько лет на тебя работали, всю ее потом нашим полили.

— Как же это вы мне не позволите?

— Окончательный тогда сделаем тебе конец.

Любовь Александровна засмеялась.

— Убьете? Ну, брат, за это тоже по голове тебя не поглядят.

— Знаю. Что ж, на каторгу пойду. А сколько за меня народу положит поклон.

Баба в задних рядах подперла щеку рукою и глубоко вздохнула:

— Да какой еще поклон положишь!

— Э, батюшка! Такие поклоны там не принимаютя!..

Они в зачет не идут.

— Ваш бог не зачтет, а наш зачтет.

Катра, потемнев, пристально смотрела на мужика. Она резко спросила:

— Как тебя звать?

— Ай, барышня, не знаешь? — Мужик посмеивался. — Арсентием звать меня, Арсентий Поддугин, потомственный почетный земледелец. Запиши в книжку.

В толпе засмеялись. Любовь Александровна поспешно сказала:

— Погоди, хорошо. Говоришь, пойдете вы на нас всем российским миром. Ну, поделили вы землю нашу. Сколько на душу придется?

— Расчеты нам, барыня, известны. По четыре десятины.

— Нет, погоди! А из города, ты думаешь, на даровую-то землю не налетят? Себе не потребуют? Давать так уж всем давать, почему вам одним?.. А что тогда по России пойдет?

— Э, что ни пойдет! А вас снять нужно первым долгом. Тогда дело увидится.

Мы ехали с Катрой. Противна она мне была. А она смотрела на меня со злым вызовом.

— Эти самые мужики пожгли у нас зимою все стога в Антоновской даче. А мама перед ними пляшет, увивается... У-у, интеллигенты мяклые!.. Вот мне рассказывали: в Екатеринославской губернии молодые помещики образовали летучие дружины. Сгорело что у помещика, — сейчас же загорается и эта деревня.

— Ого!

— Да. Это честно, смело и красиво... Пожимай плечами, иронизируй... «Обездоленные», «страдающие»... Эти самые ушаковцы, которые сейчас с мамой говорили, — вся земля, по их мнению, обязательно должна перейти к ним одним. Как же, ведь ихняя барыня! А соседним деревням они уж от себя собираются перепродавать. Из-за журавля в небе теперь уже у них идут бои с опасовскими и архангельскими. Жадные, наглые кулаки, больше ничего. Разгорелись глаза.

Мы проехали большое торговое село. Девки водили хороводы. У казенки сидели на травке пьяные мужики.

Свернули в боковой переулочек. Навстречу шли три парня и пьяными голосами нестройно пели:

Отречемся от старого мира,
Отряхнем его прах с наших ног...

Заметив нас, они замолчали. Насмешливо глядя, сняли шапки и поклонились. Я ответил. Мы медленно проехали.

— Ишь, с пищи барской,— гладкие какие да румяные! Знай гуляй и в будни и в праздник!

— Сейчас вот в лесок заедут, завалятся под кустик... Эй, барин, хороша у твоей девочки...?

Долетел грязный, похабный вопрос, и все трое нарочно громко засмеялись.

Мы медленно продолжали ехать. Катра — бледная, с горящими глазами — в упор смотрела на меня.

— И ты за меня не заступишься?

— Стрелять в них прикажешь?

— Да! Стрелять!

Я растерянно усмехнулся и пожал плечами. Сзади доносилось:

Голодай, чтобы они пировали...

— Ну, хорошо!..— Она с ненавистью и грозным ожиданием все смотрела на меня.— А если бы они остановили нас, стащили меня с шарабана, стали насиловать? Тогда что бы ты делал?

— Не знаю я... Катра, довольна об этом.

— Тоже нашел бы вполне естественным? Ну конечно! Законная ненависть к барам, дикость, в которой мы же виноваты... У-у, доктринер! Обкусок поганый!.. Я не хочу с тобой ехать, слезай!

— Тпру!

Я остановил лошадь, передал вожжи Катре и сошел с шарабана.

— До свидания,— сказал я.

— Не до свидания, а прощайте!

Она хлестнула лошадь вожжой и быстро покатила.

Покос кипит. На большом лугу косят щепотьевские мужики, из Песочных Вершинок возят сено наши, сеяновские. За садом сегодня сметали четыре стога.

Подъезжали скрипящие возы. Федор Федорович сидел в тенечке на складном стуле и записывал имена подъезжавших мужиков. Около стоял десятский Капитон — высокий, с выступающими под рубахой лопатками. Плутовато смеясь глазами, он говорил Федору Федоровичу тоном, каким говорят с малыми ребятами:

— Пишите в книжку себе: Иван Колесов, в третий раз.

— Погоди, любезный! А где же во второй было?

— Второй воз он уж, значит, склал, у вас прописано... Лизар Пененков, Алексей Косаев...

Федор Федорович подозрительно оглядывал возы, но ничего не видел близорукими глазами. Постепенно он все больше входил во вкус записывания, все реже глядел кругом и только старательно писал, что ему выкрикивал в ухо Капитон. Ждавший очереди Гаврила Мохначев с угрюмым любопытством смотрел через плечо Федора Федоровича на его письменные упражнения.

— Пишите теперь в книжку,— Петр Караваев, в четвертый раз.

— Где же он? Петр Караваев!

— А он, значит, сейчас подъедет... Вон он, воз, под яром!

Федор Федорович строго сказал:

— Так, брат, нельзя. Когда приедет, тогда нужно записывать.

Капитон смеялся глазами.

— Так, так!.. Понимаю-с!.. Когда, значит, приедет, вы в книжку и запишете его.

Кипела работа. Охалки сена обвисали на длинных вилах, дрожа,плыли вверх и, вдруг растрепавшись, летели на стог. Пахло сеном, человеческим и конским потом. От крепко сокращавшихся мускулов бодрящею силою насыщался воздух, и весело было. И раздражительное пренебрежение будил сидевший с тетрадкою Федор Федорович — бездеятельный, с жирною, сутулою спиною.

Авторитетным тоном, щеголяя званием нужных слов, он делал замечания:

— Послушай, Трифон! Вы рано стог начали за клубничивать.

— Рано! И то еле вилами достанешь!

— Есть вилы длинные.

— И то не короткими подаем... Эй, дядя Степан, принимай!

Солнце садилось. Нежно и сухо все золотилось кругом. Не было хмурых лиц. Светлая, пьяная радость шла от красивой работы. И пьянела голова от запаха сена. Оно завоевало все,— сено на укатанной дороге, сено на ветвях берез, сено в волосах мужчин и на платках баб. Федор Федорович смотрел близорукими глазами и улыбался.

— Сенная вакханалия... Ххе-хе!

Довершили последний стог. Мужики связывали ве-

ревки, курили. Дедка Степан очесывал граблями серозеленый стог. Старик был бледнее обычного и больше горбился. Глаза скорбно перевозмогали усталость, но все-таки, шурясь, радостно светились, глядя, как закат нежно-золотым сиянием возвещал прочное ведро.

Село солнце.

На Большом лугу в таборе щепотьевцев задымились костры. Мы шли с Борей по скошенным рядам. Серые мотыльки мелькающими облаками вздымались перед нами и сзади опять садились на ряды. Жужжали в воздухе рыжие июньские жуки. Легавый Аякс очумело-радостно носился по лугу.

По дороге среди желтеющей ржи яркими красками запестрела толпа девок с граблями. Неслась песня.

Они приближались в пьяно-веселом урагане песен и пляски. Часто и дробно звучал припев:

В саду мято, рожь не жата,
Некошёная трава!..

Высокая девка, подпоясанная жгутом из сена, плясала впереди идущей толпы. Склонив голову, со строгим, прекрасным профилем, она вздрагивала плечами, кружилась, притоптывала. И странно-красивое несоответствие было между ее не улыбавшимся лицом и разудалыми движениями.

Выдвинулась из ало колыхавшейся толпы другая девка, приземистая и скуластая. Широко улыбаясь, она заплясала рядом с высокою девкою. Они плясали, подталкивали друг друга плечами и кольцом сгибали руки.

В саду мято, рожь не жата,
Некошёная трава!..

— Эй, барчуки! Идите к нам!.. Зацелуем!

Румяные женские лица маняще улыбались. Неслись шутиво-бесстыдные призывы. И не было от них противно, хотелось улыбаться в ответ светло и пьяно.

Они прошли мимо. Следом проплыл запах кумача и горячего человеческого тела.

Аякс издалека залаял на толпу. Высокая девка с гиком побежала ему навстречу. Аякс удивленно замолк и с испуганным лаем бросился прочь. Она за ним, по буйным рядам скошенной травы. Аякс убегал и лаял. В толпе девок хохотали.

Вдруг высокая девка бросилась головою в сено и пере-

кувырнулась. Ноги высоко дрыгнули в воздухе над рядами. Аякс удивленно сел и поднял уши.

— Хо-хо-хо! — загрохотали в таборе мужские голоса.

Боря покраснел и отвернулся.

Темнело. Перепела перекликались в теплой ржи. Громче неслись из росистых лощин дергающие звуки коростелей. В серой, душистой тьме с барского двора шли мужики, выпившие водки.

После ужина я сидел на ступеньках крыльца. Была глубокая ночь. Все спали. Но я не мог. Чистые, светлые струи звенели в душе, свивались и пели, радостно пели все об одном и том же.

Поднялся поздний месяц.

У конюшни чернела телега, фыркала жевавшая лошадь. Шепотьевцы кончили отработку и уехали; Алексей Рытов заехал на двор проститься с отцом, и они заговорились. Большой, плечистый Алексей сидел, понурившись, на чеке телеги и курил. Степан радостно и любовно смотрел на него.

— Эх, Алека, пора тебе, малый! Поезжай. Ребята вон уж когда уехали. Завтра-то на зорьке вставать тебе, а ночи ноне короткие.

И опять они медленно говорили. Степан трогал руками телегу, гладил лошадь.

— Хорош меринок!.. Его бы, малый, овсецом кормить, — еще бы стал глаже.

— Да... Гнедчик был, — не прохлестнешь! А этот идет все равно что играет... — Алексей устало зевнул и, зевая, кивнул на конюшню. — В конюшне спишь?

— А то где же?

— Вот тут бы тебе спать, на вольном воздухе. Жарко, чай, в конюшне.

— Ну... В конюшне надо спать. Ночью, бывает, заболтают лошади. Крикнешь — стихнут.

Месяц светил из-за лип. За углом дома, в саду, одиноко и тоскующе завыл Аякс.

— А со своим покосом все еще не убрались?

— Нет, не косил еще. Завтра на уборку к нашему барину выезжать.

Степан вздохнул.

— Вот, парень, горе твое, — все девки у тебя. Мальчонка был бы, — вон еще какой, а по нынешнему времени и за такого тридцать рублей дают. А от девок какой прок?..

Тоже про себя скажу,— помру я скоро, Алеха. Ослаб! Намедни вон какое кружение сделалось,— два дня без языка лежал. А нынче на стогу стоял, вдруг опять в голове пошло, как колеса какие... Не продержусь долго. А еще бы годочка два протянуть,— тебе за моей спиной вот бы как было хорошо!

Алексей молчал.

Дул легкий ветерок. Широким, прочным теплом несло с полей. Степан стоял, свесив руки, и смотрел в теплый сумрак.

— Погодка-то, малый! Погодка! Весь покос теперь простоит. Гляди и рожь захватит.

И как будто что-то неслышно говорил ему этот мягкий сумрак, пропитанный призрачным, все слившим лунным светом. И как будто он радостно прислушивался к этой тайной речи. Подумал, медленно поднес к носу щепоть табаку.

— А что, малый... Ничего там не будет, как помрешь. Вот как жеребец гнедой сдох,— тоже и мы.

Сливалась со светящимся сумраком сгорбленная фигурка с дрожащей головою. Кто это? Человек? Или что-то другое, не такое отделенное от всего кругом? Кажется,— вот только пошевелились, моргни,— и расплывется в лунном свете этот маленький старик; и уж будет он не отдельно, а везде кругом в воздухе, и благодатною росую тихо опустится на серую от месяца траву.

Уехал Алексей. Степан постоял, поглядел ему вслед и ушел в конюшню.

Аякс за углом все выл. Переставал на минуту, прислушивался, начинал лаять и кончал жалующимся воем.

В доме звякнуло окно, раскрылось. Выснулась всклокоченная голова Федора Федоровича. Хрипло и сердито он крикнул:

— Пошел ты!.. Аякс!

Вой замолк.

— А-аякс!

Было тихо. Окно медленно закрылось.

Аякс в саду вдруг завыл громко, во весь голос, как будто вспомнил что-то горькое. И выл, выл, звал и искал кого-то тоскующим воем.

За темными окнами засветился огонек. В халате, со свечкою в руках, Федор Федорович вошел в залу. Он раскрыл окно и злобно крикнул в росистую темноту сада:

— Аякс! Пошел!.. Вот я тебя!

Аякс на минуту смолк и завыл снова.

Тускло горела свечка на обеденном столе. Федор Федорович, вздохмаченный и сгорбленный, медленно ходил по темной зале, останавливаясь у запертых окон, опять ходил.

Из того светлого, что было во мне, в том светлом, что было кругом, темным жителем чужого мира казался этот человек. Он все ходил, потом сел к столу. Закутался в халат, сгорбился и тоскливо замер под звучащими из мрака напоминаниями о смерти. Видел я его взъерошенного, оторванного от жизни Хозяина, видел, как в одиноком ужасе ворочается он на дне души и ничего, ничего не чувствует вокруг.

Пьянеет голова. Пронизывает все существо крепкою, радостною силою. Все вокруг скрытно светится.

А на берегу речки, в моей лощинке,— там творится и тонко мною воспринимается огромное таинство жизни. Колдовскими чарами полна лощина. Там я ощущаю все каким-то особенным чувством,— о нем не пишут в психологиях, мыслю каким-то особенным способом,— его нет в логиках. И мне не нужны теперь звериные глаза, я не томлюсь тем, что полуоткрывается в них, загадочно маня и скрываясь. Не через глаза я теперь говорю со всем, что кругом. Как будто тело само перестраивается и вырабатывает способность к неведомому людям разговору, без слов и без мыслей,— таинственному, но внятному.

Садилось солнце. Неподвижно стояла на юге синеватая муть, слабо мигали далекие отсветы. Трава в лощине начинала роситься. Мягким теплом томил воздух, и раздражала одежда на теле. Буйными, кипучими ключами была кругом жизнь. Носились птички, жужжали мошки. Травы выставляли свои цветы и запахами, красками звали насекомых. Чувлась чистая, бессознательная душа деревьев и кустов.

Я разделся и с одеждой на руке пошел. Тепло-влажная трава ласкалась ко мне, пахуче обнимала тело,— такое противно-нежное, всему чуждое, забывшее и свет и воздух. Обнимала, звала куда-то. Настойчиво говорила что-то, чего недостойно вместить человеческое слово, чего не понять мозгу, сдавленному костяными покрывками.

На юге росли черно-синие тучи. С трепетом перебежали красноватые взлески. Я выкупался и остался сидеть на берегу.

Все кругом жило сосредоточенно и быстро. Стрекоза торопливыми кругами носилась над гладью речки и хватала мошек. Мошки весело реяли над рекою, ползали, щекоча кожу, по моим голым ногам. И они не думали, что я сейчас могу прихлопнуть их рукою, что сейчас их схватит стрекоза.

Ух, как все жило кругом! Любило, боролось, отдыхало, помогало друг другу, губило друг друга,— и жило, жило, жило!

И захотелось мне вскочить, изумленно засмеяться своему калечеству и, выставляя его на позор, крикнуть человечески-нелепый вопрос:

— Зачем жить?..

Гордым франтом, грудью вперед, летел над осокою комар с тремя длинными ниточками от брюшка. Это, кажется, поденка... Эфемерида! Она живет всего один день и нынче с закатом солнца умрет. Жалкий комар. Всех он ничтожнее и слабее, смерть на носу. А он, танцуя, плывет в воздухе,— такой гордый жизнью, как будто перед ним преклонился мир и вечность.

Розово-желтый закат помутнел. Я шел домой по тропинке среди гибко-живых стен цветущей ржи. Под босыми ногами утоптанная тропинка была гладкая и влажно-теплая, как разомлевшее от сна человеческое тело.

Не хотелось уходить, я все останавливался. Из ржи тянуло широким теплом, в чаще зеленовато-бледных стеблей непрерывно звучал тонкий звон мошкары. Через голые ноги от теплой земли шла какая-то чистая ласка, и все было близко, близко...

Где был я? Где было что кругом? Повсюду широкими волнами необозримо колебалась огромная, бессознательная жизнь. И из темной глубины моей, где хаос и слепой Хозяин,— я чувствовал, как оттуда во все стороны жадно тянулись щупальца и пили, пили из напиравшей кругом жизни ее торжествующую, несознанную правду.

И как вся жизнь вокруг томилась этою несознанностью! Она тянулась и проникала ко мне, через меня хотела осознать тебя, ползала по раскинутым щупальцам. И чувствовалось, тесны были пути и прерывисты, как

завядшие, подгнившие корни. Только малые капли до-
ходили до меня.

Но пусть! И этих капель было довольно.

Хотелось упасть коленями на гладко-теплую землю, и вздеть руки, и в восторге молиться... Кому? Как будто солнечно-горячий и яркий свет хлынул в душу, прорвал окутывавший ее туман... Жизнь! Жизнь!

Сила великая. Сила всесвятая и благая. Все, что пропитывалось ею, освещалось изнутри и возвеличивалось, все начинало трепетать какими-то быстрыми внутренними биениями. Темнел вдали огромный дуб, серел на тропинке пыльный подорожник, высоко в небе летела цапля, вяло выползал из земли дождевой червь. Все и всех жизнь принимала в себя, властительница светлая. Сколько я думал, сколько искал — и ничего не мог понять ни своими мыслями, ни мыслями других людей. А здесь теперь было все так ясно и просто, так неожиданно-понятно. И если бы Алеша понял хоть на миг...

Понял... Что-то больно кольнуло в душу. Этого понять нельзя. Может понять только просветлевший Хозяин, а он предатель и раб, ему нельзя доверять. И по-обычному я враждебно насторожился. Я искал, — где он, вечный клещ души? Но не было его. Он исчез, слился со мною, слился со всем вокруг. Не было разъединения, не было рабства, — была одна только безмерная радость. Радость понимания, радость освобождения.

Я вышел на дорогу к усадьбе. Там, где была на небе муть, теперь шевелились и быстро росли лохматые тучи. Непрерывно трепетали красноватые взблески, сдержанно рокотал гром.

На краю дороги шевелился под налетевшим ветерком куст полыни. Был он весь покрыт седою пылью, среди желтоватых цветков ползали остренькие черные козявки. Со смехом в душе я остановился, долго смотрел на куст.

— Ты! Сбрось свою бессознательную мудрость. Думай! Ответь, — для чего ты живешь? Осыпает тебя придорожная пыль, ползают по тебе козявки. Сосежь ты соки из земли, лелеешь свою жизнь, — для чего? Подумай, — для чего?

И сразу обмякла душа куста, как будто смрадом его обвеяло. Стал он жалок и ничтожен. Задумался скорбно, наконец ответил:

— Да, такая жизнь бессмысленна... А вот что, —

нужно жить для всех этих других полынных кустов. Прикрывать их от пыли, переманивать на себя вредных козявок...

— Ну, а им что от того, что меньше их будет осыпать пыль и меньше будут точить козявки?

Все шире растекался смрад. Серый, вялый сумрак вставал из земли. Все вокруг — все делалось ничтожным и презренным. Ласточки остановили свой лет в воздухе, растерянно и недоумело трепыхали крылышками.

— Для чего наша жизнь? Ну, будем ловить мошек, выведем птенцов. Осенью лететь за море, потом возвращаться. Опять лепить гнездо, опять выводить птенцов, и так каждый год. А потом — смерть.

И повсюду кругом зашелестело, заныло, зашипело, застонало. Дождевые черви обеспокоенно выползали из своих ходов, никла колосьями рожь, очумело метались мошки.

— Зачем жизнь?

Нетерпеливо вдруг сверкнул воздух, и гневный негодующий грохот прокатился по небу. Бешено рванулся ветер. Черное и грозное быстро мчалось поверху.

Хотелось смеяться, хотелось протягивать руки.

— Не гневись, великая! Я только шутил,— шутил пошлою человеческою шуткою... Жизнь! Жизнь! Не оскорблю я тебя, не вложу в тебя вопросов подгнивающей собственной души. Я далек от тебя, трудно различаю тебя сквозь мутный туман, но я теперь знаю! Я знаю!

Перекатывался гром. Выл сухой ветер, захватывал дыхание, трепал одежду. И вся жизнь вокруг завилась вольным, радостно-пьяным ураганом.

ПРИМЕЧАНИЯ

В предлагаемую вниманию читателей книгу избранной прозы В. В. Вересаева «На высоте» вошли произведения, отразившие две главные темы в творчестве писателя. Первая — эволюция русской интеллигенции, вторая — жизнь деревни, тяжелое положение крестьянства на рубеже XIX—XX веков.

В книгу не вошли ранние произведения («Загадка», «Порыв», «Товарищи»). И не только потому, что они были обойдены вниманием критики, но и потому, что эти первые рассказы лишь предсказывали истинную глубину таланта писателя. Избранную прозу открывает повесть «Без дороги», которая, не будучи первой, открыла Вересаеву путь в большую литературу (1895 г.). Эта повесть стала центральным произведением и первой книги Вересаева «Очерки и рассказы», вышедшей в 1898 г.

Повесть «Без дороги» органично дополняют два других эпических произведения — повести «На повороте» и «К жизни», которые отразили духовные искания самого писателя и части русской интеллигенции на таких отрезках времени, как 1901—1908 гг. В книгу включены также рассказы «Мать», «Предчувствие», «Перед завесой», «Проездом», «Встреча», «В путях», «На высоте», дающие возможность современному читателю погрузиться в атмосферу идеалов передовой демократической интеллигенции.

Существенное место в книге занимают произведения, повествующие о жизни русского крестьянства, — «Лизар», «К спеху», «В степи», «Об одном доме». Они вызвали в свое время яростные споры, но они же принесли писателю заслуженную славу.

Книга построена по хронологическому принципу, охватывает творчество В. В. Вересаева с 1894 по 1908 г. Мотивировано это тем, что дальнейшее, непосредственно художественное, творчество писателя пошло на убыль: писатель обращается в «Живой жизни» к жанру философско-этического трактата. Сюда не вошли произведения В. В. Вересаева о русско-японской войне, которые могут составить специальную книгу. Не отражена деятельность писателя в советское время: это не позволил сделать объем книги.

Несколько слов о принципе расположения произведений. В при-

жизненном, так называемом полном собрании сочинений, писатель совместил хронологический принцип с циклизацией. В последующих, посмертных, собраниях сочинений циклы разрознены, произведения даются по хронологии. В настоящем томе, далеко не полно представляющем творчество Вересаева, также использован хронологический принцип. На взгляд составителя, это показывает внутреннюю эволюцию писателя.

Тексты даются по изданию: Вересаев В. В. Собр. соч.: В 4 т./Под ред. Ю. Фохт-Бабушкина.— М., 1985; а также по изданию: Вересаев В. В. Полн. собр. соч.— М., 1928; 1929. При подготовке настоящих примечаний использовался комментарий Ю. Фохт-Бабушкина из указанного выше собрания сочинений.

БЕЗ ДОРОГИ

Впервые опубликована в журнале «Русское богатство», 1895, № 7—8. Историю создания и публикации повести Вересаев подробно изложил в воспоминаниях о Н. К. Михайловском: «В 1892—1894 годах, на старших курсах медицинского факультета в Дерпте, я писал свою повесть «Без дороги». Писать приходилось урывками, в промежутках между чудовищной зубрежкой, которая требовалась для сдачи многочисленных выпускных экзаменов. Окончил я повесть летом 1894 года, после сдачи экзаменов, в деревне, и послал в московский журнал «Русская мысль», в то время выходивший под редакцией В. М. Лаврова. Три месяца я ждал ответа. Жил я в Петербурге и работал сверхштатным ординатором в барачной больнице в память Боткина». Редакция «Русской мысли» отклонила повесть неизвестного писателя. Вересаев так излагал цепь дальнейших событий: «Отчаяние меня взяло. Я уже много раз до того посылал свои рукописи в разные журналы. Кое-что печаталось... Часто получал отказы. Еще чаще никакого ответа не получал. Огорчался, конечно. Но, перечитывая вещь сугубо критическими после отказа глазами, говорил себе: «Да, плохо!» Теперь — перечитывал и с отчаянием ощущал: «Нет — живо, даны подлинные, свои переживания; многое выражено сильно...» По совету близкого человека Вересаев отдал вернувшуюся из «Русской мысли» рукопись в петербургский народнический журнал «Русское богатство», редакторами которого были Н. К. Михайловский и В. Г. Короленко. Там, как известно, и увидела повесть свет. «Был счастливый хмель крупного литературного успеха, — писал впоследствии Вересаев. — Многие журналы и газеты отметили повесть заметками и целыми статьями. «Русские ведомости» писали о ней в специальном фельетоне, А. М. Скабичевский в «Новостях» поместил подробную статью. Но самый лестный, самый восторженный из всех отзывов появился... в «Русской мысли».

Уже по прошествии двух десятилетий после публикации повести критики называли «Без дороги» эпохальным произведением. Так, в книге «Русская литература XX века». (М., 1915) читаем: «Конец восьмидесятих годов вплоть до холерного бунта 1892 года представлен в лице врача Чеканова... Страницы, посвященные описанию холерных беспорядков, ценны в повести «Без дороги» не только своєю художественностью, но и как свидетельство врача-очевидца. Этот момент, когда с такой трагической очевидностью обнаружилось непонимание темным народом, где его друзья и где враги, когда романтизм народничества получил новый тяжелый удар, удачно был обозначен художником двумя словами: «Без дороги».

Помимо доктора Чеканова, ставшего, по мнению критики, как некогда Базаров в «Отцах и детях» И. С. Тургенева, героем своей эпохи, читатели обратили особое внимание на Наташу — одну из любимых героинь Вересаева. Ее нередко сравнивали с тургеневскими девушками, в ней видели идеал писателя. Действительно, в повести «Без дороги» Наташа, полная веры и ожидания грандиозных событий, противопоставлена Чеканову. Этой героине суждено было стать центральной фигурой в рассказе «Поветрие» (1897 г.). Вересаев рассматривал его как продолжение повести «Без дороги». Рассказ «Поветрие» означал окончательный поворот писателя в сторону марксизма. Он был предложен журналу «Русское богатство», но отвергнут им. С этого момента и начался разрыв Вересаева с народниками.

ЛИЗАР

Впервые рассказ опубликован в газете «Северный курьер», 1899, № 1. Написан в том же году. При первой публикации имел подзаголовок «Из летних встреч».

Этот рассказ — программный для Вересаева. Он открывает цикл произведений о русском крестьянстве («К спеху», «В степи», «Об одном доме»). В своем отношении к крестьянству писатель полемизировал с народниками, а это отношение можно охарактеризовать словами А. Блока о Н. Некрасове. В свое время на вопрос о «народолюбии Некрасова» поэт ответил: «Оно было неподдельное... (любовь — вражда)». Вересаев так же, как и Некрасов, любил народ, но он видел и последствия его многовековой забитости. В этом Вересаев, минуя народнические взгляды на крестьянство, продолжал некрасовские традиции.

Для того чтобы подчеркнуть свою любовь к крестьянству, Вересаев при последующей публикации снимает финал в рассказе «Лизар»: «Проповедь Лизара как будто подводила какой-то итог, — как будто резко и определенно высказывала только то, что носится в воздухе повсюду... Двигающаяся в известном направлении жизнь использовала

все пути и в конце концов уперлась в слепой закоулочек. Выхода из этого закоулочка нет. И вот естественно намечается и все больше зреет новое решение вопроса». Под решением вопроса писатель имел в виду своеобразную философию «сокращения человека».

К СПЕХУ

Впервые рассказ опубликован в «Журнале для всех», 1901, № 1, написан — в 1899 г. При первой публикации, как и «Лизар», имел подзаголовок «Из летних встреч».

В СТЕПИ

Впервые рассказ увидел свет в журнале «Мир божий», 1901, № 9. Написан в 1901 г.

НА ПОВОРОТЕ

Впервые повесть опубликована на страницах журнала «Мир божий», 1902, № 1, 2, 3. Написана в 1901 г.

«На повороте» продолжает цикл произведений Вересаева о русской интеллигенции. Герои Вересаева переживают жизненный кризис. Собственно, его осмыслению и посвящена повесть. Как и во многих других произведениях писателя, лишь в финале повести намечается поворот в сторону преодоления кризиса. В этом манера Вересаева вплотную приближается к поэтике Достоевского, который обращал свое внимание, как правило, на экстремальные ситуации, оставляя вне художественного изображения заветное «возрождение» (Раскольников в «Преступлении и наказании»). Другой чертой повести «На повороте» и всей прозы Вересаева в целом было тяготение к изображению идей, споров, процесса становления и развития мировоззрения героев. В одном из заключительных диалогов главный герой повести Токарев излагает этапы своей жизни. Последний этап — разочарование в смысле жизни, без чего, как подчеркивает Токарев, не может существовать человек. «Что же мне делать?» — повторяет извечный вопрос Токарев. Но ответа не дается: Вересаев полагает, что до осознания смысла жизни каждый человек должен дойти сам. И только когда Токарев решает покончить жизнь самоубийством, сила жизни пробуждается в нем и он понимает «кошмар» задуманного. Это пробуждение героя стало поворотом его к принятию жизни такой, как она есть.

О необходимости напряженной работы духа говорит Вересаев в своих последующих произведениях, в том числе рассказах «Встреча», «В путях», «На высоте».

ОБ ОДНОМ ДОМЕ

Впервые рассказ, который приближается к жанру небольшой повести, напечатан в «Журнале для всех», 1902, № 2. Написан в 1902 г.

ВСТРЕЧА

Впервые рассказ опубликован в журнале «Образование», 1902, № 3. Написан в 1902 г. «Встреча» является как бы вариацией одного из ранних рассказов В. Вересаева «Товарищи» (1892 г.).

МАТЬ

Впервые этот небольшой рассказ опубликован в «Журнале для всех», 1902, № 12. Написан в том же 1902 г. Рассказ не случайно имеет подзаголовок «Из записной книжки», так как написан под впечатлением посещения Дрезденской галереи.

ПЕРЕД ЗАВЕСОЮ

Рассказ впервые опубликован в сборнике горьковского товарищества «Знание» за 1903 г., № 1. Написан в 1903 г.

Рассказ «Перед завесой» продолжает тему повести «На повороте». Повествование строится от лица рассказчика — во многом автобиографического, которому вдруг открылась целостность жизни. «Да, я сумею ее принять такую, какая она есть. Не сумею — умру. Но не склонюсь перед правдою, которая только потому правда, что жить с нею легко и радостно» — такими размышлениями заканчивается рассказ.

ПРОЕЗДОМ

Впервые опубликован в журнале «Образование», 1904, № 1. Написан в 1903 г.

Как отмечал исследователь В. В. Вересаева Ю. Бабушкин, из всех своих произведений о поиске смысла жизни Вересаев особенно дорожил этим рассказом. Он любил цитировать из него следующее место: «Люди ищут нового счастья и ждут, что к нему прийти так же легко, как к старому. А жизнь густа, дремуча и не раздвигается сама собою в гладкую дорогу. Кто хочет новых путей, должен выходить не на прогулку, а на работу».

Рассказ «Проездом» полон раздумий о смысле жизни, высоком предназначении человека и той огромной внутренней работе духа, которая необходима для того, чтобы вырваться из пут быта. Главный

герой рассказа знакомится с жизнью интеллигентной семьи, в которой ничего не осталось от идеалов молодости.

Герой Вересаева размышляет о драматизме «жизни обычной, ровной». Но этой, по словам Гоголя, «тине мелочей» вересаевский герой противопоставляет работу духа, те духовные ценности, о которых не раз писали русские литераторы.

В ПУТАХ

Впервые опубликован в журнале «Современный мир», 1906, № 2. Датирован 1904 г.

Первоначально В. В. Вересаев предлагал рассказ «В путях» в сборник издательства «Знание», но это произведение увидело свет на страницах издания, с которым сотрудничал писатель на протяжении многих лет (прежнее название журнала — «Мир божий»).

Как и другие произведения об интеллигенции, рассказ «В путях» снова и снова напоминает о том, как сложна жизнь с ее мелочами и как много препятствий надо преодолеть человеку на пути к своему счастью.

НА ВЫСОТЕ

Впервые опубликован в журнале «Современный мир», 1906, № 2. Датирован 1904 г.

Рассказ увидел свет в том же номере «Современного мира», где помещен и рассказ «В путях». И это не случайно: произведения связаны друг с другом тематически. Главной героине Вере Дмитриевне — молодой жене известного писателя Ордынцева для того, чтобы обрести себя как личность, стало необходимым порвать с человеком, которого вряд ли она любила по-настоящему. Вере Дмитриевне крайне важно было подняться на ту высоту жизни, которая не обещала легкого пути, но давала бы ощущение полной жизни. Так, задолго до поворота в мировоззрении Вересаева, который отразился в трактате «Живая жизнь», в повести «К жизни», уже здесь была заявлена идея живой жизни, жизни на высокий лад.

К ЖИЗНИ

Впервые опубликована повесть в журнале «Современный мир», 1909, № 1—3. Написана в 1908 г.

Повесть Вересаева «К жизни» имела одну из самых сложных

среди других произведений писателя литературную судьбу: она была холодно встречена критиками всех направлений. Рецензенты заговорили о падении таланта писателя. Некоторые художественные просчеты Вересаева в повести нельзя не увидеть и сегодня. Но эти просчеты во многом объяснялись существенной перестройкой его мировоззрения и поэтики. Основные положения повести «К жизни» были использованы в философском трактате «Живая жизнь».

СОДЕРЖАНИЕ

«Раненая совесть» (Несколько слов о В. В. Вересаеве). <i>О. А. Клинг</i>	5
Без дороги. <i>Повесть</i>	17
Лизар. <i>Рассказ</i>	97
К спеху. <i>Рассказ</i>	104
В степи. <i>Рассказ</i>	108
На повороте. <i>Повесть</i>	118
Об одном доме. <i>Рассказ</i>	231
Встреча. <i>Рассказ</i>	246
Мать. <i>Рассказ</i>	260
Перед завесою. <i>Рассказ</i>	263
Проездом. <i>Рассказ</i>	268
В путях. <i>Рассказ</i>	282
На высоте. <i>Рассказ</i>	292
К жизни. <i>Повесть</i>	308
Примечания	424

Викентий Викентьевич Вересаев

НА ВЫСОТЕ

Редактор **Н. И. Нетесина**

Художественный редактор **Г. В. Шотина**

Технический редактор **Г. П. Мартянова**

Корректоры **А. З. Лазуткина, С. В. Мироновская, Э. З. Сергеева**

ИБ № 4713

Сдано в набор 21.04.87. Подписано в печать 29.09.87. Формат 84×108/32. Бумага тилотр. № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 22,68. Усл. кр.-отт. 22,68. Уч.-изд. л. 28,79. Тираж 1 000 000 экз. (4-й завод 600 001—1 000 000 экз.) Заказ 395. Цена 2 р. 40 к. Изд. инд. ЛХ-125.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103012, Москва, проезд Салунова, 13/15. Книжная фабрика № 1 Росглавополиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 144003, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.